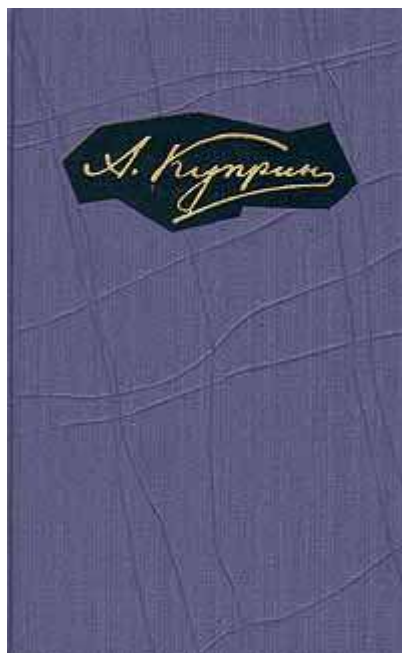


Александр Иванович Куприн
Том 8. Произведения 1930-1934

Серия: *Собрание сочинений Куприна в девяти томах – 8*



*«Собрание сочинений в девяти томах»:
Правда; Москва; 1964;*

Аннотация

В восьмой том вошли произведения 1930–1934 гг.:

- *Юнкера*
- *Фердинанд*
- *Потерянное сердце*
- *Ночь в лесу*
- *Система*
- *Гемма*
- *Удод*
- *Бредень*
- *Вальдишнелы*
- *Блондель*
- *Жанета*
- *Ночная фиалка*
- *Царев гость из Наровчата*
- *Ральф*

Юнкера

Часть I

Глава I Отец Михаил

Самый конец августа; число, должно быть, тридцатое или тридцать первое. После трехмесячных летних каникул кадеты, окончившие полный курс, съезжаются в последний раз в корпус, где учились, проказили, порою сидели в карцере, ссорились и дружили целых семь лет подряд.

Срок и час явки в корпус – строго определенные. Да и как опоздать? «Мы уж теперь не какие-то там полустатские кадеты, почти мальчишки, а юнкера славного Третьего Александровского училища, в котором суровая дисциплина и отчетливость в службе стоят на первом плане. Недаром через месяц мы будем присягать под знаменем!»

Александров остановил извозчика у Красных казарм, напротив здания четвертого кадетского корпуса. Какой-то тайный инстинкт велел ему идти в свой второй корпус не прямой дорогой, а кружным путем, по тем прежним дорогам, вдоль тех прежних мест, которые исхожены и избеганы много тысяч раз, которые останутся запечатленными в памяти на много десятков лет, вплоть до самой смерти, и которые теперь веяли на него неопишущей сладкой, горьковатой и нежной грустью.

Вот налево от входа в железные ворота – каменное двухэтажное здание, грязно-желтое и облупленное, построенное пятьдесят лет назад в николаевском солдатском стиле.

Здесь жили в казенных квартирах корпусные воспитатели, а также отец Михаил Вознесенский, законоучитель и настоятель церкви второго корпуса.

Отец Михаил! Сердце Александра вдруг сжалось от светлой печали, от неловкого стыда, от тихого раскаяния... Да. Вот как это было:

Строевая рота, как и всегда, ровно в три часа шла на обед в общую корпусную столовую, спускаясь вниз по широкой каменной выходящей лестнице. Так и осталось пока неизвестным, кто вдруг громко свистнул в строю. Во всяком случае, на этот раз не он, не Александров. Но командир роты, капитан Яблукинский, сделал грубую ошибку. Ему бы следовало крикнуть: «Кто свистел?» – и тотчас же виновный отозвался бы: «Я, господин капитан!» Он же крикнул сверху злобно: «Опять Александров? Идите в карцер, и – без обеда». Александров остановился и прижался к перилам, чтобы не мешать движению роты. Когда же Яблукинский, спускавшийся вниз позади последнего ряда, поравнялся с ним, то Александров сказал тихо, но твердо:

– Господин капитан, это не я.

Яблукинский закричал:

– Молчать! Не возражать! Не разговаривать в строю. В карцер немедленно. А если не виноват, то был сто раз виноват и не попался. Вы позор роты (семиклассникам начальники говорили «вы») и всего корпуса!

Обиженный, злой, несчастный поплелся Александров в карцер. Во рту у него стало горько. Этот Яблукинский, по кадетскому прозвищу Шнапс, а чаще Пробка, всегда относился к нему с подчеркнутым недоверием. Бог знает почему? потому ли, что ему просто было антипатично лицо Александра, с резко выраженными татарскими чертами, или потому, что мальчишка, обладая непоседливым характером и пылкой изобретательностью, всегда был во главе разных предприятий, нарушающих тишину и порядок? Словом, весь старший возраст знал, что Пробка к Александру придирается...

Довольно спокойно пришел юноша в карцер и сам себя посадил в одну из трех камер, за железную решетку, на голую дубовую нару, а карцерный дядька Круглов, не говоря ни слова, запер его на ключ.

Издалека донеслись до Александра глухо и гармонично звуки предобеденной молитвы, которую пели все триста пятьдесят кадет:

«Очи всех на Тя, Господи, уповают, и Ты даеши им пищу во благовремение, отверзаючи щедрую руку Твою...» И Александров невольно повторял в мыслях давно знакомые слова. Есть

перехотелось от волнения и от терпкого вкуса во рту.

После молитвы наступила полная тишина. Раздражение кадета не только не улеглось, но, наоборот, все возрастало. Он кружился в маленьком пространстве четырех квадратных шагов, и новые дикие и дерзкие мысли все более овладевали им.

«Ну да, может быть, сто, а может быть, и двести раз я бывал виноватым. Но когда спрашивали, я всегда признавался. Кто ударом кулака на пари разбил кафельную плитку в печке? Я. Кто накурил в уборной? Я. Кто выкрал в физическом кабинете кусок натрия и, бросив его в умывалку, наполнил весь этаж дымом и вонью? Я. Кто в постель дежурного офицера положил живую лягушку? Опять-таки я...

Несмотря на то что я быстро сознавался, меня ставили под лампу, сажали в карцер, ставили за обедом к барабанщику, оставляли без отпуска. Это, конечно, свинство. Но раз виноват – ничего не поделаешь, надо терпеть. И я покорно подчинялся глупому закону. Но вот сегодня я совсем ни на чуточку не виновен. Свистнул кто-то другой, а не я, а Яблукинский, «эта пробка», со злости накинулся на меня и осрамил перед всей ротой. Эта несправедливость невыносимо обидна. Не поверив мне, он как бы назвал меня лжецом. Он теперь во столько раз несправедлив, во сколько во все прежние разы бывал прав. И потому – конец. Не хочу сидеть в карцере. Не хочу и не буду. Вот не буду и не буду. Баста!»

Он ясно услышал послеобеденную молитву. Потом все роты с гулом и топотом стали расходиться по своим помещениям. Потом опять все затихло. Но семнадцатилетняя душа Александра продолжала буйствовать с удвоенной силой.

«Почему я должен нести наказание, если я ни в чем не виноват? Что я Яблукинскому? Раб? Подданный? Крепостной? Слуга? Или его сопливый сын Валерка? Пусть мне скажут, что я кадет, то есть вроде солдата, и должен беспрекословно подчиняться приказаниям начальства без всякого рассуждения? Нет! я еще не солдат, я не принимал присяги. Выйдя из корпуса, многие кадеты по окончании курса держат экзамены в технические училища, в межевой институт, в лесную академию или в другое высшее училище, где не требуются латынь и греческий язык. Итак: я совсем ничем не связан с корпусом и могу его оставить в любую минуту».

Во рту у него пересохло и гортань горела.

– Круглов! – позвал он сторожа. – Отвори. Хочу в сортир.

Дядька отворил замок и выпустил кадета. Карцер был расположен в том же верхнем этаже, где и строевая рота. Уборная же была общая для карцера и для ротной спальни. Таково было временное устройство, пока карцер в подвальном этаже ремонтировался. Одна из обязанностей карцерного дядьки заключалась в том, чтобы, проводив арестованного в уборную, не отпуская его ни на шаг, зорко следить за тем, чтобы он никак не общался со свободными товарищами. Но едва только Александров приблизился к порогу спальни, как сразу помчался между серыми рядами кроватей.

– Куда, куда, куда? – беспомощно, совсем по-куриному закудахтал Круглов и побежал вслед. Но куда же ему было догнать?

Пробежав спальню и узкий шинельный коридорчик, Александров с разбега ворвался в дежурную комнату; она же была и учительской. Там сидели двое: дежурный поручик Михин, он же отделенный начальник Александра, и пришедший на вечернюю репетицию для учеников, слабых по тригонометрии и по приложению алгебры, штатский учитель Отте, маленький, веселый человек, с корпусом Геркулеса и с жалкими ножками карлика.

– Что это такое? Что за безобразие? – закричал Михин. – Сейчас же вернитесь в карцер!

– Я не пойду, – сказал Александров неслышным ему самому голосом, и его нижняя губа затряслась. Он и сам в эту секунду не подозревал, что в его жилах закипает бешеная кровь татарских князей, неудержимых и неукротимых его предков с материнской стороны.

– В карцер! Немедленно в карцер! – взвизгнул Михин. – Ссию секунду!

– Не пойду и все тут.

– Какое же вы имеете право не повиноваться своему прямому начальнику?

Горячая волна хлынула Александрову в голову, и все в его глазах приятно порозовело. Он уперся твердым взглядом в круглые белые глаза Михина и сказал звонко:

– Такое право, что я больше не хочу учиться во втором московском корпусе, где со мною поступили так несправедливо. С этой минуты я больше не кадет, а свободный человек. Отпустите меня сейчас же домой, и я больше сюда не вернусь! ни за какие коврижки. У вас нет теперь

никаких прав надо мною. И все тут!

В эту минуту Отте наклонил свою пышную волосатую с проседью голову к уху Михина и стал что-то шептать. Михин обернулся на дверь. Она была полуоткрыта, и десятки стриженных голов, сияющих глаз и разинутых ртов занимали весь прозор сверху донизу.

Михин побежал к дверям, широко распахнул их и закричал:

– Вам что надо? Чего вы здесь столпились? Марш по классам, заниматься! – И, захлопнув двери, он крикнул на Александрова: – А вы сию же минуту марш в карцер!

– А я вам сказал, что не пойду, и не пойду, – ответил кадет, наклоня голову, как бычок.

– Не пойдете? Силой потащат! Я сейчас же прикажу дядькам...

– Попробуйте, – сказал Александров, раздувая ноздри.

Но тут Отте, вежливо положив руку на руку Михина, сказал вполголоса:

– Господин поручик, позвольте мне сказать два-три слова этому взволнованному юноше.

– Ах да, пожалуйста! хоть тридцать, хоть двести слов. Черт возьми, что за безобразие! И как раз на моем дежурстве!

Отте начал очень спокойно:

– Милый юноша, сколько вам лет?

– А вам не все ли равно? – дерзко огрызнулся Александров. – Ну, семнадцать...

– Конечно, мне все равно, – продолжал учитель. – Но я вам должен сказать, что в возрасте семнадцати лет молодой человек не имеет почти никаких личных и общественных прав. Он не может вступать в брак. Векселя, им подписанные, ни во что не считаются. И даже в солдаты он не годится: требуется восемнадцатилетний возраст. В вашем же положении вы находитесь на попечении родителей, родственников, или опекунов, или какого-нибудь общественного учреждения.

– Ну так что ж? – упрямо перебил его Александров.

– Да только и всего, – равнодушно ответил Отте. – Только и всего, что весь вопрос в том, кто определил вас в корпус.

– Моя мама. Но...

– И никакого «но», – возразил учитель. – Только с разрешения вашей матушки вы можете покинуть корпус, да еще в такое неурочное время. Откровенно, по-дружески, советую вам переждать эту ночь. Утро дает совет – как говорят мудрые французы.

– Ах, да что с ним церемониться? – нетерпеливо воскликнул Михин. – Дядька! Иди сюда!

Умные и участливые слова Отте уже привели было Александрова в мирное настроение, но грубый окрик Михина снова взорвал в нем пороховой погреб. Да и надо сказать, что в эту пору Александров был усердным читателем Дюма, Шиллера, Вальтер Скотта. Он ответил грубо и, невольно, театрально:

– Зовите хоть тысячу ваших дядек, я буду с ними драться до тех пор, пока я не выйду из вашего проклятого застенка. А начну я с того...

Но тут широкая ладонь Отте мягко зажала ему рот, и он едва успел встряхнуть головой.

– Тише, мальчишка! – крикнул ласково и повелительно Отте. – Помолчи немножко. Господин поручик, – обратился он к Михину, – это не он, а его дурацкий переломный возраст скандалит. Дайте мальчику успокоиться, и все пройдет. Ведь все мы переживали этот козлиный период.

– Покорно благодарю вас, Эмилий Францевич, – от души сказал Александров. – Но я все-таки сегодня уйду из корпуса. Муж моей старшей сестры – управляющий гостиницы Фальц-Фейна, что на Тверской улице, угол Газетного. На прошлой неделе он говорил со мною по телефону. Пускай бы он сейчас же поехал к моей маме и сказал бы ей, чтобы она как можно скорее приехала сюда и захватила бы с собою какое-нибудь штатское платье. А я добровольно пойду в карцер и буду ждать.

Он низко поклонился Отте и сказал:

– Еще раз покорно благодарю вас, Эмилий Францевич. Не можете ли вы попросить за меня, чтобы меня не запирали на ключ. Ей-богу, я не убегу.

– Ах, боже мой! – вскричал Михин, ударив себя по лбу. – У меня голова трещит от этих безобразий! Ну, пускай не запирают. Мне все равно.

Но Александрова в эту секунду дернул черт. Он указал пальцем на Михина и спросил у Отте:

– Вы можете поручиться в том, что меня не запрут?

– Да, могу, могу, – тебя не запрут. Иди с богом, – замахал на него руками Отте. – Иди скорее, бесстыдник. Ну и характер же!

Александрова сопровождал в карцер старый, еще с первого класса знакомый, дядька Четуха (настоящее его имя было Пиотух). Сдавши кадета Круглову, он сказал:

– Велено не запирасть на ключ. – И, помолчав немного, прибавил: – Ну и чертенок же!

Александров принял это за комплимент.

Потянулись секунды, минуты и часы, бесконечные часы. Александрову принесли чай – сбитень и булку с маслом, но он отказался и отдал Круглову.

Гораздо позднее узнал мальчик причины внимания к нему начальства. Как только строевая рота вернулась с обеда и весть об аресте Александрова разнеслась в ней, то к капитану Яблункинскому быстро явился кадет Жданов и под честным словом сказал, что это он, а не Александров, свистнул в строю. А свистнул только потому, что лишь сегодня научился свистать при помощи двух пальцев, вложенных в рот, и по дороге в столовую не мог удержаться от маленькой репетиции.

А, кроме того, вся строевая рота была недовольна несправедливым наказанием Александрова и глухо волновалась. У начальства же был еще жив и свеж в памяти бунт соседнего четвертого корпуса. Начался он из-за пустяков, по поводу жуликоватого эконома и плохой пищи. Явление обыкновенное. Во втором корпусе боролись с ним очень просто, домашними средствами. Так, например, зачастил однажды эконом каждый день на завтрак кулебяки с рисом. Это кушанье всем надоело, жаловались, бросали кулебяки на пол. Эконом не уступал. Наконец – строевая рота на приветствие директора: «Здравствуйте, кадеты», начала упорно отвечать вместо «здравия желаем, ваше превосходительство» – «здравия желаем, кулебяки с рисом». Это подействовало. Кулебяка с рисом прекратилась, и ссора окончилась мирно.

В четвертом же корпусе благодаря неумелому нажиму начальства это мальчишеское недовольство обратилось в злое массовое восстание. Были разбиты рамы, растерзали на куски библиотечные книги. Пришлось вызвать солдат. Бунт был прекращен. Один из зачинщиков, Салтанов, был отдан в солдаты. Многие мальчишки были выгнаны из корпуса на волю божию. И правда: с народом и с мальчишками перекручивать нельзя...

Уже смеркалось, когда пришел тот же Четуха.

– Барчук, – сказал он (действительно, он так и сказал – барчук), – ваша маменька к вам приехали. Ждут около церкви, на паперти.

На церковной паперти было темно. Шел свет снизу из парадной прихожей; за матовым стеклом церкви чуть брезжил красный огонек лампадки. На скамейке у окна сидело трое человек. В полутьме Александров не узнал сразу, кто сидит. Навстречу ему поднялся и вышел его зять, Иван Александрович Мажанов, муж его старшей сестры, Сони. Александров пригнул, назвав его управляющим гостиницы Фальц-Фейна. Он был всего только конторщиком. Ленивый, сонный, всегда с разинутым ртом, бледный, с желтыми катышками на ресницах. Его единственное чтение была – шестая книга дворянских родов, где значилась и его фамилия. Мать Александрова, и сам Александров, и младшая сестра Зина, и ее муж, добродушный лесничий Нат, терпеть не могли этого человека. Кажется, и Соня его ненавидела, но из гордости молчала. Он как-то пришелся не к дому. Вся семья, по какому-то инстинкту брезгливости, сторонилась от него, хотя мама всегда одергивала Алешу, когда он начинал в глаза Мажанову имитировать его любимые, привычные словечки: «так сказать», «дело в том, что», «принципиально» и еще «с точки зрения».

Подойдя к Александрову, он так и начал:

– Дело в том, что...

Александров едва пожал его холодную и мокрую руку и сказал:

– Благодарю вас, Иван Александрович.

– Дело в том, что... – повторил Мажанов. – С принципиальной точки зрения...

Но тут встала со скамейки и быстро приблизилась другая тень. С трепетом и ужасом узнал в ней Александров свою мать, свою обожаемую маму. Узнал по ее легкому, сухому кашлю, по мелкому стуку башмаков-недомерок.

– Иван Александрович, – сказала она, – вы спуститесь-ка вниз и подождите меня в прихожей.

– Дело в том, что... – сказал Мажанов и, слава богу, ушел.

– Алеша, мой Алешенька, – говорила мать, – когда же придет конец твоим глупым выходкам? Ну, убежал ты из Разумовского училища, осрамил меня на всю Москву, в газетах даже пропечатали. С тех пор как тебе стало четыре года, я покоя от тебя не знаю. В Зоологический сад лазил без билетов, через пруд. Мокрого и грязного тебя ко мне привели за уши. Архиеерею не хотел руку поцеловать, сказал, что воняет. А как еще ты князя Кудашева обидел. Смотрел, смотрел на него и брякнул: «Ты князь?» – «Я князь». – «Ты, должно быть, из Наровчата?» – «Да, откуда ты, свиненок, узнал?» – «Да просто: у тебя руки грязные». Легко ли мне было это перетерпеть. А кто извозчику под колеса попал? А кто...

Отношения между Александровым и его матерью были совсем необыкновенными. Они обожали друг друга (Алеша был последышем). Но одинаково, по-азиатски, были жестоки, упрямы и нетерпеливы в ссоре. Однако понимали друг друга на расстоянии.

– Ты все знаешь, мама?

– Все.

– Ну а как же этот дурак?..

– Алеша!

– Как этот болван осмелился заподозрить меня во лжи или трусости?

– Алеша, мы не одни... Ведь капитан Яблукинский твой начальник!

– Да. А не ты ли мне говорила, что когда к нам приезжало начальство – исправник, – то его сначала драли на конюшне, а потом поили водкой и совали ему сторублевку?

– Алеша, Алеша!

– Да, я Алеша... – И тут Александров вдруг умолк. Третья тень поднялась со скамейки и приблизилась к нему. Это был отец Михаил, учитель закона божьего и священник корпусной церкви, маленький, седенький, трогательно похожий на святого Николая-угодника.

Александров вздрогнул.

– Дети мои, – сказал мягко отец Михаил, – вы, я вижу, друг с другом никогда не договоритесь. Ты помолчи, ерш ершович, а вы, Любовь Алексеевна, будьте добры, пройдите в столовую. Я вас задержу всего на пять минут, а потом вы выкушаете у меня чая. И я вас провожу...

Тяжеловато было Александрову оставаться с батюшкой Михаилом. Священник обнял мальчика, и долгое время они ходили туда и назад по паперти. Отец Михаил говорил простые, но емкие слова.

– Твоя мамаша – прекрасная мамаша. У меня тоже была мать, и я так же огорчал нередко, как и ты огорчил сейчас свою мамочку. Ну, что же? Ты был прав, а он не прав. Но твоя совесть безукоризненна, а он вспомнит однажды ночью случай с тобой и покраснеет от стыда. И потом, смотри – как огорчена мамаша! Что тебе стоит окончить корпус? По крайней мере диплом. А ей сладко. Сыночек вышел в люди. А ты потом иди туда, куда тебе понравится. Жизнь, милый Алеша, очень многообразна, и еще много неприятностей ты причинишь материнскому сердцу. А знай, что первое слово, которое выговаривает человеческий язык, это – слово «мама». И когда солдат, раненный насмерть, умирает, то последнее его слово – «мама». Ты все понял, что я тебе сказал?

– Да, батюшка, я все понял, – сказал с охотной покорностью Александров. – Только я у него извинения не буду просить.

Священник мягко рассмеялся.

– Да и не надо, дурачок. Совсем не надо.

И не так увещания отца Михаила тронули ожесточенное сердце Александрова, как его личные точные воспоминания, пришедшие вдруг толпой. Вспомнил он, как исповедовался в своих невинных грехах отцу Михаилу, и тот вздыхал вместе с ним и покрывал его епитрахилью, от которой так уютно пахло воском и теплым ладаном, и его разрешительные слова: «Аз иерей недостойный, разрешаю...» и так далее. Вспомнил еще (как бывший певчий) первую неделю Андреева стояния. В домашнем подрясничке, в полутьме церкви говорил отец Михаил трогательные слова из канона преподобного Андрея Критского:

«Откуда начну плакати жития моих окаянных деяний? Кое положу начало, Спасе, нынешнему рыданию».

И хор и вместе с ним Александров, второй тенор, отвечали:

«Помилуй мя, Боже, помилуй мя».

– А теперь, – сказал священник, – стань-ка на колени и помолись. Так тебе легче будет. И

мой совет – иди в карцер. Там тебя ждут котлеты. Прощай, ерш ершович. А я поведу твою маму чай пить.

И неслыханная в корпусной истории вещь: Александров нагнулся и поцеловал руку отца Михаила.

Глава II Прощание

Проходя желтыми воротами, Александров подумал: «А не зайти ли к батюшке Михаилу за благословением. Новая жизнь начинается, взрослая, серьезная и суровая. Кто же поддержал ласковой рукой бестолкового кадета, когда он, обезумев, катился в пропасть, как не этот маленький, похожий на Николая-угодника священник, такой трогательно-усталый на великопостных вечерах, такой терпеливый, когда ему предлагали на уроках ядовитые вопросы: «Батюшка, как же это? Ведь Бог всеведущ и всемогущ. Он за тысячу, за миллион лет знал, что Адам и Ева согрешат, и, стало быть, они не могли не согрешить. Отчего же Он не мог уберечь их от этого поступка, если Он всесилен? И тогда какой же смысл в их изгнании и в несчастьях всего человечества?»

На это отец Михаил четко, сухо и пространно принимается говорить о свободной воле и, наконец, видя, что схоластика плохо доходит до молодых умов, сделал кроткое заключение:

– А вы поусерднее молитесь Богу и не мудрствуйте лукаво.

На сердце Александрова сделалось тепло и мягко, как когда-то под бабушкиной заячьей шубкой.

Стоя перед казармой, он несколько минут колебался: идти? не идти? Но какая-то дикая застенчивость, боязнь показаться навязчивым – преодолели, и Александров пошел дальше. Эти чувства нежной благодарности и уютной доброты, связанные с личностью отца Михаила, никогда не забудутся сердцем Александрова. Через четырнадцать лет, уже оставив военную службу, уже женившись, уже приобретая большую известность как художник-портретист, он во дни тяжелой душевной тревоги приедет, сам не зная зачем, из Петербурга в Москву, и там неведомый, темный, но мощный инстинкт властно потянет его в Лефортово, в облупленную желтую николаевскую казарму, к отцу Михаилу. Его введут в крошечный кабинет, еле освещенный керосиновой лампой под синим абажуром. Навстречу ему подыметесь отец Михаил в коричневой ряске, совсем крошечный и сгорбленный, подобно Серафиму Саровскому, уже не седой, а зеленоватый, видимо немного обеспокоенный появлением у него штатского, то есть человека из совсем другого, давно забытого, непривычного, невоенного мира.

– Чем могу служить? – спросит он вежливо и суховато, щуря, по старой, милой, давно знакомой Александрову привычке, подслеповатые глаза.

Александров назовет свое имя и год выпуска, но священник только покачает головою с жалостным видом.

– Не помню. Простите, никак не могу вспомнить. Ведь сколько лет, сколько, сколько сотен имен... Трудно все помнить...

Тогда Александров, волнуясь и торопясь, и чувствуя, с невольной досадой, что его слова гораздо грубее и невыразительнее его душевных ощущений, рассказал о своем бунте, об увещевании на темной паперти, об огорчении матери и о том, как была смягчена, стерта злобная воля мальчугана. Отец Михаил тихо слушал, слегка кивая, точно в такт рассказу, и почти неслышно приговаривал:

– Так, так, так. Так, так.

Когда же Александров окончил, батюшка спросил:

– А чем же вы теперь, господин, изволите заниматься?

– Я художник, живописец. Главным образом пишу портреты маслом. Может быть, слышали когда-нибудь: художник Александров?

– Признаться, не довелось слышать, не довелось. Мы ведь в корпусе, как в монастыре. Ну, что же? Живопись – дело благое, если Бог сподобил талантом. Вон святой апостол Лука. Чудесно писал иконы Божией Матери. Прекрасное дело.

Потом, точно снова встревожась, он спросил:

– А что же вам, господин, от меня требуется?

– Да ничего, батюшка, – ответил, слегка опечалась, Александров. – Ничего особенного. Потянуло меня, батюшка, к вам, по памяти прежних лет. Очень тоскую я теперь. Прошу, благословите меня, старого ученика вашего. Восемь лет у вас исповедовался.

Священник ласково улыбнулся, съезжил лицо, ставшее необыкновенно милым.

– Значит, в каком-то классе зазимовали?

– В шестом. И пять лет пел на клиросе. Благословите, отец Михаил.

– Бог благословит. Во имя Отца и Сына и Святого Духа...

Александров поцеловал сухонькую маленькую косточку, и душа его умякла.

– До свидания, батюшка. Простите, что побеспокоил.

– Ничего, дорогой мой, ничего... И меня простите, что не узнаю вас. Дело мое старое. Шестьдесят пятый год идет... Много времени утекло...

Идет юный Александров по знакомым, старинным местам мимо первого корпуса, над большим красным зданием которого висит огромный навес. Тронная зала, построенная Лефортом в честь Петра, в которой по ночам бродили призраки; мимо старинных потешных укреплений с высокими валами и глубокими рвами. Там крутой спуск к пруду: зимой из него делали славную ледяную гору. Вот первый плац – он огорожен от дороги густой изгородью желтой акации, цветы которой очень вкусно было есть весной, и ели их целыми шапками. Впрочем, охотно ели всякую растительную гадость, инстинктивно заменяя ею недостаток овощной пищи. Ели молочай, благородный щавель, и какие-то просвиры, дудки дикого тмина, и, в особенности, похожие на редьку корни свербики, или свергбуса, или, вернее, сурепицы. Чтобы есть эти горьковатые корни с лучшим аппетитом, приносили с собою от завтрака ломоть хлеба и щепотку соли, завернутой в бумажку.

Вот второй плац, отделенный рядом старых, высоченных, бальзамических тополей. Как удивительно благоухали в пору экзаменов их липкие блестящие листья и клейкие темные почки! На втором плацу играли в лапту, в городки, в зук, в чехарду и особенно в запрещенную игру – в «кучки», – которая очень часто кончалась переломами и вывихами рук и ног. На этой же площадке пели весенними вечерами свои собственные песни, передававшиеся из поколения в поколение и часто не совсем цензурные. Отсюда же переругивались, состязаясь в мастерстве брани, с соседями, через забор, учениками фельдшерской школы, которых звали клистирными трубками и рвотным порошком.

За калиткой – третий плац, строевой, необыкновенной величины. Он тянется от корпуса до Анненгофской рощи, где вдали красное здание острога и городская свалка. За Анненгофскую рощу удирали отчаянные храбрецы ранней весной, чтобы выкупаться в студеной воде узенькой речушки Синички и выскочить из нее, посинев от холода, лязгая зубами и трясясь всеми суставами. У калитки, весной, всегда останавливается разносчик Егорка с тирольскими пирожками (пять копеек пара), похожими видом на куски черного хлеба, очень тяжелыми и сытными. Здесь же, у калитки, на утренней прогулке, семиклассники дожидались проезда ежедневного дилижанса, в котором, вдоль, слева и справа, сидели премиленькие девочки разных возрастов и в разных костюмах. Это – местные лефортовские ученицы ездили в город, в гимназию госпожи Перепелкиной, отчего и их самих коротко и ласково называли «перепелками». Немножко кокетничать с ними – это была неотъемлемая и строго охраняемая привилегия седьмого класса. Когда дилижанс равнялся с калиткой, то в него летели скромные дары: крошечные букетики лютиков, вероники, иван-да-марьи, желтых одуванчиков, желтой акации, а иногда даже фиалок, набранных в соседнем ботаническом саду с опасностью быть пойманным и оставленным без третьего блюда. Бросались иногда и стишки в бумажке, сложенной петушком:

Лишь только Феб осветит елки,
Как уж проснулись перепелки,
Спешат, прекрасные, спешат.
На нас красотки не глядят.
А мы, отвергнутые, млеем,
Дрожим и даже пламенеем...

Быстрым зорким взором обегает Александров все места и предметы, так близко прилепившиеся к нему за восемь лет. Все, что он видит, кажется ему почему-то в очень уменьшенном

и очень четком виде, как будто бы он смотрит через обратную сторону бинокля. Задумчивая и сладковатая грусть в его сердце. Вот было все это. Было долго-долго, а теперь отошло навсегда, отпало. Отпало, но не отболело, не отмерло. Значительная часть души остается здесь, так же как она остается навсегда в памяти.

Как много прошло времени в этих стенах и на этих зеленых площадках: раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Как долго считать, а ведь это – годы. Что же жизнь? Очень ли она длинна, или очень коротка?

Все вечный вопрос. Настанет минута, когда бессонною ночью Александров начнет считать до пятидесяти четырех и, не досчитав, лениво остановится на сорока. «Зачем думать о пустяках?»

Глава III Юлия

По «черному» крыльцу входит Александров в полутемную прихожую, где всегда раздевались приезжавшие учителя. Встречает его древний, седой в прозелень, весь какой-то обомшелый будничным швейцар по кличке Сова.

– Здравия желаю, господин юнкер, – сипит он астматическим махорочным голосом.

Александров еще в кадетской форме; ему еще довольно далеко до настоящего юнкера, но так лестно звучит это гордое звание, что рука невольно тянется в карман за последним, единственным гривенником.

– Пожалуйте в лазаретную приемную, – говорит Сова. – Там приказано собраться всем отпускным.

Александров идет в лазарет по длинным, столь давно знакомым рекреационным залам; их полы только что натерты и знакомо пахнут мастикой, желтым воском и крепким, терпким, но все-таки приятным потом полотеров. Никакие внешние впечатления не действуют на Александрова с такой силой и так тесно не соединяются в его памяти с местами и событиями, как запахи. С нынешнего дня и до конца жизни память о корпусе и запах мастики останутся для него неразрывными.

Уже восьмой раз в своей жизни испытывает Александров заранее то волнение, которое всегда овладевало им при новой встрече с близкими одноклассниками после полутора месяцев летнего отпуска. Как сладко рассказывать и как интересно слушать о бесконечно разнообразных летних впечатлениях! Тут все ново и увлекательно. Один целое лето ловил щук на жерлицу, на блесну и на огонь, острогию. Другому подарили лошадь, и он верхом травил зайцев с борзыми. У третьего в имении его родителей археологи разрыли древний могильник и нашли там много костей, древней утвари, орудия и золотых украшений, которые от времени и пребывания в земле покрылись зеленою ярью. Четвертый был свидетелем большого лесного пожара и того, как убивали бешеную собаку. Следующий говорил гордо о том, как ему шурин Стася, Великий Охотник, подарил настоящую двустволку; правда – шомпольную, но знаменитого завода «Гастин-Ренетт». Таких редких ружей осталось во всем мире всего только, может быть, пять или шесть. Счастливый обладатель этого сокровища не расставался с ним ни на минуту и даже, ложась спать, укладывал его с собою в постель. А какие были купанья! Особенно на утренней заре, когда розовая вода так холодна и так до дрожи сильно и радостно пахнет. Какие злые, щипучие были черные в зелень раки! А березовая роща с грибами, черникой, брусникой и гонобобом! А сосновый лес, где рыжики, и ароматная дикая малина, и белки, и ежевика, и сами ежи, колючие недотроги! А кроткие домашние животные и зверюшки!

Эти разговоры велись обыкновенно вечером, в полутемной спальне, на чьей-нибудь койке. Они на много-много дней скрашивали монотонное однообразие жизни в казенном закрытом училище, и была в них чудесная и чистая прелесть, вновь переживать летние впечатления, которые *тогда* протекали совсем не замечаемые, совсем не ценимые, а теперь как будто по волшебству встают в памяти в таком радостном, блаженном сиянии, что сердце нежно сжимается от тихого томления и впервые крадется смутно в голову печальная мысль: «Неужели все в жизни проходит и никогда не возвращается?»

Есть и у Александрова множество летних воспоминаний, ярких, пестрых и благоуханных; вернее – их набрался целый чемодан, до того туго, туго набитый, что он вот-вот готов лопнуть,

если Александров не поделится со старыми товарищами слишком грузным багажом... Милая потребность юношеских душ!

И на прекрасном фоне золотого солнца, голубых небес, зеленых рощ и садов – всегда на первом плане, всегда на главном месте *она*; непостижимая, недостижимая, несравненная, единственная, восхитительная, головокружительная – Юлия.

Но Юлия, это – только человеческое имя. Мало ли Юлий на свете. Вот даже есть в обиходе такой легонький стишок:

Хожу ли я, брожу ли я,
Все Юлия да Юлия.

Правда, Александров, немножко балующий стишками, пробовал иногда расцветить, углубить это двухстрочие:

В июне и в июле я
Влюблен в тебя, о Юлия!

На зов твой не бегу ли я
Быстрее пули, Юлия?

И описать смогу ли я
Красы твои, о Юлия!

И так далее, и так далее...

Но чего стоят вялые и беспомощные стишки? И настоящее имя ее совсем не Юлия, а скорее Геба, Гера, Юнона, Церера или другое величественное имя из древней мифологии.

Она высока ростом: на полголовы выше Александрова. Она полна, движения ее неторопливы и горды. Лицо ее кажется Александрову античным. Влажные большие темные глаза и темнота нижних век заставляют Александрова применять к ней мысленно гомеровский эпитет: «волокая».

На дачном танцевальном кругу, в Химках, под Москвою, он был ее постоянным кавалером в вальсе, польке, мазурке и кадрили, уделяя, впрочем, немного благосклонного внимания и ее младшим сестрам, Ольге и Любе. Александров отлично знал о своей некрасивости и никогда в этом смысле не позволял себе ни заблуждений, ни мечтаний; но еще с большей уверенностью он не только знал, но и чувствовал, что танцует он хорошо: ловко, красиво и весело.

Ах! Однажды его великая летняя любовь в Химках была омрачена и пронзена зловещим подозрением: с горем и со стыдом он вдруг подумал, что Юленька смотрит на него только как на мальчика, как на желторотого кадетика, еще даже не юнкера, что кокетничает она с ним только от дачного «нечего делать» и что если она в нем что-нибудь и ценит, то только свое удобство танцевать с постоянным партнером, неутомимым, ловким и находчивым; с чем-то вроде механического манекена.

Со жгучей злобой, не потерявшей свежести даже и теперь, вспоминает Александров этот тяжелый момент.

В семье трех сестер Синельниковых, на даче, собиралось ежедневно множество безусой молодежи, лет так от семнадцати и до двадцати: кадеты, гимназисты, реалисты, первокурсники-студенты, ученики консерватории и школы живописи и ваяния и другие. Пели, танцевали под пианино, в *petits jeux*¹ и в каком-то круговоротном беспорядке влюблялись то в Юленьку, то в Оленьку, то в Любочку. И всегда там хохотали.

Приходил постоянно на эти невинные забавы некто господин Покорни. Сверстникам Александрова он казался стариком, хотя вряд ли ему было больше тридцати пяти лет: таков уж условный масштаб юности. Надо сказать, что в этой молодой и веселой компании господин Покорни был не только не нужен, но, пожалуй, даже и тяжел. Он был длинен, как жираф; гораздо

¹ Салонные игры (фр.)

выше Юленьки, и когда танцевал, то беспрестанно бил свою даму острыми коленками. Он не умел смеяться и часто грыз в молчании ногти. Если в «почте» его спрашивали: «А ваша корреспонденция?» – он отвечал: «Да я не знаю, что написать». Вообще он наводил уныние. Про него знали только то, что у него в Москве большой магазин фотографических принадлежностей. И был он вместе с бесцветным лицом, с фигурой и костюмом весь в продольных и вертикальных морщинах.

В Троицын день на Химкинском кругу был назначен пышный бал – gala. Военный оркестр из Москвы и удвоенное количество лампионов. После третьей кадрили заиграли ритурнель к вальсу. Александров разыскал Юленьку. Она сидела на скамейке одна и перебирала складки своего веера. Александров подбежал и низко поклонился, приглашая ее на танец. Она уже встала, но откуда-то вдруг просунулся долговязый Покорни, изогнувшись над Александровым, протянул руку Оленьке. И она – о, ужас! – отвернулась от юноши и положила руку на плечо жирафа.

– Позвольте, – сдержанно, но гневно воскликнул Александров. – Послушайте!

Но Юленька и Покорни уже вертелись – благодаря косолапому кавалеру не в такт.

У Александрова так горько стало во рту от злобы, точно он проглотил без воды целую ложку хинина.

Чтобы не быть узнанным, он сошел с танцевального круга и пробрался вдоль низенького забора, за которым стояли бесплатные созерцатели роскошного бала, стараясь стать против того места, где раньше сидела Юленька. Вскоре вальс окончился. Они прошли на прежнее место. Юленька села. Покорни стоял, согнувшись над нею, как длинный крючок. Он что-то бубнил однообразным и недовольным голосом, как будто бы он шел не из горла, а из живота.

«Точно чревовещатель, – подумал Александров. – Должно быть, у всех подлецов такие противные голоса».

Юленька молчала, нервно распуская и сжимая свой веер. Потом она очень громко сказала:

– Сто раз я вам говорила – нет. И значит – нет. Проводите меня к татам. Нужно всегда думать о том, что делаешь.

Александров густо покраснел в темноте.

– Боже мой, неужели я подслушиваю!

Еще долго не выходил он из своей засады. Остаток бала тянулся, казалось, бесконечно. Ночь холодела и сырела. Духовая музыка надоела; турецкий барабан стучал по голове с раздражающей ритмичностью. Круглые стеклянные фонари светили тусклее. Висячие гирлянды из дубовых и липовых веток опустили беспомощно свои листья, и от них шел нежный, горьковатый аромат увядания. Александрову очень хотелось пить, и у него пересохло в горле.

Наконец-то Синельниковы собрались уходить. Их провожали: Покорни и маленький Панков, юный ученик консерватории, милый, белокурый, веселый мальчуган, который сочинял забавную музыку к стихам Козьмы Пруткова и к другим юмористическим вещицам. Александров пошел осторожно за ними, стараясь держаться на таком расстоянии, чтобы не слышать их голосов.

Он слышал, как все они вошли в знакомую, канареечного цвета дачу, которая как-то особенно, по-домашнему, приютилась между двух тополей. Ночь была темная, беззвездная и росистая. Туман увлажнял лицо.

Вскоре мужчины вышли и у крыльца разошлись в разные стороны. Погас огонек лампы в дачном окне: ночь стала еще чернее.

Александров ничего не видел, но он слышал редкие шаги Покорни и шел за ними. Сердце у него билось-билось, но не от страха, а от опасения, что у него выйдет неудачно, может быть даже смешно.

Не доходя до лаун-теннисной площадки, он мгновенно решил. Слегка откашлялся и крикнул:

– Господин Покорни!

Голос у него из-за тумана прозвучал глухо и плоско. Он крикнул громче:

– Господин Покорни!

Шаги Покорни стихли. Послышался из темноты точно придушенный голос:

– Кто такой? Что нужно?

Александров сделал несколько шагов к нему и крикнул:

– Подождите меня. Мне нужно сказать вам несколько слов.

– Какие такие слова? Да еще ночью?

Александров и сам не знал, какие слова он скажет, но шел вперед. В это время ущербленный и точно заспанный месяц продрался и выкатился сквозь тяжелые громоздкие облака, осветив их сугробы грязно-белым и густо-фиолетовым светом. В десяти шагах перед собою Александров смутно увидел в тумане неестественно длинную и худую фигуру Покорни, который, вместо того чтобы дожидаться, пятился назад и говорил преувеличенно громко и торопливо:

– Кто вы такой? Что вам от меня надо, черт возьми?

Голос у него вздрагивал, и это сразу ободрило юношу. Давид снова сделал два шага к Голиафу.

– Я – Александров. Алексей Николаевич Александров. Вы меня знаете.

Тот ответил с принужденной грубостью:

– Никого я не знаю и знать не хочу всякую дрянь.

Но Александров продолжал наступать на пятившегося врага.

– Не знаете, так сейчас узнаете. Сегодня на кругу вы позволили себе нанести мне тяжелое оскорбление... в присутствии дамы. Я требую, чтобы вы немедленно принесли мне извинение, или...

– Что или? – как-то по-заячьи жалобно закричал Покорни.

– Или вы дадите мне завтра же удовлетворение с оружием в руках!

Вызов вышел эффектно. Какого рода оружие имел в виду кадет – а через неделю юнкер Александров, – так и осталось его тайной, но боевая фраза произвела поразительное действие.

– Мальчишка! щенок! – завизжал Покорни. – Молоко на губах не обсохло! За уши тебя драть, сопляка! Розгой тебя!

Всю эту ругань он выпалил с необычайной быстротой, не более чем в две секунды. Александров вдруг почувствовал, что по спине у него забегали холодные щекотливые мурашки и как-то весело потеплело темя его головы от опьяняющего предчувствия драки.

– Казенная шкура! – гавкнул Покорни напоследок.

Но тут произошло нечто совершенно неожиданное: сжав кулаки до боли, видя красные круги перед глазами, напрягая все мускулы крепкого, почти восемнадцатилетнего тела, Александров уже ринулся с криком: «Подлец», на своего врага, но вдруг остановился, как от мгновенного удара.

Покорни, удивительно быстро повернувшись, кинулся изо всех сил в бегство. Некто, там наверху заведующий небесными световыми эффектами, пустил вдруг вовсю лунный прожектор, и глазам Александрова внезапно предстало изумительнейшее зрелище. Давным-давно, еще будучи мальчиком, он видал в иллюстрациях к Жюль Верну страуса, мчащегося в легкой упряжке, и жирафа, который обгоняет курьерский поезд. Вот именно таким размашистым аллюром удирал с поля чести ничтожный Покорни. Александров кинулся было его догонять, но вскоре убедился в том, что это не в силах человеческих. «Не швырнуть ли камнем в его спину? – Нет. Это будет низко». Так и бежал он потихоньку за Покорни, пока тот не остановился у своей дачи и не открыл входную дверь.

– Трус, хам и трижды подлец! – крикнул ему вслед Александров.

– А ты сволочь! – ответил Покорни, и дверь громко хлопнула.

Четыре дня не появлялся Александров у Синельниковых, а ведь раньше бывал у них по два, по три раза в день, забегая домой только на минуточку, пообедать и поужинать. Сладкие терзания томили его душу: горячая любовь, конечно, такая, какую не испытывал еще ни один человек с сотворения мира; зеленая ревность, тоска в разлуке с обожаемой, давняя обида на предпочтение... По ночам же он простаивал часами под двумя тополями, глядя в окно возлюбленной.

На пятый день добрый друг, музыкант Панков, влюбленный – все это знали – в младшую из Синельниковых, в лукавоглазую Любу, пришел к нему и в качестве строго доверенного лица принес запечатанную записочку от Юлии.

«Милый Алеша (это впервые, что она назвала его уменьшительным именем).

Зачем вы, ненавидя своего врага, делаете несчастными ваших искренних друзей.

Приходите к нам по-прежнему. *Его теперь нет* и, надеюсь, больше никогда не будет.

А мне без вас так ску-у-чно.

Ваша Ю.

Ц. »

Минут десять размышлял Александров о том, что могла бы означать эта буква Ц., поставленная в самом конце письма так отдельно и таинственно. Наконец он решился обратиться за помощью в разгадке к верному белокурому Панкову, явившемуся сегодня вестником такой великой радости.

Панков поглядел на букву, потом прямо в глаза Александрову и сказал спокойно:

– Ц. – это значит – целую, вот и все.

В тот же день влюбленный молодой человек открыл, что таинственная буква Ц. познается не только зрением и слухом, но и осязанием. Достоверность этого открытия он проверил впоследствии раз сто, а может быть, и больше, но об этом он не расскажет даже самому лучшему, самому вернейшему другу.

Глава IV Бесконечный день

В лазаретной приемной уже собрались выпускные кадеты. Александров пришел последним. Его невольно и как-то печально поразило: какая малая кучка сверстников собралась в голубой просторной комнате, – пятнадцать-двадцать человек, не больше, а на последних экзаменах их было тридцать шесть. Только спустя несколько минут он сообразил, что иные, не выдержавши выпускных испытаний, остались в старшем классе на второй год; другие были забракованы, признанные по состоянию здоровья негодными к несению военной службы; следующие пошли: кто побогаче – в Николаевское кавалерийское училище; кто имел родню в Петербурге – в пехотные петербургские училища; первые ученики, сильные по математике, избрали привилегированные карьеры инженеров или артиллеристов; здесь необходимы были и протекция и строгий дополнительный экзамен.

Почему-то жалко стало Александрову, что вот расстроилось, расклеилось, расшаталось крепкое дружеское гнездо. Смутно начинал он понимать, что лишь до семнадцати, восемнадцати лет мила, светла и бескорытна юношеская дружба, а там охладает тепло общего тесного гнезда, и каждый брат уже идет в свою сторону, покорный собственным влечениям и велению судьбы.

Пришел доктор Криштафович и с ним корпусный фельдшер Семен Изотыч Макаров. Фельдшера кадеты прозвали «Семен Затыч», или иначе «клистирная трубка». Его не любили за его непреклонность. Нередко случалось, что кадет, которому до истомы надоела ежедневная зубрежка, разрешал сам себе день отдыха в лазарете. Для этого на утреннем медицинском обходе он заявлял, что его почему-то бросает то в жар, то в холод, а голова у него и болит и кружится, и он сам не знает, почему это с ним делается. Его отсылали вниз, в лазарет. Всем были известны способы, как довести температуру тела до желанных предельных 37,6 градусов. Но злодейский фельдшер Макаров, ставивший градусник, знал все кадетские фокусы и уловки, и никакое фальшивое обращение с градусником не укрывалось от его зорких глаз. Но дальше бывало еще хуже. Все, признанные больными, все равно, какая бы болезнь у них ни оказалась, – неизбежно перед ванной должны были принять по стаканчику касторового масла. Этим делом заведовал сам Макаров, и ни просьбы, ни посулы, ни лесть, ни упреки, ни даже бунт не могли повлиять на его твердокаменное сердце. Зеленого стекла толстостенный стакан, на дне чуть-чуть воды, а выше, до краев, желтоватое густое ужасное масло. Кусок черного хлеба густо посыпан крупной солью. Это – роковая закуска. Последний вздох, страшное усилие над собою. Нос зажат, глаза зажмурены.

– Э, нет. До конца, до конца! – кричит проклятый Макаров... Гнусное воспоминание...

Но бывали редкие случаи, когда Изотычу прощалось его холодное коварство. Это бывало тогда, когда удавалось его затащить в гимнастический зал.

Он делал на турнике, на трапедии и на параллельных брусьях такие упражнения, которых никогда не могли сделать самые лучшие корпусные гимнасты. Он и сам-то похож был на циркача очень малым ростом, чересчур широкими плечами и короткими кривыми ногами.

Сейчас же вслед за доктором пришел дежурный воспитатель, никем не любимый и не ува-

жаемый Михин.

– Здравствуйте, господа, – поздоровался он с кадетами.

И все они, даже не сговорившись заранее, вместо того чтобы крикнуть обычное: «Здравия желаем, господин поручик», ответили равнодушно: «Здравствуйте».

Михин густо покраснел.

– Раздевайтесь на физический осмотр, – приказал он дрожащим от смущения и обиды голосом и стал кусать губы.

Кадеты быстро разделись донага и босиком подходили по очереди к доктору. То, что было в этом телесном осмотре особенно интимного, исполнял фельдшер. Доктор Криштафович только наблюдал и делал отметки на списке против фамилий. Такой подробный осмотр производился обыкновенно в корпусе по четыре раза в год, и всегда он бывал для Александрова чем-то вроде беспечной и невинной забавы, тем более что при нем всегда бывало испытание силы на разных силомерах – нечто вроде соперничества или состязания. Но почему теперь такими грубыми и такими отвратительными казались ему прикосновения фельдшера к тайнам его тела?

И еще другое: один за другим проходили мимо него нагишом давным-давно знакомые и привычные товарищи. С ними вместе сто раз мылся он в корпусной бане и купался в Москве-реке во время летних Коломенских лагерей. Боролись, плавали наперегонки, хвастались друг перед другом величиной и упругостью мускулов, но самое тело было только незаметной оболочкой, одинаковой у всех и ничуть не интересною.

И вот теперь Александров с недоумением заметил, чего он раньше не видел или на что почему-то не обращал внимания. Странными показались ему тела товарищей без одежды. Почти у всех из-под мышек росли и торчали наружу пучки черных и рыжих волос. У иных груди и ноги были покрыты мягкой шерстью. Это было внезапно и диковинно. И тут только заметил он, что прежние золотистые усики на верхней губе Бутынского обратились в рыжие, большие, толстые фельдфебельские усы, закрученные вверх. «Что с нами со всеми случилось?» – думал Александров и не понимал.

Но особенно смущали его от природы необычайно тонкое обоняние запахи этих сильных, полумужских обнаженных тел. Они пахнули по-разному: то сургучом, то мышатиной, то пороховой гарью, то увядающим нарциссом...

– Удивительно, неужели мы все разные, – сказал себе Александров, – и разные у нас характеры, и в разные стороны потекут наши уже чужие жизни, и разная ждет нас судьба? Да и правда: уж не взрослые ли мы стали?

Осмотр кончился. Кадеты оделись и поехали в училище на Знаменку. Но каким способом и каким путем они ехали – это навсегда выпало из памяти Александрова. В бесконечную длину растянулся для него сложный, пестрый, чрезмерно богатый лицами, событиями и впечатлениями день вступления в училище.

Утром в Химках прощание с сестрой Зиной, у которой он гостил в летние каникулы. Здесь же, по соседству, визит семье Синельниковых. С большим трудом удалось ему улучшить минуту, чтобы остаться наедине с богоподобной Юленькой, но когда он потянулся к ней за знакомым, сладостным, кружащим голову поцелуем, она мягко отстранила его загорелой рукой и сказала:

– Забудем летние глупости, милый Алеша. Прошел сезон, мы теперь стали большие. В Москве приходите к нам потанцевать. А теперь прощайте. Желаю вам счастья и успехов.

И он ушел, молча, обиженный, несчастный, едва сдерживая горькие слезы...

Потом путь по железной дороге до Николаевского вокзала; оттуда на конке в Кудрино, к маме; затем вместе с матерью к Иверской Божьей Матери; после чуть ли не на край города в Лефортово, в кадетский корпус. Прощание, переодевание и, наконец, опять огромный путь на Арбат, на Знаменку, в белое здание Александровского училища.

В теле усталость, в голове путаница. В целые годы растянулся этот тягучий день, и все нет ему конца.

Никогда потом в своей жизни не мог припомнить Александров момента вступления в училище. Все впечатления этого дня походили у него в памяти на впечатления человека, проснувшегося после сильнейшего опьянения: какие-то смутные картины, пустячные мелочи и между ними черные провалы. Так и не мог он восстановить в памяти, где выпускных кадет переодевали в юнкерское белье, одежду и обувь, где их ставили под ранжир и распределяли по ротам.

Ярче всего сохранилась у него такая минута: он стоит в длинном широком белом коридоре;

на нем легкая свободная куртка, застегнутая сбоку на крючки, а на плечах белые погоны с красным вензелем А. П., Александр Второй. По коридору взад и вперед снуют молодые люди. Здесь и старые юнкера-второкурсники, которых сразу видно по выправке, и только прибывшие выпускные кадеты других корпусов, как московских, так и провинциальных, в разноцветных погонах. Тут впервые понимает Александров, как тяжело одиночество в чужой незнакомой толпе.

Он стоит у широкого окна, равнодушно прислушиваясь к гулу этого большого улья, рассеянно, без интереса, со скукою глядя на пестрое суетливое движение. К нему подходит невысокий офицер с капитанскими погонами – он худощав и смугло румян, черные волосы разделены тщательным пробором. Чуть-чуть заикаясь, спрашивает он Александрова:

– Какого э... корпуса?

– Второго московского, господин капитан.

– Э... На что же вы себе такие волосья отпустили? Думаете, красиво?

И он кричит громко:

– Андриевич!

– Я! – раздается отклик с другого конца коридора, и к офицеру быстро подбегает и ловко вытягивается перед ним тот самый Андриевич, который шел вместе с Александровым до шестого класса, очень дружил с ним и даже издавал с ним вместе кадетскую газету.

Офицер спрашивает:

– Вашего корпуса?

– Так точно, господин капитан.

– Э... Так возьмите этого отца протодиакона и тащите его к цирюльнику стричься, ишь какую гривицу отрастил.

– Слушаю, господин капитан.

Весело, лукаво улыбаясь, он непринужденно берет Александрова за рукав и говорит:

– Идем, идем, фараон.

Потом он сам наблюдает, как в умывалке цирюльник стрижет наголо бывшего друга-приятеля, и слегка добродушно подтрунивает.

– Почему же я фараон? – спрашивает Александров.

Тот отвечает:

– Потому же, почему я обер-офицер. Разница между первым и вторым курсом.

– А кто же этот капитан?

– Это командир нашей четвертой роты, капитан Фофанов, а по-нашему Дрозд. Строгая птица, но жить с ней все-таки можно. Я тебя давно знаю. Ты у него досыта насидишься в карцере.

По окончании стрижки он доставляет его ротному командиру. Тот смотрит на новичка сверху вниз, склоняя голову то на левый, то на правый бок.

– Э... Ничего. Так хоть немножко на юнкера похож. Вы его подтягивайте, Андриевич.

Глава V Фараон

С трудом, очень медленно и невесело осваивается Александров с укладом новой училищной жизни, и это чувство стеснительной неловкости долгое время разделяют с ним все первокурсники, именуемые на юнкерском языке «фараонами», в отличие от юнкеров старшего курса, которые, хотя и преждевременно, но гордо зовут себя «господами обер-офицерами».

В кличке «фараон», правда, звучит нечто пренебрежительное, но она не обижает уже благодаря одной своей нелепости. В Александровском училище нет даже и следов того, что в других военных школах, особенно в привилегированных, называется «щуканьем» и состоит в грубом, деспотическом и часто даже унижительном обращении старшего курса с младшим: дурацкий обычай, собезьяненный когда-то, давным-давно, у немецких и дерптских студентов, с их буршами и фуксами, и обратившийся на русской черноземной почве в тупое, злобное, бесцельное издевательство.

За несколько лет до Александрова «щукание» собиралось было прочно привиться и в Москве, в белом доме на Знаменке, когда туда по какой-то темной причине был переведен из Николаевского кавалерийского училища светлейший князь Дагестанский, привезший с собою из

Петербурга, вместе с распушенной развинченностью, а также с модным томным грассированием, и глупую моду «цукать» младших товарищей. Может быть, его громкий титул, может быть, его богатство и личное обаяние, а вероятнее всего, стадная подражательность, так свойственная юношеству, были причинами того, что обычаем «цукания» заразилась сначала первая рота – рота его величества, – в которую попал князь, а потом постепенно эту дурную игру переняли и другие три роты.

Однако это вредное самоуправство оказалось недолговечным. Преобладающим большинством в училище были коренные москвичи, вышедшие из четырех кадетских корпусов. Москва же в те далекие времена оставалась воистину «порфиносною вдовою», которая не только не склонялась перед новой петербургской столицей, но величественно презирала ее с высоты своих сорока сороков, своего несметного богатства и своей славной древней истории. Была она горда, знатна, самолюбива, широка, независима и всегда оппозиционна. Порою казалось, что она считает себя совсем отдельным великим княжеством, с князем-хозяином Владимиром Долгоруким во главе. Бюрократический Петербург, с его сухостью, узостью и европейской мелочностью, не существовал для нее. И петербургской аристократии она не признавала. «В Питере – все выскочки. Самым старым родам не более трехсот лет, а ордена и высокие титулы там даются за низкопоклонство и угодливость». А Москва? «Что за тузы в Москве живут и умирают! Какие славные вековые боярские столбовые роды обитают в ней на Пречистенке, на Поварской, на Новинском бульваре и на Никитских...» И самый воздух в первопрестольной был совсем иной, чем петербургский: куда крепче, ядренее, легче, хмельнее и свободнее. Петербургские штучки, словца и шуточки вяло прививались в Москве и скоро отмирали. Таким же путем прекратилось в Александровском училище и пресловутое немецкое «цуканье». Не место ему было в свобододобивой Москве. Угнетенные навязанной мелкой тиранией господ обер-офицеров, юнкера, однако, не жаловались ни высшему начальству, ни своим родителям: и то и другое было бы изменой внутреннему духу и укладу училища. Переворот произошел как-то случайно, сам собою, в один из тех июльских горячих дней, когда подходила к самому концу тяжелая, изнурительная лагерная служба.

Юнкера старшего класса уже успели разобрать, по присланному из Петербурга списку, двести офицерских вакансий в двухстах различных полках. По субботам они ходили в город к военным портным примерить в последний раз мундир, сюртук или пальто и ежедневно, с часа на час, лихорадочно ждали заветной телеграммы, в которой сам государь император поздравит их с производством в офицеры.

В этот день после нудного батальонного учения юнкера отдыхали и мылись перед обедом. По какой-то странной блажи второкурсник третьей роты Павленко подошел к фараону этой же роты Голубеву и сделал вид, что собирается щелкнуть его по носу. Голубев поднял руку, чтобы предотвратить щелчок. Но Павленко закричал: «Это что такое, фараон? Смирно! Руки по швам!» Он еще раз приблизил сложенные два пальца к лицу Голубева. Но тут произошло нечто вовсе неожиданное. Скрамный, всегда тихий и вежливый Голубев воскликнул:

– Довольно вы надо мною издевались! – и с этим криком, быстро открыв складной ножик, вонзил его в наружную сторону протянутой кисти. Павленко опешил. Рана оказалась пустячная, но кровь потекла обильно. Кстати, Голубев первый сделал Павленку перевязку из своего чистого полотенца.

Эта неприятная история быстро разнеслась по всему лагерю. Ни старшие, ни младшие юнкера не знали, как отнестись к кровавому событию. Некоторые из выпускных, очень немногие, и самые ярые «цукатели» предлагали довести до сведения начальства о дерзком поступке Голубева: пусть его подвергнут усиленному аресту или отправят нижним чином в полк. Но половина господ обер-офицеров и все фараоны стояли за него. Мигом по всем четырем баракам второкурсников помчались летучие гонцы: «После обеда всему второму курсу собраться в столовую!»

Собралось человек до шестидесяти. Уклонились лентяи, равнодушные, эгоисты, боязливые, туповатые, мнительные, неисправимые сони, выгадывавшие каждую лишнюю минутку, чтобы поваляться в постели, а также будущие карьеристы и педанты, знавшие из устава внутренней службы о том, что всякие собрания и сборища строго воспрещаются.

Говорили все сразу, но договорились очень скоро.

«Нам колбасники, немецкие студенты, не пример и гвардейская кавалерия не указ. Пусть кавалерийские юнкера и гвардейские «корнеты» ездят верхом на своих зверях и будят их среди

ночи дурацкими вопросами. Мы имеем высокую честь служить в славном Александровском училище, первом военном училище в мире, и мы не хотим марать его прекрасную репутацию ни шутовским балаганом, ни идиотской травлей младших товарищей. Поэтому решим твердо и дадим друг другу торжественное слово, что с самого начала учебного года мы не только окончательно прекращаем это свинское цуканье, достойное развлечений в тюрьме и на каторге, но всячески его запрещаем и не допустим его никогда. Да его уже и нет, оно прошло, и мы забыли о нем. Не правда ли, друзья? и все. И точка.

Пусть, в память старины, фараоны так и остаются фараонами. Не нами это прозвание придумано, а нашими прославленными предками, из которых многие легли на поле брани за веру, царя и отечество. Пусть же свободный от цукания фараон все-таки помнит о том, какая лежит огромная дистанция между ним и господином обер-офицером. Пусть всегда знает и помнит свое место, пусть не лезет к старшим с фамильярностью, ни с амикошонством, ни с дружбой, ни даже с простым праздным разговором. Спросит его о чем-нибудь обер-офицер – он должен ответить громко, внятно, бодро и при этом всегда правду. И конец. И дальше – никакой болтовни, никакой шуток, никакого лишнего вопроса. Иначе фараон зазнается и распустится. А его, для его же пользы, надо держать в строгом, сухом и почтительном отдалении.

Да и зачем ему соваться в высшее, обер-офицерское общество? В роте пятьдесят таких фараонов, как и он, пусть они все дружатся и развлекаются. Мирятся и ссорятся, танцуют и поют промеж себя; пусть хоть представления дают и на головах ходят, только не мешали бы вечерним занятиям.

Но две вещи фараонам безусловно запрещены: во-первых, травить курсовых офицеров, ротного командира и командира батальона; а во-вторых, петь юнкерскую традиционную «расстанную песню»: «Наливай, брат, наливай». И то и другое – привилегии господ обер-офицеров; фараонам же заниматься этим – и рано и не имеет смысла. Пусть потерпят годик, пока сами не станут обер-офицерами... Кто же это в самом деле прощается с хозяевами, едва переступив порог, и кто хулит хозяйские пироги, еще их не отведав?»

Так, или почти так, выразили свое умное решение нынешние фараоны, а через день, через два уже господа обер-офицеры; стоит только прийти волшебной телеграмме, после которой старший курс мгновенно разлетится, от мощного дуновения судьбы, по всем концам необъятной России. А через месяц придут в училище и новые фараоны.

И еще одно мудрое словесное постановление было утверждено на этом необыкновенном заседании в просторном столовом бараке...

«Но надо же позаботиться и о жалких фараонах. Все мы были робкими новичками в училище и знаем, как тяжелы первые дни и как неуверенны первые шаги в суровой дисциплине. Это все равно что учиться кататься на коньках или ходить на ходулях. И потому пускай каждый второкурсник внимательно следит за тем фараоном своей роты, с которым он всего год назад ел одну и ту же корпусную кашу. Остереги его вовремя, но вовремя и подтяни крепко. От веков в великой русской армии новобранцу был первым учителем, и помощником, и заступником его дядька-земляк».

Всю вескость последнего правила пришлось вскоре Александрову испытать на практике, и урок был не из нежных. Вставали юнкера всегда в семь часов утра; чистили сапоги и платье, оправляли койки и с полотенцем, мылом и зубной щеткой шли в общую круглую умывалку, под медные краны. Сегодняшнее сентябрьское утро было сумрачное, моросил серый дождик; желто-зеленый туман висел за окнами. Тяжесть была во всем теле, и не хотелось покидать кровати.

К Александрову подошел дежурный по роте, второкурсник Балиев, очень любезный и тихий армянин с оливковым лицом, испещренным веснушками.

– Вставайте же, Александров, – сказал он спокойно. – Вставайте.

– Да я сейчас, сейчас. Дайте полежать несколько минуток. Что вам стоит?

– А я вам говорю: вставайте немедленно! – возвысил голос Балиев.

– Ах, боже мой! Что же вам, жалко, что ли?

И вдруг он услышал через всю спальню резкий и гневный голос:

– Александров, молчать! Вставайте сию секунду!

В этом голосе было столько повелительного, что бедный фараон мгновенно вскочил на ноги, стряхнул с глаз сонную истому и сразу увидел, что кричал старший юнкер Тучабский. Это для Александрова было и дико и непонятно. Ведь это тот самый Тучабский, с которым они жили

в тесной дружбе целых шесть корпусных лет, пока Александров не застрял на второй год в шестом классе. Раньше же у них было все общее: пополам покупали халву и нугу, вместе собирали коллекции растений, бабочек и перьев. Изобрели собственную, никому не понятную азбуку и таинственный разговорный язык. Вместе же они одно время увлекались пиротехникой: делали из серы, селитры, бертолетовой соли, толченого сахара и угля бенгальские огни, вертуны и шутихи и зажигали их вечером в ватерклозете. Также читали друг другу по очереди книги, принесенные с воли... Да ведь это он, Тучабский, прежний, милый друг Тучабский!.. Откуда же у него взялся этот страшный голос, который точно столкнул Александрова с постели на пол. И горько и обидно стало фараону. «Что же меня ждет дальше?»

А после обеда, когда наступило время двухчасового отдыха, Тучабский подошел к Александрову, сидевшему на койке, положил ему свою огромную руку на голову и сурово-ласково сказал:

– Ты не сердись на меня. Я тебе же добра желаю. И прошу перестать быть ершом. Здесь тебе не корпус, а военное училище с воинской службой. Да подожди, все обомнется, все утрясется... Так-то, дорогой мой.

И ушел.

Глава VI Танталовы муки

Каждую среду на полдня и каждую субботу до вечера воскресенья юнкера ходили в отпуск. Злосчастные фараоны с завистью и с нетерпением следили за тем, как тщательно обряжались обер-офицеры перед выходом из стен училища в город; как заботливо стягивали они в талию новые прекрасные мундиры с золотыми галунами, с красным вензелем на белом поле. Мундиры, туго опоясанные широким кушаком, на котором перекрещивались две гренадерские пылающие гранаты. На левом боку кушака прикреплялся штык в кожаном футляре. Прежде – помнил Александров по своим ранним кадетским годам – оружием юнкера был не узенький, как селедка, штык, а тяжелый, широкий гренадерский тесак с медной витою рукоятью – настоящее боевое оружие, которым при желании свободно можно было бы оглушить быка. Александров уже знал, что совсем не его славные предки, «старинные александровцы», вызвали своим поведением такую прискорбную замену оружия. Виноваты были юнкера военного окружного училища, что в Красных казармах, те самые, которые после стажа в полку держат при своем училище экзамен на армейского подпрапорщика и которые набираются с бора по сосенке. Это они одной зимней ночью на Масленице завязали огромный скандал в области распривеселых непотребных домов на Драчевке и в Соболевом переулке, а когда дело дошло до драки, то пустили в ход тесаки, в чем им добросовестно помогли строевые гренадеры Московского округа. Около этого дурацкого события поднялся большой и, как всегда, преувеличенный шум, притушить который начальство не успело вовремя, и результатом был строгий общий разнос из Петербурга с приказом заменить во всем Московском гарнизоне тяжкие обоюдоострые тесаки невинными штыками...

Этот выходной костюм довершался летом – бескозыркой с красным околышем и кокардой, зимою – каракулевой низкой шапкой с золотым (медным) начищенным орлом. И тот и другой головной убор бывал лихо и вызывающе сдвинут на правый бок. Широкие черные штаны, по моде, заимствованной у императорских стрелков, надевались с широким напуском и низко заправлялись в *собственные* шикарные сапоги, французского или русского лака, стоившие не дешево. Постоянный училищный поставщик Ефремов брал за них с колодками от пятнадцати до восемнадцати рублей. Совсем, окончательно бедные юнкера принуждены были ходить в отпуск в казенных сапогах, слегка и вовсе уж не так дурно благоухавших дегтем. Зато белые замшевые перчатки были и обязательны и недороги: мыть их можно было хоть сто раз, и они ничуть не изнашивались. Да в училище никому бы не могло прийти в голову смеяться или глумиться над юнкером, родственники которого были людьми несостоятельными, часто многосемейными и живущими в глухой провинции на жалкую полковничью или майорскую пенсию. Случаи подобного издевательства были совсем неизвестны в домашней истории Александровского училища, питомцы которого, по каким-то загадочным влияниям, жили и возрастали на основах рыцарской военной демократии, гордого патриотизма и сурового, но благородного, заботливого и внимательного товарищества.

С особенной пристальностью следили, разинув рты, несчастные фараоны за тем, как обер-офицеры, прежде чем получить увольнительный билет, шли к курсовому офицеру или к самому Дрозду на осмотр.

– Почему косит борт? Зачем кокарда не посредине? Грудь морщит. Подтянуть! Кругом! Расправить складку на спине!

Но вот ровным, щегольским, учебным шагом подходит, громыхая казенными сапожищами, ловкий «господин обер-офицер». Раз, два. Вместе с приставлением правой ноги рука в белой перчатке вздергивается к виску. Прием сделан безупречно. Дрозд осматривает молодцеватого юнкера с ног до головы, как лошадиный знаток породистого жеребца.

– Хорошо, юнкер. И одет безупречно. За версту видно бравого александровца. Видно сову по полету, добра молодца по соплям.

– Рад стараться, ваше высокоблагородие!

– Ступайте с богом. – Двухприемный, крепкий поворот налево, и юнкер освобожден.

Новичкам еще много остается дней до облачения в парадную форму и до этого требовательного осмотра. Но они и сами с горечью понимают, что такая красивая, ловкая и легкая отчетливость во всех воинских движениях не дается простым подражанием, а приобретает долгой практикой, которая наконец становится бессознательным инстинктом.

До безумия, до чесотки хочется в отпуск, но нечего об этом счастье и думать. Не успел еще фараон дозреть до отпуска. Медленно ползут дни и недели скучного томления. Роздых и умягчение фараонским душам бывает только по четвергам. Каждый четверг за обедом играет в полуподвальной громадной каменной юнкерской столовой училищный оркестр. Этот оркестр и его изумительный дирижер, старый Крейнбринг, которого помнят древнейшие поколения александровцев, составляют вместе одну из почтенных московских достопримечательностей.

Всем юнкерам, так же как и многим коренным москвичам, давно известно, что в этом оркестре отбывают призыв лучшие ученики московской консерватории, по классам духовых инструментов, от начала службы до перехода в великолепный Большой московский театр. Юнкера – великие мастера проникнуть в разные крупные и малые дела и делишки – знают, что на флейте играет в их оркестре известный Дышман, на корнет-а-пистоне – прославленный Зеленчук, на гобое – Смирнов, на кларнете – Михайловский, на валторне – Чародей-Дудкин, на огромных медных басах – наемные, сверхсрочно служащие музыканты гренадерских московских полков, бывшие ученики старого требовательного Крейнбринга, и так далее. Барабанщик же Александровского оркестра – несменяемый великий артист Индурский, из кантонистов, одноклассник с Крейнбрингом, – маленький, стройный старичок с черными усами и с седыми баками по пояс. Он первейший из всех барабанщиков Московского военного округа, а может быть, всего мира. Говорят, что однажды состоялось в московском манеже торжественное состязание специалистов по маленькому барабану, и Индурский блистательно вышел из него первым. Всем известно, что Индурский никому не хочет сообщить тайну своей несравненной дробы и унесет ее с собой в могилу. Что поделаешь? Во всяком военном училище есть такого рода безвредный, немножко смешной со стороны, невинный и наивный шовинизм.

Садясь за четверговый обед, юнкера находят на столах музыкальную программу, писанную круглым военно-писарским «фрондо» и оттиснутую гектографом. В нее обыкновенно входили новые штраусовские вальсы, оперные увертюры и попури, легкие пьесы Шуберта, Шумана, Мендельсона и Вагнера. Оркестр Крейнбринга был так на славу выдрессирован, что исполнял самые деликатные подробности, самое сладкое пиано с тонким совершенством хорошего струнного оркестра.

Нередко юнкера аплодировали, но старый, немного горбатый Крейнбринг не обращал никакого внимания на эти знаки поощрения. Иногда юнкера просили сыграть одну из своих любимых вещей, например, «Мельницу», «Марш Буланже», «Турецкий патруль», увертюру из «Руслана» или особенно «Почту в лесу». Последняя пьеска игралась с фокусом, чрезвычайно занимательным. Великий мастер корнет-а-пистона Зеленчук перед началом номера незаметно для юнкеров уходил из столовой и прятался в конце длинного-предлинного коридора. Вся прелесть состояла в том, что, как только кончалась оркестровая интродукция, Зеленчук вплетал в нее тихий, немного печальный отзыв, шедший как будто в самом деле из далекой глубины леса. И таким образом оркестр довольно долго перекликался с заблудившимся почтальоном, все время приближаясь друг к другу, пока не встречались в общем хоре.

Но упросить Крейнбринга бывало не легко. Этот старый немец отличался козлиным упрямством. С высоты своей славы – пусть только московской, но несомненной – он, как и почти все музыкальные маэстро, презирал большую, невежественную толпу и был совсем не чувствителен к комплиментам. Москвичи говорили про него, что он уважает только двух человек на свете: дирижера Большого театра, строптивного и властного Авранека, а затем председателя немецкого клуба, фон Титцнера, который в честь компатриота и сочлена выписывал колбасу из Франкфурта и черное пиво из Мюнхена.

Но одну вещь, весьма ценимую юнкерами, он не только часто ставил в четверговые программы, но иногда даже соглашался повторять ее. Это была увертюра к недоконченной опере Литольфа «Робеспьер». Кто знает, почему он давал ей такое предпочтение: из ненависти ли к великой французской революции, из почтения ли к личности Робеспьера или его просто волновала музыка Литольфа?

В этой героической увертюре в самом финале есть страшный эффект, производимый резким и грозным ударом литавров: это тот момент, когда тяжелый стальной нож падает на склоненную шею «Неподкупного».

Между юнкерами по поводу этой увертюры ходило давнее предание, передававшееся из поколения в поколение. Рассказывали, что будто бы первым литаврщиком, исполнявшим роковой удар гильотины, был никому не известный скромный маленький музыкант, личный друг Крейнбринга еще с детских лет.

Говорили дальше, что этот музыкант пришел однажды в оркестр в каком-то особенно серьезном, почти торжественном настроении. На расспросы товарищей он отвечал нехотя и равнодушно, но сказал одному из них, якобы самому Крейнбрингу: «Сегодня вы услышите такой удар гильотины, которого не забудете никогда в жизни». И правда. Случилось нечто невероятно жуткое. Безвестный музыкант выждал точно определенную секунду и ударил в литавры с необычайной силой. Но тут же он упал на пол, пораженный разрывом сердца. Уверяли еще старые юнкера молодых, что будто бы Крейнбринг научил барабанщика Индурского этому необыкновенному удару в память своего преждевременно скончавшегося друга... Так же, как и сам в память его играл увертюру. Что здесь было правдой и что выдумкой, никто не удосужился проверить; спросить же сердитого, важного и молчаливого Крейнбринга никто бы не отважился, да он, кажется, знал по-русски одни музыкальные слова, но все равно: юному сердцу нельзя жить без романтики.

Конечно, прекрасен был училищный оркестр, гордость александровцев, и ждали юнкера четвергового концерта с жадным нетерпением; но для бедных желторотых фараонов один час вокального наслаждения далеко не искупал многих часов беспрестанной прозаической строжайшей муштры и неловкой связанности и беспомощности в чужом, еще не обжитом доме, в котором невольно натыкаешься на все углы и косяки.

Первое, чему неизбежно учили каждого юнкера, была заповедь:

– Сначала забудьте все то, чему вас учили в кадетском корпусе. Теперь вы не мальчики, и каждый из вас в случае надобности может быть мгновенно призван в состав действующей армии и, следовательно, отправлен на поле сражения. Значит, каждого указания и приказа старших слушаться и подчиняться ему беспрекословно.

И правда, очень многому, почти всему, приходилось переучиваться заново.

– Чтобы плечи и грудь были поставлены правильно, – учил Дрозд, – вдохни и набери воздуха столько, сколько можешь. Сначала затаи воздух, чтобы запомнить положение груди и плеч, и когда выпустишь воздух, оставь их в том же самом порядке, как они находились с воздухом. Так вы и должны держаться в строю.

Всегда ходи и держись, даже вне строя, так, как подобает воину. Не шаркайте подметками, не везите, не волочите ног по полу. Шаг легкий, быстрый, крупный и веселый. Идете вдвоем, непременно в ногу. Даже когда идешь один, в уборную, и то иди, как будто идешь в ногу. Никогда не горбиться. Для этого научись держать высоко голову, однако не выставляя вперед подбородок и, наоборот, втягивая его в себя... Александров! Сейчас вы промаршируете вперед и назад. Попробуйте идти сгорбившись, а голову как можно выше. Ну! Шагом марш! Раз-два, раз-два! Стой! Ну, что, юнкер Александров? Ловко ли сутулиться, а голову держать высоко?

– Никак нет, ваше высокоблагородие (так величали юнкера офицеров в строю и по службе). Даже, скорее, трудно.

– Ну вот, теперь поняли? А жаль, что вы сами себя в это время не видели. Зрелище было довольно-таки гнусное... Итак, друзья мои, никогда не забывайте, что на вас вся Москва смотрит. Гляди, как орел, ходи женихом. Вы же, юнкера второго курса, следите зорко за этими желторотыми. Не скупитесь на замечания и выговоры. Им это будет только на пользу. Ибо, – и тут он повысил голос до окрика, – ибо, как только увижу, что мой юнкер переваливается, как брюхатая попадья, или ползет, как вошь по мокрому месту, или смотрит на землю, как разочарованная свинья, или свесит голову набок, подобно этакому увядающему цветку, – буду греть беспощадно: лишние дневальства, без отпуска, арест при исполнении служебных обязанностей.

Да, это были дни воистину учетверенного нагревания. Грел свой дядька-однокурсник, грел свой взводный портупей-юнкер, грел курсовой офицер и, наконец, главный разогреватель, красноречивый Дрозд, лапидарные поучения которого как-то особенно ядовито подчеркивались его легким и характерным заиканием.

Учили строевому маршу с ружьем, обязательно со скатанной шинелью через плечо и в высоких казенных сапогах, но учили также и легкой уверенной красивой городской походке. Учили простой стойке, с ружьем и без ружья. Учили или, вернее, переучивали ружейные приемы.

Сравнительно с легкими драгунскими берданками, которые употреблялись в корпусе, двенадцати с половиною фунтовые пехотные винтовки были с непривычки тяжеловаты. Поднять за штык на вытянутой руке такую винтовку мог среди первокурсников один Жданов.

Но больше всего было натаскивания и возни с тонким искусством отдания чести. Учились одновременно и во всех длинных коридорах и в бальном (сборном) зале, где стояли портреты выше человеческого роста императора Николая I и Александра II и были врезаны в мраморные доски золотыми буквами имена и фамилии юнкеров, окончивших училище с полными двенадцатью баллами по всем предметам.

Здесь практически проверялась память: кому и как надо отдавать честь. Всем господам обер- и штаб-офицерам чужой части надлежит простое прикладывание руки к головному убору. Всем генералам русской армии, начальнику училища, командиру батальона и своему ротному командиру честь отдается, становясь во фронт.

– Смотри, Александров, – приказывает Тучабский. – Сейчас ты пойдешь ко мне навстречу! Я – командир батальона. Шагом марш, раз-два, раз-два... Не отчетливо сделал полуоборот на левой ноге. Повторим. Еще раз. Шагом марш... Ну а теперь опоздал. Надо начинать за четыре шага, а ты весь налез на батальонного. Повторить... раз-два. Эко, какой ты непонятливый фараон! Рука приставляется к борту бескозырки одновременно с приставлением ноги. Это надо отчетливо делать, а у тебя размазня выходит. Отставить! Повторим еще раз.

Конечно, эти ежедневные упражнения казались бы бесконечно противными и вызывали бы преждевременную горечь в душах юношей, если бы их репетиторы не были так незаметно терпеливы и так сурово участливы.

Случалось, они резко одергивали своих птенцов и порою, чтобы расцветить монотонность однообразной работы, расцвечивали науку острым, крупным солдатским словечком, сбереженным от времен далеких училищных предков. Но злоба, придирчивость, оскорбление, издевательство или благоволение к любимчикам совершенно отсутствовали в их обращении с младшими. Училищное начальство – и Дрозд в особенности – понимало большое значение такого строгого и мягкого, семейного, дружеского военного воспитания и не препятствовало ему. Оно по справедливости гордилось ладным табуном своих породистых однолеток и двухлеток жеребчиков – горячих, смелых до дерзости, но чудесно послушных в умных руках, умело соединяющих ласку со строгостью.

Прежний начальник училища, ушедший из него три года назад, генерал Самохвалов, или, по-юнкерски, Епишка, довел пристрастие к своим молодым питомцам до степени, пожалуй, немного чрезмерной. Училищная неписаная история сохранила многие предания об этом взбалмошном, почти неправдоподобном, почти сказочном генерале.

Ему ничего не стоило, например, нарушить однажды порядок торжественного парада, который принимал сам командующий Московским военным округом. Несмотря на распоряжение приказа, отводившего место батальону Александровского училища непосредственно позади гренадерского корпуса, он приказал ввести и поставить свой батальон впереди гренадер. А на замечание командующего парадом он ответил с великолепной самоуверенностью:

– Московские гренадеры – украшение русской армии, но согласитесь, ваше превосходи-

тельство, с тем, что юнкера Александровского училища – это московская гвардия.

И он настоял на своем. Неизвестно, как сошла ему с рук эта самодурская выходка. Впрочем, вся Москва любила свое училище, а Епишка, говорят, был в милости у государя Александра II.

Рассказывали о таком случае: какой-то пехотный подпоручик, да еще не Московского гарнизона, да еще, говорят, не особенно трезвый, придрался на улице к юнкеру-второкурснику якобы за неправильное отдавание чести и заставил его несколько раз повторить этот прием. Собралась глазастая московская толпа. Юнкер от стыда, от оскорбления и бешенства сделал чрезвычайно тяжелый дисциплинарный проступок. Заметив проезжавшего легкой рысью лихача на серой лошади, он вскочил в пролетку и крикнул: «Валяй вовсю!» Примчавшись в училище, потрясенный только что случившейся с ним бедою, он прибежал к Самохвалову и рассказал ему подробно все свершившееся с ним. Епишка кричал на него благим матом с полчаса, а потом закатал его в карцер, всей полнотой своей грузной начальнической власти, под усиленный арест. Когда же прибыл в училище обиженный пехотный подпоручик со своею жалобой, Самохвалов приказал выстроить все училище.

– Юнкер моего училища, – сказал он, – не мог бы совершить такого проступка. Впрочем, сделайте милость, вот вам все мои юнкера. Ищите виновного.

Конечно, подпоручик, растерявшийся под обстрелом четырехсот пар насмешливых и недружелюбных взглядов, не нашел своего обидчика, а юнкер благополучно избег отдачи в солдаты почти накануне производства.

Много других подобных поблажек делал Епишка своим возлюбленным юнкерам. Нередко прибегал к нему юнкер с отчаянной просьбой: по всем отраслям военной науки у него баллы душевного спокойствия, но преподаватель фортификации только и знает, что лепит ему шестерки и даже пятерки... Невзлюбил сироту! И вот в среднем никак не выйдет девяти, и прощай теперь, первый разряд, прощай, старшинство в чине...

Тогда Епишка неизменно гнал юнкера в карцер, оставлял на две недели без отпуска и назначал на три внеочередных дежурства. А потом вызывал к себе учителя, полковника инженерных войск, и ласково, убедительно, мягко говорил ему:

– Ах, полковник! Я ведь давно позабыл высокое искусство фортификации. Помню как сквозь сон: Вобана, Тотлебена, ну там какие-то барбетты, траверсы, капониры... а вы ведь в этом деле восходящая звезда первой величины. Но согласитесь же, полковник: разве мой юнкер может знать фортификацию меньше, чем на девять, тем более такой отличный юнкер? Краса и гордость училища. Уверяю вас, он будет самым достойным офицером. Но куда же ему в инженеры? Тут необходим талант и такая светлая голова, как у вас. Ну, согласитесь же с тем, что скрепя сердце все-таки можно моему юнкеру натянуть на девятку?

И полковник соглашался.

– Бог с ним, с этим сумбурным Епишкой... Уж лучше с ним не связываться.

Но странно: юнкерам был забавен Самохвалов своей закидливостью и своим фейерверочным темпераментом; ценили его преданность училищу и его гордость своими александровцами. Но в глубине души не любили и не уважали его одну несправедливую черту. Ублажая и распуская юнкеров, он с беспощадной, бурбонской жестокой грубостью обращался с подчиненными ему офицерами. Необыкновенно тяжелы были его взыскания, налагаемые на офицеров, но еще труднее им было переносить, в присутствии юнкеров, его замечания и выговоры, переходящие порой в бесстыдные ругательства, оскорблявшие и их и его честь.

Впрочем, на этой почве его ждало тяжелейшее возмездие. Первым вышел из терпения штабс-капитан Квалиев, грузин, герой турецкой кампании 1877–1878 годов, георгиевский кавалер, тяжело раненный при взятии Плевны, офицер, глубоко почитаемый юнкерами. После одной из безобразных выходок Самохвалова Квалиев пришел к нему на квартиру и потребовал от него объяснений (говорят, что от лица всех офицеров). В результате этого свидания было то, что Самохвалов оставил училище и был переведен командиром бригады на крайний юг России. Про Квалиева говорили мало и темно. Были вести, что он покончил впоследствии жизнь самоубийством.

На земле, а может быть, почем знать, и в целом мироздании, существует один-единственный непреложный закон:

«Все на свете должно рано или поздно окончиться, и никто и ничто не избежит этого веления».

Через месяц окончилась казавшаяся бесконечной усиленная тренировка фараонов на ловкость, быстроту, красоту и точность военных приемов. Наступил момент, когда строгие глаза учителей нашли прежних необработанных новичков достаточно спелыми для высокого звания юнкера Третьего военного Александровского училища. Вскоре пронеслась между фараонами летучая волнующая весть: «В эту субботу будем присягать!»

Давно пригнанные парадные мундиры спешно, в последний раз, примерялись в цейхгаузах. За тяжелое время непрестанной гоньбы молодежь как будто выросла и осунулась, но уже сама невольно чувствует, что к ней начинает прививаться та военная прямизна и подтянутость, по которой так нетрудно узнать настоящего солдата даже в вольном платье.

Наступает суббота. В этот день учебные и иные занятия длятся только три часа, только до завтрака. Придя от завтрака в ротные помещения, юнкера находят разостланную служителями по постелям первосрочную, еще пахнущую портняжной мастерской одежду.

– Й-э, ж-живо одеваться! – командует Дрозд. – Й-э, чтобы ни морщинки, ни складочки!

Фельдфебель Рукин строит роту в две шеренги.

– С богом, – командует Дрозд.

Все четыре роты, четыреста человек, неторопливо выливаются на большой внутренний учебный плац и выстраиваются в двуххвзводных колоннах: на правом фланге юнкера старшего курса с винтовками; на левом – первокурсники без оружия. Перед строем священники: православный – в черной сутане, с четырехугольной шапочкой на голове; лютеранский – в длинном, ниже колен, сюртуке, из воротника которого выступает большой белоснежный галстук; магометанский мулла – в бело-зеленой чалме. У ворот, ведущих в манеж и конюшню, расположился училищный оркестр. Ротные командиры и курсовые офицеры при своих ротах. Посередине и впереди батальонный командир Артабалевский, по юнкерскому прозвищу Берди-Паша, узкоглазый, низко стриженный татарин; его скуластое, плотное лицо, его широкая спина и выпуклая грудь кажутся вылитыми из какого-то упругого огнеупорного материала.

Заметив издали начальника училища, выходящего из своей квартиры, он командует: «Смирно, глаза направо!» Начальник училища, генерал Анчутин, приближается к строю. Он необыкновенно высок, на целую голову выше правофлангового юнкера первой роты, и веско внушителен, пожалуй даже величествен. Юнкера его зовут Статуей Командора. И правда, он похож на Каменного гостя, когда изредка, не более пяти-шести раз в год, он проходит медленно и тяжело по училищному квадратному коридору, прямой, как башня, похожий на Николая I, именно на портрет этого императора, что висит в сборном зале; с таким же высоким куполообразным лбом, с таким же суровым и властным выражением лица. С юнкерами он никогда не здоровается вслух. Да у него и нет вовсе голоса, а какое-то слабое сипение.

Под Рушуком, командуя Ростовским гренадерским полком, он был ранен пулей в горло навылет и с тех пор дышит через серебряную трубку. За военные подвиги в Турецкую войну он был пожалован пожизненным ношением мундира Ростовского полка и почетным местом начальника Александровского училища. При его молчаливо-торжественном обходе юнкера поочередно делают ему глубокие придворные поклоны, которым их на уроках танцев беспрестанно учит балетмейстер Большого театра, Петр Алексеевич Ермолов. И в ответ на эти поклоны, строго выдержанные в три темпа, Анчутин только опускает и подымает веки... Впрочем, однажды Александрову довелось услышать хоть и очень краткую, но цельную речь ростовского генерала, которую он не забыл в течение всей своей жизни.

Напрягая все силы испорченных горловых связок, замогильным, шипящим голосом приветствует Анчутин батальон:

– Здравствуйте, юнкера!

Задним совсем не слышен его голос; они следят за движением губ; эта уловка была уже много раз заранее репетирована.

– Здравия желаем, ваше превосходительство!

Анчутин слегка, едва заметно, кивает головой священникам и делает глазами знак коман-

диру батальона.

Полковник Артабалевский выходит перед серединой батальона. Азиатское лицо его напрягается.

– Под знамя! – командует он резким металлическим голосом и на секунду делает запятую. – Слушааай (небольшая пауза)... На крааа (опять пауза)... – И вдруг, коротко и четко, как удар конского бича: –...ул!

Фараонам нельзя поворачивать голов, но глаза их круто скошены направо, на полубатальон второкурсников. Раз! Два! Три! Три быстрых и ловких дружных приема, звучащих, как три легких всплеска. Двести штыков уперлись прямо в небо; сверкнув серебряными остриями, замерли в совершенной неподвижности, и в тот же момент великолепный училищный оркестр грянул торжественный, восхищающий души, радостный марш.

Знамя показалось высоко над штыками, на фоне густо-синего октябрьского неба. Золотой орел на вершине древка точно плыл в воздухе, слегка подымаясь и опускаясь в такт шагам невидимого знаменщика.

Знамя остановилось у аналоя. Раздалась команда: «На молитву! Шапки долой!» – И затем послышался негромкий тягучий голос батальонного священника, отца Иванцова-Платонова:

– Сложите два перста... вот таким вот образом, и подымите их вверх. Теперь повторяйте за мною слова торжественной военной присяги.

Юнкера зашевелились и сейчас же опять замерли с пальцами, устремленными в небо.

– Обещаюсь и клянусь, – произнес нараспев священник.

Точно ветер пробежал по рядам: «Обещаюсь, обещаюсь, клянусь, клянусь, клянусь...»

– Всемогушим Богом, перед святым его Евангелием.

И опять по строю пронесся густой, тихий ропот:

– Перед Богом, перед Богом...

– В том, что хочу и должен...

Формула присяги, составленная еще Петром Великим, была длинна, точна и строга. От иных ее слов становилось жутко.

«Обещаюсь и клянусь Всемогушим Богом, перед святым Его Евангелием, в том, что хочу и должен его императорскому величеству, самодержцу всероссийскому и его императорского величества всероссийского престола наследнику верно и нелицемерно служить, не щадя живота своего, до последней капли крови, и все к высокому его императорского величества самодержавству, силе и власти принадлежащие права и преимущества, узаконенные и впредь узаконяемые, по крайнему разумению, силе и возможности, исполнять.

Его императорского величества государства и земель его врагов, телом и кровию, в поле и крепостях, водою и сухим путем, в баталиях, партиях, осадах и штурмах и в прочих воинских случаях храброе и сильное чинить сопротивление и во всем стараться споспешествовать, что к его императорского величества верной службе и пользе государственной во всяких случаях касаться может. Об ущербе же его императорского величества интереса, вреде и убытке, как скоро о том уведаю, не токмо благовременно объявлять, но и всякими мерами отвращать и не допускать потщуся и всякую вверенную тайность крепко хранить буду, а предпоставленным над мною начальникам во всем, что к пользе и службе государства касаться будет, надлежащим образом чинить послушание и все по совести своей исправлять и для своей корысти, свойства, дружбы и вражды против службы и присяги не поступать; от команды и знамени, где принадлежу, хотя в поле, обозе или гарнизоне, никогда не отлучаться, но за оным, пока жив, следовать буду и во всем так себя вести и поступать, как честному, верному, послушному, храброму и расторопному офицеру (солдату) надлежит. В чем да поможет мне Господь Бог Всемогуший. В заключение сей клятвы целую слова и крест Спасителя моего. Аминь».

Но еще страшнее были те выдержки из регламента, которые вслед за присягою стал вычитывать батальонный адъютант, поручик Лачинов, с волосами светлыми и курчавыми, как у барашка. Тут перечислялись всевозможные виды поступков и преступлений против военной дисциплины, против знамени и присяги. И после каждой строки тяжело падали вниз свинцовые слова:

– Смертная казнь... Смертная казнь!

Впечатлительный Александров успел уже раз десять вообразить себя приговоренным к смерти, и волосы у него на голове порою холодели и делались жесткими, как у ежа. Зато очень

утешили и взбодрили его дух отрывки из статута ордена св. Георгия-победоносца, возглашенные тем же Лачиновым. Слушая их ушами и героическим сердцем, Александров брал в воображении редуты, заклепывал пушки, отнимал вражеские знамена, брал в плен генералов...

Затем юнкера целовали поочередно крест и Евангелие и возвращались на свои места.

– На-кройсь! – скомандовал Берди-Паша. – Под знамя, слушай, на кра-ул!

Знамя было унесено. Церемония присяги кончилась. Юнкера строем разошлись по ротным помещениям.

Стоя перед двумя шеренгами первокурсников, Дрозд говорит, слегка покачиваясь взад и вперед на носках:

– Ну-э-вот. Вы теперь настоящие юнкера. Поздравляю вас.

– Рады стараться, ваше высокоблагородие!

– Но все-таки вы-э-не забывайте, что настоящее ваше звание – солдаты. Солдат есть имя высокое и знаменитое. Первейший генерал, последний рядовой – то есть солдат. И потому помните, что за особо важный против дисциплины поступок каждый из вас может быть прямо из училища отправлен вовсе не домой к папе, маме, дяде и тете, а рядовым в пехотный полк... Надеюсь, в моей роте этого никогда не случится, как, впрочем, и во всем училище почти никогда не случалось... Но помните: за лень, невниманье, разнузданность, расхлябанность и особенно за ложь буду гнать и греть без всякой пощады. И за унылый вид – тоже. А теперь, кто хочет, могут идти в отпуск. Явиться завтра дежурному офицеру не позднее восьми часов вечера. За каждую минуту опоздания – одно лишнее дневальство. На улице держать себя молодцами и кавалерами. Отныне вы – под знаменем! Разойтись.

Как странно, как легко и как чудесно ново чувствовал себя Александров, очутившись на Знаменской улице, на людной и все-таки очень широкой Арбатской площади и, наконец, на Поварской с ее двухэтажными прекрасными аристократическими особняками! Натренированные ноги, делая большие и уверенные шаги, точно не касались тротуара. Веселило чувство красивого, ловко пригнанного, туго обтянутого мундира. Свежие тесные белые перчатки радовали руки и зрение. «Кому первому придется отдать честь?» – задумал Александров, и тотчас же из узкого переулка навстречу ему вышел артиллерийский поручик. Александров тотчас же быстро приложил руку к бескозырке. Но артиллерист, мило улыбнувшись, принял честь и сказал:

– Опустите руку, господин юнкер. Ну, что? Я ошибаюсь или нет? Вы сегодня принимали присягу? Правда?

– Так точно, господин поручик. Как вы могли узнать?

– Ах, очень просто. По выражению лица. Я как увидел вас, так и сделал себе такое же лицо, и сразу подумал: вот такое выражение было у меня после присяги. И даже в том же милom Александровском училище. Ну, желаю вам всего хорошего. С богом!

Они крепко пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны. «Какой, однако, душка этот маленький артиллерист», – с умилением подумал Александров.

Потом он сделал подряд две грубые ошибки. Стал – и даже очень красиво стал – во фронт двум генералам: но один оказался отставным, а другой интендантским. Первый раза три или четыре торопливо ответил юнкеру отданием чести, а второй сказал ему густым приветливым баском: «Очень рад, молодой человек, очень, очень рад вас увидеть и с вами познакомиться».

Прошел месяц. Александровское училище давало в декабре свой ежегодный блестящий бал, попасть на который считалось во всей Москве большим почетом. Александров послал Синельниковым три билета (больше не выдавалось). В вечер бала он сильно волновался. У юнкеров было взаимное соревнование: чьи дамы будут красивее и лучше одеты.

Огромный сборный зал, свободно вмещавший четыреста юнкеров, был обращен в цветник, в тропический сад. Ротные курилки и умывалки обратились в изящные дамские уборные, знаменитый оркестр Крейнбринга уже настраивал под сурдинку инструменты.

Уже в двадцатый раз Александров перевешивался через массивные дубовые перила, заглядывая вниз в прихожую, застланную красным сукном, отыскивая своих дам, чтобы успеть помочь им раздеться. И вот наконец-то они. Пулею слетает Александров вниз. Но их только двое – Оля и Люба в сопровождении Петра Ивановича Боброва, какого-то молодого юриста, который живет у Синельниковых под видом дяди и почти никогда не показывается гостям. Он во фраке. На обеих девочках вязаные пышные капоры: на Оле голубой, на Любе розовый. Эти капоры новинка. Их только в нынешнем году начали носить в Москве, и они так же очаровательно идут к

юным женским лицам, разрумяненным морозом, как шли когда-то шляпки глубокой кибиточкой, завязанной широкими лентами. Пахнет от девочек вкусно – арбузом, морозом, духами иланг-иланг, и мехом шубок, и свежим дыханием. Они поправляются перед огромным зеркалом и идут за Александровым наверх.

– А что же Юлия Николаевна? – спрашивает юнкер.

– Она очень жалеет, что не может быть у вас на балу. Она сегодня очень занята. Она поздравляет вас с праздником и велела передать вам вот этот сверток. Там подарок вам на память. Возьмите.

Александров провожает дам в обширный зал. Оркестр нежно, вкрадчиво, заманчиво играет штраусовский вальс. Дамы Александрова производят сразу блистательное впечатление.

Юнкера, как пчелы, облепляют их.

У Александрова остается свободная минутка, чтобы побежать в свою роту, к своему шкафчику. Там он разворачивает белую бумагу, в которую заворочена небольшая картонка. А в картонке на ватной постельке лежит фарфоровая голубоглазая куколка. Он ищет письмо. Нет, одна кукла. Больше ничего.

Он возвращается в зал. Ольга свободна. Он приглашает ее на вальс. Гибко, положив нагую руку на его плечо и слегка грациозно склонив голову, она отдается волшебному ритму вальса, легко кружась в нем. Глаза их на мгновение встречаются. В глазах ее томное упоение.

– Теперь я скажу вам о вашей Юлии, – шепчет она горячим и ароматным дыханием. – У нас сегодня помолвка. Юлия выходит замуж за Покорни.

И сам Александров удивляется своему спокойствию, с которым он встречает эту черную весть. Он таким же горячим шепотком говорит:

– Дай ей бог счастья. Но мне это все равно. Я давно уже и до смерти люблю вас, Оля.

И она отвечает, поправляя свои разбежавшиеся кудряшки:

– Ах! Если бы я могла этому верить!

И задорно смеется.

Глава VIII Торжество

Прошло около двух месяцев со вступления Александрова в белые стены училища. Хотя он еще долгое время, как юнкер младшего класса, будет носить общее прозвище «фараон» (старший курс – это господа обер-офицеры), но из него уже вырабатывается настоящий юнкер-александровец. Он всегда подтянут, прям, ловок и точен в движениях. Он гордится своим училищем и ревностно поддерживает его честь. Он бесповоротно уверен, что из всех военных училищ России, а может быть, и всего мира, Александровское училище самое превосходное. И это убеждение, кажется ему, разделяет с ним и вся Москва – Москва, которая так пристрастно и ревниво любит все свое, в пику чиновному и холодному Петербургу: своих лихачей, протодиаконов, певцов, актеров, кулачных бойцов, купцов, профессоров, певчих, поваров, архиереев и, конечно, своих стройных, молодых, всегда прекрасно одетых, вежливых юнкеров со Знаменки, с их чудесным, несравненным оркестром.

Живется юнкерам весело и свободно. Учиться совсем не так трудно. Профессора – самые лучшие, какие только есть в Москве. Искусство строевой службы доведено до блестящего совершенства, но оно не утомляет: оно граничит со спортивным соревнованием. Правда, его однообразие чуть-чуть прискучивает, но домашние парады с музыкой в огромном манеже на Моховой вносят и сюда некоторое разнообразие. А кроме того, строевое старание поддерживается далекой, сладкой, сказочной мечтой о царском смотре или царском параде. Каждому юнкеру втайне кажется несправедливостью судьбы, что государь живет не в Москве, а в Питере. Но об этом не говорят.

В октябре 1888 года по Москве разнесся слух о крушении царского поезда около станции Борки. Говорили смутно о злостном покушении. Москва волновалась. Потом из газет стало известно, что катастрофа чудом обошлась без жертв. Повсюду служились молебны, и на всех углах ругали вслух инженеров с подрядчиками. Наконец пришли вести, что Москва ждет в гости царя и царскую семью: они приедут поклониться древним русским святыням.

Все эти слухи и вести проникают в училище. Юнкера сами не знают, чему верить и чему не

верить. Как-то нелепо странна, как-то уродливо неправдоподобна мысль, что государю, вершинной, единственной точке той великой пирамиды, которая зовется Россией, может угрожать опасность и даже самая смерть от случайного крушения поезда. Значит, выходит, что и все существование такой необъятно большой, такой неизмеримо могучей России может зависеть от одного развинтившегося дорожного болта.

Утром, после переключки, фельдфебель Рукин читает приказ: «По велению государя императора встречающие его части Московского гарнизона должны быть выведены без оружия. По распоряжению коменданта г. Москвы войска выстроятся шпалерами в две шеренги от Курского вокзала до Кремля. Александровское военное училище займет свое место в Кремле от Золотой решетки до Красного крыльца. По распоряжению начальника училища батальон выйдет из помещения в 11 час.»

Ровно в полдень в центре Кремля, вдоль длинного и широкого дубового помоста, крытого толстым красным сукном, выстраиваются четыре роты юнкеров Третьего военного Александровского училища. Четыреста юношей в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. Юнкер четвертой роты Алексей Александров стоит в первой шеренге. Царь пройдет мимо него в трех-четыре шагах, ясно видимый, почти осязаемый. Воображению Александра «царь» рисуется золотым, в готической короне, «государь» – ярко-синим с серебром, «император» – черным с золотом, а на голове шлем с белым султаном.

Ждут долго. Вывели за два часа, по необычайному случаю. Еще в училище свои портупей-юнкера и ротные офицеры осматривали каждого с заботливостью матери, отправляющей шестнадцатилетнюю дочь на первый бал. Теперь в Кремле нет-нет подойдет курсовой офицер, одернет складку шинели, поправит поясную медную бляху с изображением пылающей гранаты, надвинет еще круче на правый глаз круглую барашковую шапку с начищенным двуглавым орлом. Государь, конечно, все заметит своим сверхчеловеческим взором: и недотянутый конец башлыка, и неровно надетую шапку, и вздувшуюся складку. Заметит, но никому не скажет, только огорчится на александровцев. Сияет над Кремлем голубое холодное небо. Золото солнца расплескалось на соборных куполах, высоко кружатся голуби. Осенний запах.

Ожидание не томит. Все радостно и легко возбуждены. Давно знакомые молодые лица кажутся совсем новыми; такими они стали свежими, ясными и значительными, разбурляясь и похорошев в крепком осеннем воздухе.

В голове как шампанское. Скользит смутно одна опасливая мысль: так необыкновенно, так нетерпеливо волнуют эти счастливые минуты, что, кажется, вдруг перегоришь в ожидании, вдруг не хватит чего-то у тебя для самого главного, самого большого.

И вот какое-то внезапное беспокойство, какая-то быстрая тревога пробегает по расстроенным рядам. Юнкера сами выпрямляются и подтягиваются без команды. Ухо слышит, что откуда-то справа далеко-далеко раздается и нарастает особый, до сих пор неразличимый шум, подобный гулу леса под ветром или прибою невидимого моря.

Командуют «смирно». Выравнивают. Опять «смирно». Потом на минуту «вольно». Опять «смирно». Позволяют размять ноги, не передвигая ступней. Так без конца. Так бывает всегда на парадах. Но на этот раз из юнкеров никто не обижается.

Какими словами мог бы передать юнкер Александров это медленно наплывающее чудо, которое должно вскоре разрешиться бурным восторгом, это страстное напряжение души, растущее вместе с приближающимся ревом толпы и звоном колоколов. Вся Москва кричит и звонит от радости. Вся огромная, многолюдная, крепкая старая царева Москва. Звонят и Благовещенский, и Успенский соборы, и Спас за решеткой, и, кажется, загремел сам Царь-колокол и загрохотала сама Царь-пушка!

А когда в этот ликующий звуковой ураган вплетают свои веселые медные звуки полковые оркестры, то кажется, что слух уже пресыщен – что он не вместит больше.

Но вот заиграл на правом фланге и их знаменитый училищный оркестр, первый в Москве. В ту же минуту в растворенных настежь сквозных золотых воротах, высясь над толпой, показывается царь. Он в светлом офицерском пальто, на голове круглая низкая барашковая шапка. Он величествен. Он заслоняет собою все окружающее. Он весь до такой степени исполнен нечеловеческой мощи, что Александров чувствует, как гнется под его шагами массивный дуб помоста.

Царь все ближе к Александрову. Сладкий острый восторг охватывает душу юнкера и несет ее вихрем, несет ее ввысь. Быстрые волны озноба бегут по всему телу и приподнимают ежом

волосы на голове. Он с чудесной ясностью видит лицо государя, его рыжеватую, густую, короткую бороду, соколиные размахи его прекрасных союзных бровей. Видит его глаза, прямо и ласково устремленные в него. Ему кажется, что в течение минуты их взгляды не расходятся. Спокойная, великая радость, как густой золотой песок, льется из его глаз.

Какие блаженные, какие возвышенные, навеки незабываемые секунды! Александрова точно нет. Он растворился, как пылинка, в общем многомиллионном чувстве. И в то же время он постигает, что вся его жизнь и воля, как жизнь и воля всей его многомиллионной родины, собралась, точно в фокусе, в одном этом человеке, до которого он мог бы дотянуться рукой, собралась и получила непоколебимое, единственное, железное утверждение. И оттого-то рядом с воздушностью всего своего существа он ощущает волшебную силу, сверхъестественную возможность и жажду беспредельного жертвенного подвига.

Около государя идет наследник. Александров знает, что наследник на целый год старше его, но рядом с отцом цесаревич кажется худеньким стройным мальчиком. Это сопоставление великолепного тяжкого мужского могущества с отроческой гибкой слабостью на мгновение пронизывает сердце юнкера теплой, чуть-чуть жалостливой нежностью.

Теперь он не упускает из вида спины государя, но острый взгляд в то же время щелкает своим верным фотографическим аппаратом. Вот царица. Она вовсе маленькая, но какая изящная. Она быстро кланяется головой в обе стороны, ее темные глаза влажны, но на губах легкая милая улыбка.

Видит он еще двух великих княжен. Одна постарше, другая почти девочка. Обе в чем-то светлом. У обеих из-под шляпок падают до бровей обрезанные прямой челочкой волосы. Младшая смеется, блестит глазами и зажимает уши: оглушительно кричат юнкера славного Александровского училища.

Но вот и проходит волшебное сновидение. Как чересчур быстро! У всех юнкеров бурное напряжение сменяется тихой счастливой усталостью. Души и тела приятно распускаются. Идут домой под звуки резвого, бодрого марша. Кто-то говорит в рядах:

– Государь все время на меня глядел, когда проходил мимо. Я думаю, целых полминуты.

Другой отзывается:

– А на меня, пожалуй, целую минуту.

Александров же думает про себя: «Говорите, что хотите, а на меня царь глядел не отрываясь целых две с половиной минуты. И маленькая княжна взглянула смеясь. Какая она прелесть!»

Во дворе училища командир батальона, полковник Артабалевский, он же Берди-Паша, задерживает на самое короткое время юнкеров в строю.

– Конечно, великое счастье узреть его императорское величество государя императора, всероссийского монарха. Однако никак нельзя высовывать вперед головы и разрознивать этим равнение... Государь пожаловал нам два дня отдыха. Ура его императорскому величеству!

Глава IX

Свой дом

Проходят дни, проходят недели... Юнкер четвертой роты, первого курса Третьего военного Александровского училища Александров понемногу, незаметно для самого себя, втягивается в повседневную казарменную жизнь, с ее точным размеренным укладом, с ее внутренними законами, традициями и обычаями, с привычными, давнишними шутками, песнями и проказами. Недавняя торжественная присяга как бы стерла с молодых фараонов последние следы ребяческого, полуштатского кадетства, а парад в Кремле у Красного крыльца объединил всех юнкеров в духе самоуверенности, военной гордости, радостной жертвенности, и уже для него училище делалось «своим домом», и с каждым днем он находил в нем новые маленькие прелести. Разрешалось курить в свободное время между занятиями. Для этого в каждой роте полагалась отдельная курилка: признание юнкерской зрелости. После обеда можно было посылать служителя за пирожными в соседнюю булочную Савостьянова. Из отпуска нужно было приходить секунда в секунду, в восемь с половиной часов, но стоило заявить о том, что пойдешь в театр, – отпуск продолжается до полуночи. По большим праздникам юнкеров, оставшихся в училище, часто возили в цирк, в театр и на балы. Отношения с начальством утверждались на правдивости и широком взаимном доверии. Любимчиков не было, да их и не потерпели бы. Случались офицеры

слишком строгие, придирчивые трынчики, слишком скорые на большие взыскания. Их терпели как божью кару и травили в ядовитых песнях. Но никогда ни один начальник не решался закричать на юнкера или оскорбить его словом. Тут щетинилось все училище.

Помещение училища (бывшего дворца богатого вельможи) было, пожалуй, тесновато для четырехсот юнкеров в возрасте от восемнадцати до двадцати лет и для всех их потребностей. В середине полутораэтажного здания училища находился большой, крепко утрамбованный четырехугольный учебный плац. Со всех сторон на него выходили высокие крылья четырех ротных помещений. Впоследствии Александрова часто удивляла и даже порою казалась невероятной вместительность и емкость училищного здания, казавшегося снаружи таким скромным. Между третьей и четвертой ротами вмещался обширный сборный зал, легко принимавший в себя весь наличный состав училища, между первой и второй ротами – восемь аудиторий, где читались лекции, и четыре большие комнаты для репетиций. В верхнем этаже были еще: домашняя церковь, больница, химическая лаборатория, баня, гимнастический и фехтовальный залы.

В нижнем полуэтаже жил офицерский состав: холостые с денщиками, женатые с семьями и прислугой, четверо ротных командиров, инспектор классов, батальонный командир, начальник училища, батальонный адъютант, священник с причтом, доктор с фельдшерами. Была, конечно, и многолюдная канцелярия. Но никто не знал, где она находится. Также неизвестно было юнкерам, где и как существуют люди, обслуживающие их жизнь: все эти прачки, полотеры, музыканты, ламповщики, служители, портные, дворники, швейцары, истопники и повара. Вследствие такого обилия людей всюду чувствовалась некоторая сжатость. Учить лекции и делать чертежи приходилось в спальне, сидя боком на кровати и опираясь локтями на ясеневый шкафчик, где лежали обувь и туалетные принадлежности. По ночам тяжело было дышать, и приходилось открывать форточки на улицу. Но – пустяки! Все переносила весело крепкая молодежь, и лазарет всегда пустовал, разве изредка – ушиб или вытяжение жилы на гимнастике, или, еще реже, такая болезнь, о которой почему-то не принято говорить.

Как всегда во всех тесных общежитиях, так и у юнкеров не переводился – большей частью невинный, но порою и жестокий – обычай давать летучие прозвища начальству и соседям. К этой языковой травле очень скоро и приучился Александров.

Первая рота, которая нарочно подбиралась из молодежи высокого роста и выдающейся стройности, носила официальное название роты его императорского величества и в отличие от других имела серебряный вензель на мундирных погонах. Упрощенный ее титул был: жеребцы его величества.

Ею командовал капитан Алкалаев-Калагеоргий, но юнкера как будто и знать не хотели этого старого боевого громкого имени. Для них он был только Хухрик, а немного презрительнее – Хухра.

Никто из всех юнкеров училища не сумел бы объяснить, что означает это загадочное слово – Хухрик: маленького ехидного зверька, или мех, или какое-то колючее растение, или зловонный настой, или особую болезнь вроде чирья. Однако с этим прозвищем была связана маленькая легенда. Однажды батальон Александровского училища на пробном маневре совершал очень длинный и тяжелый переход. Юнкера со скатанными шинелями и с ранцами с полной выкладкой, шанцевым инструментом и частями разборных палаток чуть не падали от зноя, усталости и жажды. Запотелые их лица, густо покрытые черноземной мягкой пылью, были черны, как у негров, и так же, как у негров, блестели на них покрасневшие глаза и сверкали белые крепкие зубы.

Наконец-то долгожданный привал. «Стой. Составь ружья. Оправиться!» – раздается в голове колонны команда и передается из роты в роту. Богатая подмосковная деревня. Зеленъ садов и огородов, освежающая близость воды. Крестьянские бабы и девушки высыпают на улицу и смеются. Охотно таскают воду из холодного колодца, дают юнкерам вволю напиться; льют и плескают воду им на руки, обмыть горячие лица и грязные физиономии. Притащили яблок, слив, огурцов, сладкого гороха, суют в руки и карманы. Веселый смех, непринужденные шутки и прикосновения. Всегдашняя извечная сказочная симпатия к солдату и жалость к трудности его подневольной службы.

– И как это вы, бедные солдатики, страдаете? Жарища-то, смотри, кака адова, а вы в своей кислой шерсти, и ружья у вас аки тяжеленные. Нам не вподъем. На-ко, на-ко, солдатик, возьми еще яблочко, полегче станет.

Конечно, эта ласка и «жаль» относилась большей частью к юнкерам первой роты, которые оказывались и ростом поприметнее и наружностью покраще. Но командир ее Алкалаев почему-то вознегодовал и вскипел. Неизвестно, что нашел он предосудительного в свободном ласковом обращении веселых юнкеров и развязных крестьянок на открытом воздухе, под пылающим небом: нарушение ли какого-нибудь параграфа военного устава или порчу моральных устоев? Но он заштитился и забубнил:

– Сейчас же по местам, юнкера. К винтовкам. Стоять вольно-а, рядов не разравнивать!

– Таратов, чему вы смеетесь? Лишнее дневальство! Фельдфебель, запишите!

Потом он накинулся было на ошалевших крестьянок.

– Чего вы тут столпились? Чего не видали? Это вам не балаган. Идите по своим делам, а в чужие дела нечего вам соваться. Ну, живо, кыш-кыш-кыш!

Но тут сразу взъерепенилась крепкая, красивая, румяная сквозь веснушки, языкатая бабенка:

– А тебе что нужно? Ты нам что за генерал? Тоже кышкает на нас, как на кур! Ишь ты, хухрик несчастный! – И пошла, и пошла... до тех пор, пока Алкалаев не обратился в позорное бегство. Но все-таки метче и ловче словечка, чем «хухрик», она в своем обширном словаре не нашла. Может быть, она вдохновенно родила его тут же на месте столкновения?

«И в самом деле, – думал иногда Александров, глядя на случайно проходившего Калагегоргия. – Почему этому человеку, худому и длинному, со впадинами на щеках и на висках, с пергаментным цветом кожи и с навсегда унылым видом, не пристало бы так клейко никакое другое прозвище? Или это свойство народного языка, мгновенно изобретать ладные словечки?»

Курсовыми офицерами в первой роте служили Добронравов и Рославлев, поручики. Первый почему-то казался Александрову похожим на Добролюбова, которого он когда-то пробовал читать (как писателя запрещенного), но от скуки не дотянул и до четверти книги. Рославлев же был увековечен в прощальной юнкерской песне, являвшейся плодом коллективного юнкерского творчества, таким четверостишием:

Прощай, Володька, черт с тобою,
Развратник, пьяница, игрок.
Недаром дан самой судьбою
Тебе хронический порок.

Этот Володька был велик ростом и дороден. Портили его массивную фигуру ноги, расходившиеся в коленях наружу, иксом. Рассказывали про него, что однажды он, на пьяное пари, остановил ечкинскую тройку на ходу, голыми руками. Он был добр и не придиричив, но симпатиями у юнкеров не пользовался. Из ложного молодечества и чтобы подольститься к молодежи, он часто употреблял грязные, похабные выражения, а этого юнкера в частном обиходе не терпели, допуская непечатные слова в прощальную песню, называвшуюся также звериадой. Надо сказать, что это заглавие было плагиатом. Оно какими-то неведомыми путями докатилось в белый дом на Знаменке из Николаевского кавалерийского училища, где существовало со времен лермонтовского юнкерства.

Московская звериада вдохновлялась музою хромой и неизобретательной, домашняя же ее поэзия была суковатая...

Володька Рославлев прервал свою начальственно-педагогическую деятельность перед Японской войною, поступив в московскую полицию.

Вторую роту звали зверями. В нее как будто специально поступали юноши крепко и широко сложенные, также рыжие и с некоторою корявостью. Большинство носило усики, усы и даже усищи. Была и молодежь с короткими бородами (времена были Александра Третьего).

Отличалась она серьезностью, малой способностью к шутке и какой-то (казалось Александрову) нелюдимостью. Но зато ее юнкера были отличные фронтовики, на парадах и батальонных учениях держали шаг твердый и тяжелый, от которого сотрясалась земля. Командовал ею капитан Клоченко, ничем не замечательный, аккуратный службист, большой, морковно-рыжий и молчаливый. Звериада ничего не могла про него выдумать острого, кроме следующей грубой и мутной строфы:

Прощай, Клоченко, рыжий пес,
С своею рожею ехидной.
Умом до нас ты не дорос,
Хотя мужчина очень видный.

Почему здесь состязание в умах – непонятно. А ехидности в наружности Клоченки никакой не наблюдалось. Простое, широкое, голубоглазое (как часто у рыжих) лицо примерного армейского штаб-офицера, с привычной служебной скукой и со спокойной холодной готовностью к исполнению приказаний.

Курсовым офицером служил капитан Страдовский, по-юнкерски – Страделло, прибывший в училище из императорских стрелков. Был он всегда добр и ласково-весел, но говорил немного. Напуск на шароварах доходил у него до сапожных носков.

Был он мал ростом, но во всем Московском военном округе не находилось ни одного офицера, который мог бы состязаться со Страдовским в стрельбе из винтовки. К тому же он рубился на эспадронах, как сам пан Володыевский из романа «Огнем и мечом» Генриха Сенкевича, и даже его малорослость не мешала ему побеждать противников.

Уже одного из этих богатых даров достаточно было бы, чтобы приобрести молчаливую любовь всего училища.

Третья рота была знаменная. При ней числилось батальонное знамя. На смотрах, парадах, встречах, крещенском водосвятии и в других торжественных случаях оно находилось при третьей роте. Обыкновенно же оно хранилось на квартире начальника училища.

Знаменная рота всегда на виду, и на нее во время торжеств устремляются зоркие глаза высшего начальства. Потому-то она и составлялась (особенно передняя шеренга) из юношей с наиболее красивыми и привлекательными лицами. Красивейший же из этих избранных красавцев, и непременно портупей-юнкер, имел высочайшую честь носить знамя и называться знаменщиком. В том году, когда Александров поступил в училище, знаменщиком был Кениг, его однокорпусник, старше его на год.

В домашнем будничном обиходе третья рота называлась «мазочки» или «девочки». Ею уже давно командовал капитан Ходнев, неизвестно когда, чем и почему прозванный Варварой, – смуглый, черноволосый, осанистый офицер, никогда не смеявшийся, даже не улыбнувшийся ни разу; машина из стали, заведенная однажды на всю жизнь, человек без чувств, с одним только долгом. Говорил он четким, приятного тембра баритоном и заметно в нос. Ни разу никто не видел его сердитым, и ни разу он не повысил голоса. Передавал ли он, по обязанности, похвалу юнкеру, или наказывал его – все равно, тон Варвары звучал одинаково точно и бесстрастно. Его не то чтобы боялись, но никому и в голову не приходило ослушаться его одного стального, магнетического взора. Таких вот людей умел живописать краткими резкими штрихами покойный Виктор Гюго. И юнкера в своей звериаде, по невольному чутью, сдержали обычную словоохотливость.

Прощай, Варвара-командир,
Учитель правил и сноровок,
Теперь недели мы мундир,
Не надо нам твоих муштровок.

Из курсовых офицеров третьей роты поручик Темирязов, красивый, стройный светский человек, был любимцем роты и всего училища и лучше всех юнкеров фехтовал на рапирах. Впрочем, и с самим волшебником эскрима, великим Пуарэ, он нередко кончал бой с равными количествами очков.

Но другой курсовой представлял собою какое-то печальное, смешное, вздорное и случайное недоразумение. Он был поразительно мал ростом, гораздо меньше самого левофлангового юнкера четвертой роты, и притом коротконог. В довершение он был толст, и шея у него сливалась с подбородком. Благодаря тесному мундиру лицо его имело багрово-красный цвет. Фамилия его была хорошая и очень известная в Москве – Дубышкин. Но вот он и остался навеки Пупом, и даже в звериаде о нем не было упомянуто ни слова. С него достаточно было одного прозвища – Пуп.

Пуп не был злым, а скорее мелким по существу. Но был он необычайно, непомерно для своего ничтожного роста вспыльчив и честолюбив. Говоря с начальством или сердясь на юнкеров, он совсем становился похожим на индюка: так же он надувался, краснел до лилового цвета, шипел и, теряя волю над словом, болботал путаную ерунду. В те дни, когда Александров учился на первом курсе, у всех старых юнкеров пошла повальная мода пускать Пупу ракету. Кто-нибудь выдумывал смешную глупость, например: «Когда я был маленьким, я спал в папашиной галоше», или: «Ваше превосходительство, юнкер Пистолетов носом застрелился», или еще: «Решительно все равно: что призма и что клизма – это все из одной мифологии» и т. д. Этот вздор автор громко выкрикивал, подражая индюшечьему голосу Дубышкина, и тотчас же принимался со всей силой легких выдувать сплошной шипящий звук. Полагалось, что это взлетела ракета, а чтобы ее лёт казался еще правдоподобнее, пиротехник тряс перед губами ладонью, заставляя звук вибрировать. Наконец, достигнув предельной высоты, ракета громко взрывалась: «Пуп!»

Надо сказать, что этот злой фейерверк пускался всегда с таким расчетом, чтобы Пуп его услышал. Он слышал, злился, портил себе кровь и характер, и, в сущности, нельзя было понять, за что взрослые балбесы травят несчастного смешного человека.

Четвертая рота, в которой имел честь служить и учиться Александров, звалась... то есть она называлась... ее прозвание, за малый рост, было грубо по смыслу и оскорбительно для слуха. Ни разу Александров не назвал его никому постороннему, ни даже сестрам и матери. Четвертую роту звали... «блехи». Кличка несправедливая: в самом малорослом юнкере было все-таки не меньше двух аршин с четырьмя вершками.

Но существует во всей живущей, никогда не умирающей мировой природе какой-то удивительный и непостижимый закон, по которому заживают самые глубокие раны, срastaются грубо разрубленные члены, проходят тяжкие инфекционные болезни, и, что еще поразительнее, – сами организмы в течение многих лет вырабатывают средства и орудия для борьбы со злейшими своими врагами.

Не по этому ли благодетельному инстинктивному закону четвертая рота Александровского училища с незапамятных времен упорно стремилась перегнать прочие роты во всем, что касалось ловкости, силы, изящества, быстроты, смелости и неутомимости. Ее юнкера всегда бывали первыми в плавании, в верховой езде, в прыганье через препятствия, в беге на большие дистанции, в фехтовании на рапирах и эспадронах, в рискованных упражнениях на кольцах и турниках и в подтягивании всего тела вверх на одной руке. И надо еще сказать, что все они были страстными поклонниками циркового искусства и нередко почти всей ротой встречались в субботу вечером на градене цирка Соломонского, что на Цветном бульваре. Их тянули к себе, восхищали и приводили в энтузиазм те необычайные акробатические трюки, которые на их глазах являлись чудесным преодолением как земной тяжести, так и инертности человеческого тела.

Ближайшее ротное начальство относилось к этому увлечению высшей гимнастикой не с особенным восторгом. Дрозд всегда опасался того, что от злоупотребления ею бывают неизбежные ушибы, поломы, вывихи и растяжения жил. Курсовой офицер Николай Васильевич Новоселов, прозванный за свое исключительное знание всевозможных военных указов, наказов и правил Уставчиком, ворчал недовольным голосом, созерцая какую-нибудь «чертову мельницу»: «И зачем? И для чего? В наставлении об обучении гимнастике ясно указаны все необходимые упражнения. А военное училище вам не балаган, и привилегированные юнкера – вовсе не клоуны».

Второй курсовой офицер Белов только покачивал укоризненно головой, но ничего не говорил. Впрочем, он всегда был молчалив. Он вывез с Русско-турецкой войны свою жену, болгарку – даму неопикуемой, изумительной красоты. Юнкера ее видели очень редко, раза два-три в год, не более, но все поголовно и молча преклонялись перед нею. Оттого и личность ее супруга считалась неприкосновенной, окруженной чарами всеобщего табу.

К толстому безмолвному Белову не прилипло ни одно прозвище, а на красавицу, по общему неписаному и несказанному закону, положено было долго не засматриваться, когда она проходила через плац или по Знаменке. Также запрещалось и говорить о ней.

Рыцарские обычаи.

Глава X Вторая любовь

Конечно, самый главный, самый волнующий визит новоиспеченного юнкера Александрова предназначался в семью Синельниковых, которые давно уже переехали с летней дачи в Москву, на Гороховую улицу, близ Земляного вала, в двух шагах от крашенного в фисташковый цвет Константиновского межевого института. Давно влюбленное сердце юноши горело и нетерпеливо рвалось к ней, к волоокой богине, к несравненной, единственной, прекрасной Юленьке. Показать перед нею не жалким мальчиком-кадетом, в неуклюже пригнанном пальто, а стройным, ловким юнкером славного Александровского училища, взрослым молодым человеком, только что присягнувшим под батальонным знаменем на верность вере, царю и отечеству, – вот была его сладкая, тревожная и боязливая мечта, овладевавшая им каждую ночь перед падением в сон, в те краткие мгновенья, когда так рельефно встает и видится недавнее прошлое...

Белые замшевые тугие перчатки на руках; барашковая шапка с золотым орлом лихо надвинута на правую бровь; лакированные блестящие сапоги; холодное оружие на левом боку; отлично сшитый мундир, ладно, крепко и весело облегающий весь корпус; белые погоны с красным витым вензелем «А II»; золотые широкие галуны; а главное – инстинктивное сознание своей восемнадцатилетней счастливой ловкости и легкости и той самоуверенной жизнерадостности, перед которой послушно разворачивается весь мир, – разве все эти победоносные данные не тронут, не смягчат сердце суровой и холодной красавицы?.. И все-таки он с невольной ребяческой робостью отдалял и отдалял день и час свидания с нею.

Он до сих пор не мог ни понять, ни забыть спокойных деловых слов Юленьки в момент расставания, там, в Химках, в канареичном уголку между шкафом и пианино, где они так часто и так подолгу целовались и откуда выходили потом с красными пятнами на лицах, с блестящими глазами, с порывистым дыханием, с кружащейся головой и с растрепанными волосами.

Прощаясь, она отвела его руку и сказала голосом наставницы:

– Забудем эти глупые шалости летнего сезона. Теперь мы обое стали большими и серьезными.

И, протягивая ему руку, она сказала:

– Останемся же добрыми друзьями.

Но почему же этот жестокий, оскорбительный удар был так непредвиденно внезапен? Еще три дня назад, вечером, они сидели в густой пахучей березовой роще, и она сказала тихо:

– Тебе так неудобно. Положи голову мне на колени.

Ах, никогда в жизни он не позабудет, как его щека ощутила шершавое прикосновение тонкого и теплого молдаванского полотна и под ним мраморную гладкость крепкого женского бедра. Он стал целовать сквозь материю эту мощную и нежную ногу, а Юлия, точно в испуге, горячо и быстро шептала:

– Нет... Так не надо... Так нельзя.

И в это время гладила ему волосы и прижимала его *губы* к своему телу.

А разве может когда-нибудь изгладиться из памяти Александрова, как иногда, во время бешено крутящегося вальса, Юлия, томно закрывши глаза, вся приникала вплотную к нему, и он чувствовал через влажную рубашку живое, упругое прикосновение ее крепкой девической груди и легкое щекотание ее маленького твердого соска... О, волшебная власть воспоминаний! А теперь Юлия говорит, точно старая дева, точно классная учительница: «Ах, будемте друзьями». В знойный день человек изнывает от жары и жажды. Губы, рот и гортань у него засохли. А ему вдруг вместо воды дают совет: положи камешек в рот, это обманывает жажду.

Но почему же это отчуждение и этот спокойный холод? Это благоразумие из прописи? Может быть, он надоел ей? Может быть, она влюбилась в другого? Может быть, и в самом деле Александров был для нее только дразнящей летней игрушкой, тем, что теперь начинает называться странным чужим словом – флирт? И, вероятно, никогда бы она не согласилась выйти замуж за пехотного офицера, у которого, кроме жалованья – сорок три рубля в месяц, – нет больше решительно никаких доходов. Правда, она прогнала от себя долговязого, быстроногого Покорни, но мало ли еще в Москве богатых женихов, и вот, в ожидании одного из них, она решила сразу прекратить полуневинную, полудетскую забаву.

Но может быть и то, что мать трех сестер Синельниковых, Анна Романовна, очень полная, очень высокая и до сих пор еще очень красивая дама, узнала как-нибудь об этих воровских поцелуйчиках и задала Юленьке хорошую нахлобучку? Недаром же она в последние химкинские

дни была как будто суха с Александровым: или это только теперь ему кажется?

Конечно, всего скорее могла донести матери младшая дочка, четырнадцатилетняя лупоглазая Любочка, большая егоза и ябедница, шантажистка и вымогательница. Зоркие ее глаза видели сквозь стены, а с ней, как с «маленькой», мало стеснялись. Когда старшие сестры не брали ее с собой на прогулку, когда ей необходимо было выпросить у них ленточку, она, устав клянуть, всегда прибегала к самому ядовитому приему: многозначительно кивала головой, загадочно чмокала языком и говорила протяжно:

– Хо-ро-шо же. А я маме скажу.

– Что ты скажешь, дура? Никто тебе не поверит. Мы сами скажем, что ты с гимназистом Чулковым целовалась в курятнике.

– И никто вам не поверит, потому что я маленькая, а мне все поверят, потому что устами младенцев сама истина глаголет... Что, взяли?

В конце концов она добивалась своего: получала пятак и ленту и, скучая, тащилась за сестрами по пыльной дороге.

Вот эта-то стрекоза и могла наболтать о том, что было, и о том, чего не было. Но какой стыд, какой позор для Александрова! Воспользоваться дружбой и гостеприимством милой, хорошей семьи, уважаемой всей Москвой, и внести в нее потаенный разврат... Нет, уж теперь к Синельниковым нельзя и глаз показать и даже квартиру их на Гороховой надо обегать большим крюком, подобно неудачливому вору.

И как же удивлен, потрясен и обрадован был юнкер Александров, когда в конце октября он получил от самой Анны Романовны письмецо такого крошечного размера, который заставил невольно вспомнить о ее рыхлом тучном теле.

«Дорогой Алексей Николаевич (не решаюсь назвать Алешей юнкера Александровского училища, где, кстати, имел счастье учиться покойный муж). Что вы забыли ваших старых друзей? Приходите в любую субботу, и лучше всего в ближнюю. Мы живем по-прежнему на Гороховой. Девочки мои по вас соскучились. Можете привести с собой двух, трех товарищей; чем больше, тем лучше. Потанцуете, попоеете, поиграете в разные игры... Ждем.

Ваша А. С.

P.S. К 7-ми – 7-ми с пол. час...»

Не без труда удалось Александрову получить согласие у двух товарищей: каждый юнкер дорожил семейным субботним обедом и домашним вечером. Согласились только: его отделенный начальник, второкурсник Андриевич, сын мирового судьи на Арбате, в семье которого Александров бывал не раз, и новый друг его Венсан, полуфранцуз, но по внешности и особенно по горбатому храброму носу – настоящий бордосец; он прибыл в училище из третьего кадетского корпуса и стоял в четвертой роте правофланговым. Ходил он в отпуск к мачехе, которую терпеть не мог.

В субботу юнкера сошлись на Покровке, у той церкви с короною на куполе, где венчалась императрица Елизавета с Разумовским. Оттуда до Гороховой было рукой подать.

Александров начал неловко чувствовать себя, чем-то вроде антрепренера или хлопотливого дальнего родственника. Но потом эта мнительность стерлась, отошла сама собою. Была какая-то особенная магнетическая прелесть и неизъяснимая атмосфера общей влюбленности в этом маленьком деревянном уютном домике. И все женщины в нем были красивы; даже часто менявшиеся и всегда веселые горничные.

Подавали на стол, к чаю, красное крымское вино, тартинки с маслом и сыром, сладкие сухари. Играл на пианино все тот же маленький, рыжеватый, веселый Панков из консерватории, давно сохнувший по младшей дочке Любе, а когда его не было, то заводили механический музыкальный ящик «Монопан» и плясали под него. В то время не было ни одного дома в Москве, где бы не танцевали при всяком удобном случае, до полной усталости.

Дом Синельниковых стал часто посещаться юнкерами. Один приводил и представлял своего приятеля, который в свою очередь тащил третьего. К барышням приходили гимназические подруги и какие-то дальние московские кузины, все хорошенькие, страстные танцовки, шумные, задорные пересмешницы, бойкие на язык, с блестящими глазами, хохотушки. Эти субботние

непринужденные вечера пользовались большим успехом.

Так, часто в промежутках между танцами играли в *petits jeux*, в фанты, в свои соседи, в почту, в жмурки, в «барыня прислала», в «здравствуйте, король» и в прочие.

Величественная Анна Романовна почти всегда присутствовала в зале, сидя в большом вольтеровском кресле и грея ноги в густой шерсти умного и кроткого сенбернара Вольфа. Точно с высоты трона, она следила за молодежью с благосклонной поощрительной улыбкой. Ее старшая дочь Юлия была поразительно на нее похожа: и красивым лицом, и большим ростом, и даже будущей склонностью к полноте. Конечно, Александров все еще продолжал уверять себя в том, что он до сих пор влюблен безнадежно в жестокую и что молодое сердце его разбито навсегда.

Но ему уже не удавалось порой обуздывать свою острую и смешливую наблюдательность. Глядя иногда поочередно на свою богиню и на ее мать и сравнивая их, он думал про себя: «А ведь очаровательная Юленька все толстеет и толстеет. К двадцати годам ее уже разнесет, совсем как Анну Романовну. Воображаю, каково будет положение ее мужа, если он захочет ласково обнять ее за талию и привлечь к себе на грудь. А руки-то за спиной никак не могут сойтись. Положение!»

Правда, Александров тут же ловил себя с раскаянием на дурных и грубых мыслях. Но он уже давно знал, какие злые, нелепые, уродливые, бесстыдные, позорные мысли и образы теснятся порою в уме человека против его воли.

Но от прошлого он никак не мог отвязаться. Ведь любила же его Юленька... И вдруг в один миг все рухнуло, все пошло прахом, бедный юнкер остался в одиночестве среди просторной и пустой дороги, протягивая руку, как нищий, за подаванием.

Временами он все-таки дерзал привлечь к себе внимание Юленьки настоящей услужливостью, горячим пожатием руки в танцах, молящим влюбленным взглядом, но она с обидным спокойствием точно не замечала его; равнодушно отходила от него прочь, прерывала его робкие слова громким разговором с кем-нибудь совсем посторонним.

Однажды, когда играли в почту, он послал ей в Ялту краткую записочку:

«Неужели вы забыли, как я обнимал ваши ноги и целовал ваши колени там, далеко в прекрасной березовой роще?» Она развернула бумажку, вскользь поглядела на нее и, разорвав на множество самых маленьких кусочков, кинула, не глядя, в камин. Но со следующей почтой он получил письмецо из города Ялты в свой город Кинешму. Быстрым мелким четким почерком в нем были написаны две строки:

«А вы забыли ту березовую кашу, которой вас в детстве потчевали за глупость и дерзость?»

Тут с окончательной ясностью понял несчастный юнкер, что его скороспешному любовному роману пришел печальный конец. Он даже не обиделся на прозрачный намек на розги. Поймав случайный взгляд Юленьки, он издала серьезно и покорно склонил голову в знак послушания. А когда гости стали расходиться, он в передней улучил минутку, чтобы подойти к Юленьке и тихо сказать ей:

– Вы правы. Я сам вижу, что надоел вам своим приставанием. Это было бестактно. Лучше уже маленькая дружба, чем большая, но лопнувшая любовь.

– Ну вот и умница, – сказала она и крепко пожала своей прекрасной большой, всегда прохладной рукой руку Александрова. – И я вам буду настоящим верным другом.

В следующую субботу он пришел к Синельниковым совсем выздоровевшим от первой любви. Он думал: «А не влюбиться ли мне в Оленьку или в Любочку? Только в какую из двух?»

И в тот же вечер этот господин Сердечкин начал строить куры поочередно обоим барышням, еще не решивши, к чьим ногам положит он свое объемистое сердце. Но эти маленькие девушки, почти девочки, уже умели с чисто женским инстинктом невинно кокетничать и разбираться в любовной вязи. На все пылкие подходы юнкера они отвечали:

– Нет уж, пожалуйста! Все эти ваши комплименты, и рыцарства, и ухаживанья, все это, пожалуйста, обращайтесь к Юленьке, а не к нам. Слишком много чести!

Глава XI Свадьба

Приходит день, когда Александров и трое его училищных товарищей получают печатные

бристольские карточки с приглашением пожаловать на бракосочетание Юлии Николаевны Синельниковой с господином Покорни, которое последует такого-то числа и во столько-то часов в церкви Константиновского межевого института. Свадьба как раз приходилась на отпускной день, на среду. Юнкера с удовольствием поехали.

Большая Межевая церковь была почти полна. У Синельниковых, по их покойному мужу и отцу, полковнику генерального штаба, занимавшему при генерал-губернаторе Владимире Долгоруком очень важный пост, оказалось в Москве обширное и блестящее знакомство. Обряд венчания происходил очень торжественно: с певчими из капеллы Сахарова, со знаменитым протодиаконом Успенского собора Юстовым и с полным ослепительным освещением, с нарядной публикой.

Под громкое радостное пение хора «Гряди, гряди, голубица от Ливана» Юлия, в белом шелковом платье, с огромным шлейфом, который поддерживали два мальчика, покрытая длинной сквозной фатой, не спеша, величественно прошла к амвону. Ее сопровождал гул восхищения. Своим шафером она выбрала представительного, высокого Венсана, и Александров сам не знал: обижаться ли ему на это предпочтение, или, наоборот, благодарить невесту за ту деликатность, с которой она избавила его от лишних мучений ревности. Только почему же Венсан еще накануне не уведомил о чести, которой удостоился? Надо будет сказать ему, что это – свинство.

Громадный протодиакон с необыкновенно пышными завитыми рыжими волосами трубил нечеловечески густым, могучим и страшным голосом: «Жена же да убоится му-у-ужа...» – и от этих потрясающих звуков дрожали и звенели хрустальные призмочки люстр и чесалась переносица, точно перед чиханьем. Молодых водили в венцах вокруг аналоя с пением «Исаия ликуй: се дева име во чреве»; давали им испить вино из одной чаши, заставили поцеловаться и обменяться кольцами. Много раз священник и протодиакон упомянули о чреве, рождении и обильном многоплодии. Служба шла в быстром, оживленном, веселом темпе.

Александров стоял за колонкой, прислонясь к стене и скрестив руки на груди по-наполеоновски. Он сам себе рисовался пожилым, много пережившим человеком, перенесшим тяжелую трагедию великой любви и ужасной измены. Опустив голову и нахмутив брови, он думал о себе в третьем лице: «Печать невыразимых страданий лежала на бледном челе несчастного юнкера с разбитым сердцем»...

Когда венчание окончилось и приглашенные потянулись поздравить молодых, несчастный юнкер столкнулся с Оленькой и спросил ее:

– А что, Ольга Николаевна, хотели бы вы быть на месте Юленьки?

Она заиграла лукавыми, темными глазами.

– Ну уж, благодарю вас. Покорни вовсе не герой моего романа.

– Ах, я не то хотел сказать, – поправился Александров. – Но венчание было так великолепно, что любая барышня позавидовала бы Юленьке.

– Только не я, – и она гордо вздернула кверху розовый короткий носик. – В шестнадцать лет порядочные девушки не думают о замужестве. Да и, кроме того, я, если хотите знать, принципиальная противница брака. Зачем стеснять свою свободу? Я предпочитаю пойти на высшие женские курсы и сделаться ученой женщиной.

Но ее влажные коричневые глаза, с томно-синеватыми веками, улыбались так задорно, а губы сжались в такой очаровательный красный морщинистый бутон, что Александров, наклонившись к ее уху, сказал шепотом:

– И все это – неправда. И никогда вы не пойдете коптиться на курсах. Вы созданы богом для кокетства и для любви, на погибель всем нам, вашим поклонникам.

Пользуясь теснотой, он отыскал ее мизинец и крепко пожал его двумя пальцами. Она, блеснув на него глазами, убрала свою руку и шепнула ему: кш! – как на курицу.

Александров поздравил новобрачных, стоявших в левом приделе. Рука Юленьки была холодна и тяжела, а глаза казались усталыми.

Но она крепко пожала его руку и слегка, точно жалобно, улыбнулась.

Покорни весь сиял; сиял от напояженного пробора до лакированных ботинок; сиял новым фракком, ослепительно белым широким пластроном, золотом запонок, цепочек и колец, шелковым блеском нового шапокляка. Но на взгляд Александрова он, со своею долговязостью, худобой и неуклюжестью, был еще непригляднее, чем раньше, летом, в простом дачном пиджачке. Он крепко ухватил руку юнкера и начал ее качать, как насос.

– Спасибо, мерси, благодарю! – говорил он, захлебываясь от счастья. – Будем снова добрыми старыми приятелями. Наш дом будет всегда открыт для вас.

А Анна Романовна, разрядившаяся ради свадьбы, как царица Савская, и похорошевшая, казавшаяся теперь старшей сестрой Юленьки, пригласила любезно:

– Прямо из церкви зайдите к нам, закусить чем бог послал и выпить за новобрачных. И товарищей позовите. Мы звать всех не в состоянии: очень уж тесное у нас помещение; но для вас, милых моих александровцев, всегда есть место. Да и потанцуете немножко. Ну, как вы находите мою Юленьку? Право, ведь недурна?

Александров вздохнул шумно и уныло.

– Вы спрашиваете – не дурна ли? А я хотел бы узнать, кто и где видел подобную совершенную красоту?

– О, какой рыцарский комплимент! Мсье Александров, вы опасный молодой мужчина... Но, к сожалению, из одних комплиментов в наше время шубу не сошьешь. Я, признаюсь, очень рада тому, что моя Юленька вышла замуж за достойного человека и сделала прекрасную партию, которая вполне обеспечивает ее будущее. Но, однако, идите к вашим товарищам. Видите, они вас ждут.

Александров покрутил головою:

– А ведь про шубу-то она, наверное, на мой счет прошлась?

Квартиру Синельниковых нельзя было узнать – такой она показалась большой, вместительной, нарядной после каких-то неведомых хозяйственных перемен и перестановок. Анна Романовна, несомненно, обладала хорошим глазомером. У нее казалось многолюдно, но тесноты и давки не было.

В зале стояли покоем столы с отличными холодными закусками. Стульев почти не было. Закусывали стоя, а *la fourchette*. Два наемных лакея разносили на серебряных подносах высокие тонкогорлые бокалы с шампанским. Александров пил это вино всего только во второй раз в своей жизни. Оно было вкусное, сладкое, шипело во рту и приятно щекотало горло. После третьего бокала у него повеселело в голове, потеплело в груди, и глаза стали все видеть, точно сквозь легкую струящуюся завесу. С трудом разобрал он на высокой толстостенной бутылочке золотые литеры: «*Veuve Clicquot*»².

Потом лакеи с необыкновенной быстротой и ловкостью разняли столовый «покой» и унесли куда-то столы. В зале стало совсем просторно. На окна спустились темно-малиновые занавесы. Зажглись лампы в стеклянных матовых колпаках. Наемный тапер, вдохновенно-взлхмаченный брюнет, заиграл вальс.

Александров выпил еще один бокал шампанского и вдруг почувствовал, что больше нельзя. «Генуг, ассе, баста, довольно», – сказал он ласково засмеявшемуся лакею.

Нет, он вовсе не был пьян, но весь был как бы наполнен, напоен удивительно легким воздухом. Движения его в танцах были точны, мягки и беззвучны (вообще он несколько потерял способность слуха и оттого говорил громче обыкновенного). Но им, незаметно для самого себя, овладело очарование той атмосферы всеобщей легкой влюбленности, которая всегда широко разливается на свадебных праздниках. Здесь есть такое чувство, что вот, на время, приоткрылась запечатанная дверь; запрещенное стало на глазах участников не только дозволенным, но и благословенным. Суровая тайна стала открытой, веселой, прелестной радостью. Нежный гашиш сладко одурманивал молодые души.

Александров не отходил от Оленьки, упрямо и ревниво ловя минуты, когда она освобождалась от очередного танцора. Он без ума был влюблен в нее и сам удивлялся, почему не замечал раньше, как глубоко и велико это чувство.

– Оленька, – сказал он. – Мне надо поговорить с вами по очень, по чрезвычайно нужному делу. Пойдемте вон в ту маленькую гостиную. На одну минутку.

– А разве нельзя сказать здесь? И что это за уединение вдвоем?

– Да ведь мы все равно будем у всех на глазах. Пожалуйста, Олечка!

– Во-первых, я вам вовсе не Олечка, а Ольга Николаевна. Ну, пойдемте, если уж вам так хочется. Только, наверно, это пустяки какие-нибудь, – сказала она, садясь на маленький диван-

² «Вдова Клико» (фр.)

чик и обмахиваясь веером. – Ну, какое же у вас ко мне дело?

– Оленька, – сказал Александров дрожащим голосом, – может быть, вы помните те четыре слова, которые я сказал вам на балу в нашем училище.

– Какие четыре слова? Я что-то не помню.

– Позвольте напомнить... Мы тогда танцевали вальс, и я сказал: «Я люблю вас, Оля».

– Какая дерзость!

– А помните, что вы мне ответили?

– Тоже не помню. Вероятно, я вам ответила, что вы нехороший, испорченный мальчишка.

– Нет, не то. Вы мне ответили: «Ах, если бы я могла вам верить».

– Да, конечно, вам верить нельзя. Вы влюбляетесь каждый день. Вы ветрены и легкомысленны, как мотылек... И это-то и есть все то важное, что вы мне хотели передать?

– Нет, далеко не все. Я опять повторяю эти четыре заветные слова. А в доказательство того, что я вовсе не порхающий папильон³, я скажу вам такую вещь, о которой не знают ни моя мать, ни мои сестры и никто из моих товарищей, словом, никто, никто во всем свете.

Ольга зажмурилась и затрясла своими темными блестящими кудряшками.

– А это не будет страшно?

– Ничуть, – серьезно ответил Александров. – Но уговор, Ольга Николаевна: раз я лишь одной вам открываю величайшую тайну, то покорно прошу вас, вы уж, пожалуйста, никому об этом не болтайте.

– Никому, никому! Но она, надеюсь, приличная, ваша тайна?

– Абсолютно. Я скажу даже, что она возвышенная...

– Ах, говорите, говорите скорей. Я вся трясусь от любопытства и нетерпения.

Ее правый глаз был освещен сбоку и сверху, и в нем, между зрачком и райком, горел и точно переливался светло-золотой живой блик. Александров засмотрелся на эту прелестную игру глаза и замолчал.

– Ну, что же? Я жду, – ласково сказала Ольга.

Александров очнулся.

– Ну, вот... на днях, очень скоро... через неделю, через две... может быть, через месяц... появится на свет... будет напечатана в одном журнале... появится на свет моя сюита... мой рассказ. Я не знаю, как назвать... Прошу вас, Оля, пожелайте мне успеха. От этого рассказа, или, как сказать?... эскиза, так многое зависит в будущем.

– Ах, от души, от всей души желаю вам удачи... – пылко отозвалась Ольга и погладила его руку. – Но только что же это такое? Сделаетесь вы известным автором и загордитесь. Будете вы уже не нашим милым, славным, добрым Алешей или просто юнкером Александровым, а станете называться «господин писатель», а мы станем глядеть на вас снизу вверх, раскрыв рты.

– Ах, Оля, Оля, не смейтесь и не шутите над этим. Да. Скажу вам откровенно, что я ищу славы, знаменитости... Но не для себя, а для нас обоих: и для вас и для меня. Я говорю серьезно. И, чтобы доказать вам всю мою любовь и все уважение, я посвящаю этот первый мой труд вам, вам, Оля!

Она широко открыла глаза.

– Как? И это посвящение будет напечатано?

– Да. Непременно. Так и будет напечатано в самом начале: «Посвящается Ольге Николаевне Синельниковой», внизу мое имя и фамилия...

Ольга всплеснула руками.

– Неужели в самом деле так и будет? Ах, как это удивительно! Но только нет. Не надо полной фамилии. Нас ведь вся Москва знает. Бог знает, что наплетут, Москва ведь такая сплетница. Вы уж лучше как-нибудь под инициалами. Чтобы знали об этом только двое: вы и я. Хорошо?

– Хорошо. Я повинуюсь. А когда я стану большим, настоящим писателем, Оленька, когда я буду получать большие гонорары, тогда...

Она быстро встала.

– Тогда и поговорим. А теперь пойдемте в зал. На нас уже смотрят.

³ Мотылек (от фр. papillon)

– Дайте хоть ручку поцеловать!

– Потом. Идите первым. Я только поправлю волосы.

Была пора юнкерам идти в училище. Гости тоже разъезжались. Ольга и Люба провожали их до передней, которая была освещена слабо. Когда Александров успел надеть и одернуть шинель, он услышал у самого уха тихий шепот: «До свидания, господин писатель», – и горящие сухие губы быстро коснулись его щеки, точно клюнули.

Домой юнкера нарочно пошли пешком, чтобы выветрить из себя пары шампанского. Путь был не близкий: Земляной вал, Покровка, Маросейка, Ильинка, Красная площадь, Спасские ворота, Кремль, Башня Кутафья, Знаменка... Юнкера успели прийти в себя, и каждый, держа руку под козырек, браво прорапортовал дежурному офицеру, поручику Рославлеву, по-училищному – Володьке: «Ваше благородие, является из отпуска юнкер четвертой роты такой-то».

Володька прищурил глаза, повел огромным носом и спросил коротко:

– Клико деми-сек?⁴

– Так точно, ваше благородие. На свадьбе были в семье полковника Синельникова.

– Ага! Ступайте.

Этот Володька и сам был большущим кутилой.

Глава XII Господин писатель

Это была очень давнишняя мечта Александрова – сделаться поэтом или романистом. Еще в пансионе Разумовской школы он не без труда написал одно замечательное стихотворение:

Скорее, о птички, летите
Вы в теплые страны от нас,
Когда ж вы опять прилетите,
То будет весна уж у нас.

В лугах запестреют цветочки,
И солнышко их осветит,
Деревья распустят листочки,
И будет прелестнейший вид.

Ему было тогда семь лет... Успех этих стихов льстил его самолюбию. Когда у матери случались гости, она всегда уговаривала сына: «Алеша, Алеша, прочитай нам «Скорее, о птички». И по окончании декламации гости со вздохом говорили: «Замечательно! удивительно! А ведь, кто знает, может быть, из него будущий Пушкин выйдет».

Но, перейдя в корпус, Александров стал стыдиться этих стишков. Русская поэзия показала ему иные, совершенные образцы. Он не только перестал читать вслух своих несчастных птичек, но упросил и мать никогда не упоминать о них.

В пятом классе его потянуло на прозу. Причиной этому был, конечно, неотразимый Фенимор Купер.

К тому же кадета Александрова соблазняла та легкость, с которой он писал всегда на полные двенадцать баллов классные сочинения, нередко читавшиеся вслух, для примера прочим ученикам.

Пять учебных тетрадок, по обе стороны страниц, прилежным печатным почерком были мелко исписаны романом Александрова «Черная Пантера» (из быта североамериканских дикарей племени Ваякса и о войне с бледнолицыми).

Там описывались удивительнейшие подвиги великого вождя по имени Черная Пантера и его героическая смерть. Бледнолицые дьяволы, теснимые краснокожими, перешли на небольшой необитаемый остров среди озера Мичиган. Они были со всех сторон обложены индейцами, но взять их не удавалось. Их карабины были в исправности, а громадный запас пороха и пуль гро-

⁴ Полусухое? (фр.)

зил тем, что осада продлится на очень большое время, вплоть до прихода главной армии. Питаться же они могли свободно: рыбой из озера и пролетающей многочисленной птицей.

Но лишь один вождь, страшный Черная Пантера знал секрет этого острова. Он весь был насыпан искусственно и держался на стволе тысячелетнего могучего баобаба. И вот отважный воин, никого не посвящая в свой замысел, каждую ночь подплывает осторожно к острову, ныряет под воду и рыбьей пилою подпиливает баобабовый устой. Наутро он незаметно возвращается в лагерь. Перед последнею ночью он дает приказ своему племени:

– Завтра утром, когда тень от острова коснется мыса Чиу-Киу, садитесь в пироги и спешно плывите на бледнолицых. Грозный бог войны, великий Коокама, сам предаст белых дьяволов в ваши руки. Меня же не дожидайтесь. Я приду в разгар битвы.

И ушел.

Утром воины беспрекословно исполнили приказание вождя. И когда они, несмотря на адский ружейный огонь, подплыли почти к самому острову, то из воды послышался страшный треск, весь остров покосился набок и стал тонуть. Напрасно европейцы молили о пощаде. Все они погибли под ударами томагавков или нашли смерть в озере. К вечеру же вода выбросила труп Черной Пантеры. У него под водою не хватило дыхания, и он, перепилив корень, утонул. И с тех пор старые жрецы поют в назидание юношам, и так далее и так далее.

Были в романе и другие лица. Старый трапер, гроза индейцев, и гордая дочь его Эрминия, в которую был безумно влюблен вождь Черная Пантера, а также старый жрец племени Ваякса и его дочь Зумелла, покорно и самоотверженно влюбленная в Черную Пантеру.

Роман писался любовно, но тяжело и долго. Куда легче давались Александрову его милые акварельные картинки и ловкие карикатуры карандашом на товарищей, учителей и воспитателей. Но на этот путь судьба толкнет его гораздо позднее...

Во что бы то ни стало следовало этот роман напечатать. В нем было, на типографский счет, листа два, не менее. Но куда сунуться со своим детищем – Александров об этом не имел никакого представления. Помог ему престарелый монах, который продавал свечки и образки около часовни Сергия Преподобного, что была у Ильинских ворот. Мать давным-давно подарила Александрову копилку со старой малоинтересной коллекцией монет, которую когда-то начал собирать ее покойный муж. Александров всегда нуждался в свободном пятакке. Мало ли что можно на него купить: два пирожка с вареньем, кусок халвы, стакан малинового кваса, десять слив, целое яблоко, словом, без конца...

И вот, по какому-то наитию, однажды и обратился Александров к этому тихонькому, запанному воском монашку с предложением купить кое-какие монетки. В коллекции не было ни мелких золотых, ни крупных серебряных денег. Однако монашек, порывшись в медной мелочи, взял три-четыре штуки, заплатил двугривенный и велел зайти когда-нибудь в другой раз. С того времени они и подружились.

Сам Александров не помнил, почему он отважился обратиться к монашку за советом:

– Кому бы мне отдать вот это мое сочинение, чтобы напечатали?

– А очень просто, – сказал монах. – Выйдете из ворот на Ильинку, и тут же налево книжный ларек Изымяшева. К нему и обратитесь.

У ларька, прислонясь к нему спиной, грыз подсолнушки тощий развязный мальчуган.

– Что прикажете, купец? Сонники? письмовники? гадательные книжки? романы самые животрепещущие? Францыль, Венециан? Гуак, или Непреоборимая ревность? Турецкий генерал Марцимирис? Прекрасная магометанка, умирающая на могиле своего мужа?

– Мне не то, – робко прервал его Александров. – Мне бы узнать, кому отдать мой собственный роман, чтобы его напечатали.

Мальчик быстро ковырнул пальцем в носу.

– А вот, с-час, с-час. Я хозяина покличу. Родион Тихоныч! а Родион Тихоныч! Пожалуйста в лавочку. Тут пришли.

Вошел большой рыжий купец, весь еще дымящийся от сбитня, который он пил на улице.

– Чаво? – спросил он грубо.

Лицо у него было враждебное.

Александров сказал:

– Вот тут у меня небольшой написан роман из жизни...

– Покажь. – Он взял тетрадки и взвесил их на руке, потом перелистал несколько страниц и

ответил: – Товар не по нас. Под Фенимора-с. Купера-с. Полтора рубля хотите-с?

– Я не знаю, – робко пробормотал Александров.

– Боле не могу. – Он почесал спину о балясину. – Настоящая цена-с.

– Ну, хорошо, – согласился кадет. – Пусть полтора.

– Так-с. Оставьте-с. Приходите через недельку. Посмотреть необходимо. Извольте получить ваши рупь с полтиной.

Александров пришел через неделю, потом через другую, третью, десятую. Сначала ему отказывали в ответе под разными предложениями, а потом враждебно сказали:

– Какая такая рукопись. Ничего мы о ней не слыхали и романа вашего никакого не читали. Напрасно людей беспокоите, которые заняты.

Так и погиб навеки замечательный роман «Черная Пантера» в пыльных печатных складах купца Изымяшева на Ильинке.

Застенчивый Александров с той поры, идя в отпуск, избегал проходить Ильинской улицей, чтобы не встретиться случайно глазами с глазами книжного купца и не сгореть от стыда. Он предпочитал вдвое более длинный путь: через Мясницкую, Кузнецкий мост и Тверскую.

Но было в душе его непоколебимое татарское упрямство. Неудача с прозой горько оскорбила его, вместо прозы он занялся поэзией. В седьмом классе корпуса, по воскресеньям, давалась на руки кадетам хрестоматия Гербеля – книга необыкновенно больших размеров и редкой толщины. Она не была руководящей книгой, а предлагалась просто для легкого и занятого чтения в свободное от зубрежки время. В ней было все, что угодно, и всего понемножку: отрывки из русских классиков, переводы из Шекспира, Гете, Шиллера, Байрона, Гейне и даже шутки, пародии и эпиграммы семидесятых годов.

Большинство этого обильного и мусорно собранного материала прошло мимо наивной души Александрова, но Генрих Гейне, с его нежной, страстной, благоуханной лирикой, с его живым юмором, с этой сверкающей слезкой в щите, – Гейне пленил, очаровал, заморозил впечатлительное жадное сердце шестнадцатилетнего юноши.

В немецком учебнике Керковиуса, по которому учились кадеты, было собрано достаточное количество образцов немецкой литературы, и между ними находилось десятка с два коротеньких стихотворений Гейне.

Александров, довольно легко начинавший осваиваться с трудностями немецкого языка, с увлечением стал переводить их на русский язык. Он тогда еще не знал, что для перевода с иностранного языка мало знать, хотя бы и отлично, этот язык, а надо еще уметь проникать в глубокое, живое, разнообразное значение каждого слова и в таинственную власть соединения тех или других слов.

Но он уже сам начинал чувствовать, что переводы его лишены легкой игривой свободной резвости подлинника, что стихи у него выходят дубовыми, грузными, тяжело произносимыми и что напряженный смысл их далеко не исчерпывает благоуханного и волнующего смысла гейневского стиха.

Охотнее всего делал Александров свои переводы в те скучные дни, когда, по распоряжению начальства, он сидел под арестом в карцере, запертый на ключ. Тишина, безделье и скука как нельзя лучше поощряли к этому занятию. А когда его отпускали на свободу, то, урвав первый свободный часочек, он поспешно бежал к старому верному другу Сашке Гурьеву, к своему всегдашнему, терпеливому и снисходительному слухачу.

Обое выбирали уютный, укромный уголок, вдали от обычной возни и суматохи, и там Александров с восторгом, с дрожащими руками, нараспев читал вслух последние произведения своей музыки.

– Очень хорошо, Алехан, по совести могу сказать, что прекрасно, – говорил Гурьев, восторженно тряся головою. – Ты с каждым днем совершенствуешься. Пиши, брат, пиши, это твое настоящее и великое призвание.

Похвалы Сашки Гурьева были чрезвычайно лестны и сладки, но Александров давно уже начал догадываться, что полагаться на них и ненадежно, и глупо, и опасно. Гурьев парень превосходный, но что он, по совести говоря, понимает в высоком и необычайно трудном искусстве поэзии?

И тогда он решился на суровый, героический, последний опыт. «Я переведу, – сказал он сам себе, – одно из значительных стихотворений Гейне, не заглядывая в хрестоматию Гербеля, а

потом сличу оба перевода. Тогда я узнаю, следует ли мне писать стихи, или не следует». Он выискал в Керковиусе известное гейневское стихотворение, вернее, маленькую поэму – «Лорелея», трудился он над ее переводом усердно и добросовестно, по множеству раз прибегая к толстому немецко-русскому словарю, чтобы найти побольше синонимов. С ритмом он легко справился, взяв за образец лермонтовское «По синим волнам океана», но в самом начале тщательной работы он уже стал предчувствовать, что Гейне ему не дается и, вероятно, не дастся. Уже первая строфа казалась ему деревянной (хотя в этом ему не хотелось окончательно сознаться перед самим собой):

Не знаю, что случилось со мною,
Сегодня мой дух так смущен,
И нет мне ни сна, ни покою
От песни минувших времен.

– Почему, например, «покою», когда следует сказать «покою». Требование рифмы? А где же требование законов русского языка?

После многих черновиков, переделок и перемарок Александров остановился на последней, окончательной форме. «Правда: это еще не совершенство, но сделать лучше и вернее я больше не в силах».

Только тогда он раскрыл Гербеля и нашел в нем «Лорелею». Воистину ослепительно прекрасным, совершенным, несравнимым, или, точнее, сравнимым только с текстом самого Гейне, показался ему перевод Михайлова.

«Да, – подумал он, – так я ни за что не переведу. А если и переведу, то только после многих, многих лет изучения всех тонкостей немецкого языка и кристального вдумывания в слова великого автора. Куда мне!..»

Но он хотел до конца исчерпать всю горечь своей неудачи. Как-то, после урока немецкого языка, он догнал уходившего из класса учителя Мея, сытого, доброго обрусевшего немца, и сунул ему в руки отлично переписанную «Лорелею».

– Здесь немного, всего тридцать две строки. Будьте добры, перечитайте мой перевод и скажите без всякой церемонии ваше мнение.

Мей охотно принял рукопись и сказал, что на днях даст ответ. Через несколько дней, опять выходя из класса, Мей сделал Александрову едва заметный сигнал следовать за собой и, идя с ним рядом до учительской комнаты, торопливо сказал:

– За ваш прекрасный и любовный труд я при первом случае поставлю вам двенадцать! Должен вам признаться, что хотя я владею одинаково безукоризненно обоими языками, но так перевести «Лорелею», как вы, я бы все-таки не сумел бы. Тут надо иметь в сердце кровь поэта. У вас в переводе есть несколько слабых и неверно понятых мест, я все их остороженько подчеркнул карандашиком, пометки мои легко можно снять резинкой. Ну, желаю вам счастья и удачи, молодой поэт. Стихи ваши очень хороши.

Усталым, сиплым голосом поблагодарил Александров учителя. На сердце его лежал камень.

«Нет, уж что тут, – мысленно махнул он на себя рукою. – Верно сказано: «не суйся со свиньячим рылом в калашный ряд».

– Кончено на веки вечные мое писательство! баста!

Александров перестал сочинять (что, впрочем, очень благотворно отозвалось на его последних в корпусе выпускных экзаменах), но мысли его и фантазии еще долго не могли оторваться от воображаемого писательского волшебного мира, где все было блеск, торжество и победная радость. Не то чтобы его привлекали громадные гонорары и бешеное упоение всемирной славой, это было чем-то несущественным, призрачным и менее всего волновало. Но манило одно слово – «писатель», или еще выразительнее – «господин писатель».

Это не знаменитый генерал-полководец, не знаменитый адвокат, доктор или певец, это не удивительный богач-миллионер, нет – это бледный и худой человек с благородным лицом, который, сидя у себя ночью в скромном кабинете, создает каких хочет людей и какие вздумает приключения, и все это остается жить на веки гораздо прочнее, крепче и ярче, чем тысячи настоящих, взаправдашных людей и событий, и живет годами, столетиями, тысячелетиями, к

восторгу, радости и поучению бесчисленных человеческих поколений.

Вот оно, госпожа Бичерстоу с «Хижиной дяди Тома», Дюма с «Тремя мушкетерами», Жюль Верн с «Капитаном Немо» и с «Детьми капитана Гранта», Тургенев с Базаровым, Рудиным, Пигасовым... и – да всех и не перечислишь.

У всех у них какое-то могучее подобие с господом богом: из хаоса – из бумаги и чернил – родят они целые миры и, создавши, говорят: это добро зело.

«Истинные господа на земле эти таинственные писатели. Если бы повидать хоть одного из них когда-нибудь. Может быть, он подведет меня поближе к тайне своего творчества, и я пойму его...»

Мечтая таким образом, Александров и предполагать не смел, что покорный случай готовит ему вскорости личное знакомство с настоящим и даже известным Господином Писателем.

Глава XIII

Слава

На вакации, перед поступлением в Александровское училище, Алексей Александров, живший все лето в Химках, поехал погостить на неделю к старшей своей сестре Соне, поселившейся для деревенского отдыха в подмосковном большом селе Краскове, в котором сладкогласные мужики зимою промышляли воровством, а в теплые месяцы сдавали москвичам свои избы, порою о двух и даже о трех этажах. Сонин дом Александров знал еще с прошлого года и потому, спрыгнув на ходу с вагонной площадки, быстро и уверенно дошел до него. Но у окна он с некоторым изумлением остановился. Соня играла на пианино, и он сразу узнал столь любимую им вторую рапсодию Листа. В этом не было, конечно, ничего необыкновенного; поразил Александрова незнакомый и, по правде сказать, диковинный Сонин гость. Он был длинен, худ и с таким несчетным количеством веснушек на лице, что издали гость казался крашенным в темно-желтую краску или страдающим желтухой. Одет он был фантастически: в долгую, до земли, и преувеличенно-широкую размахайку цвета летучей мыши. Высоко и буйно задирая вверх клокастую голову, он носился взад и вперед по комнате. Левая рука его держала угол размахайки и заставляла ее развеиваться в воздухе, как театральный плащ Демона. А в правой руке у незнакомца был столовый нож, которым он неистово дирижировал в такт Сониной музыке.

Эта картина была так странна и сверхъестественна, что Александров точно припаялся к оконному стеклу и не мог сдвинуться с места. А тут Соня добралась до этого дьявольского цыганского престо-престиссимо, от которого ноги молодых людей начинают сами собой плясать, ноги стариков выделывают поневоле, хоть и с трудом, хоть и совсем не похоже, лихие па старинных огненных танцев и кости мертвецов шевелятся в могилах. С желтолицым человеком произошла точно мгновенная судорога. Он швырнул на пол свой мышастый разлетай, издал дикий вопль и вдруг с такой неожиданной силой и ловкостью запустил ножом в стену, что острие вонзилось в нее и закачалось.

Послышался испуганный крик Сони. Александров почувствовал, что теперь ему как мужчине необходимо принять участие в этом странном происшествии. Он затряс ручку дверного звонка. Соня отворила дверь, и испуг ее прошел. Она уже смеялась.

– Здравствуй, здравствуй, милый Алешенька, – говорила она, целуясь с братом. – Иди скорее к нам в столовую. Я тебя познакомлю с очень интересным человеком. Позвольте вам представить, Диодор Иванович, моего брата. Он только что окончил кадетский корпус и через месяц станет юнкером Александровского военного училища. А это, Алеша, наш знаменитый русский поэт Диодор Иванович Миртов. Его прелестные стихи часто появляются во всех прогрессивных журналах и газетах. Такое наслаждение читать их!

Желтолицый поэт картавил, хотя и не без приятности.

– Мигтов, – говорил он, пожимая руку Алеши, – Диодог Мигтов. Очень гад, весьма гад. Чрезвычайно люблю общество военных людей, а в особенности молодых.

Соня вспомнила недавнюю трагикомическую сцену.

– Ах, как Диодор Иванович меня сейчас напугал, – сказала она добродушно и весело.

Александров осторожно промолчал о том, что он видел сквозь окно. Немного конфузясь, Миртов стал выдергивать из шелевки крепко завязший в ней нож и бурчал, точно извиняясь:

– Чегтовская эта музыка венгеская. Электгизигует негвного человека. Слышу эту втогую

гапсодию Листа, и во мне закипает кговь моих дгевних пгедков, каких-нибудь скифов или казагов. Уж вы меня пгостите, догогая Софья Николаевна. Стихийная у меня натуга и дугацкая.

Александров внимательно рассматривал лицо знаменитого поэта, похожее на кукушечье яйцо и тесной раскраской и формой. Поэт понравился юноше: из него, сквозь давно наигранную позу, лучилась какая-то добрая простота. А театральный жест со столовым ножом Александров нашел восхитительным: так могут делать только люди с яркими страстями, не боящиеся того, что о них скажут и подумают обыкновенные людишки.

В ту пору дерзость, оригинальность и экспансивность были его героической утехой. Недаром он тогда проходил через волшебное обаяние Дюма-отца. Зато стихов Миртова, которых он с неизменной любезностью прочитал много, Александров совсем не понял и добросовестно отнес это к своей малой поэтической восприимчивости.

Соня, всегда немножко бестактная, не упустила случая сделать неловкость. В то время когда Миртов, передыхая между двумя стихотворениями, пил пиво, Соня вдруг сказала:

– А вы знаете, Диодор Иванович, наш Алеша ведь тоже немножко поэт, премиленькие стишки пишет. Я хоть и сестра, но с удовольствием их читаю. Попросите-ка его что-нибудь продекламировать вслух.

Александров от стыда и от злости на сестру стал сразу мучительно пунцовым, думая про себя: «О бог мой! До какой степени эти женщины умеют быть бестактными».

Миртов каким-то придавленным голосом, с искривленной улыбкой сказал:

– А что же, молодой воин. Прочитайте, прочитайте. Мы, старики, всем сердцем радуемся каждому юному пришельцу. Почитайте, пожалуйста.

Александров чутким ухом услышал и понял, что никакие стихи, кроме собственных, Миртова совсем не интересуют, а тем более детские, наивные, жалкие и неумелые. Он изо всех сил набросился на сестру:

– Как тебе не совестно, Соня? И какие же это стихи. Ни смысла, ни музыки. Обыкновенные вирши бездельника-мальчишки: розы – грозы, ушел – пришел, время – бремя, любовь – кровь, камень – пламень. А дальше и нет ничего. Вы уж, пожалуйста, Диодор Иванович, не слушайте ее, она в стихах понимает, как свинья в апельсинах. Да и я – тоже. Нет, прочитайте нам еще что-нибудь ваше.

Таким образом и подружились пятидесятилетний, уже заметно тронутый сединою, известный поэт Миртов с беззаботным мальчуганом Александровым.

Миртов был соседом Сони, тоже снимал дачку в Краскове. Всю неделю, пока Александров гостил у сестры, они почти не расставались. Ходили вместе в лесок за грибами, земляникой и брусникой и два раза в день купались в холодной и быстрой речонке.

У Миртова был огромный трехлетний пес сенбернарской чистой породы, по кличке Друг. Собака была у писателя, как говорится, не в руках: слишком тяжел, стар и неуклюж был матерый писатель, чтобы целый день заниматься собакой: мыть ее, чесать, купать, вовремя кормить, развлекать и дрессировать и следить за ее здоровьем. Зато Друг охотно пошел к Александрову, как веселый сверстник и компаньон по проказам. Началась их приязнь так: Друг по какому-то давнишнему капризу ни за что не хотел лазить в речную воду, а теми обливаниями на суше, какими его угощал хозяин, он всегда оставался недоволен – фыркал, рычал, вырывался из рук, убегал домой и даже при всей своей ангельской кротости иногда угрожал укусом.

Александров справился с ним одним разом. Уж не такая большая тяжесть для семнадцатилетнего юноши три пуда. Он взял Друга обеими руками под живот, поднял и вместе с Другом вошел в воду по грудь. Сенбернар точно этого только и дожидался. Почувствовав и уверившись, что жидкая вода отлично держит его косматое тело, он очень быстро освоился с плаванием и полюбил его.

Вскоре он и Алексей стали задавать в речке настоящие морские бои и правильные гонки. С этого почина собака доверчиво и с удовольствием влегла в тренировку. Увлеченный этим милым занятием и охотной понятливостью ученика, Александров вместо недели пробыл в Краскове две с половиной.

Миртов благодарно полюбил эти купанья и прогулки втроем. Он был очень одинокий человек. В доме у него никого не было, кроме собаки и старой-престарой кухарки, которая ничего не слышала, не понимала и не умела, кроме как бегать за пивом.

Иногда он говорил Александрову: «Знаете что, Алеша? – поэзия есть вещь нелегкая. Тут

нужен воистину божий дар и вдохновение свыше. Миллионы было поэтов, и даже очень известных, а по проверке временем осталось их на всем белом свете не более двух десятков, конечно не считая меня. А вы попробуйте-ка когда-нибудь сочинить прозу. У вас глаз меткий, ноздри как у песика, наблюдательность большая, и, кроме того, самое простое и самое ценное достоинство: вы любите жизнь. Напишите когда-нибудь свеженький рассказ и принесите мне на Плющиху, где я всегда зимую. Я вам первую ступеньку с удовольствием подставлю, а там – что богу будет угодно. После маленького рассказика, с воробьиный нос, напишите повестушку, а там глядь – и романище о восьми частях, как пишет современный король и бог русской изящной литературы Лев Толстой. Да, кстати, рекомендую вам этого всемогущего льва читать пореже, а то потеряете и собственную индивидуальность и вкус к своей работе. Это только в древние библейские времена смертный Иаков осмелился бороться с богом и отделался сравнительно дешево – сломанной ногой. Теперь чудес не бывает.

А когда пришел Александрову срок уезжать из Краскова, то Миртов с сенбернарном проводили его на полустанок, и вслед уходящему поезду Миртов кричал, размахивая платком:

– Смотгите не забывают меня и Дуга, пгиезжайте. Адгес – Плющиха, дом Ггязнова. Я живу ввеху на голубятне. Ближе к богу.

В Москве, уже ставши юнкером, Александров нередко встречался с Диодором Ивановичем: то раза три у него на квартире, то у сестры Сони в гостинице Фальц-Фейна, то на улицах, где чаще всего встречаются москвичи. И всегда на прощанье не забывал Миртов дружески сказать:

– А что же гасказец-то? Жду, жду. Не медлите, догогой Алеша. Вгемя течет. Течет.

Вот именно об этом желтолицем и так мило сумбурном поэте думал Александров, когда так торжественно обещал Оленьке Синельниковой, на свадьбе ее сестры, написать замечательное сочинение, которое будет напечатано и печатно посвящено ей, новой царице его исстрадавшейся души.

Обещание было принято и, как мистической печатью, было припечатано быстрым, сухим и горячим поцелуем. Теперь оставалось только написать рассказ, а там уж Миртов непременно сунет его в журнал какой-нибудь.

И с этого времени, даже, можно сказать, со следующего дня, Александров яростно предался самому тяжелому, самому взыскательному из творчеств: творчеству слова. Конечно, напрасным оказался мудрый совет Диодора Ивановича: писать о том, что ты лично видел, слышал, осязал, обонял, чувствовал и наблюдал, нанизывая эти впечатления на любую, хотя бы скучную нить происшествия. Нет, он отрицал тонкие, изысканные подробности, которые придавали бы рассказу естественность движения. Он не умел придать своим персонажам различные оттенки в голосах, привычках, склонностях и недостатках. Черное у него было густо-черным, как самая черная ночь. Белое – бело, как крылья архангела или как цветок лилии, красное – красно, как огонь. Оттенков или переливов он знать не хотел и нужды в них не чувствовал. Ревность для него была, по давнишнему Шекспиру, «чудовищем с зелеными глазами», любовь – упоительной и пламенной, верность – так непременно до гробовой доски.

На таких-то пружинах и подпорках он и соорудил свою сюиту (он не знал значения этого иностранного слова), сюиту «Последний дебют». В ней говорилось о тех вещах и чувствах, которых восемнадцатилетний юноша никогда не видел и не знал: театральный мир и трагическая любовь к самоубийствам. Скелет рассказа был такой:

Утром, в дневной полутьме, на сцене большого провинциального театра идет репетиция. Анемподистов, антрепренер, он же директор и режиссер, предлагает второй актрисе – Струниной пройти роль Вари.

– Но ведь это моя коронная роль, – с ужасом восклицает первая актриса Торова-Монская, любовница Анемподистова.

– Ах, не волнуйтесь, дорогуля, – говорит директор, – труппа у нас совсем небольшая. Надо иногда, во внезапных случаях, заменять один другого.

– Ты ее любишь? Ты ее любишь? – горячо шепчет ему на ухо актриса Торова-Монская.

– Оставь, милая. Ты знаешь, что во всем мире я люблю тебя одну.

Дальше действие рассказа переносится за кулисы, в уборную. Решено, что Варю будет играть Струнина. Публика любит новые впечатления. Торова-Монская может отдохнуть немножко.

Но Монская сказала гордо:

– Я здесь, и я останусь. Струнина может играть завтра или когда ей будет угодно. Но я играю нынче в последний раз. Слышите ли вы, хам анемподийский! Сегодня я играю в самый последний раз.

И с этими словами вышла на сцену.

О боже, как приняла ее публика, увидев ее бледное, страдальческое лицо и огромные серые глаза! С каждым актом игра ее производила все более грандиозное впечатление на публику, переполнявшую театр. И вот подошла последняя сцена, сцена, в которой Варя отравляется.

Артистка подошла к рампе и потрясающим голосом сказала:

– Если любовь – то великое счастье. Если обман – то смерть. – И с этими словами поднесла к губам пузырек и вдруг упала в страшных конвульсиях.

«Доктора! доктора! О, какой ужас! – закричала публика. – Скорее доктора!» Но доктор уже был не нужен. Великая актриса умерла...

С блаженным чувством оконченного большого труда сделал юнкер красивую подпись: *Алехан Андров*. И украсил ее замысловатым росчерком.

Сто раз перечитал Александров свое произведение и по крайней мере десять раз переписал его самым лучшим своим почерком. Нет сомнений – сюита была очень хороша. Она трогала, умиляла и восхищала автора. Но было в его восторгах какое-то непонятное и невидимое пятно, какая-то постыдная неловкость очень давнего происхождения, какая-то неуловимая болячка, которую Александров не мог определить.

Тем не менее в одно из ближайших воскресений он пошел на Плющиху и с колотящимся сердцем взобрался на голубятню, на чердачный этаж старого деревянного московского дома. Надевши на нос большие очки, скрепленные на сломанной пережабинке куском сургуча, Миртов охотно и внимательно прочитал произведение своего молодого приятеля. Читал он вслух и, по старой привычке, немного нараспев, что придавало сюите важный, глубокий и красиво-печальный характер.

Юнкер и громадный сенбернар слушали его чтение с нескрываемым умилением. Друг даже вздыхал.

Наконец Диодор Иванович кончил, положил очки и рукопись на письменный стол и с затуманенными глазами сказал:

– Пгекгасно, мой догогой. Я вам говою: пгекгасно. Зоилы найдут, может быть, какие-нибудь недосмотгы, поггешности или еще что-нибудь, но на то они и зоилы. А ведь красивую девушку осьмнадцати лет не могут испортить ни родинка, ни рябинка, ни царапинка. Ани-сья Харитоновна, – закричал он, – принесите-ка нам бутылку пива, вспрыснуть новорожденного! Ну, мой добрый и славный друг, поздравляю вас с посвящением в рыцари пера. Пишите много, хорошо и на пользу, на радость человечеству!

Они чокнулись пивом и расцеловались.

Немного погодя и уже собираясь уходить, Александров спросил: можно ли ему будет написать впереди сюиты маленький эпиграф. Не сочтут ли это за ломание?

– О, совсем нет, эпиграф прелестная вещь. Что же вы хотите написать?

– Да всего две строчки из Гейне.

– Хороший поэт, чудесный. Какие же?

Александров прочитал дрожащим от волнения голосом: «Я, раненный насмерть, играл, гладиатора бой представляя».

– Пгекгасно, великолепно, веская цитата, – одобрил Миртов.

Тут юнкер, осмелев, решил спросить и насчет посвящения.

– А что же?.. Катайте. Ей? Конечно, ей?

Юноша покраснел от головы до пяток.

– Да, одной моей хорошей знакомой, в память уважения, дружбы и... Но следующий мой рассказ непременно будет посвящен вам, дорогой Диодор Иванович, вам, мой добрый и высоко-талантливый учитель!

Миртов засмеялся, показав беззубый рот, потом обнял юнкера и повел его к двери. – Не забывайте меня. Заходите всегда, когда свободны. А я на этих днях постараюсь устроить вашу рукопись в «Московский ручей», в «Вечерние досуги», в «Русский цветник» (хотя он чуточку слишком консервативен) или еще в какое-нибудь издание. А о результате я вас уведомя от-

крыткой. Ну, прощайте. Вперед без страха и сомненья!

Но страх и сомнения терзали бедного Александрова немилосердно. Время растягивалось подобно резине. Дни ожидания тянулись, как месяцы, недели – как годы. Никому он не сказал о своей первой дерзновенной литературной попытке, даже вернейшему другу Венсану; бродил как безумный по залам и коридорам, ужасаясь длительности времени.

И вот, наконец, открытое письмо от Диодора Ивановича. Пришло оно во вторник: «Взяли «Вечерние досуги». В это воскресенье, самое большее – в следующее, появится в газетных киосках. Увы, я заболел инфлюэнцей, не встаю с постели. Отыщите сами. Ваш Д. Миртов».

В первое воскресенье Александров обегал десятка два киосков, спрашивая последние номера «Вечерних досугов», надеясь на чудо и не доверяя собственным глазам. К его огорчению, все «Досуги» были одинаковы, и ни в одном из них не было его замечательной сюиты «Последний дебют».

В следующее воскресенье он не имел возможности предпринять снова свои лихорадочные поиски, потому что в наказание за единицу по фортификации был лишен этим проклятым Дроздом отпуска.

Что делать? Пришлось открыть свою непроницаемую тайну милому товарищу Венсану, и тот с обычной любезной готовностью взялся найти и купить очередной номер «Досугов».

Весь день терзался Александров нестерпимой мукой праздного ожидания. Около восьми часов вечера стали приходить из отпуска юнкера, подымаясь снизу по широкой лестнице. Перекинувшись телом через мраморные перила, Александров еще издали узнал Венсана и затрепетал от холодной дрожи восторга, когда прочитал в его широкой сияющей улыбке знамение победы.

Держать в руках свое первое признанное сочинение, вышедшее на прекрасной глянцевиной бумаге, видеть свои слова напечатанными черным, вечным, несмываемым шрифтом, ощущать могучий запах типографской краски... что может сравниться с этим удивительным впечатлением, кроме (конечно, в слабой степени) тех неопишуемых блаженных чувств, которые испытывает после страшных болей впервые родившая молодая мать, когда со слабою прелестною улыбкой показывает мужу их младенца-первенца.

Во всяком случае, наплыв радости был так бурен, что Александров не мог стоять на ногах. Его тело требовало движения. Он стал перепрыгивать без разбега через одну за другой кровати, стоявшие ровным, стройным рядом, туда и обратно и еще один раз. Только тогда он уселся на своей койке и принялся за чтение с бьющимся сердцем. Он прочитал сюиту два раза, сначала с летучей беглостью, потом более внимательно – и так и так произведение было восхитительно. Он дал его прочитать Венсану, а сам глядел через его плечо, поминутно отнимая у него листки, чтобы прочитать вслух наиболее сильные места. Потом завладел «Вечерними досугами» весь первый курс четвертой роты, потом пришли сверстники-фараоны других рот, потом заинтересовались и господа обер-офицеры всех рот.

Слава юнкера, ставшего писателем, молниями бежала по всем залам, коридорам, помещениям и закоулкам училища. Спрос на номер «Вечерних досугов» был колоссальный.

К Александрову шла со своим шумом настоящая слава, которая отзывалась усталостью и головной болью.

Ночь он провел тяжело и нудно. Сначала долго не мог заснуть, потом ежеминутно просыпался. На тусклом зимнем рассвете встал очень рано с тяжестью во всем теле и с неприятным вкусом во рту.

Глава XIV

Позор

Рота умылась, вычистилась, оделась и выстроилась в коридоре, чтобы идти строем на утренний чай.

К переключке, как и всегда, явился Дрозд и стал на левом фланге. Переключка сошла благополучно. Юнкера оказались налицо. Никаких событий в течение ночи не произошло. Дрозд перешел на середину роты.

– Юнкер Александров, – вызвал он спокойным голосом.

– Я, – отозвался звучно Александров и ловко сделал два шага вперед.

– До моего сведения дошло, что вы не только написали, но также и отдали в журнальную

печать какое-то там сочинение и читали его вчера вечером некоторым юнкерам нашего училища. Правда ли это?

– Так точно, господин капитан.

– Потрудитесь сейчас же принести мне это произведение вашего искусства.

Александров побежал к своему уборному шкафчику. Дорогой он думал сердито:

«Как же мог Дрозд узнать о моей сюите?.. Откуда? Ни один юнкер – все равно будь он фараон или обер-офицер, портупей или даже фельдфебель – никогда не позволит себе донести начальству о личной, частной жизни юнкера, если только его дело не грозило уроном чести и достоинства училища. Эко какое запутанное положение»...

В голову не могла ему прийти простая мысль о том, что самому Дрозду, или одному из других офицеров училища, или каким-нибудь внеучилищным их знакомым мог попасться под руку воскресный экземпляр «Вечерних досугов».

– Пожалуйста, господин капитан, – сказал Александров, подавая листки.

Дрозд сухо приказал:

– Сейчас же отправляйтесь в карцер на трое суток с исполнением служебных обязанностей. А журналичко ваш я разорву на мелкие части и брошу в нужник... – И крикнул: – Фельдфебель, ведите роту.

И вот Александров в одиночном карцере. На лекции и на специальные военные занятия его выпускает на час, на два сторож, прикомандированный к училищу ефрейтор Перновского гренадерского полка. Он же приносит узнику завтрак, обед и чай с булкой.

У юнкеров было много своих домашних неписанных старинных обычаев, так сказать, «ада-тов». По одному из них юнкеру, находящемуся под арестом и выпускаемому в роту для служебных занятий, советовалось не говорить со свободными товарищами и вообще не вступать с ними ни в какие неделовые отношения, дабы не дать ротному командиру и курсовым офицерам возможности заподозрить, что юнкера могут делать что-нибудь тайком, исподтишка, прячась. Ведь травили же они свое начальство, совсем в открытую, ядовитыми и даже часто нецензурными прозвищами. А в этом законе собственного изделия была, несомненно, тень некоторого рыцарства.

Однако Александров все-таки не удержался от нарушения юнкерского обычая. За уроком гимнастики, работая на параллельных брусьях, он успел шепнуть Венсану:

– Голубчик Венсан, достаньте мне какую-нибудь книжку из ротной библиотеки и передайте через сторожа... Ужасная тоска.

– Постараюсь, – сказал Венсан и быстро отошел прочь.

И правда: бедный Александров изнывал от скуки, безделья и унижения. Вчера еще триумфатор, гордость училища, молодой, блестяще начинающий писатель – он нынче только наказанный, жалкий фараон, уныло снующий взад и вперед на пространстве в шесть квадратных аршин. Иногда, ложась на деревянные нары и глядя в высокий потолок, Александров пробовал восстановить в памяти слово за словом весь текст своей прекрасной сюиты «Последний дебют». И вдруг ему приходило в голову ядовитое сомнение: «А в сущности ведь, пожалуй, такое заглавие: «Последний дебют», может показаться неточным и даже нелепым. Дебют – ведь это начало, как и в шахматах, это – первое, пробное выступление артистки, а у меня актриса Торова-Монская (фу, и фамилия-то какая-то надуманная и неестественная), у меня она, по рассказу, имеет и большой опыт и известное имя. Первый дебют – это и понятно и приемлемо и для читателей. Название же «Последний дебют» вызывает невольное недоумение. Можно подумать, что моя все-таки уже не очень молодая героиня только и знала в своей актерской жизни, что дебютировала и дебютировала и всегда неудачно, пока не додебютировалась до самоубийства...» И вот опять стало в подсознание Александрова прокрадываться то темное пятно, та неведомая болячка, та давно знакомая досадная неловкость, которые он испытывал порою, перечитывая в двадцатый раз свою рукопись. И чем более он теперь вчитывался мысленно, по памяти, в «Последний дебют», тем более он находил в нем корявых тусклых мест, натяжек, ученического напряжения, невыразительных фраз, тяжелых оборотов.

«Нет, это мне только так кажется, – пробовал он себя утешить и оправдаться перед собою. – Уж очень много было в последние дни томления, ожидания и неприятностей, и я скис. Но ведь в редакциях не пропускают вещей неудовлетворительных и плохо написанных. Вот принесет Венсан какую-нибудь чужую книжку, и я отдохну, забуду сюиту, отвлекусь, и опять все сно-

ва будет хорошо, и ясно, и мило... Перемена вкусов...»

В шесть часов вечера в свободное послеобеденное время сторож, перновский ефрейтор, постучался в решетчатую дверь карцера.

– Вам, господин юнкер, книжку какуюсь принесли. Извольте преполучить.

Эта книга, сильно потрепанная, была вовсе незнакома Александрову.

«Казачья. Повесть. Сочинение графа Толстого», – прочитал он на обложке.

«Должно быть, не очень уж интересно, что-то из истории... но для кутузки и такое кушанье подойдет».

– Скажи господину юнкеру, что очень благодарю.

Начал он читать эту повесть в шесть с небольшим вечера, читал всю ночь, не отрываясь, а кончил уже тогда, когда утренний ленивый белый свет проник сквозь решетчатую дверь карцера.

– Что же это такое, – шептал он, изнеможенный, потрясенный и очарованный, ероша и крутя отчаянно волосы на голове. – Господи, что же это за великое чудо? Ну я понимаю: талант, гений, вдохновение свыше... это Шекспир, Гете, Байрон, Гомер, Пушкин, Сервантес, Данте, небожители, витавшие в облаках, питавшиеся амброзией и нектаром, говорившие с богами, и так далее и тому подобное... То есть я не понимаю, но с благоговением признаю и преклоняюсь. Но, господи боже мой, как же это так. Простой, обыкновенный человек, даже еще и с титулом графа, человек, у которого две руки, две ноги, два глаза, два уха и один нос, человек, который, как и все мы, ест, пьет, дышит, сморкается и спит... и вдруг он самыми простыми словами, без малейшего труда и напряжения, без всяких следов выдумки взял и спокойно рассказал о том, что видел, и у него выросла несравненная, недостижимая, прелестная и совершенно простая повесть.

И Александров, подобно Ленину, увидевшему впервые на станции горы, начал с блаженным ненасытным голосом в душе перечислять:

«Ну Ленин – это барин, это интеллигент, что о нем говорить. А дядя Ерошка! А Лукашка! А Марьянка! А станичный сотник, изъяснявшийся так манерно. А застреленный абрек! А его брат, приехавший в челноке выкупать труп. А Ванюшка, молодой лакейшка с его глупыми французскими словечками. А ночные бабочки, вьющиеся вокруг фонаря. «Дурочка, куда ты летишь. Ведь я тебя жалею...»

И тут вдруг оборвался молитвенный восторг Александрова: «А я-то, я. Как я мог осмелиться взяться за перо, ничего в жизни не зная, не видя, не слыша и не умея. Чего стоит эта распроклятая из пальца высосанная сюита. Разве в ней есть хоть малюсенькая черточка жизненной правды. И вся она по бедности, бледности и неумелости похожа... похожа... похожа...»

В этот момент его память внезапно как бы осветилась, и сразу ясной стала бередившая его недавно тревога, причиняемая какой-то необъяснимой болячкой, нудным и неловким пятном.

«Да, – сказал он с горьким мужеством, – твой «Последний дебют», о несчастный, похож не на что иное, как на те глупые стихи, которые ты написал в семилетнем возрасте:

Скорее, о птички, летите
Вы в теплые страны от нас,
Когда ж вы опять прилетите,
То будет уж лето у нас.

В лугах запестреют цветочки,
И солнышко их осветит,
Деревья распустят листочки,
И будет прелестнейший вид.

И, ударив изо всех сил ладонью по дубовому столу, он сказал громко:

– К черту! Конеч баловству!

Дрозд продержал Александрова вместо трех суток только двое. На третий день утром он пришел в карцер и сам выпустил арестованного.

– Вы знаете, юнкер Александров, – спросил он, – за что вы были арестованы?

– Так точно, господин капитан. За то, что я написал самое глупое и пошлое сочинение, которое когда-либо появлялось на свет божий.

– Ну нет, – возразил Дрозд мягко, – унижение паче гордости. Очень может быть, что ваш труд имеет свои несомненные достоинства. Но вина ваша заключается в том, что вы небрежно изучали военные уставы и особенно устав внутренней службы. Там ясно сказано: «Если кто из военнослужащих напишет какую-либо рукопись и захочет отдать ее для напечатания, то должен об этом сообщить и рукопись представить своему непосредственному начальнику». Вы, например, – вашему фельдфебелю. Он сообщает о вашем намерении и вручает вашу рукопись мне. Я – командиру батальона, последний – начальнику училища. Таким образом, его превосходительство является вашим последним судьей и разрешителем. В случае разрешения для печати оригинал ваш идет в обратном порядке вниз, вплоть до фельдфебеля, который и сообщает вам о разрешении или воспрещении. Понятно?

– Так точно, господин капитан.

– Ну, теперь идите в роту и, кстати, возьмите с собою ваш журнальчик. Нельзя сказать, чтобы очень уж плохо было написано. Мне моя тетушка первая указала на этот номер «Досугов», который случайно купила. Псевдоним ваш оказался чрезвычайно прозрачным, а кроме того, третьего дня вечером я проходил по роте и отлично слышал галдеж о вашем литературном успехе. А теперь, юнкер, – он скомандовал, как на учении: – На место. Бегом ма-а-арш.

Александров больше уже не перечитывал своего так быстро облинявшего творения и не упивался запахом типографии. Верный обещанию, он в тот же день послал Оленьке по почте номер «Вечерних досугов», не предчувствуя нового грядущего огорчения.

Было очень редким примером рассеянности и невнимания то обстоятельство, что, перечитавши бесконечно много раз свой «Последний дебют», он совсем небрежно отнесся к посвящению, пробегая его вскользь. А между тем в посвящение вкралась роковая ошибка.

Посвящается Ю. Н. Син...никовой.

Но сильна, о могучая, вечная власть первой любви! О, незабываемая сладость милого имени! Рука бывшей, но еще не умершей любви двигала пером юноши, и он в инициалах, точно лунатик, бессознательно поставил вместо буквы «О» букву «Ю». Так и было оттиснуто в типографии.

Через два дня Александров получил зловеющий, ядовитый ответ:

«Я получила журнал с Вашим сочинением. Говоря по правде, Вы свободно могли бы не утруждать себя этой присылкой. Судя по начальной букве «Ю», посвящение сделано не мне, а какой-то другой особе, которой имя начинается на букву «Ю».

Так же странной мне показалась и подпись под произведением. Очевидно, господин Алехан Андров – знатный сын востока – и есть автор этого замечательного создания, прочитав которое у меня не было ни свободного времени и ни малейшего желания.

По некоторым причинам я вряд ли смогу когда-нибудь увидаться с Вами, и поэтому прощайте.

О. Синельникова».

Через недели две-три, в тот час, когда юнкера уже вернулись от обеда и были временно свободны от занятий, дежурный обер-офицер четвертой роты закричал во весь голос:

– Юнкер Александров. В приемную, на свидание.

Александров побежал к нему:

– Не знаете ли кто?

– Не знаю. Какой-то шпак.

Шпаками назывались в училище все без исключения штатские люди, отношение к которым с незапамятных времен было презрительное и пренебрежительное. Была в ходу у юнкеров одна старинная песенка, в которую входил такой куплет:

Терпеть я штатских не могу
И называю их шпаками,

И даже бабушка моя
Их бьет по морде башмаками.

Зато военных я люблю,
Они такие, право, хваты,
Что даже бабушка моя
Пошла охотно бы в солдаты.

Александров быстро, хотя и без большого удовольствия, сбежал вниз. Там его дожидался не просто шпак, а шпак, если так можно выразиться, в квадрате и даже в кубе, и потому ужасно компрометантный. Был он, как всегда, в своей широченной разлеталке и с таким же рябым, как кукушечье яйцо, лицом, словом, это был знаменитый поэт Диодор Иванович Миртов, который в свою очередь чувствовал большое замешательство, попавши в насквозь военную сферу.

– Я только на минутку, Алеша. Пришел поздравить вас с рождением первенца и передать вам гонорар, десять рублей. И уж вы меня простите, сейчас же бегу домой. Сижусь я здесь, и все мне кажется: а вдруг вы все сейчас начнете стрелять. Адье, Алеша, и не забывайте мой дом на голубятне.

И он так быстро исчез, точно провалился сквозь театральный люк.

Свежая совесть подсказала было юнкеру бежать, вернуть поэта назад и отдать ему деньги, взятые за ничего не стоящую сюиту, но разыграть такую неуклюжую сцену в присутствии дежурного офицера (ведь Миртов, несомненно, будет противоречить) показалось ему зазорным и постыдным.

Десять рублей – это была огромная, сказочная сумма. Таких больших денег Александров никогда еще не держал в своих руках, и он с ними распорядился чрезвычайно быстро: за шесть рублей он купил маме шевровые ботинки, о которых она, отказывавшая себе во всем, частенько мечтала как о невозможном чуде. Он взял для нее самый маленький дамский размер, и то потом старушке пришлось самой сходить в магазин переменить купленные ботинки на недомерок. Ноги ее были чрезвычайно малы.

На два рубля Александров и Венсан два раза угощались савостьяновскими пирожными, посылая за ними служащего. На остальные же два они в воскресенье пошли в Тетерсал и около часа ездили верхом, что считалось утонченнейшим наслаждением.

Часть II

Глава XV Господин обер-офицер

Правильно и мудро сказал когда-то знаменитый писатель Диодор Иванович Миртов (с которым Александров после своего литературного провала перестал видаться из-за горького и мучительного стыда):

– Время течет, течет. Ничто его не остановит и ничто не повернет обратно. Аминь.

Середина и конец 1888 года были фатальны для мечтательного юноши, глубоко принявшего к сердцу все радости и неудачи. Черных дней выпадало на его долю гораздо больше, чем светлых: тоскливое, нудное пребывание в скучном положении молодого, начинающего фараона, суровая, утомительная строевая муштровка, грубые окрики, сажание под арест, назначение на лишние дневальства – все это делало военную службу тяжелой и непривлекательной. А тут еще постоянные нелады с точной наукой, которая называется военной фортификацией. Преподает ее полковник инженерных войск Колосов, человек лютой строгости, холодный и безжалостный. Он знаменит во всей Москве как строитель солидного памятника русским воинам, живот свой положившим в русско-турецкую войну 1877-78 годов. Но эта слава не мешает ему губить и топить беспомощных юнкеров, как слепых щенят. Его система преподавания была проста, кратка и требовательна до ужаса. Войдя в аудиторию и не здороваясь, он непременно должен был найти уже готовыми все приспособления для лекции: вычищенную до блеска классную доску, чистую, слегка влажную губку и несколько мелков, тщательно отточенных в виде лопа-

точек и обернутых в белые ровные бумажки. Он ничему не учил. Он брал мелок, подходил с ним к доске и странным, повелительным, беглым голосом произносил:

– Амбразура, или полевой окоп, или люнет, барбет, траверс и так далее. – Затем он начинал молча и быстро чертить на доске профиль и фас укрепления в проекции на плоскость, приписывая с боков необычайно тонкие, четкие цифры, обозначавшие футы и дюймы. Когда же чертеж бывал закончен, полковник отходил от него так, чтобы его работа была видна всей аудитории, и воистину работа эта отличалась такой прямизной, чистотой и красотой, какие доступны только при употреблении хороших чертежных приборов.

Лекция оканчивалась тем, что Колосов, вооружившись длинным тонким карандашом, показывал все отдельные части чертежа и называл их размеры: скат три фута четыре дюйма. Подъем четыре фута. Берма, заложение, эскарп, контрэскарп и так далее. Юнкера обязаны были карандашами в особых тетрадках перечерчивать изумительные чертежи Колосова. Он редко проверял их. Но случилось, внезапно пройдя вдоль ряда парт, он останавливался, показывал пальцем на чью-нибудь тетрадку и своим голосом без тембра спрашивал:

– Паук? Корзинка с земляникой? Хамелеон? – И, сделав малую паузу: – Единица!

Он был очень самостоятелен и почти никогда не дожидался звонка на перемену. Просто доставал надушенный платок из тонкого полотна, отряхивал свою грудь и руки от еле заметных пылинок мела, встряхивал платком и, не сказав ни слова, уходил, когда ему хотелось.

Александров никак не мог удовлетворить этого строгого, бесчувственного, всегда молчаливого идола. Чертить он умел отлично, и линия у него выходила щеголеватой ровной, но основных начал фортификации он не мог преодолеть. Его воображению никак не удавалось видеть предметы, построенные из земли и камня, в проекции на плоскость, то есть не имеющими ни материи, ни веса. Если бы ему показали люнет, барбет или амбразуру, сделанными из глины или папье-маше, он, наверное, понял бы мгновенно ошибку своего геометрического неведения. Но об этом, увы, никто не хотел позаботиться. Почти в каждую репетицию Колосов молча ставил ему неудовлетворительные баллы, а Дрозд лишал его отпуска, этой отрады, улады и моральной поддержки.

Но еще больше терзали бедного фараона Александрова личные, интимные горести и разочарования: позорная измена Юлии Синельниковой, холодная и насмешливая отставка, полученная от Ольги Синельниковой, и, наконец, этот ужасный разгром литературной великой карьеры, разгром, признанный им самим с горьким отчаянием...

И Александров загрустил...

Но время течет, течет и в своем бесконечном течении потихоньку сглаживает все острые углы, подтачивает скалы, рассасывает мели, изменяет пейзажи и фарватеры.

Теперь Александров – фараон только по прозвищу. Гимнастика и фехтование развернули его грудь вширь. Вся трудность воинских упражнений и военного строя отошла бесследно. Ружье не тяжелит, шаг выработался большой и крепкий, а главное, появилось в душе гордое и ответственное сознание: я – юнкер славного Александровского училища, и трепещите все, все недруги. Даже с неодолимой фортификацией начались очень милые отношения. Однажды вечером, подготовляясь к завтрашней репетиции по проклятой фортификации, Александров громко и злобно чертыхнулся:

– Нет, когда же я, черт побери, освоюсь с этой фортификационной путаницей, да будут прокляты и полковник Колосов и его учитель Цезарь Кюи.

Сосед его по койке, скромный, тихий, благовоспитанный Прибиль, отличный пианист, сказал сочувственно:

– Послушайте-ка, друг Александров, не сердитесь на то, что я ввязываюсь не в свое дело. Я уже давно замечаю, что у вас постоянные недоразумения и огорчения с фортификацией. Мне кажется, что я могу вам немножко помочь, если вы, конечно, позволите. Все дело в сущем пустяке, который можно в одну минуту удалить. Вот, например, мой портсигар (Прибиль вынул из кармана простенький, изящный портсигар из карельской березы). Предположим, что он вам очень понравился и вам хочется заказать мастеру совершенно точно такой же по качеству и по размерам. Что вы для этого делаете? Вы приходите к мастеру и говорите: «Любезный мастер, сделайте мне хороший портсигар из карельской березы, шести дюймов в длину, четырех в ширину и двух в толщину». Не так ли? Для того чтобы заказ лучше удержался в его памяти, вы можете взять листик бумаги, карандаш и разграфленную линейку и начертить все размеры, надпи-

сав: длина, ширина, толщина. Ведь не придет же вам в голову написать этот портсигар для мастера на полотне масляными красками или пастелью, хотя вы и отличный художник? Вы смотрите на фортификационные чертежи как на стереометрию, а они только планиметрия. Я видел, как вы тщетно корпели и возились над амбразурами. Очевидно, у вас из памяти не выходили старинные громадные амбразуры времен д'Артаньяна и Вобановских укреплений. А теперешняя амбразура – это просто мелкая канавка, которую вы сами выкопали, чтобы не видно было вашего ружья. Положительно, вы делаете слишком много чести фортификации, и это вам идет во вред.

Он замолчал. Александров некоторое время сидел с полуоткрытым ртом. Наконец, со стуком закрыв его, он сказал:

– Прибиль, сделайте мне милость, назовите меня идиотом.

– Что вы, что вы, Александров. Бог с вами.

– Нет уж, пожалуйста, назовите.

И так они пререкались до тех пор, пока стоявший рядом Жданов не произнес:

– Хотя и не верю своим собственным словам, но вы идиот, мистер Александров.

– Спасибо, Жданов. Ведь это просто невероятно, в каком я до сих пор был нелепом заблуждении. Теперь мне сразу точно катаракт с обоих глаз сняли. Все заново увидел благодаря волшебнику Прибилю (имя же его будет для меня всегда священо и чтимо).

На другой же день, во время очередной репетиции, Александров дал своим сокурсникам небольшое представление.

– Александров! – вызвал его своим бесцветным голосом полковник, у которого и глаза и перо, казалось, уже готовились поставить привычную единицу, – потрудитесь начертить двойной траверс и указать все его размеры.

Александров подошел к доске (и все сразу узнали походку Колосова), вынул из кармана тщательно очищенный по колосовской манере мелок, завернутый аккуратно в чистую белую бумагу, и (все даже вздрогнули) совершенно колосовским, стеклянным голосом громко объявил:

– Двойной траверс.

Он чертил замечательно скоро и уверенно. Линии у него выходили тоньше, чем у Колосова, и менее выпуклы, но так же красивы. Окончив чертеж и подписав все цифры, Александров со спокойной отчетливостью назвал все линии и все размеры, не произнеся ни одного лишнего слова, не сделав ни одного ненужного движения, спрятал мелок в карман и по-строевому вытянулся, глядя в холодные глаза полковника.

Колосов помолчал. Впервые юнкера увидели на его каменном лице что-то похожее на удивление.

– Почему же раньше, – спросил он, – почему раньше ваши чертежи были похожи на какие-то пейзажи и вы постоянно путались в названиях и цифрах? Что такое с вами случилось?

– Я просто решил следовать до мельчайших подробностей вашим урокам, господин полковник.

– А может быть, вам надоели постоянные единицы?

– Отчасти, господин полковник.

– Гмм. Теперь вы меня поставили в очень неудобное положение. Поставить вам двенадцать я не могу, ибо это знак абсолютного совершенства, какого в мире не существует. Одиннадцать – это самый высший балл, на который знаю фортификацию только я. Поэтому не обижайтесь, что на этот раз я поставлю вам только десять. Можете сесть.

Это была большая победа, окрылившая Александрова. После нее он сделался лучшим фортификатором во всем училище и всегда говорил, что фортификация – простейшая из военных наук.

Текло время. Любовные раны зажили, огорчения рассеялись, самолюбие успокоилось, бывшие любовные восторги оказались наивной детской игрой, и вскоре Александровым овладела настоящая большая любовь, память о которой осталась надолго, на всю его жизнь...

Выветрилось понемножку и позорное сознание о злой неудаче в литературе. Верный инстинкт подсказал Александрову доброе противоядие: он опять вернулся к рисованию и живописи. Во все отпускные дни (а их теперь стало гораздо больше после победы над Колосовым) он ходил в Третьяковскую галерею, Строгановскую школу, в Училище живописи и ваяния или брал

уроки у Петра Ивановича Шмелькова⁵. Множество картонов и блокнотов истратил он, делая портретные изображения карандашом, углем и акварелью со своих товарищей, начальников и учителей. Эта работа спорилась послушно и приятно. Новый клин окончательно вышиб клин старый.

Между прочим, подходило понемногу время первого для фараонов лагерного сбора. Кончились экзамены. Старший курс перестал учиться верховой езде в училищном манеже. Господа обер-офицеры стали мягче и доступнее в обращении с фараонами. Потом курсовые офицеры начали готовить младшие курсы к настоящей боевой стрельбе полными боевыми патронами. В правом крыле училищного плаца находился свой собственный тир для стрельбы, узкий, но довольно длинный, шагов в сорок, наглухо огороженный от Пречистенского бульвара.

Туда каждый день с утра до вечера водили молодых юнкеров поочередно, по четыре, на стрельбу, следили за тем, чтобы юнкер при выстреле не зажмурился, не вздрагивал при отдаче, глядел бы точно на мушку сквозь прорезь прицела и нажимал бы спуск не рывком, но плавным движением.

В другом конце тира ставились картонные мишени с концентрическими черными окружностями, попадать надо было в центральный сплошной кружок. Благодаря малости помещения выстрелы были страшно оглушительны, от этого юнкера подолгу ходили со звоном в голове и ушах и едва слышали лекции и даже командные слова.

Но еще труднее с непривычки была чересчур сильная отдача ложа в плечо при выстреле. Она была так быстра и тяжела, что, ударяясь в тринадцатифунтовую берданку, чуть не валит начинающего стрелка с ног. Оттого-то у всех фараонов теперь правое плечо и правая ключица в синяках и по ночам ноют.

Но и домашнее обучение стрельбе окончено. «Умей чистить и протирать винтовку, чтобы она и снаружи и внутри у тебя блестела, как зеркало». Наступает утро, когда весь батальон, со знаменем, строгим строем, в белых каламянковых рубашках, под восхитительную музыку своего оркестра, покидает плац училища и через всю Москву молодецки марширует на Ходынское поле в старые-престарые лагеря.

Воспоминание о них остается слабым и незначительным для Александрова. Каждый день стрельба и стрельба, каждый день глазомерные и компасные съемки, каждый день батальонные учения и рассыпной строй. Идут постоянные дожди, когда юнкера сидят по баракам и в тысячный раз перезубривают уставы и «словесность».

Но самое главное то, что унижает фараонов до нуля, — это громадная роль и всеподавляющее значение, которые теперь легли на господ обер-офицеров.

На днях выборы вакансий, производство, подпоручичьи эполеты, высокое звание настоящего обер-офицера. Фараоны где-то вдали, внизу, в неизвестности и забвении. И они чрезвычайно были обрадованы, когда дня за три до производства старшего курса в первый офицерский чин их распустили в отпуск до конца августа.

Александров провел остаток лета вместе с мамой у своего шурина, мужа сестры Зиной, в его чернореченском лесничестве, находящемся под Коломной. Там он много охотился, ловил рыбу и шлялся по лесам за ягодами и грибами.

Осталось одно неприятное и стыдное воспоминание о жене лесника Егора, Марье, красивой, здоровой бабенке, которая ему вскоре опротивела до смерти.

Вернулся он в училище настоящим обер-офицером, выросший чуть ли не на голову, с хриплыми басовыми нотами в голосе, загорелый, отравивший настоящие усы в один миллиметр длиною.

О, как ему знакомы, близки и жалки были беспомощные неуклюжести новичков, их растерянность, их неумение найти тон. Он никогда не забывал своих первых жутких впечатлений в училище, когда был, точно чудом, перенесен из игрушечной жизни в суровую и строгую настоящую жизнь.

Он был хорошим обер-офицером, всегда готовым на помощь и на защиту фараону. Но старых адатов он не касался. Он чувствовал, что в них есть и надобность и скрепляющая сила.

⁵ Шмельков — талантливый рисовальщик. Он забыт современными русскими художниками. См. о нем монографию, написанную французским писателем Denis Roches. (Прим. автора.)

Он был пламенным поклонником темпа.

– Темп, – говорил он фараонам, – есть великое шестое чувство. Темп придает уверенность движениям, ловкость телу и ясность мысли. Весь мир построен на темпе. Поэтому, о! фараоны, ходите в темп, делайте приемы в темп, а главное, танцуйте в темп и умейте пользоваться темпом при фехтовании и в гимнастических упражнениях.

Он и сам не подозревал того, что очень любившие его фараоны между собою называли его «обер-офицер Темп».

Ротный командир Дрозд, не стесняясь, говорил иногда, что он очень жалеет, почему Александров не дотянул на экзаменах до общего среднего балла, который дал бы ему возможность стать портупей-юнкером, командиром взвода.

Но, увы! Полковник Колосов не мог простить ему воистину волшебного просияния в фортификации и к круглым десяткам упрямо присоединял прошлые единицы, тройки и пятерки, поставленные еще на репетициях, чем и понизил значительно шансы Александрова. Увы! Этот слишком земной человек не веровал в чудеса и не ценил их. Но это не огорчало Александрова. Он наслаждался спокойной военной жизнью, ладностью во всех своих делах, доверием к нему начальства, прекрасной пищей, успехами у барышень и всеми радостями сильного мускулистого молодого тела.

Глава XVI

Дрозд

В четвертой роте числится сто юнкеров, но на рождественские каникулы три четверти из них разъехалось из Москвы по дальним городам и родным тихим гнездам: кто в Тифлис, кто в Полтаву, Полоцк, Смоленск, Симбирск, Новгород, кто в старые деревенские имения. Им хорошо: сплошь две недели отдыха, веселия, приключений, охоты, поездок ряжеными; никакой заботы и памяти об училище. Они вернутся в него лишь десятого января, осипшие от дороги, загоревшие крепким зимним загаром, потолстевшие, с большим запасом домашних варений, солений, сухих яблоков, малороссийского сала, чурчхелы, бадриджанов и прочей снеди.

А вот коренным москвичам – туго. Изволь являться трижды в неделю в училище, да еще ровно к семи часам утра, и только для того, чтобы на приветствие Дрозда (командира четвертой роты, капитана Фофанова) проорать: «Здравия желаю, ваше высокоблагородие». А зачем? Мы, здешние, также никуда не убежим, как и иногородние.

Приблизительно так бурчит про себя господин обер-офицер Александров, идя торопливыми большими шагами по Поварской к Арбату. Вчера была елка и танцевали у Андриевичей. Домой он вернулся только к пяти часам утра, а подняли его насилу-насилу в семь без двадцати. Ах, как бы не опоздать! Вдруг залепит Дрозд трое суток без отпуска. Вот тебе и Рождество...

Глаза у Александрова еще не совсем проснулись после краткого сна, в них чувствуется резь и усталость. Но запах снега так вкусен, мороз так весел, быстрое движение так упорно гонит горячую кровь по всему телу... Через две минуты Александров спрашивает самого себя с удивлением: «Где же моя усталость, недовольство и кислота?» Их нет, исчезли. Тело не имеет больше веса. Эта невесомость – одно из блаженнейших ощущений на свете, но оно негативно, оно так же незаметно и так же не вызывает благодарности судьбе, как тридцать два зуба, емкие легкие, железный желудок; поймет его Александров только тогда, когда утерять его навсегда; так, лет через двадцать.

Снег тонко скрипит под его лакированными сапожками. Снег скрипит под ногами у всех пешеходов. Он визжит под полозьями саней, оставляющих за собою в нем блестящие, скользкие полосы, а на заворотах он крепко хрустит, смятый полозьями. Из всех труб высоко над домами стоят, неподвижно устремясь в зеленое небо и там слегка курчавясь, белые прямые столбы дыма. Вот налево Савостьянов, булочная, а наискосок Арбатской площади – белое длинное здание Александровского училища на Знаменке, с золотым малым куполом над крышей, знак домашней церкви. Слава богу, минута в минуту. Не опоздал.

Портупей-юнкер Золотов – круглый сирота; ему некуда ехать на праздники, он заменяет фельдфебеля четвертой роты. Он выстраивает двадцать шесть явившихся юнкеров в учебной галерее в одну шеренгу и делает им перекличку. Все в порядке. И тотчас же он командует: «Смирно. Глаза налево». Появляется с левого фланга Дрозд и здоровается с юнкерами.

Мальчишеские прозвища удивительно метки. Капитан Фофанов вислоплеч и длиннонос. Его худошавое лицо смугло и румяно. Черные волосы на голове разделены косым четким пробором; легкой красиво-неуклюжей перевалочкой и боковым наклоном головы, при внимательном и быстром взгляде, он действительно напоминает птицу, и именно черного дрозда. Он очень требователен и суров в делах службы и строевого учения. «Без отпуска», карцер, дежурства и дневальства вне очереди так и сыпятся из него в несчастливые для юнкеров дни. И все это с величайшей вежливостью: «Юнкер Александров, будьте любезны отправиться на двое суток под арест, с исполнением служебных обязанностей». Но вне условий, требующих крутой дисциплины, он фамильярный друг, защитник и всегдашняя выручка. Эти его милые черты хорошо знакомы всем проказливым юнкерам четвертой роты и особенно Александрову, самому неистовому баловнику. Но зато Дрозд ненавидит малейший оттенок лжи и требует от провинившегося юнкера мгновенного и точного признания.

Однажды юнкер Александров был оставлен без отпуска за единицу по фортификации. Скитаясь без дела по опустевшим залам и коридорам, он совсем ошалел от скуки и злости и, сам не зная зачем, раскалил в камине уборной докрасна кочергу и тщательно выжег на красной фанере огромными буквами слово «Дрозд».

В понедельник утром, после утренней переклички, еще не распуская роты, выдержав паузу, капитан спросил, по обыкновению протягивая перед некоторыми словами длинный ять (он был чуть-чуть зайкой):

– Э-какой это болван э-начертил в нужнике э-какую-то похабщину?

Александров в ту же секунду громко крикнул из строя:

– Я, господин капитан!

Командир совсем по-птичьи окинул юнкера боковым взглядом и произнес с презрительным равнодушием:

– Э-так я и знал. – И скомандовал роте: – Разойдитесь!

Вечером, перед чаем, когда все зубрили, сидя на своих койках, уроки к завтраму, юнкер Александров увидел Дрозда, проходившего по галерее, и подбежал к нему. Юнкер весь день томился, подавленный великодушием начальника.

– Господин капитан, позвольте мне попросить у вас прощения.

– Э-дурачок, – протянул Дрозд. – Э-пустяки. Ступай заниматься, э-чертежник ты этакий!

И слегка толкнул его ладонью в спину. Но в голосе Дрозда и его прикосновении юнкер почувствовал теплоту.

Так воспитывал Дрозд своих девятнадцатилетних птенцов в проворном повиновении, в безусловной правдивости, на широкой развязке взаимного доверия.

Дрозд, заложив руки за спину, медленно, неуклонно идет вдоль фронта, зорко оглядывая каждое лицо, каждую пуговицу, каждый пояс, каждый сапог. Рядом с Александровым стоит крепко сбитый широкоплечий чернявый Жданов. Он нехорошо бледен, и белки его глаз слюняво желтоваты.

– Э-нездоров? – спрашивает Дрозд.

– Никак нет, господин капитан. Здоров.

Дрозд поводит туда-сюда острым подозрительным носом.

– Э-какую гадость вчера пил? – спрашивает он брезгливо.

Юнкер жмется, но тотчас отвечает:

– В гостях давали ананасный ликер, господин капитан.

– Ффу, какая мерзость! – морщится Дрозд. – Э-это не ликер, а дерьмо. И зачем тебе пробовать э-ликеры. Ну, выпей стакан красного вина, и э-довольно с тебя. А лучше и э-совсем не пей. Пьют от скуки паршивые неудачники, а перед тобою э-целый мир впереди. Будь весел и пьян э-без вина.

Подходит к концу докучный осмотр. У юнкеров чешутся руки и горят пятки от нетерпения. Праздничных дней так мало, и бегут они с такой дьявольской быстротой, убегают и никогда не вернутся назад!

Но Дрозд выходит на середину фронта, достает из отворота рукава какую-то бумажку и не спеша ее разворачивает. «Да поскорее ты, Дроздище!» – мысленно понукает его Александров.

Дрозд начинает читать, мучительно растягивая свои яти:

– По распоряжению начальника училища сегодня наряжены на бал, имеющий быть в Ека-

терининском женском институте, двадцать четыре юнкера, по шести от каждой роты. От четвертой роты поедут юнкера:

Он делает небольшим молчанием двоеточие, совсем маленькое, всего в полторы секунды, но в этот короткий промежуток сотни тревожных мыслей пробегают в голове Александрова.

Сегодня его день так полно и счастливо занят, что даже совсем не остается места для семейных радостей. К десяти часам он должен ждать в Зоологическом саду Наташу Манухину. Они будут кататься с великолепных ледяных гор. Какое острое наслаждение нестись стремительно вниз на маленьких салазках по отвесной сверкающей дороге, подвернув левую ногу под себя, а правой, как рулем, давая прямое направление волшебному лету. Правда, Наташа придет не одна, а в сопровождении скучной англичанки, похожей на птицу марабу. Но, к счастью, гувернантка не любит кататься с гор и, кажется, считает это одним из русских варварств. Она будет торчать на вышке, кутая в широкое обезьянье боа свой красный британский нос. А Наташа назло ей будет требовать еще и еще, и в последний раз еще и в самый-самый последний. Лицо Александрова слегка щекочет Наташина котиковая шубка, и как сладко пахнет эта шубка мехом и тонкими неизъяснимыми духами, и сама Наташа, наверно, гордится своим кавалером: «Как ловок и смел этот милый Александров и, кажется, немного влюблен в меня». Ах, Наташа, совсем не немного, наоборот: до безумия.

В час завтрак у Шпаковских, а после завтрака веселая репетиция водевиля «Не спросясь броду, не суйся в воду», где Александров играет Макарку, а также и в живых картинах. Должно быть, и потанцуют немного. В этом большом, уютном, безалаберном доме две девочки, три барышни и всегда множество их подруг всяких возрастов. Там с утра до вечера поют, танцуют, устраивают игры, едят, влюбляются и звонко смеются. Александрову часто кажется, что он влюблен в младшую из барышень, в белокурую розовую Нину. Впрочем, все любви Александрова так многочисленны и скоропалительны, что сестра в шутку зовет его – господин Сердечкин.

Потом обед у Калмыковых, и тоже танцы. А затем – самое главное – вечером знаменитая елка в Благородном собрании, на которую съезжается вся молодая Москва: дети, подростки, барышни и юноши. Туда он обещал сопровождать трех приехавших из Пензы землячек: Машеньку Полубояринову, Сонечку Аничкову и Зою Скрипицыну. Бал, на котором танцуют, после того как детей увезут по домам, до тысячи молодых людей. И, если говорить по правде, уже не в Машеньку ли влюбился, по-настоящему и мгновенно, несчастный юнкер в тот вечер, когда она играла Шопена, а он стоял, прислонившись к пианино, и то видел, то не видел ее нежное лицо, такое странное и такое изменчивое в темноте.

«Только не меня. Дорогой, золотой Дрозд, только, пожалуйста, не меня», – мысленно умоляет Александров.

– Э-Рихтер, – произносит капитан, – Жжданов, Бутынский, Карганов, Прибиль...

«Пронеси, пронеси, пронеси!» – умоляет судьбу Александров, изо всех сил стискивая зубы и кулаки. И вот падает холодно и непреклонно:

– И э-Александров. Кто хочет завтракать или обедать в училище, заявите немедленно дежурному для сообщения на кухню. Ровно к восьми вечера все должны быть в училище совершенно готовыми. За опоздание – до конца каникул без отпуска. Рекомендую позаботиться о внешности. Помните, что александровцы – московская гвардия и должны отличаться не только блеском души, но и благородством сапог. Тьфу, наоборот. Затем вы свободны, господа юнкера. Перед отправкой я сам осмотрю вас. Разойдитесь.

На лестнице Александров догоняет Дрозда. Последняя, отчаянная попытка.

– Господин капитан!

Дрозд останавливается на ступеньке, в птичий недоверчивый полуоборот к юнкеру.

– Э-что еще?

– Господин капитан, позвольте вам сказать, что я катался на коньках, и у меня подвернулась нога. Прямо ступить нельзя, такая боль.

– Э-врешь. Пойди в лазарет и принеси свидетельство.

Душа Александрова катится вниз, как с ледяной горы в Зоологическом.

– Господин капитан, – говорит он смущенно. – Положим, я могу себя осилить. Но у меня другие, важные причины.

– Ну?

– Нет перчаток.

Дрозд хмурится.

– Э-покажи руки.

Юнкер поворачивает обе руки ладонями вверх. Дрозд делает то же самое и сверяет руки свои и его.

– Ерунда. У нас одинаковый размер. Семь или семь с половиной, э-небольшая разница. Вечером я тебе пришлю мои, спросишь у фельдфебеля. Ступай. Ну, что же ты стоишь?

– Господин капитан, – робко говорит юнкер, вновь тронутый великодушием этого чудака. – Положим, перчатки у меня есть, только очень грязные, но я их могу вымыть. Но я должен вам сказать правду (сейчас Александров подпустит маленькую лесть). Я знаю, что вы все можете простить.

Дрозд перебивает его, угрожающе вздернув подбородок вверх.

– Э-далеко не все.

– Простить очень многое, если вам говорят правду.

Дрозд с сомнением косится на юнкера.

– Э-попутай, попутай у меня еще!

– И вот я вам должен признаться откровенно, что...

– Э-девчонки, должно быть?

– Точно так, господин капитан. Барышни. Приехали только на две недели в Москву из Пензы. Мои родственницы. Обещался быть в Благородном собрании на елке. Дал честное слово. Ужасно обидно будет обмануть их и подвести.

Но Дрозд упрямо трясет головою.

– Э-все равно поедешь. А женскую душу я знаю лучше тебя. Опоздал, не пришел – пускай сердится: в следующий раз будет ждать еще нетерпеливее. И кроме того, я тебе скажу (тут его голос смягчается), что бал Благородного собрания, это – толкучка, рынок, открытый вход, открытый для всех: купеческие дочки из Замоскворечья, немки, цирюльники, чиновники и другие шпаки всякие. А в Екатерининский институт на бал можно попасть лишь по строгому выбору, по именному, личному приглашению. В Екатерининском, э-дружок мой, учатся девицы лишь из самых древних, самых настоящих, дворянских фамилий. Истинная, столбовая русская аристократия не в Петербурге, голубчик, а в Москве, у нас. Не пропускай случая. Летом выйдешь в офицеры. Придется тебе надолго, если не навсегда, законопатиться в каком-нибудь Проскурове или Кинешме, и никогда ты в жизни не увидишь подобной прелести и красоты. Ну, разве воинская доблесть вытянет тебя вверх или чудом попадешь в Академию, тогда – может быть... Но вернее всего, что навсегда нынешний бал останется для тебя, как прекрасный и э-неповторимый сон. И я тебе твердо говорю, что в пятницу ты сам же поблаговаришь меня. Э-иди, иди, юнкер.

Он ласково концами пальцев потрепал Александрова по плечу и поспешно стал спускаться по лестнице.

«Что же, – подумал Александров. – Видно, так и быть. Хорошо еще, что не на весь день оставил в училище. Все-таки кое-куда поспею. А Машеньке Полубояриновой pošлю записку с посыльным. Да вот еще: пораньше вымыть замшевые перчатки... Ну и Дрозд! Все-таки с ним можно жить. На все смотрю, парады, встречи и церемонии, когда назначают юнкеров по выбору, он неизменно посылает и Александрова. О, тут большая ревность! Все училище помнит, по старому преданию, о том, как застрелился в курилке юнкер Кувшинников, будучи не включенным в те двенадцать рядов со знаменем, которые были наряжены в почетный караул для встречи государя. Здесь дело чести! Да и правда, юнкер Александров не особенно красив, – признается сам себе Александров, – скажем, даже совсем некрасив. Но он лучше многих прыгает через деревянную кобылу и вертится на турнике, он отличный строевик, в танцах у него ритм и послушность всех мускулов, а лучше его фехтуют на рапирах только два человека во всем училище: юнкер роты его величества Чхеидзе и курсовой офицер третьей роты поручик Темирязов... А красота? Что такое мужская красота?»

Восемь без пяти. Готовы все юнкера, наряженные на бал. («Что за глупое слово, – думает Александров, – «наряженные». Точно нас нарядили в испанские костюмы»). Перчатки вымыты, высушены у камина; их пальцы распялены деревянными расправилками. Все шестеро, в ожидании лошадей, сидят тесно на ближних к выходу койках. Тут же примостился и Дрозд. Он дает последние наставления:

– Следите за своим ножом и вилкой и опрятностью на тарелке, если позовут вас ужинать. Рыбу – только вилкой; можете помогать хлебной корочкой. Птицу в руки не брать. Ешьте небольшими кусками, чтобы не быть с полным ртом, когда соседка обратится к тебе с разговором. Девчонкам глупостей не врать, всякие чувства побоку и э-к черту-с. Начальнице и генералам кланяться придворным поклоном, как учил танцмейстер. Если начальница протянет руку, приложись, но, склонившись, не чмокай. За старшего Рихтер. Вот и все. Завидую вам.

– Поехали бы с нами, господин капитан, – говорит Александров.

– Э-куда мне. Стар.

Довод печальный, но для юнкеров убедительный. Дрозду тридцать шесть лет. Действительно, в эгоистичном измерении юнкеров, это – глубокая старость. Александров, например, твердо решил дожить только до тридцати лет, а потом застрелиться. Стоит ли продолжать жить древним старцем, хладеющим развалиной?

– Вы еще совсем молоды, господин капитан, – говорит с лицемерным сочувствием цветущий армянин Карганов.

Дрозд машет рукой.

– Где уж!.. куда уж!..

Уедут юнкера туда, где свет, музыка, цветы, прелестные девушки, духи, танцы, легкий смех, а Дрозд пойдет в свою казенную холостую квартиру, где, кроме денщика, ждут его только два живых существа, две черные дворняжки, без признаков какой бы то ни было породы: э-Мальчик и э-Цыган. Говорят, что Дрозд выпивает по ночам в одиночку.

Служитель быстро взбегает по лестнице и навытяжку останавливается перед Дроздом:

– Лошади поданы, ваше высокоблагородие.

– Ну, с богом, – говорит Дрозд, вставая. – Верю, что поддержите блеск и славу родного училища. После танцев сразу на мороз не выходите. Остыньте сначала. Рихтер, ты за этим присмотришь.

– Слушаю, господин капитан.

А служитель, коренной, всезнающий москвич, возбужденно шепчет сбоку юнкерам:

– Четыре тройки от Ечкина. Ечкинские тройки. Серые в яблоках. Не лошади, а львы. Ямщик грозит: «Господ юнкеров так прокачу, что всю жизнь помнить будут». Вы уж там, господа, сколотитесь ему на чаишко. Сам Фотоген Павлыч на козлах.

Глава XVII Фотоген Павлыч

– С богом. Одевайтесь, – приказал Дрозд. – Э-смотрите, носов не отморозьте. Семнадцать градусов на дворе.

Юнкера волнуются и торопятся. Шинели надеваются и застегиваются на бегу. Башлыки переброшены через плечо или зажаты под мышкой. Шапки надеты кое-как. Все успеется на улице.

Здесь – вольное, безобидное состязание с юнкерами других рот. Надо во что бы то ни стало первыми выскочить на улицу и завладеть передовой, головной тройкой. Весело ехать впереди других!

Но вот едва успели шестеро юнкеров завернуть к началу широкой лестницы, спускающейся в прихожую, как увидели, что наперерез им, из бокового коридора, уже мчатся их соседи, юнкера второй роты, по училищному обиходу – «звери», или, иначе, «извозчики», прозванные так потому, что в эту роту искони подбираются с начала службы юноши коренастого сложения, с явными признаками усов и бороды. А сзади уже подбежали и яростно напирают третья рота – «мазочки» и первая – «жеребцы». На лестнице образовался кипучий затор.

– Четвертая, не выдавай! – кричит голосистый Жданов где-то впереди.

Александров пробуравливается сквозь плотные, сбившиеся тела и вдруг, как пробка из бутылки, вылетает на простор. Он видит, что впереди мелким, но быстрым шагом катится вниз коротконогий Жданов. За ним, как будто не торопясь, но явно приближаясь к нему, сигает зараз через три ступеньки длинный, ногастый «зверь», у которого медный орел барашковой шапки отъехал впопыхах на затылок. Все трое в таком порядке сближаются на равные расстояния.

В эти доли секунды Александров каким-то инстинктивным, летучим глазомером оценивает

положение: на предпоследней или последней ступени «зверь» перегонит Жданова. «Ах, если только хоть чуть-чуть нагнать этого долговязого, хоть коснуться рукой и сбить в сторону! Жданов тогда выскочит». Вопрос не в личной победе, а в поддержании чести четвертой роты.

И судьба ему помогает: правда, со внезапной грубостью. Кто-то сзади и с такою силою толкает Александрова, что его ноги сразу потеряли опору, а тело по инерции беспомощно понеслось вперед и вниз. Момент – и Александров неизбежно должен был удариться теменем о каменные плиты ступени, но с бессознательным чувством самосохранения он ухватился рукой за первый предмет, какой ему попался впереди, и это была пола вражеской шинели.

Оба юнкера упали и покатались вниз. Над ними, наступая на них, промчались бегущие ноги.

– Черт вас возьми! – заворчал «зверь». – Это прием неправильный. Я ушиб себе коленку.

В эту минуту Александров почувствовал, что и он сам ссадил себе локоть. Подымаясь, он сказал шутливо, но с сочувствием:

– На войне все приемы правильны. Позвольте, я помогу вам встать. Меня пихнули сзади, и, уверяю вас, что без вашей невольной помощи я разбился бы в лепешку, а так только локтем стукнулся.

– Ну, да уж ладно, – засмеялся «зверь», еще морщась от боли. – До свадьбы у нас обоих заживет. Пойдемте-ка.

В передовых санях, стоя, высился Жданов и орал во весь голос:

– Четвертая рота! Господа обер-офицеры! Сюда! – Теперь уже никто из чужой роты не позволил бы себе залезть в эту тройку. Таково было неписаное право первой заявки.

Какими огромными, неправдоподобными, сказочными показались Александрову в отчетливой синеве лунной ночи рослые серые кони с их фырканьем и храпом: необычайно широкие, громоздкие, просторные сани с ковровой тугой обивкой и тяжелые высокие дуги у коренников, расписанные по белому неведомыми цветами.

Белый пар шел из лошадиных ноздрей и от лошадиных спин, и сквозь него знакомый газовый фонарь на той стороне Знаменки расплывался в мутный радужный круг.

Ямщик перегибается с козел, чтобы отстегнуть волчью полость. Усы у него белые от инея, на голове большая шапка с павлиньими перьями. Глаза смеются.

– Садитесь, садитесь, господа юнкера. В дороге утрясется, всем слободно будет.

– Тебя ведь Фотоген Палычем зовут? – спрашивает Бутынский.

– Совершенно верно, – отвечает ямщик, обминаясь на козлах. Голос у него приятный, уверенный и немного смешливый. – А вы откуда знаете?

Находчивый Карганов, не задумываясь, отвечает:

– Кто же не знает знаменитого Фотоген Палыча?

Другие юнкера быстро подхватывают:

– Тебя вся Москва знает. Первый троечник в Москве. Не в Москве, а во всей России. Это нам уж так повезло, в твои сани попасть.

Невинная лесть! Однако она доходит до крутого ямщичьего сердца.

– Буде, буде... наговорили.

Он тихо, но густо смеется: немного похоже на то, как довольный регочет жеребец, когда к нему в стойло входит конюх с мерой овса.

– Пошли, что ли? – кричит сзади ямщик нараспев.

Фотоген Палыч, разобрав вожжи, в последний раз поерзал задом на сиденье и, слегка повернув голову, протянул внушительным баском:

– Тро-огай...

Заскрипели, завизжали, заплакали полозья, отдираясь от настывшего снега, заговорили нестройно, вразброд колокольцы под дугами. Легкой рысцей, точно шутя, точно еще балуясь, завернула тройка на Арбатскую площадь, сдержанно пересекла ее и красиво выехала на серебряный Никитский бульвар.

Никогда не забыть потом Александрову этой прелестной волшебной поездки! Ему досталось место лицом к лошадям, крайнее справа. Он мог свободно видеть косматую голову широкобокого коренника и всю целиком правую пристяжную, изогнувшую кренделем, низко к земле, свою длинную гибкую шею, и даже ее кровавый темный глаз с тупой, злой белизной белка. С удовольствием он чувствовал, как в лицо ему летят снежные брызги из-под лошадиных копыт.

Но в душе его все-таки мелькала, как, может быть, и у других юнкеров, досадная мысль: где же, наконец, эта пресловутая, безумная скачка, от которой захватывает дух и трепыхает сердце? Или она только для пьяных московских купцов? А еще грозился лихо прокатить «юнкерей»!

Но эта дурная мысль так же быстро исчезла, как и пришла. В езде Фотогена есть магическая непонятная красота.

Пробежал назад Тверской бульвар, с его нарядными освещенными особняками. Темный Пушкин на высоком цоколе задумчиво склонил свою курчавую голову. Напротив широкая белая масса Страстного монастыря, а перед ней тесная биржа лихачей и парных «голубков». Кто-то из юнкеров закурил. Александров с трудом достал свой кожаный портсигар и долго возился со спичками, упрямо гасшими на быстром движении. Когда же ему удалось разжечь папиросу и он поглядел перед собою, то он уже не мог узнать ни улиц, ни самой Москвы. Ехали какими-то незнакомыми чужими местами.

Какой великий мастер своего дела Фотоген Палыч! Вот он едет узкой улицей. Неизъяснимыми движениями вожжей он сдвигает, сжимает, съезживает тройку и только изредка негромко покрикивает на встречные сани:

– Берегись. Поб-берегись, извозчик!

Но только поворотит на улицу посвободнее, как сразу распустит, развернет лошадей во всю ее ширину, так что загнущиеся пристяжные чуть не лезут на тротуары. «Эй, с бочками! держи права!» И опять соберет тесно свою послушную тройку.

«Точно закрывает и раскрывает веер, – думает Александров, – так это красиво!»

А сидящий с ним рядом смуглый Прибиль, талантливый пианист, бодает его головой в плечо и, захлебываясь, говорит непонятные слова:

– Крещендо и диминуэндо... Он – как Рубинштейн!

Временами неведомая улица так тесна и так запружена саними и повозками, что тройка идет шагом, иногда даже приостанавливается. Тогда задние лошади вплотную надвигаются мордами на задок, и Александров чувствует за собою совсем близкое, теплое, влажное дыхание и крепкий приятный запах лошади.

А потом опять широкая безымянная улица, и легкий лет саней, и ладный ритм лошадиных копыт: та-та-та-та – мерно выстукивает коренник, тра-та, тра-та, тра-та – скачут пристяжные. И все так необычайно в таинственном нездешнем городе. Вот под полотняным навесом, ярко освещенный висячим фонарем, стоит чернобородый, черноглазый, румяный, белозубый торговец около яблочного ларя. В прекрасные призмы уложены желтые, красные, белые, пунцовые, серые яблоки. Издали чувствуется в них аромат и ясно воображается на зубах их сладкая кислинка (если бы закусить кусочек поглубже). Вот выбежала из ворот, без шубки, в сером платочке на голове, в крахмальном передничке, быстроногая горничная: хотела перебежать через дорогу, испугалась тройки, повернулась к ней, ахнула и вдруг оказалась вся в свету: краснощекая, веселая, с блестящими синими глазами, сияющими озорной улыбкой. «Поберегитесь, красавица! Задавлю!» – воркующим голосом окликает ее Фотоген и, полуобернувшись назад, говорит:

– Ладные у нас бабочки на Москве живут. – И сейчас же окрикает замешкавшегося возчика: – Заснул, гужеед!

И вот юнкера едут по очень широкой улице. Александрову почему-то вспоминается давнишняя родная Пенза. Направо и налево деревянные дома об одном, реже о двух окошках. Кое-где в окнах слабые цветные огоньки, что горят перед иконами. Лают собаки. Фотоген идет все тише и тише, отпрукивая тонким учтивым голоском лошадей.

Наконец останавливается у трактира. Там, сквозь запотевшие стекла, чувствуется яркое освещение, мелькают быстрые большие тени, больше ничего не видно. Слышны звуки гармонии и глухой, тяжелый топот.

Вторая тройка проезжает мимо. С нее слышится окрик:

– Чего стал, дядя Фотоген?

– Супонь, – сердито отвечает Фотоген.

А уж с третьей тройки доносится деловой бас:

– Знаем мы твою супонь...

Фотоген не спеша слезает с облучка, поддерживая, как шлейф, длинные полы армяка, и величественно передает вожжи Александрову.

– Подержи, барин. Мне тут нужно по одному делу.

Александров польщен и сразу становится важным. Но только – как груба и тяжела эта огромная путаница вожжей.

Юнкера ропщут:

– Да что же это, Фотоген Палыч? Мы так последние приедем. Срам какой!

– Не тревожьтесь, юнкarya, – спокойно говорит ямщик. – С Фотоген Павлычем едете!

Он распахивает дверь и исчезает в облаках угарного пара, табачного дыма, крика и звона, которые стремительно вылетают из трактира и мгновенно уносятся вверх.

– Вот тебе и Фотоген! – уныло говорит Жданов.

Но ямщик не заставляет долго себя ждать. Через две минуты дверь кабака распахивается и в белых облаках, упруго взвивающихся вверх, показывается Фотоген Павлыч, почтительно провожаемый хромоногим половым в белой рубахе и в белых штанах.

– Счастливого вам пути, Фотоген Павлович, – учтиво говорит половой.

Фотоген берет вожжи из рук Александра.

– Спасибо тебе, барин, – говорит он, влезая на козлы и что-то дожевывая. – А вы, господа юнкarya, не сомневайтесь. Только предупреждаю: держитесь крепко, чтобы вы не рассыпались, как картофель.

Он весел. На морозе необыкновенно вкусно пахнет от него винцом...

– Ведь какой расчет, – говорит он, разбирая вожжи и усаживаясь половчее, – они, видите, поехали прямой дорогой, только ухабистой, где коням настоящего хода нет. А у меня путь легкий, укатный. Мне лишние четь-версты – наплевать.

И вдруг дико вскрикивает:

– Ей вы, крылатая-я!

«Господи, – думает Александров, – почему и мне не побыть ямщиком. Ну, хоть не на всю жизнь, а так, года на два, на три. Изумительная жизнь!»

Дальше впечатления Александра были восхитительны, но сумбурны, беспорядочны и туго припоминаемые. Остались у него в памяти: резкий ветер, стегавший лицо и пресекавший дыхание, стук снежных комьев о передок, медвежья перевалка коренника со вздыбленной, свирепой гривой и такая же, будто в такт ему, перевалка Фотогена на козлах. Как во сне, припоминал он потом, что ехали они не то лесом, не то парком. По обеим сторонам широкой дороги стояли густые, белые от снега деревья, которые то склонялись вершинами, когда тройка подъезжала к ним, то откидывались назад, когда она их промелькнула.

Помнилось ему еще, как на одном крутом повороте сани так накренились на правый бок, точно ехали на одном полозе, а потом так тяжко ухнули на оба полоза, перевалившись на другой бок, что все юнкеры одновременно подскочили и крикнули. Не забыл Александров и того, как он в одну из секунд бешеной скачки взглянул на небо и увидел чистую, синевато-серебряную луну и подумал с сочувствием: «Как ей, должно быть, холодно и как скучно бродить там в высоте, точно она старая больная вдова; и такая одинокая».

На последнем повороте Фотоген нагнал своих. Впереди его была только вторая тройка. Он закричал, сам весь возбужденный веселым летом:

– Право держи, любезный!

– У, черт, дьявол, леший, – отозвался без злобы, скорее с восхищением, обгоняемый ямщик. – Куда прешь!

Но уже показался дом-дворец с огромными ярко сияющими окнами. Фотоген въехал сдержанной рысью в широкие старинные ворота и остановился у подъезда. В ту минуту, когда Рихтер передавал ему юнкерскую складчину, он спросил:

– Лихо ли, юнкеры?

Они и слов не находили, чтобы выразить свое удовольствие. Правда, они уже искренне успели забыть о тех минутах, когда каждый из них невольно подумывал: «Потише бы немножко».

– Назад опять со мной поедете, – говорил Фотоген, отъезжая. – Только крикните меня по имени: Фотоген Павлыч.

Ечкинские нарядные тройки одна за другою подкатывали к старинному строгому подъезду, ярко освещенному, огороженному полосатым тиковым шатром и устланному ковровой дорожкой. Над мокрыми серыми лошадьми клубился густой белый пахучий пар. Юнкера с трудом вылезали из громоздких саней. От мороза и от долгого сидения в неудобных положениях их ноги затекли, одеревенели и казались непослушными: трудно стало их передвигать.

Наружные массивные дубовые двери были распахнуты настежь. За ними, сквозь вторые стеклянные двери, сияли огни просторного высокого вестибюля, где на первом плане красовалась величественная фигура саженого швейцара, бывшего перновского гренадерского фельдфебеля, знаменитого Порфирия.

Его ливрея до полу и пышная пелерина – обе из пламенно-алого тяжелого сукна – были обшиты по бортам золотыми галунами, застегнуты на золотые пуговицы и затканы рядами черных двуглавых орлов. Огромная треуголка с кокардой и белым плюмажем покрывала его голову в пудреном парике с белою косичкою. В руке швейцар держал на отлете тяжелую булаву с большим золоченым шаром, который высился над его головою. Его великолепный костюм, его рост и выправка, его черные, густые, толстые усы, закрученные вверх тугими кренделями, придавали его фигуре вид такой недоступной и суровой гордости, какой позавидовали бы многие министры...

Он широко распахнул половину стеклянной двери и торжественно стукнул древком булавы о каменный пол. Но при виде знакомой формы юнкеров его служебно серьезное лицо распустилось в самую добродушную улыбку.

По училищным преданиям, в неписаном списке юнкерских любимцев, среди таких лиц, как профессор Ключевский, доктор богословия Иванцов-Платонов, лектор и прекрасный чтец русских классиков Шереметевский, капельмейстер Крейнбринг, знаменитые фехтовальщики Пуарэ и Тарасов, знаменитый гимнаст и конькобежец Постников, танцмейстер Ермолов, баритон Хохлов, великая актриса Ермолова и немногие другие штатские лица, – был внесен также и швейцар Екатерининского института Порфирий. С незапамятных времен по праздникам и особо торжественным дням танцевали александровцы в институте, и в каждое воскресенье приходили многие из них с конфетами на официальный, церемонный прием к своим сестрам или кузинам, чтобы поболтать с ними полчаса под недреманным надзором педантичных и всевидящих классных дам. Кто знает, может быть, теперешнего швейцара звали вовсе не Порфирием, а просто Иваном или Трофимом, но так как екатерининские швейцары продолжали сотни лет носить одну и ту же ливрею, а юнкера старших поколений последовательно передавали младшим древнее, привычное имя Порфирия Первого, то и сделалось имя собственное Порфирий не именем, а как бы званием, чином или титулом, который покорно наследовали новые поколения екатерининских швейцаров.

Нынешний Порфирий был всегда приветлив, весел, учтив, расторопен и готов на услугу. С удовольствием любил он вспомнить о том, что в лагерях, на Ходынке, его Перновский полк стоял неподалеку от батальона Александровских юнкеров, и о том, как во время зори с церемонией взвивалась ракета и оркестры всех частей играли одновременно «Коль славен», а потом весь гарнизон пел «Отче наш».

Был, правда, у Порфирия один маленький недостаток: никак его нельзя было уговорить передать институтке хотя бы самую крошечную записочку, хотя бы даже и родной сестре. «Простите. Присяга-с, – говорил он с сожалением. – Хотя, извольте, я, пожалуй, и передам, но предварительно должен вручить ее на просмотр дежурной классной даме. Ну, как угодно. Все другое, что хотите: в лепешку для господ юнкеров расшибусь... а этого нельзя: закон».

Тем не менее у юнкеров издавна держалась привычка давать Порфирию хорошие чаевые.

– А! Господа юнкера! Дорогие гости! Милости просим! Пожалуйте, – веселым голосом приветствовал он их, заботливо прислоняя в угол свою великолепную булаву. – Без вас и бал открыт нельзя. Прошу, прошу...

Он был так мило любезен и так искренне рад, что со стороны, слыша его солидный голос, кто-нибудь мог подумать, что говорит не кто иной, как радушный, хлебосольный хозяин этого дома-дворца, построенного самим Растрелли в екатерининские времена.

– Шинели ваши и головные уборы, господа юнкера, я поберегу в особом уголку. Вот здесь ваши вешалки. Номерков не надо, – говорил Порфирий, помогая раздеваться. – Должно быть, озябли в дороге. Ишь как от вас морозом так крепко пахнет. Точно астраханский арбуз взрезали.

Щетка не нужна ли, почиститься? И, покорно прошу, господа, если понадобится курить или для туалета, извольте спуститься вниз в мою каморку. Одеколон найдется для освежения, фабрики Брокера. Милости прошу.

Юнкера толпились между двумя громадными, во всю стену, зеркалами, расположенными прямо одно против другого. Они обдергивали друг другу складки мундиров сзади, приводили карманными щетками в порядок свои проборы или вздыбливали вверх прически бобриком; одни, посплюнув пальцы, подкручивали молодые, едва обрисовавшиеся усики, другие пощипывали еще несуществующие. «Счастливец Бутынский! у него рыжие усы, большие, как у двадцатипятилетнего поручика».

Во взаимно отражающих зеркалах, в их бесконечно отражающих коридорах, казалось, шевелился и двигался целый полк юнкеров.

Высокий фатоватый юнкер первой роты, красавец Бауман, громко говорил:

– Господа, не забудьте: когда войдем в залу, то директрисе и почетным гостям придворный поклон, как учил танцмейстер. Но после поклона постарайтесь отступить назад или отойти боком, отнюдь не показывая спины.

Нетерпеливый, бойкий на слово Карганов ответил ему задорно:

– Спасибо, добрый наставник. Кстати, будьте любезны сообщить нам, можно ли во время придворного поклона сморкаться или чесать поясницу?

– И не остроумно и пош-шло, – презрительно отозвался Бауман.

Сверху слышались нежные звуки струнного оркестра, заигравшего веселый марш. Юнкера сразу заволновались. «Господа, пора, пойдем, начинается. Пойдемте».

Они пошли тесной кучкой по лестнице, внизу которой уже стоял исполинский швейцар, успевший вооружиться своей страшной булавою и вновь надеть на свое лицо выражение горделивой строгости. Молодецки отчетливо, как и полагается перновскому гренадеру, он отдал юнкерам честь по-ефрейторски, в два приема.

Надо сказать, что с этим ежегодным выражением юнкерам своего почета перновец кривил против устава: юнкера по службе числились всего рядовыми, а Порфирий был фельдфебелем.

Мраморная прекрасная лестница была необычайно широка и приятно полого. Ее сквозные резные перила, ее свободные пролеты, чистота и воздушность ее каменных линий создавали впечатление прелестной легкости и грации. Ноги юнкеров, успевшие отойти, с удовольствием ощущали легкую, податливую упругость толстых красных ковров, а щеки, уши и глаза у них еще горели после мороза. Пахло слегка каким-то ароматическим курением: не монашкой и не этими желтыми, глянцевыми квадратными бумажками, а чем-то совсем новым и удивительно радостным.

Вверху, на просторной площадке, их дожидались две дежурные воспитанницы, почти взрослые девушки.

Обе они были одеты одинаково в легкие парадные платья темно-вишневого цвета, снизу доходившие до щиколоток. Бальное большое декольте оставляло открытыми спереди шею и верхнюю часть груди, а сзади весь затылок и начало спины, позволяя видеть чистую линию нежных полудетских плеч. Руки, выступавшие из коротеньких матово-белых рукавчиков, были совсем обнажены. И никаких украшений – ни сережек, ни колец, ни брошек, ни браслетов, ни кружев. Только лайковые перчатки до пол-локтя да скромный веер подчеркивали юную блистательную красоту.

Девушки одновременно сделали юнкерам легкие реверансы, и одна из них сказала:

– Позвольте вас проводить, *messieurs*, в актовый зал. Следуйте, пожалуйста, за нами.

Это было только милое внимание гостеприимства. Певучие звуки скрипок и виолончелей отлично указывали дорогу без всякой помощи.

По обеим сторонам широкого коридора были двери с матовыми стеклами и сбоку овальные дощечки с золотой надписью, означавшей класс и отделение.

У Александрова сестра воспитывалась в Николаевском институте, и по высоким номерам классов он сразу догадался, что здесь учатся совсем еще девчонки. У кадет было наоборот.

Но вот и зала. Прекрасные проводницы с новым реверансом исчезают. Юнкера теперь представлены собственной распорядительности, и, надо сказать, некоторыми из них внезапно овладевает робость.

Зала очаровывает Александрова размерами, но еще больше красотой и пропорционально-

стью линий. Нижние окна, затянутые красными штофными портьерами, прямоугольны и поразительно высоки, верхние гораздо меньше и имеют форму полулуния. Очень просто, но как изящно. Должно быть, здесь строго продуманы все размеры, расстояния и кривизны. «Как много я не знаю», – думает Александров.

Вдоль стен по обеим сторонам залы идут мраморные колонны, увенчанные завитыми капителями. Первая пара колонн служит прекрасным основанием для площадки с перилами. Это хоры, где теперь расположился известнейший в Москве балльный оркестр Рябова: черные фраки, белые пластроны, огромные пушистые шевелюры. Дружно ходят вверх и вниз смычки. Оттуда бегут, смеясь, звуки резвого, возбуждающего марша.

Большая бронзовая люстра спускается с потолка, сотни ее хрустальных призмочек слегка дрожат и волшебным образом переливаются, брызжа синими, зелеными, голубыми, желтыми, красными, фиолетовыми, оранжевыми – колдовскими лучами. На каждой колонне горят в пятилапых подсвечниках белые толстые свечи: их огонь дает всей зале теплый розово-желтоватый оттенок. И все это – люстра, колонны, пятилапые бра и освещенные хоры – отражается световыми, масляно-волнующими полосами в паркете медового цвета, гладком, скользком и блестящем, как лед превосходного катка.

Между колоннами и стеной, с той и другой стороны, оставлены довольно широкие проходы, пол которых возвышается над паркетом на две ступени. Здесь расставлены стулья. Сидя в этих галереях, очень удобно отдыхать и любоваться танцами, не мешая танцующим. Здесь, в правой галерее, при входе, стеснились юнкера. Кроме них, есть и другие кавалеры, но немного: десять-двенадцать катковских лицеистов с необыкновенно высокими, до ушей, красными воротниками, трое студентов в шикарных тесных темно-зеленых длиннополых сюртуках на белой подкладке, с двумя рядами золотых пуговиц. Какие-то штатские, бледные, тонкие мальчуганы во фраках, и один заезжий из Петербурга, «блестящий» белобрысый, пресыщенный жизнью паж, сразу ревниво возненавиденный всеми юнкерами.

Глава XIX

Стрела

На другом конце залы, под хорами, в бархатных красных золоченых креслах сидели почетные гости, а посредине их сама директриса, величественная седовласая дама в шелковом серо-жемчужном платье. Гости были пожилые и очень важные, в золотом шитье, с красными и голубыми лентами через плечо, с орденами, с золотыми лампасами на белых панталонах. Рядом с начальницей стоял, слегка опираясь на спинку ее кресла, совсем маленький, старенький лысый гусарский генерал в черном мундире с серебряными шнурами, в красно-коричневых рейтузах, туго обтягивавших его подгибающиеся тощие ножки. Его Александров знал: это был почетный опекун московских институтов, граф Олсуфьев. Наклонясь слегка к директрисе, он что-то говорил ей с большим оживлением, а она слегка улыбалась и с веселым укором покачивала головою.

– Ах ты, старый проказник, – дружелюбно сказал Жданов, тоже глядевший на графа.

Позади и по бокам этой начальственной подковы группами и поодиночке, в зале и по галерее, все в одинаковых темно-красных платьях, все одинаково декольтированные, все издали похожие друг на дружку и все загадочно прекрасные, стояли воспитанницы.

Не прошло и полминуты, как зоркие глаза Александрова успели схватить все эти впечатления и закрепить их в памяти. Уже юнкера первой роты с Бауманом впереди спустились со ступенек и шли по блестящему паркету длинной залы, невольно подчиняясь темпу увлекательного марша.

– Посмотрите, господа! – воскликнул Карганов, показывая на Баумана. – Посмотрите на этого великосветского человека. Во-первых, он идет слишком медленными шагами. Спрашивается, когда же он дойдет?

– Правда, – подтвердил Жданов. – И остальные, как индюки, топчутся на месте.

– Во-вторых, от важности он закинул голову к небу, точно рассматривает потолок. Он выпятил грудь, а зад совсем отставил. Величественно, но противно.

Подвижной Жданов вдруг спохватился.

– Господа, здесь не строй и не ученье, а бал. Пойдемте, не станем дожидаться очереди. Айда!

Только спустившись в залу, Александров понял, почему Бауман делал такие маленькие шажки: безукоризненно и отлично натертый паркет был скользок, как лучший зеркальный каток. Ноги на нем стремились разъехаться врозь, как при первых попытках кататься на коньках; поневоле при каждом шаге приходилось бояться потерять равновесие, и потому страшно было решиться поднять ногу.

«А что, если попробовать скользить?» – подумал Александров. Вышло гораздо лучше, а когда он попробовал держать ступни не прямо, а с носками, развороченными наружу, по-танцевальному, то нашлась и опора для каждого шага. И все стало просто и приятно. Поэтому, перегоня товарищей, он очутился непосредственно за юнкерами первой роты и остановился на несколько секунд, не желая с ними смешиваться. И все-таки было жутко и мешкотно двигаться и стоять, чувствуя на себе глаза множества наблюдательных и, конечно, хорошеньких девушек.

Юнкера первой роты кланялись и отходили. Александров видел, как на их низкие и – почему не сказать правду? – довольно грамотные поклоны медленно, с важной и светлой улыбкой склоняла свою властную матово-белую голову директриса.

Отошел, пятясь спиной, последний юнкер первой роты. Александров – один. «Господи, помоги!» Но внезапно в памяти его всплывает круглая ловкая фигура училищного танцмейстера Петра Алексеевича Ермолова, вместе с его изящным поклоном и словесным уроком: «Руки свободно, без малейшего напряжения, опущены вниз и слегка, совсем чуточку, округлены. Ноги в третьей позиции. Одновременно, помните: одновременно – в этом тайна поклона и его красота – одновременно и медленно – сгибается спина и склоняется голова. Так же вместе и так же плавно, только чуть-чуть быстрее, вы выпрямляетесь и подымаете голову, а затем отступаете или делаете шаг вбок, судя по обстоятельствам».

Счастье Александрова, что он очень недурной имитатор. Он заставляет себя вообразить, что это вовсе не он, а милый, круглый, старый Ермолов скользит спокойными, уверенными, легкими шагами. Вот Петр Алексеевич в пяти шагах от начальницы остановил левую ногу, правой прочертил по паркету легкий полукруг и, поставив ноги точно в третью позицию, делает полный почтения и достоинства поклон.

Выпрямляясь, Александров с удовольствием почувствовал, что у него «вытанцевалось». Медленно, с чудесным выражением доброты и величия директриса слегка опустила и подняла свою серебряную голову, озарив юнкера прелестной улыбкой. «А ведь она красавица, хотя и седые волосы. А какой живой цвет лица, какие глаза, какой царственный взгляд. Сама Екатерина Великая!»

Стоявший за ее креслом маленький старенький граф Олсуфьев тоже ответил на поклон юнкера коротеньким веселым кивком, точно по-товарищески подмигнул о чем-то ему. Слегка шевельнули подбородками расшитые золотом старички. Александров был счастлив.

После поклона ему удалось ловкими маневрами обойти свиту, окружавшую начальницу. Он уже почувствовал себя в свободном пространстве и заторопился было к ближнему концу спасительной галереи, но вдруг остановился на разбеге: весь промежуток между двумя первыми колоннами и нижняя ступенька были тесно заняты темно-вишневыми платьями, голыми худенькими ручками и милыми, светло улыбающимися лицами.

– Вы хотите пройти, господин юнкер? – услышал он над собою голос необыкновенной звучности и красоты, подобный альту в самом лучшем ангельском хоре на небе.

Он поднял глаза, и вдруг с ним произошло изумительное чудо. Точно случайно, как будто блеснула близкая молния, и в мгновенном ослепительном свете ярко обрисовалось из всех лиц одно, только одно прекрасное лицо. Четкость его была сверхъестественна. Показалось Александрову, что он знал эту чудесную девушку давным-давно, может быть, тысячу лет назад, и теперь сразу вновь узнал ее всю и навсегда, и хотя бы прошли еще миллионы лет, он никогда не позабудет этой грациозной, воздушной фигуры со слегка склоненной головой, этого неповторяющегося, единственного «своего» лица с нежным и умным лбом под темными каштаново-рыжими волосами, заплетенными в корону, этих больших внимательных серых глаз, у которых раек был в тончайшем мраморном узоре, и вокруг синих зрачков играли крошечные золотые кристаллики, и этой чуть заметной ласковой улыбки на необыкновенных губах, такой совершенной формы, какую Александров видел только в корпусе, в рисовальном классе, когда, по указанию старого Шмелькова, он срисовывал с гипсового бюста одну из Венер.

Тот же магический голос, совсем не останавливаясь, продолжал:

– Дайте, пожалуйста, дорогу господину юнкеру.

Александров поднялся по ступенькам, кланяясь в обе стороны, краснея, бормоча слова извинения и благодарности. Одна из воспитанниц пододвинула ему венский стул.

– Может быть, присядете?

Он низко признательно поклонился, но остался стоять, держась за спинку стула.

Если бы мог когда-нибудь юнкер Александров представить себе, какие водопады чувств, ураганы желаний и лавины образов проносятся иногда в голове человека за одну малюсенькую долю секунды, он проникся бы священным трепетом перед емкостью, гибкостью и быстротой человеческого ума. Но это самое волшебство с ним сейчас и происходило.

«Неужели я полюбил? – спросил он у самого себя и внимательно, даже со страхом, как бы прислушался к внутреннему самому себе, к своим: телу, крови и разуму, и решил твердо: – Да, я полюбил, и это уже навсегда».

Какой-то подпольный ядовитый голос в нем же самом сказал с холодной насмешкой: «Любви мгновенной, любви с первого взгляда – не бывает нигде, даже в романах».

«Но что же мне делать? Я, вероятно, урод», – подумал с покорной грустью Александров и вздохнул.

«Да и какая любовь в твои годы? – продолжал ехидный голос. – Сколько сот раз вы уже влюблялись, господин Сердечкин? О, Дон-Жуан! О, злостный и коварный изменник!»

Послушная память тотчас же вызвала к жизни все увлечения и «предметы» Александрова. Все эти бывшие дамы его сердца пронеслись перед ним с такой быстротой, как будто они выглядывали из окон летящего на всех парах курьерского поезда, а он стоял на платформе Петровско-Разумовского полустанка, как иногда прошлым летом по вечерам.

...Наташа Манухина в котиковой шубке, с родинкой под глазом, розовая Нина Шпаковская с большими густыми белыми ресницами, похожими на крылья бабочки-капустницы, Машенька Полубояринова за пианино, в задумчивой полутьме, быстроглазая, быстроногая болтунья Зоя Синицына и Сонечка Владимирова, в которую он столько же раз влюблялся, сколько и разлюблял ее; и трое пышных высоких, со сладкими глазами сестер Синельниковых, с которыми, слава богу, все кончено; хоть и трагично, но навсегда. И другие, и другие, и другие... сотни других... Дольше других задержалась в его глазах маленькая, чуть косенькая – это очень шло к ней – Геня, Генриетта Хржановская. Шесть лет было Александрову, когда он в нее влюбился. Он храбро защищал ее от мальчишек, сам надевал ей на ноги ботинки, когда она уходила с нянькой от Александровых, и однажды подарил ей восковую желтую канарейку в жестяной сквозной, кружками, клетке.

Но унеслись эти образы, растаяли, и ничего от них не осталось. Только чуть-чуть стало жалко маленькую Геню, как, впрочем, и всегда при воспоминании о ней.

«О нет. Все это была не любовь, так, забава, игра, пустяки, вроде – и то правда – игры в фанты или почту. Смешное передразнивание взрослых по прочитанным романам. Мимо! Мимо! Прощайте, детские шалости и дурачества!»

Но теперь он любит. Любит! – какое громадное, гордое, страшное, сладостное слово. Вот вся вселенная, как бесконечно большой глобус, и от него отрезан крошечный сегмент, ну, с дом величиной. Этот жалкий отрезок и есть прежняя жизнь Александрова, неинтересная и тупая. «Но теперь начинается новая жизнь в бесконечности времени и пространства, вся наполненная славой, блеском, властью, подвигами, и все это вместе с моей горячей любовью я кладу к твоим ногам, о возлюбленная, о царица души моей».

Мечтая так, он глядел на каштановые волосы, косы которых были заплетены в корону. Повинуясь этому взгляду, она повернула голову назад. Какой божественно прекрасной показалась Александрову при этом повороте чудесная линия, идущая от уха вдоль длинной гибкой шеи и плавно переходящая в плечо. «В мире есть точные законы красоты!» – с восторгом подумал Александров.

Улыбнувшись, она отвернулась. А юнкер прошептал:

– Твой навек.

Но уже кончили гости представляться хозяйке. Директриса сказала что-то графу Олсуфьеву, нагнувшемуся к ней.

Он кивнул головой, выпрямился и сделал рукой призывающий жест.

Точно из-под земли вырос тонкий, длинный офицер с аксельбантами. Склонившись с преувеличенной почтительностью, он выслушал приказание, потом выпрямился, отошел на несколько шагов в глубину залы и знаком приказал музыкантам замолчать.

Рябов, доведя колено до конца, прекратил марш.

– Полонез! – закричал адъютант веселым высоким голосом.

– Кавалеры, приглашайте ваших дам!

Глава XX

Полонез

– Полонез, господа, приглашайте ваших дам, – высоким тенором восклицал длинный гибкий адъютант, быстро скользя по паркету и нежно позванивая шпорами. – Полонез! Дамы и господа, потрудитесь становиться парами.

Александров спустился по ступеням и стал между колоннами. Теперь его красавица с каштаново-золотистой короной волос стояла выше его и, слегка опустив голову и ресницы, глядела на него с легкой улыбкой, точно ожидая его приглашения.

– Позвольте просить вас на полонез, – сказал юнкер с поклоном.

Ее улыбка стала еще милее.

– Благодарю, с удовольствием.

Она сверху вниз протянула ему маленькую ручку, туго обтянутую тонкой лайковой перчаткой, и сошла на паркет зала со свободной грацией. «Точно принцесса крови», – подумал Александров, только недавно прочитавший «Королеву Марго». Под руку они подошли к строящемуся полонезу и заняли очередь. За ними поспешно устанавливались другие пары.

– Я видела, как вы делали реверанс нашей славной татап, – сказала девушка. – У вас вышло очень изящно. Я сама знаю, как это трудно, когда ты одна, а на тебя со всех сторон смотрят.

– А в особенности насмешливые глаза хорошеньких барышень, – подхватил Александров.

– Признайтесь, вы сильно волновались?

– Скажу вам по секрету – ужасно! Руки, ноги точно связаны, и одна только мысль: не убежать ли, пока не поздно. Но я перехитрил самого себя, я вообразил, что я – это не я, а наш танцмейстер Петр Алексеевич Ермолов. И тогда стало вдруг удобно.

Она весело засмеялась.

– И у нас тоже Ермолов. Он, кажется, везде. Но как я вас хорошо понимаю. Я тоже умею так передразнивать. Я иногда пригляжусь внимательно к чьей-нибудь походке: подруги, или классной дамы, или учителя, и постараюсь пройтись совсем-совсем точно они. И тогда мне вдруг кажется, что я как будто стала не собой, а этим человеком. Точно я за него и вижу, и слышу, и думаю, и чувствую. И характер его для меня весь открыт... Но посмотрите, посмотрите вперед. – Она слегка пожала пальчиками его согнутую руку. – Видите, кто в первой паре?

В головной паре стояли, ожидая начала танца, директриса и граф Олсуфьев в темно-зеленом мундире (теперь на близком расстоянии Александров лучше различил цвета) и малиновых рейтузах. Стоя, начальница была еще выше, полнее и величественнее. Ее кавалер не достигал ей головой до плеча. Его худенькая фигура с заметно согбенной спиной, с осевшими тонкими ножками казалась еще более жалкой рядом с его чересчур представительной парой, похожей на столичный монумент.

– Боюсь, смешной у них выйдет полонез, – сказал с непритворным сожалением Александров.

– Ну вот, уж непременно и смешной, – заступилась его прекрасная дама. – Это ведь всегда так трогательно видеть, когда старики открывают бал. Гораздо смешнее видеть молодых людей, плохо танцующих.

Высокий адъютант закинул назад голову, поднял руку вверх к музыкантам и нараспев прокричал:

– Прошу! По-ло-нез!

Дама юнкера Александрова немного отодвинулась от него; протянула ему на уровне своего плеча красиво изогнутую, обнаженную и еще полудетскую руку. Он с легким склонением головы принял ее, едва касаясь пальцами кончиков ее тоненьких пальцев.

Сверху, с хор, раздались вдруг громкие, торжественные и весело-гордые звуки польского

вальса. Жестковатый холодок побежал по волосам и по спине Александрова.

– Это – Глинка, – сказал шепотом Александров.

– Да, – ответила она так же тихо. – Из «Жизни за царя». Превосходно, я обожаю эту оперу.

Александров, не перестававший глядеть вперед, туда, где полукругом загибалась вереница полонеза, вдруг пришел в волнение и едва-едва не обмолвился, по дурной школьной привычке, черным словом.

– Ч... – но он быстро сдержался на разлете. – Нет, вы полюбуйте, полюбуйте только, граф-то ваш и начальница. Охотно беру свои слова обратно.

И в самом деле, стоило полюбоваться этой парой. Выждав четыре первых такта, они начали полонез с тонкой ритмичностью, с большим достоинством и с милой старинной грацией. Со всем ничего не было в них ни смешного, ни причудливого. Директриса несла свое большое тело с необыкновенной легкостью, с пленительно-изящной простотой, точно коронованная особа, ласковая хозяйка пышного дворца, окруженная юными прелестными фрейлинами. Все ее движения были уверенны и женственны: наклоняла ли она голову к своему кавалеру, или делала направо и налево, светло улыбаясь, тихие приветливые поклоны.

И граф Олсуфьев вовсе уже не был стар и хил. Бодрая героическая музыка выправила его спину и сделала гибкими и послушными его ноги. Да! теперь он был лихой гусар прежних золотых, легендарных времен, гусар-дуэлист и кутила, дважды разжалованный в солдаты за дела чести, коренной гусар, приятель Бурцева или Дениса Давыдова.

Недели прошли в тяжелом походе и в дьявольских атаках, и вот вдруг бал в Вильно, по случаю приезда государя. Только что слезши с коня, едва успев переодеться и надуться, он уже готов танцевать всю ночь напролет, хотя весь и разбит долгой верховой ездой. Как великолепны взоры, которые Олсуфьев бросает на свою очаровательную даму!.. Тут и гусарская неотразимая победоносность, и рыцарское преклонение перед женщиной, для которой он готов на любую глупость, вплоть до смерти, и игривое лукавство, и каскады преувеличенных комплиментов, и жестокая гибель всем его соперникам, и легкомысленное обещание любви до гробовой доски или по крайней мере на сутки.

– Как они оба хороши, – говорит восхищенно Александров, – не правда ли, это какое-то чудо?

– Ну, что же, я очень рада, что вы сначала ошиблись.

В это время музыка как раз возвращается к первым тактам полонеза. Александров знает твердо слова, которые здесь поет хор, которые и он сам когда-то пел. Слегка наклонившись к красавице, он – правда, не поет, – но выговаривает речитативом:

Вчера был бой,
Сегодня бал,
Быть может, завтра снова в бой.

Вот оно, беззаботное веселье между двумя смертями.

– Нам начинать, – говорит его дама. Они выжидают, когда предыдущая пара не отойдет на несколько шагов, и тогда одновременно начинают этот волшебный старинный танец, чувствуя теперь, что каждый шаг, каждое движение, каждый поворот головы, каждая мысль связана у них одними и теми же невидимыми нитями.

– Ах, как я счастлив, что попал к вам сегодня, – говорил Александров, не переставая строго следить за ритмом полонеза. – Как я рад. И подумать только, что из-за пустяка, по маленькой случайности, я мог бы этой радости лишиться и никогда ее не узнать.

– Может быть, вам это только так кажется? Какая случайность?

– Я вам скажу откровенно. Сегодня я поехал на бал не по своей воле, а по распоряжению начальства.

– Ах, бедный, как я вас жалею!

– Ну да, по наряду. Я стал отговариваться. Я выдумывал всякие предлоги, чтобы не поехать, но ничего не помогло.

– Ах, несчастный, несчастный.

– Потому что я еще третьего дня обещал знакомым барышням, что поеду с ними на елку в Благородное собрание.

– Воображаю, как они теперь на вас сердятся. Вы низко упали в их глазах. Такие измены никогда не прощаются. И воображаю, как вы должны скучать с нами, невольными виновницами вашей ужасной гибели.

– О нет, нет, нет! Я благословляю судьбу и настойчивость моего ротного командира. Никогда в жизни я не был и не буду до такой степени на вершине блаженства, как сию минуту, как сейчас, когда я иду в полонезе рука об руку с вами, слышу эту прелестную музыку и чувствую...

– Нет, нет, – смеясь, перебивает его она. – Только, пожалуйста, не о чувствах. Это запрещено.

– О чувствах, приходящих мгновенно и сразу... овладева...

– Тем более, тем более. Танцуйте старательнее и не болтайте пустяков.

Она обмахивается веером. Она – девочка – кокетничает с юнкером совсем как взрослая записная львица. Серьезные, почти строгие гримасы она переплетает улыбками, и каждая из них по-разному выразительна. Ее верхняя губа вырезана в чудесной форме туго натянутого лука, и там, где этот рисунок кончается с обеих сторон у щек, там чуть заметные ямочки.

«Точно природа закончила изящный, неповторимый чертёж и поставила точки в знак того, что труд ее – совершенство».

Так думает Александров, но полонез уже кончается. Александров доводит под руку свою даму до указанного ею места и низко ей кланяется.

– Могу ли я просить вас на вальс?

– Хорошо.

– И на первую кадрили.

– По-вашему, это не слишком много?

– И еще на третью.

– Нет, это невозможно.

Но она благодарит улыбкой.

Глава XXI

Вальс

Вкрадчиво, осторожно, с пленительным лукавством раздаются первые звуки штраусовского вальса. Какой колдун этот Рябов. Он делает со своим оркестром такие чудеса, что невольно кажется, будто все шестнадцать музыкантов – члены его собственного тела, как, например, пальцы, глаза или уши.

Еще находясь под впечатлением пышного полонеза, Александров приглашает свою даму церемонным, изысканным поклоном. Она встает. Легко и доверчиво ее левая рука ложится, чуть прикасаясь, на его плечо, а он обнимает ее тонкую, послушную талию.

– В три темпа или в два? – спрашивает Александров.

– Если хотите, то в три, а уж потом в два.

В этот момент она, сняв руку с плеча юнкера, поправляет волосы над лбом. Это почти бессознательное движение полно такой наивной, простой грации, что вдруг душою Александрова овладевает знакомая, тихая, как прикосновение крылышка бабочки, летучая грусть. Эту кроткую, сладкую жалость он очень часто испытывал, когда его чувств касалась что-нибудь истинно прекрасное: вид яркой звезды, дрожащей и переливающейся в ночном небе, запахи резеды, ландыша и фиалки, музыка Шопена, созерцание скромной, как бы не сознающей самое себя женской красоты, ощущение в своей руке детской, копошащейся и такой хрупкой ручонки.

В этой странной грусти нет даже и намека на мысль о неизбежной смерти всего живущего. Такого порядка мысли еще далеки от юнкера. Они придут гораздо позже, вместе с внезапным ужасающим открытием того, что «ведь и я, я сам, я, милый, добрый Александров, непременно должен буду когда-нибудь умереть, подчиняясь общему закону».

О, какая гадкая и несправедливая жестокость! Такой зловещий страх он испытывал однажды ночью во время случайной бессонницы, и этот страх его уже никогда больше не покидает. Нет. Эта грустная мгновенная тревога – другого свойства. Ее объяснить ни себе, ни другому Александров никогда не сумел бы. Она скорее всего похожа на сожаление, что этот, вот этот самый момент уйдет назад и уже ни за что его не вернешь, не догонишь. Жизнь безмерна, богата. Будет другое, может быть, очень похожее, может, почти такое же, но эта секунда уплыла навсе-

гда...

Должно быть, Александров инстинктивно так влюблен в земную заманчивую красоту, что готов боготворить каждый ее осколочек, каждую пылинку... Сам этого не понимая, он похож на скупого и жадного миллионера, который никому не позволяет прикоснуться к своему золоту, ибо к чужой руке могут пристать микроскопические частички обожаемого металла.

Александров не только очень любил танцевать, но он также и умел танцевать; об этом, во-первых, он знал сам, во-вторых, ему говорили товарищи, мнения которых всегда столь же резки, сколь и правдивы; наконец, и сам Петр Алексеевич Ермолов на ежесубботних уроках нередко, хотя и сдержанно, одобрял его: «Недурно, господин юнкер, так, господин юнкер». В каждый отпуск по четвергам и с субботы до воскресенья (если только за единицу по фортификации Дрозд не оставлял его в училище) он плясал до изнеможения, до упаду в знакомых домах, на вечеринках или просто так, без всякого повода, как тогда неистово танцевала вся Москва. Но и оставаясь у себя дома, он всегда имел пару в лице старшей сестры Зины, такой же страстной танцовки, причем музыку он изображал голосом. Сестра танцевала прекрасно, но всегда оставалась недовольна.

– Ты очень ловкий кавалер, Алеша, – говорила она, – но, понимаешь, ты все-таки брат, а не мужчина. С тобою я, как в институте, шерочка с машерочкой. Или точно играешь на немом пианино.

Он ей отвечал не менее любезно:

– А я тебя обнимаю точно куклу из папье-маше. Мне кажется, ты хоть и танцуешь превосходно, но сама неодушевленная.

Однако никогда еще в жизни не случилось Александрову танцевать с такой ловкостью и с таким наслаждением, как теперь. Он почти не чувствовал ни веса, ни тела своей дамы. Их движения дошли до той полной согласованности и так слились с музыкой, что казалось, будто у них – одна воля, одно дыхание, одно биение сердца. Их быстрые ноги касались скользкого паркета лишь самыми кончиками «цыпочек». И оттого было в их танце чувство стремления ввысь, чудесное ощущение воздушного полета во вращательном движении, блаженная легкость, почти невесомость.

Подымались и опускались, вздрагивая, огни множества свечей. Веял легкий теплый ветер от раздувавшихся одежд, из-под которых показывались на секунду стройные ноги в белых чулках и в крошечных черных туфельках или быстро мелькали белые кружева нижних юбок. Слегка нежно звенели шпоры и пестрыми, разноцветными, глянцевыми реющими красками отражали бал в сияющем полу. А сверху лился из рук веселых волшебников, как ритмическое очарование, упоительный вальс. Казалось, что кто-то там, на хорах, в ослепительном свете огней жонглировал бесчисленным множеством брильянтов и расстилал широкие полосы голубого бархата, на который сыпались сверху золотые блески.

И какие-то сладко опьяняющие голоса пели о том, что этому томному танцу – танцу-полету – не будет конца.

Не глядя, видел, нет, скорее, чувствовал, Александров, как часто и упруго дышит грудь его дамы в том месте, над вырезом декольте, где легла на розовом теле нежная тень ложбинки. Заметил он тоже, что, танцуя, она медленно поворачивает шею то налево, то направо, слегка склоняя голову к плечу. Это ей придавало несколько утомленный вид, но было очень изящно. Не устала ли она?

И точно отвечая на его безмолвный вопрос – это было так естественно и понятно в этот необыкновенный вечер, – она сказала:

– Это я нарочно так делаю. Чтобы не кружилась голова.

Случалось так, что иногда ее прическа почти касалась его лица; иногда же он видел ее стройный затылок с тонкими, вьющимися волосами, в которых, точно в паутине, ходили спиралеобразно сияющие золотые лучи. Ему показалось, что ее шея пахнет цветом бузины, тем прелестным ее запахом, который так мил не вблизи, а издали.

– Какие у вас славные духи, – сказал Александров. Она чуть-чуть обернула к нему смеющееся, раскрасневшееся от танца лицо.

– О нет. Никто из нас не душится, у нас даже нет душистых мыл.

– Не позволяют?

– Совсем не потому. Просто у нас не принято. Считается очень дурным тоном. Наша

татап как-то сказала: «Чем крепче барышня надушена, тем она хуже пахнет».

Но странная власть ароматов! От нее Александров никогда не мог избавиться. Вот и теперь: его дама говорила так близко от него, что он чувствовал ее дыхание на своих губах. И это дыхание... Да... Положительно оно пахло так, как будто бы девушка только что жевала лепестки розы. Но по этому поводу он ничего не решился сказать и сам почувствовал, что хорошо сделал. Он только сказал:

– Я не могу выразить словами, как мне приятно танцевать с вами. Так и хочется, чтобы во веки веков не прекращался этот бал.

– Благодарю вас. С вами тоже очень удобно танцевать. Но вечность! Не слишком ли это много. Пожалуй, устанем. А потом надоест... соскучимся...

Но тут случилось маленькое приключение. Уже давно сквозь вихрь и мелькание вальса успел Александров приметить одного катковского лицеиста. Этот высокий и худой, несколько сутуловатый малый вальсировал какими-то резкими рывками, а левую руку, вместе с рукою своей дамы, он держал прямо вытянутою вперед, точно длинное дышло. Все это вместе было не так смешно, как некрасиво. Теперь он неуклюже вертелся вблизи Александрова и его дамы, подходя все ближе и ближе, уже совсем готовый наехать на них. Желая выйти из его орбиты, Александров стал осторожно обходить его слева, выпустив руку своей дамы и слегка приподняв левую руку во избежание толчка. Но в эту секунду лицеист, совершенно не умеющий лавировать, ринулся на них со своим двуконным дышлом. Александров успел отвести удар и предупредить столкновение, но при этом, не теряя равновесия, сильно пошатнулся. Невольно лицо его уткнулось в плечо девушки, и он губами, носом и подбородком почувствовал прикосновение к нежному, горячему, чуть-чуть влажному плечу, пахнувшему так странно цветущей бузиной. Нет, он вовсе не поцеловал ее. Это неправда. Или нечаянно поцеловал? Во весь этот вечер и много дней спустя, а пожалуй, во всю свою жизнь он спрашивал себя по чести и совести: да или нет? Но так никогда и не разрешил этого вопроса.

Он только извинился и увидел, как быстро побежала красная краска по щекам, по шее, по спине и даже по груди прекрасной девушки.

– Я, кажется, немного устала, – сказала она. – Мне хочется отдохнуть. Проводите меня.

Он довел ее до галереи между колоннами, усадил на стул, а сам стал сбоку, немного позади. Увидев его смущенное, несчастное лицо, она пожалела его и предложила ему сесть рядом.

Они разговорились понемногу. Она сказала ему свое имя – Зинаида Бельшева.

– Только мне оно не очень нравится. Отдельно Ида – это еще ничего, это что-то греческое, но Зинаида – как-то громоздко. Пирамида, кариатида, Атлантида...

– Очень красиво – Зина, – подсказал юнкер.

– Да, для мамы и папы, – схитрила она. – Но вы, может быть, не знаете, что есть мужское имя Зина?

– Признаться, не слышал.

– Да, да. Я уж не помню, у кого это, у Тургенева или у Толстого, есть какой-то мужик Зина. И кажется, не очень-то порядочный.

– А Зиночка?

– Это ничего еще. Так меня зовут родные. А младший брат – просто – Зинка-резинка.

– Я вас буду мысленно называть Зиночкой, – сболтнул юнкер.

– Не смейте. Я вам это не позволяю, – сказала она, непринужденно смеясь.

– Но кто же может знать и контролировать мысли? – возразил Александров, слегка наклоняясь к ней.

Она воскликнула с увлечением:

– Вы сами. Мало быть честным перед другими, надо быть честным перед самим собою. Ну вот, например: лежит на тарелке пирожное. Оно – чужое, но вам его захотелось съесть, и вы съели. Допустим, что никто в мире не узнал и никогда не узнает об этом. Так что же? Правы вы перед самим собою? Или нет?

Юнкер поклонился головою.

– Сдаюсь. Мудрость глаголет вашими устами. Позвольте спросить: вы, должно быть, много читали?

И тут девочка рассказала ему кое-что о себе. Она дочь профессора, который читает лекции в университете, но, кроме того, дает в Екатерининском институте уроки естественной истории и

имеет в нем казенную квартиру. Поэтому ее положение в институте особое. Живет она дома, а в институте только учится. Оттого она гораздо свободнее во времени, в чтении и в развлечениях, чем ее подруги...

– А теперь пойдемте еще потанцуем, – сказала она, вставая. – Только не в два па. Я теперь пригляделась и нахожу, что это только вертушка и притом очень некрасивая, и, пожалуйста, подалее от этого лицеиста. Он так неуклюж.

И она опять слегка покраснела.

Глава XXII

Ссора

Они танцуют третью кадрили. Их визави Жданов с прехорошенькой воспитанницей. Эта маленькая девушка, по виду почти девочка, кажется Александрову похожей на ожившую новую фарфоровую куклу. У нее пушистые волосы цвета кокосовых волокон, голубые глаза, блестящие, как эмаль; круглые румянцы на щеках, точно искусственно наведенные, и крошечный алый ротик – вишенка. Обо всех ее прелестях нельзя иначе говорить и думать, как в уменьшительном виде. Она постоянно улыбается, сверкая беленькими остренькими зубками. Она веселится от всей души: вертится, оглядывается, трясет головою и светлыми кудряшками, ее ручки и ножки в беспрестанном нетерпеливом движении.

– Не правда ли, как мила? – вполголоса спрашивает Зиночка.

Александров наклоняется к ней.

– Просто прелесть, – говорит он. – Она, наверно, получила бы первый приз на выставке.

Зиночка смотрит на него с легким недоверием.

– На какой выставке? Я вас не поняла.

– На кукольном базаре. Знаете, это меня всегда удивляло: как только люди хотят сказать высшую похвалу красивой барышне, они непременно скажут: ну, точь-в-точь куколка. Я не поклонник такой красоты.

Зиночка сердится и как будто непритворно:

– Я не предполагала, что вы такой злой. Нина Забелло – это моя лучшая подруга, и у нас все ее любят. Она самая умная, самая добрая, самая веселая. А вы – Зоил.

«Зоил... вот так название. Кажется, откуда-то из хрестоматии? – Александрову давно знакомо это слово, но точный смысл его пропал. – Зола и ил... Что-то не особенно лестное. Не философ ли какой-нибудь греческий, со скверною репутацией женоненавистника?» Юнкер чувствует себя неловко.

– Тогда прошу простить, – смиренно говорит он. – Как приятно иметь такого верного друга, как вы. Я пошутил и, признаюсь, неловко. Теперь я вижу, что мадемуазель Забелло очаровательна.

Зиночка опускает длинные темные ресницы, прикрывая чуть заметную лукавую улыбку глаз.

– Вы правы, – говорит она с кротким вздохом. – Я бы очень хотела быть такой, как она.

Юнкер чувствует, что теперь наступил самый подходящий момент для комплимента, но он потерялся. Сказать бы: «О нет, вы гораздо красивее!» Выходит коротко и как-то плоско. «Ваша красота ни с чем и ни с кем не сравнима». Нехорошо, похоже на математику. «Вы прелестнее всех на свете». Это, конечно, будет правда, но как-то пахнет штабным писарем. Да уж теперь и поздно. Удобная секунда промелькнула и не вернется. «Ах, как досадно. Какой я тюлень!»

Но оркестр играет вторую ритурнель. Мотив ее давно знаком юнкеру. Это кадрили – по-пури из русских песен. Он знает наивные и смешные слова:

Нет, нет, нет,
Она меня не любит.
Нет, нет, нет,
Она меня погубит.

Замешательство Александрова все растет. С незапамятных лет установилось неизбежное правило: во время кадрили и особенно в промежутках между фигурами кавалера полагается во

что бы то ни стало занимать свою даму быстрой, непрерывной, неиссякающей болтовней на всевозможные темы. Но Александров с удивлением и с тоскою замечает, что все его кадрилиные слова приклеились у него где-то в глубине гортани и никак не отклеиваются. Он уже во второй раз спросил Зиночку: «Нравится ли вам сегодняшний бал?» – и, спросив, покраснел от стыда, поперхнулся и совсем некстати перескочил на другой вопрос: «Любите ли вы кататься на коньках?» Зиночка вовсе не помогала ему, отвечая (нарочно сухо, как показалось юнкеру): да и нет.

Ах, как мучительно завидовал он в эти тяжелые минуты беззаботному и неутомимому, точно заводному, Жданову. Разговор у него бежал, как водопад, сверкал, как фейерверк, не останавливаясь ни на миг. Пошлет же судьба человеку такой замечательный талант! Прodelывая без увлечения, по давнишней привычке, разные шассе, круазе, шен и бальянсе, Александров все время ловил поневоле случайные отрывки из той чепухи, которую уверенной, громкой скороговоркой нес Жданов: о фатализме, о звездах, духах и духах, о Царь-пушке, о цыганке-гадалке, о липком пластыре, о канарейках, об антоновских яблоках, о лунатиках, о Наполеоне, о значении цветов и красок, о пострижении в монахи, об ангорских кошках, о переселении душ и так далее без начала, без конца и без всякой связи. Его дама, маленькая Ниночка Забелло, радостно хохотала, закидывая назад свою светло-серебристую кукольную головку и жмуря глаза. Александров окончательно падает духом. Ни одно легкое слово не идет на язык. Оркестр как нарочно поддразнивает его в пятой фигуре:

Нет, нет, нет,
Она меня не любит... –

и бедный юнкер с каждой минутой чувствует себя все более тяжелым, неуклюжим, некрасивым и робким. Классная дама, в темно-синем платье, со множеством перламутровых пуговиц на груди и с рыбьим холодным лицом, давно уже глядит на него издали тупым, ненавидящим взором мутных глаз. «Вот тоже: приехал на бал, а не умеет ни танцевать, ни занимать свою даму. А еще из славного Александровского училища. Постыдились бы, молодой человек!» Ужасно много времени длится эта злополучная кадрили. Наконец она кончена.

– Гран-рон!⁶ – кричит адъютант, весело раскатываясь на рр...

Зиночка Бельшева от гран-рон отказывается.

– Я не люблю этой тесноты и толкотни, – говорит она.

Но Александрову и без лишних слов совершенно ясно, что вовсе не этот путаный, затейливый танец, а именно его, юнкера Александрова, не любит Зиночка.

Зиночка садится на стуле в галерее, за колоннами. Юнкер только что собирается со страхом и надеждой в душе присесть возле нее, как она тотчас же подымается.

– Простите. Меня зовет подруга.

И быстро мелькая черными туфельками и белыми чулочками, свободно и грациозно лавируя между танцующими, она торопливо перебегает на другую сторону зала.

«Все кончено», – говорит густым трагическим басом кто-то внутри Александрова.

Однако Зиночка побежала совсем не к подруге. Александров следил за нею. Она остановилась перед синей дамой с рыбьим лицом, выслушала, наклонив прелестную каштановую головку, несколько сказанных дамою слов и чинно села рядом с нею. «При чем же здесь подруга? – подумал огорченный юнкер. – Просто ей хочется отделаться от меня...»

Но нет. Вот она бросила на юнкера через всю залу быстрый, вовсе, казалось, не враждебный взгляд и тотчас же, точно испугавшись, отвела его и еще строже выпрямилась на стуле, чуть-чуть осторожно косясь на синюю классную даму. «Неужели это все – только коварная игра?»

Мрачный, ероша свою прическу бобриком, нервно пощипывая чуть пробивающийся пушок на верхней губе, дожидается Александров конца затянувшегося гран-рон и наконец дождался. Распорядитель объявляет польку-мазурку. «Еще попытка! Самая последняя, а там будь что будет. Ах, жаль, что нельзя, бросив бал, уехать прямо домой, на Пресню. Необходимо явиться в училище и там ночевать. А все этот упрямый Дрозд».

⁶ Большой круг! (от фр. grand rond)

Под резвые, скачущие, лихие звуки польки-мазурки Александров поспешно пробирается к тому месту, где сидит Зиночка. Он уже близко от нее. Всего десять, пятнадцать шагов. Но откуда ни возьмись появляется перед нею, спиной к Александрову, усталый, пресыщенный паж. С какой небрежностью он наклонился, как снисходительно, нехотя, обнял ее грациозную тонкую талию. И он совсем нарочно не хочет делать па танца. Он лишь равнодушно и даже отчасти безразлично шагает в такт. «Ого! Осмелился ли бы он так, спустя рукава, танцевать во дворце или в знатном петербургском доме? Для него здесь только Москва, жалкая провинция, а он, блестящий паж ее величества или высочества, будет потом с презрительной улыбкой говорить о московских смешных кузинах. Да. Охотно повстречался бы я с этим белобрысым, прилизанным фазаном где-нибудь с глазу на глаз, без посторонних свидетелей!» – думает Александров, изо всей силы напрягая мускулы крепкого тела.

Паж сделал круг и посадил Зиночку на ее место, чуть-чуть мотнув головой. Александров торопливо подбежал и старательно поклонился:

– Можно просить вас?

– Ах! Только не теперь... Я ужасно устала.

Александров медленно отступает к галерее. Там темнее и пусто. Оборачивается, и что же он видит? Тот самый катковский лицеист, который танцевал вальс, высунув вперед руку, подобно дышлу, стоит, согнувшись в полупоклоне, перед Зиночкой, а та встает и кладет ему на плечо свою руку, медленно склоняя в то же время прекрасную головку на стройной гибкой шее.

Больше Александров не хочет и не может смотреть. Теперь он уверенно знает, что им совершена какая-то грубая, непростимая ошибка, какая-то нелепая и смешная неловкость, которую загладить уже нет ни времени, ни возможности... Пойти объяснить? Просить прощения? Нет, это значило бы громоздить глупость на глупость... Ни раздражения, ни упрека нет у него в душе против Зиночки. Распускалось, расцветало какое-то легкое, чудесное, сверкающее счастье и вдруг померкло, исчезло. Весь мир теперь для юнкера вдруг окрасился желтым тоном, тусклым и скучным, точно он надел желтые очки.

Звуки резвой музыки кажутся унылыми. Печально колеблются огни оплывших огарков в люстрах и шандалах, лица, которые он видит, – все стали некрасивы, несимметричны и бледны.

Тоска!

Он вышел из зала и спустился по лестнице в швейцарскую. Великолепный пурпурно-золотой Порфирий принял его как радушный хозяин.

– Во вторую дверцу-с и направо, – показал он рукой. – Не нужно? Тогда не угодно ли будет вам, господин юнкер, освежиться холодной водицей? Одеколон есть, брокаровский. Ах, вам покурить, господин юнкер? Замагались, танцевавши?

– Нет... так как-то...

Хотелось было юнкеру сказать: «Мне бы стакан водки!» Читал он много русских романов, и в них очень часто отвергнутый герой нарезывался с горя водкою до потери сознания. Но большое усатое лицо швейцара было так просто, так весело и добродушно, что он почувствовал стыд за свою случайную дурацкую мысль.

Но Порфирий, точно каким-то волшебным чутьем угадав и эту мысль и настроение юнкера, вдруг сказал:

– А что я позволю себе предложить вам, господин юнкер? Я от роду человек не питуший, и вся наша фамилия люди трезвые. Но есть у меня вишневая наливочка, знатная. Спирту в ней нет ни капельки, сахар да сок вишневый, да я бы вам и не осмелился... а только очень уже сладко и от нервов может помогать. Жена моя всегда ее употребляет рюмочку, если в расстройстве. Я сейчас, мигом.

– Да не надо, Порфирий. Спасибо тебе. Не стоит.

– Я сейчас...

Он скрылся в своей швейцарской норке, позвонил слегка посудой и вышел с рюмкой на подносе. Это была старинная граненая рюмка красного богемского, или, как говорят в Москве, «бемскаго» хрусталя, с гравированными гранями. Густая темная жидкость колыхалась в ней, отсвечивая зеленым блеском.

– Кушайте на доброе здоровье, батюшка, – ласково промолвил Порфирий. – Так-то вот оно и хорошо будет. Не повторите ли?

– Нет, что ты, Порфирий. Превосходная наливка, – говорил юнкер, вытирая губы плат-

ком. — Очень тебе благодарен.

— Э, нет, нет, этого уж, пожалуйста, не надо, — заторопился Порфирий, заметив, что юнкер опускает руку в карман за деньгами. — Это я за честь считаю угостить александровского юнкера, а не так, чтобы с корыстью.

Наливка — и правда — была совсем не приправлена спиртом, но от сахара и ягод в ней, должно быть, произошло свое винное брожение. У юнкера слегка, но приятно захватило дыхание и защипало гланды.

И не так наливка, как милое, сердечное, совсем московское обращение Порфирия и его славное, доброе лицо сделало то, что желтый скучный газ, только что облекавший все мироздание, начал понемногу свертываться, таять, исчезать. И, должно быть, огорчение Александрова было не из тех, от которых люди запивают, сходят с ума или стреляются. Об этом минутном горе Александров вспомнит когда-нибудь с нежной признательностью, обвешанной поэзией. До зловещих часов настоящего, лютого, проклятого отчаяния лежат впереди еще многие добрые годы.

Проходя верхним рекреационным коридором, Александров заметил, что одна из дверей, с матовым стеклом и номером класса, полуоткрыта и за нею слышится какая-то веселая возня, шепот, легкие, звонкие восклицания, восторженный писк, радостный смех. Оркестр в большом зале играет в это время польку. Внимательное, розовое, плутовское детское личико выглядывает зорко из двери в коридор.

— Вам можно, — говорит девочка лет двенадцати-тринадцати в зеленом платье. — Только, чур, никому не говорите.

Александров открывает дверь.

Здесь в небольшом пространстве классной комнаты, из которой вынесены парты, усердно танцуют дружка с дружкой под звуки «взрослой» музыки десятка два самых младших воспитанниц, в зеленых юбочках, совсем еще детей, «малявок», как их свысока называют старшие. Но у них настоящее буйное, легкокрылое веселье, которого, пожалуй, нет и в чинном двухсветном зале. И так милы все они, полудетски наивно длинноруки, длинноноги и трогательно неуклюжи!.. Александров с улыбкой вспоминает словцо своего веселого дяди Кости об этом возрасте: «Щенок о пяти ног».

Александров оживляется. Отличная, проказливая мысль приходит ему в голову. Он подходит к первой от входа девочке, у которой волосы, туго перетянутые снизу ленточкой, торчат вверх, точно хохол у какой-то редкостной птицы, делает ей глубочайший церемонный поклон и просит витиевато:

— Мадемуазель, не угодно ли будет вам сделать мне величайшую честь и отменное удовольствие протанцевать со мною, вашим покорным слугою, один тур польки?

Девочка робко, неловко, вся покраснев, кладет ему худенькую, тоненькую прелестную ручонку не на плечо, до которого ей не достать, а на рукав. Остальные от неожиданности и изумления перестали танцевать и, точно самим себе не веря, молча смотрят на юнкера, широко раскрыв глаза и рты.

Протанцевав со своею дамой, он с такой же утонченной вычурностью приглашает другую, потом третью, четвертую, пятую, всех подряд. Ну, что за прелесть эти крошечные девчонки! Александров ясно слышит, что у каждой из них волосы пахнут одной и той же помадой «Резеда», должно быть, купленной самой отчаянной контрабандой. Да и сам этот сказочный балок под сурдинку не был ли браконьерством?

И как аккуратно, как ревностно они делают танцевальные па своими маленькими ножками, высоко поднятыми на цыпочки. От старательности, точно на строгом экзамене, они прикусывают нижнюю губку, подпирают изнутри щеку языком и даже высовывают язычок между зубами.

Когда же Александров подходит к очередной даме, то другие тесно его облепляют:

— Пожалуйста, и со мною тоже.

— И со мной, и со мной, и со мной.

— Милый юнкер, а когда же со мной?

И, наконец, тоненький комариный голосок, в котором дрожит обида:

— Да-а! Со всеми танцуют, а со мной не танцуют.

Александров справедлив. Он сам понимает. Какая редкая радость и какая гордость для девчонок танцевать с настоящим взрослым кавалером, да притом еще с юнкером Александровского училища, самого блестящего и любимого в Москве. Он ни одну не оставит без тура поль-

ки.

Но он не успевает. На двух воспитанниц не хватает польки, потому что оркестр перестает играть. Увидев две миленькие, готовые заплакать мордочки, с уже вытянутыми в трубочку губами, Александров быстро находится:

– Медам. Это ничего не значит. Мы сами себе музыка.

И, подхватив очередную девочку, уже почти пустившую слезу, он бурно начинает польку, громко подыгрывая голосом: «Тра, ля, ля, ля – тра, ля, ля».

Остальные с увлечением следуют за ним, отбивая такт ладошками, и в общем получается замечательный оркестр.

Дотанцевав, он откланивается и хочет уйти. Но маленькие цепкие лапочки хватают его за мундир.

– Не уходите, юнкер, душка, милочка, не уходите от нас.

Он обещает забежать к ним во время следующего танца и с трудом освобождается.

Только что входит Александров в большой зал, подымаясь по ступенькам галереи, как распорядитель торжественно объявляет:

– Последний танец! Вальс!

Через всю залу, по диагонали, Александров сразу находит глазами Зиночку. Она сидит на том же месте, где и раньше, и быстрыми движениями веера обмахивает лицо. Она тревожно и пристально обегает взором всю залу, очевидно, кого-то разыскивая в ней. Но вот ее глаза встречаются с глазами Александрова, и он видит, как радость заливает ее лицо. Нет. Она не улыбается, но юнкеру показалось, что весь воздух вокруг нее посветлел и заблестел смехом, точно сияние окружило ее красивую голову. Ее глаза звали его.

Он видел, подходя к ней, как она от нетерпения встала и резким движением сложила веер, а когда он был в двух шагах от нее и только собирался поклониться, она уже приподымала машинально, сама этого не замечая, левую руку, чтобы опустить ее на его плечо.

– Что же вы совсем убежали от меня? Как вам не стыдно? – сказала она, и эти простые, ничего не значащие слова вдруг теплым бархатом задрожали в груди Александрова.

– Я... я... собственно... – начал было он.

Но она перебила его:

– Да, вы, вы, вы. Не нужно ни о чем говорить. Теперь будем только танцевать вальс. Раз-два-три, – подсчитывала она под темп музыки, и они закружились опять в блаженном воздушном потоке.

И тут Зиночка, щекоча невольно его висок своими тонкими волосами, дыша на него порою своим чистым, свежим дыханием, в двух словах развеяла причину их странной молчаливой ссоры издали.

На балах начальство строго следило, чтобы воспитанницы не танцевали с одним и тем же кавалером несколько раз подряд. Это уж было бы похоже на предпочтение, на какое-то избрничество, наконец просто на кидаящееся в глаза взаимное ухаживание. Синяя дама с рыбьей головой сделала Зиночке замечание, что она слишком много уделяет внимания юнкеру Александрову, что это слишком кидается в глаза и, наконец, становится совсем неприличным.

– Во время третьей кадрили она так и пронизывала меня глазищами, и теперь вы понимаете, что я чувствовала себя как связанная.

– Она и на меня так же глядела, – сказал Александров. – Мне даже пришло в голову, что если бы между мной и ею был стеклянный экран, то ее взгляд сделал бы в стекле круглую дырочку, как делает пуля. Ах, зачем же вы мне сразу не сказали?

– У нас уж такая этика. Мы можем наших классных дам всячески изводить, но жаловаться посторонним – это не принято. Но теперь мне все равно. J'ai jete le bonnet par dessus les moulins⁷. Завтра она пожалуется папе.

– А папа?

– Папа будет от души смеяться. Ах, папочка мой такая прелесть, такой душенька. Но довольно об этом. Вы больше не дуетесь, и я очень рада. Еще один тур. Вы не устали?

⁷ Я пустила во все тяжкие (фр.)

Глава XXIII

Письмо любовное

Кончились зимние каникулы. Тяжеловато после двух недель почти безграничной свободы втягиваться снова в суровую воинскую дисциплину, в лекции и репетиции, в строевую муштру, в раннее вставание по утрам, в ночные бессонные дежурства, в скучную повторяемость дней, дел и мыслей.

Есть у юнкеров в распорядке дня лишь два послеобеденных часа (от четырех до шести) полного отдыха, когда можно петь, болтать, читать посторонние книги и даже прилечь на кровати, расстегнув верхний крючок куртки. От шести до восьми снова зубрежка или черчение под надзором курсовых офицеров.

Александров подсел на кровать к Жданову; так они каждый день ходят друг к другу в гости. Крикнули ротного служителя и послали его в булочную Савостьянова, что наискось от училища через Арбатскую площадь, за пирожными – пара пятачок. Жданов, как более солидный и крепкий, заказал себе два яблочных и два тирольских; более легковесный Александров – две трубочки с кремом и два миндальных. Поедая пирожные, как-то говорится слаще, занятнее. Самая любимая, никогда не иссякающая тема их разговора, это, конечно, – прошлый недавний бал в Екатерининском институте, со множеством милых маленьких воспоминаний. Вспоминают они, как все девицы, окружив тесным прекрасным роем графа Олсуфьева, упрашивали его не уезжать так скоро, пробыть еще полчаса на балу, и как он, мелко топчась на своих согнутых подагрой ногах, точно приплясывая, говорил:

– Не могу, мои красавицы. Сказано в премудростях царя Соломона: время строить и время разрушать, время старому гусару Олсуфьеву танцевать на балу и время ехать домой спатиньки.

– Прелесть граф Олсуфьев? А? – говорит Александров.

– Правда. Молодчина, – соглашается Жданов. – И какой шикарный был ужин, какая осетрина, какой ростбиф!

Но Александрову ближе и милее другие воспоминания. Как ласково и просто сказала княгиня-директриса: «Mesdames, просите ваших кавалеров к ужину». Вот это так настоящая аристократка! Хочется юнкеру сказать и еще кое о чем, более нежном, более интимном; ведь на то и дружба, чтобы поверять друг другу сердечные секреты. Переход из зала в столовую шел по довольно узкому коридору. Было тесно, подвигались с трудом. Плечи Зиновки и Александрова часто соприкасались. Кисть ее руки легко лежала на рукаве Александрова. И вот вдруг на бесконечно краткое время Зиновка сжала руку юнкера и прильнула к нему упругим сквозь одежду телом. Конечно, это вышло случайно, от толкотни, но, кто знает, может быть, здесь была и крошечная, микроскопическая доля умысла? Нет, Жданову он об этом не скажет ни слова. Пусть их связывает восьмилетняя корпусная дружба (оба оставались на второй год, хотя и в разных классах), но Жданов весь какой-то земной, деревянный, грубоватый, много ест, много пьет, терпеть не может описаний природы, смеется над стихами, любит рассказывать похабные анекдоты. Родом он донской казак из Тульской губернии. Он не поймет.

Возвращаются они памятью и к последней минуте, к отъезду из института. Когда спускались юнкера по широкой, растреллиевской лестнице в прихожую, все воспитанницы облепили верхние перила, свешивая вниз русые, золотые, каштановые, рыжие, соломенные, черные головки.

– Благодарим вас! Спасибо, милые юнкера, – кричали они уходящим, – не забывайте нас! приезжайте опять к нам на бал! До свиданья! До свиданья!

И тут Александров вдруг ясно вспомнил, как, низко перегнувшись через перила, Зиновка махала прозрачным кружевным платком, как ее смеющиеся глаза встретились с его глазами и как он ясно расслышал снизу ее громкое:

– Пишите! пишите!

С этого момента, по мере того как уходит в глубь прошлого волшебный бал, но все ближе, нежнее и прекраснее рисуется в воображении очаровательный образ Зиновки и все тревожнее становятся ночи Александрова, – им все настойчивее овладевает мысль написать Зиновке Бельшевой письмо. Конечно, оно будет написано вежливо и почтительно, без всякого, самого малейшего намека на любовное чувство, но уже одно то будет бесконечно радостно, если она прочитает его, прикоснется к нему своими невинными пальцами. Александров пишет письмо за

письмом на самой лучшей бумаге, самым лучшим старательным почерком и затем аккуратно складывает их в шестьдесят четвертую долю. Само собой разумеется, что письмо пойдет не по почте, а каким-нибудь обходным таинственным путем.

В первое же воскресенье он к двум часам отправляется в Екатерининский институт. Великолепный огромный швейцар Порфирий тотчас же с видимым удовольствием узнает его.

– Добро пожаловать, господин юнкер! Как изволите поживать? Как драгоценное здоровьице? Чем служу вам?

Александров осторожно закидывает удочку:

– Прошлый раз, Порфирий, угощал ты меня вишневым наливкой. Изумительная была наливка, но только в долгу – как хочешь – оставаться я не люблю. Вот...

Он протягивает швейцару зеленую трехрублевую бумажку, еще теплую, почти горячую от нервно тискавшей ее руки.

Левое веко у Порфирия чуть-чуть играет, готовое лукаво подмигнуть.

– Да вы бы попросту, господин юнкер. Сказали бы, в чем дело-то? А денежки извольте спрятать.

Запинаясь, отворачивая лицо, Александров говорит малосвязно:

– Тут это... вот... моя двоюродная сестра... Это... барышня Бельшева... Зинаида... Письмо от родственников...

– С удовольствием, с великим моим удовольствием-с, господин юнкер. Передам без малейшего замедления. Только кому раньше представить: классной даме или самому господину профессору? Как я состою по присяге...

«Черт! Не вышло!» – говорит про себя Александров и уходит посрамленный. Он сам чувствует, как у него от стыда колюче покраснело все тело.

Но уже, как маньяк, он не может отвязаться от своей безумной затеи. Учитель танцев, милейший Петр Алексеевич Ермолов? Но тотчас же в памяти встает величавая важная фигура, обширный белый вырез черного фрака, круглые плавные движения, розовое, полное, бритое лицо в седых, гладко причесанных волосах. Нет, с тремя рублями к нему и обратиться страшно. Говорят, что раньше юнкера пробовали, и всегда безуспешно.

Но с Ермоловым повсюду на уроки ездит скрипач, худой маленький человечек, с таким ничего не значащим лицом, что его, наверно, не помнит и собственная жена. Уждав время, когда, окончив урок, Петр Алексеевич идет уже по коридору, к выходу на лестницу, а скрипач еще закутывает черным платком свою дешевую скрипку, Александров подходит к нему, показывает трехрублевку и торопливо лепечет:

– Понимаете ли?.. Здесь ничего нет дурного или предосудительного... Тут только одно семейное дело о наследстве. Необходимо уведомить, чтобы не попало в чужие руки... Сделайте великое одолжение.

Но скрипач отмахивается обеими руками вместе с закутанной в черное скрипкой.

– Да упаси меня бог! Да что вы это придумали, господин юнкер? Да ведь меня Петр Алексеевич мигом за это прогонят. А у меня семья, сам-семь с женою и престарелой родительницей. А дойдет до господина генерал-губернатора, так он меня в три счета высылит навсегда из Москвы. Не-ет, сударь, старая история. Имею честь кланяться. До свиданья-с! – и бежит торопливо следом за своим патроном.

Но громадная сила – напряженная воля, а сильнее ее на свете только лишь случай. Как-то вечером, в часы отдыха, юнкера сбились кучкой, человек в десять, между двумя соседними постелями. Левис-оф-Менар рассказывал наизусть содержание какого-то переводного французского романа не то Габорио, не то Понсон дю Террайля. Вяло, без особого внимания подошел туда Александров и стал лениво прислушиваться.

– Тогда-то, – продолжал медленно Левис, – кровожадные преступники и придумали коварный способ для своей переписки. Они писали друг другу самые обыкновенные записки о самых невинных семейных делах, так, что никому не пришло бы никогда в голову придраться к их содержанию. Но на чистом листке они передавали свои хищнические планы при помощи пера, обмакнутого в лимонный сок. Некоторую покоробленность бумаги они сглаживали горячим утюгом, и получателю стоило подержать этот белый лист около огня, как немедленно и явно выступали на нем желтые буквы...

Слова Левиса сразу, точно молния, озарили Александрова.

«Вот что мне нужно! А там, суди меня бог и военная коллегия!»

В ближайшую субботу он идет в отпуск к замужней сестре Соне, живущей за Москвой-рекой, в Мамонтовском подворье. В пустой аптекарский пузырек выжимает он сок от целого лимона и новым пером номер 86 пишет довольно скромное послание, за которым, однако, кажется юнкеру, нельзя не прочесть пламенной и преданной любви:

«Знаю, что делаю дурно, решаясь писать Вам без позволения, но у меня нет иного средства выразить глубокую мою благодарность судьбе за то, что она дала мне невыразимое счастье познакомиться с Вами на прекрасном балу Екатерининского института. Я не могу, я не сумею, я не осмелюсь говорить Вам о том божественном впечатлении, которое Вы на меня произвели, и даже на попытки сделать это я смотрю как на кощунство. Но позвольте смиренно просить Вас, чтобы с того радостного вечера и до конца моих дней Вы считали меня самым покорным слугой Вашим, готовым для Вас сделать все, что только возможно человеку, для которого единственная мечта – хоть случайно, хоть на мгновение снова увидеть Ваше никогда не забываемое лицо. Алексей Александров, юнкер 4-й роты 3-го Александровского военного училища на Знаменке».

Когда буквы просохли, он осторожно разглаживает листик Сониным утюгом. Но этого еще мало. Надо теперь обыкновенными чернилами, на переднем листе написать такие слова, которые, во-первых, были бы совсем невинными и неинтересными для чужих контрольных глаз, а во-вторых, дали бы Зиночке понять о том, что надо подогреть вторую страницу.

Очень быстро приходит в голову Александрову (немножко поэту) мысль о системе акростиха. Но удастся ему написать такое сложное письмо только после многих часов упорного труда, изорвав сначала в мелкие клочки чуть ли не десь почтовой бумаги. Вот это письмо, в котором начальные буквы каждой строки Александров выделял чуть заметным нажимом пера.

«Дорогая Зизи,
П омнишь ли ты, как твоя старая тетя
О ля тебя так называла? Прошло два го-
д а, что от тебя нет никаких пис-
е м. Я думаю, что ты теперь вы-
р осла совсем большая. Дай тебе бо-
ж е всего лучшего, светлого
й, главное, здоровья. С первой поч-
т ой шлю тебе перчатки из козь-
е й шерсти и платок оре-
н бургский. Какая радость нам,
а нгел мой, если летом приедешь в
О зерище. Уж так я буду обере-
г ать тебя, что пушинки не дам сесть.
Н яня тебе шлет пренизкие поклоны.
Е е зимой все ревматизмы мучили.
Миша в реальном училище,
Учится хорошо. Увлекается
Акростихами. Целую тебя
Крепко. Вашим пишу отдельно.
Твоя любящая
Тетя Оля».

На конверт прилепляется не городская, а (какая тонкая хитрость) загородная марка. С бьющимся сердцем опускает его Александров в почтовый ящик. «Корабли сожжены», – пышно, но робко думает он.

На другой день ранним утром, в воскресенье, профессор Дмитрий Петрович Бельшев пьет чай вместе со своей любимицей Зиной. Домашние еще не вставали. Эти воскресные утренние

чай вдвоем составляют маленькую веселую радость для обоих: и для знаменитого профессора, и для семнадцатилетней девушки. Он сам prepares чай с некоторой серьезной торжественностью. Сначала в сухой горячий чайник он всыпает малую пригоршеньку чая, обливает его слегка крутым кипятком и сейчас же сливает воду в чашку.

– Это для того, – говорит он серьезно, – что необходимо сначала очистить зелье, ибо собирали его и готовили язычники-китайцы, и от их рук чай поганый. В этом, по крайней мере, уверено все Замоскворечье. – Затем он опять наливает кипяток, но совсем немного, закутывает чайник толстой суконной крышкой в виде петуха, для того чтобы настоялся лучше, и спустя несколько минут наливает его уже до полна. Эта церемония всегда смешит Зиночку.

Затем Дмитрий Петрович своими большими добрыми руками, которыми он с помощью скальпеля разделяет тончайшие волокна растений, режет пополам дужку филипповского калача и намазывает его маслом. Отец и дочка просто влюблены друг в друга.

В дверь стучат.

– Войдите!

Входит Порфирий в утренней тужурке.

– Почта-с.

Профессор не спеша разбирает корреспонденцию.

– А это тебе, Зиночка, – говорит он и осторожно перебрасывает письмо через стол.

Зина вскрывает конверт и долго старается понять хоть что-нибудь в этом письме. Шутка? Мистификация? Или, может быть, кто-нибудь перепутал письма и конверты? – Папочка! Я ничего не понимаю, – говорит она и протягивает письмо отцу.

Профессор несколько минут изучает письмо, и чем дальше, тем больше расплывается на его умном лице веселая улыбка.

– Тетя Оля? – восклицает он. – Да как же ты ее не помнишь? Вспомни, пожалуйста. Такая высокая, стройная. У нее еще были заметные усики. И танцевать она очень любила. Возьми, возьми, почитай повнимательней.

Через неделю, после молитвы и переключки командир четвертой роты Фофанов, он же Дрозд, проходит вдоль строя, передавая юнкерам письма, полученные на их имя. Передает он также довольно увесистый твердый конверт Александрову. На конверте написано: «Со вложением фотографической карточки».

– Э-э, не покажешь мне?

– Так точно, господин капитан.

Юнкер торопливо разрывает оболочку. Это прелестное личико Зиночки и под ним краткая надпись: «Зинаида Бельшева».

– Э-э... Очень хороша, – говорит Дрозд. – Ну, что? Теперь жалеешь, что поехал на бал?

– Никак нет...

Глава XXIV

Дружки

Кончился студеный январь, прошел густоснежный февраль, наворотивший круглые белые сугробы на все московские улицы. Медленно тянется март, и уже висят по утрам на карнизах, на желобах и на железных картузах зданий остроконечные сосульки, сверкающие на солнце, как стразы горного хрусталя, радужными огоньками.

По улицам «ледяные» мужики развозят с Москвы-реки по домам, на санях, правильно вырубленные плиты льда полуаршинной толщины. Еще холодно, но откуда-то издалека-издалека в воздухе порою пахнет Масленицей.

У юнкеров старшего курса шла отчаянная зубрежка. Пройдут всего два месяца, и после храмового праздника училища, после дня святых великомучеников Георгия и царицы Александры, их же память празднуется двадцать третьего апреля, начнутся тяжелые страшные экзамены, которые решат будущую судьбу каждого «обер-офицера». В конце лета, перед производством в первый офицерский чин, будут посланы в училище списки двухсот с лишком вакансий, имеющих в различных полках, и право последовательного выбора будет зависеть от величины среднего балла по всем предметам, пройденным в течение всех двух курсов. Конечно, лучшим ученикам – фельдфебелям и портупей-юнкерам – предстоят выборы самых шикарных, видных и

удобных полков. Во-первых, лейб-гвардия в Петербурге. Но там дорого служить, нужна хорошая поддержка из дома, на подпоручичье жалованье – сорок три рубля двадцать семь с половиной копеек в месяц – совсем невозможно прожить. Потом – суконная гвардия в царстве Польском. Очень хорошая форма, но тоже немного дороговато. Затем – артиллерия. Дальше следуют стоянки в столицах или больших губернских городах, преимущественно в гренадерских частях. Дальше лестница выборов быстро сбегала вниз, спускаясь до каких-то ни разу не упоминавшихся на уроках географии городишек и гарнизонных батальонов, заброшенных в глубины провинции.

Александров учился всегда с серединными успехами. Недалекое производство представлялось его воображению каким-то диковинным белым чудом, не имеющим ни формы, ни цвета, ни вкуса, ни запаха. Одной его заботой было окончить с круглым девятью, что давало права первого разряда и старшинство в чине. О последнем преимуществе Александров ровно ничего не понимал, и воспользоваться им ему ни разу в военной жизни так и не пришлось.

Однако всеобщая зубрежка захватила и его. Но все-таки работал он без особенного старания, рассеянно и небрежно. И причиной этой нерадивой работы была, сама того не зная, милая, прекрасная, прелестная Зиночка Бельшева. Вот уже около трех месяцев, почти четверть года, прошло с того дня, когда она прислала ему свой портрет, и больше от нее – ни звука, ни послушания, как говорила когда-то нянька Дарья Фоминишна. А написать ей вторично зашифрованное письмо он боялся и стыдился.

Много, много раз, таясь от товарищей и особенно от соседей по кровати, становился Александров на колени у своего деревянного шкафчика, осторожно доставал из него дорогую фотографию, освобождал ее от тонкого футляра и папиросной бумаги и, оставаясь в такой неудобной позе, подолгу любовался волшебным милым лицом. Нет, она не красавица, подобная тем блестящим, роскошным женщинам, изображения которых Александров видел на олеографиях Маковского в приложениях к «Ниве» и на картинках в киосках Аванцо и Дациаро на Кузнецком мосту. Но почему каждый раз, когда Александров подолгу глядел на ее портрет, то дыхание его становилось томным, сохли губы и голова слегка кружилась сладко-сладко? Какая тайна обаяния скрывалась в этих тихих глазах под длинными, чуть выгнутыми вверх ресницами, в едва заметном игривом наклоне головы, в губах, так мило сложившихся не то для улыбки, не то для поцелуя?

Рассматривая напряженно фотографию, Александров все ближе и ближе подносил ее к глазам, и по мере этого все увеличивалось изображение, становясь как бы более выпуклым и точно оживая, точно теплея.

Когда же, наконец, его губы и нос почти прикасались к Зининому лицу, выросшему теперь до натуральной величины, то, испытывая сладостный туман во всем теле, Александров жадно хотел поцеловать Зинины губы и не решался, усилием воли не позволял себе.

– Так нельзя делать, – уговаривал он самого себя. – Это – стыдно, это тайное воровство и злой самообман. Так мужчине не надлежит поступать. Ведь она же не может тебе ответить!

И со вздохом усталости прятал карточку в шкаф.

Об этих своих странных мучениях он никому не признавался. Только раз – Венсану. И тот сказал, махнув рукой:

– Брось! Ерунда. Просто в тебе молодая кровь волнуется. «Смирять ее молитвой и постом». Пойдем-ка, дружище, в гимнастический зал, пофехтуем на рапирах на два пирожных. Ты мне дашь пять ударов вперед из двадцати... Пойдем-ка.

Дружба Александрова с Венсаном с каждым днем становилась крепче. Хотя они вышли из разных корпусов и Венсан был старше на год.

Вероятно, выгибы и угибы их характеров были так расположены, что в союзе приходились друг к другу ладно, не болтаясь и не нажимая.

На лекциях они всегда сидели рядом и помогали один другому. Александров чертил для Венсана профили пушек и укреплений. Венсан же, хорошо знавший иностранные языки, вставал и отвечал за Александрова, когда немец или француз вызывали его фамилию.

Если лекция бывала непомерно скучна, то друзья развлекались чтением, игрой в крестики, сочинением вздорных стихов. Но любимой их игрой была игра в мечту об усах.

В Венсане не напрасно половина крови была французская: он старательно носил в боковом кармане маленькую щеточку и крошечное зеркальце.

Пусть учитель русской словесности, семинар Декапольский, монотонно бубнил о том, что противоречие идеала автора с действительностью было причиной и поводом всех написанных русскими писателями стихов, романов, повестей, сатир и комедий... Это противоречие надоело всем хуже горькой редьки.

Декапольского никто не слушал.

Венсан вынимал свое зеркальце, внимательно рассматривал, щурясь и вертя голову справа налево, свои юные, едва начавшие пробиваться усы.

– Ну, что? – спрашивал он серьезно. – Как будто опять подросли немного?

– Да, немного побольше стали. А ну-ка, дай-ка теперь мне поглядеть. Ты ведь счастливiec. Ты брюнет, и они у тебя черные, а у меня – светло-каштановые, у меня не так они выделяются. Ну а все-таки как? виднее, чем прежде?

– Несомненно. Даже издали видно. Очаровательные усы со временем будут. Позволь, я еще раз на себя погляжу, еще раз...

Потом, не доверяя зеркальному отражению, они прибегали к графическому методу. Остро очиненным карандашом, на глаз или при помощи медной чертежной линейки с транспортиром, они старательно вымеряли длину усов друг друга и вычерчивали ее на бумаге. Чтобы было повиднее, Александров обводил свою карандашную линию чернилами. За такими занятиями мирно и незаметно протекала лекция, и молодым людям никакого не было дела до идеала автора.

Эти двое юнкеров охотно приглашали друг друга на вечера, любительские спектакли и маленькие балы, какие всю зиму устраивались в их знакомых семействах. Тогда вся Москва плясала круглый год и каждый день. Александров представлял Венсана семьям – Синельниковых, Скрипицыных и Владимировых; Венсан водил своего друга все в один и тот же дом, к Шелкевичам. Глава этого семейства, еврей Шелкевич, считался в Москве в числе трех наиболее богатых банкиров. Его ежемесячные домашние балы славились по всему городу: лучший струнный оркестр, самые красивые женщины Москвы, ужины с фазанами, устрицами, выписанной стерлядью и лучшими марками шампанского, роскошные цветы от Ноева, свежие ананасы и прелестные безделушки для котильонов, которые охотно сохранялись на память даже людьми солидными и уже давно не танцующими.

Венсан был влюблен в младшую дочку, в Марию Самуиловну, странное семнадцатилетнее существо, капризное, своевольное, затейливое и обольстительное. Она свободно владела пятью языками и каждую неделю меняла свои уменьшительные имена: Маня, Машенька, Мура, Муся, Маруся, Мэри и Мари. Она была гибка и быстра в движениях, как ящерица, часто страдала головной болью. Понимала многое в литературе, музыке, театре, живописи и зодчестве и во время заграничных путешествий перезнакомилась со множеством настоящих мэтров.

И лицо у нее было удивительное, совсем, ни на иоту не похожее на все прочие женские лица. Взгляд ее светло-серых глаз был всегда как будто бы слегка затуманен тончайшей голубоватой дымкой. Рот был большой, алчный и красный, но необычайно красивого рисунка, а руки несравненного изящества. И странное выражение было в этом удивительном живом лице: надменность, насмешка и нежная ласка. Она часто танцевала с Александровым и говорила ему нередко, что лучше, ритмичнее и упоительнее его никто не танцует вальса. А его неизменно приводила в смущение ее свободная манера прижиматься к кавалеру всем стройным тонким телом и маленькими, точно гуттаперчевыми грудями. «А вдруг ее родители заметят? и рассердятся? Куда тогда мне от стыда деваться?»

Он избегал с нею разговаривать, боясь ее остроцепкого, безжалостного языка и не находя никаких тем для разговора.

Впрочем, и она оставляла его в покое, довольствуясь им как отличным танцором. И, пожалуй, Александров не без проницательности думал иногда, что она считает его за дурачка. Он не обижался. Он отлично знал, что дома, в общении с товарищами и в болтовне с хорошо знакомыми барышнями у него являются и находчивость, и ловкая поворотливость слова, и легкий незатейливый юмор.

Но что мог поделать бедный Александров со своей проклятой застенчивостью, которую он никак не мог преодолеть, находясь в большом и малознакомом обществе?

Он не завидовал Венсану. Он только удивлялся его уверенности и спокойствию, его натуральной способности быстро схватывать узел разговора, продолжать его и снова завязывать, никогда не позволяя ему иссякнуть. А его шутивное состязание с Марией Самуиловной в острогах

и шпильках казалось ему блестящим поединком двух первоклассных мастеров фехтования. Уезжал он от Шелкевичей всегда усталым и с тяжелой головой.

В училище весь день у юнкеров был сплошь туго загроможден учением и воинскими обязанностями. Свободными для души и для тела оставались лишь два часа в сутки: от обеда до вечерних занятий, в течение которых юнкер мог передвигаться, куда хочет, и делать, что хочет во внутренних пределах большого белого дома на Знаменской.

В эти предвечерние часы любо бывало юнкерам петь хором, декламировать, ставить самодельные краткие пьесы, показывать фокусы, слушать рассказы о былом и о прочитанном. В эти часы удобно и уютно было друзьям разговаривать о вещах сердечных, требующих деликатного секрета, особенно о первой любви, которая эпидемически расцветала во всех молодых и здоровых сердцах, переполняя их, искала выхода хоть в словах.

Венсан и Александров каждый вечер ходили в гости друг к другу; сегодня у одного на кровати, завтра – у другого. О чем же им было говорить с тихим волнением, как не о своих неугомонных любовях, которыми оба были сладко заражены: о Зиночке и о Машеньке, об их словах, об их улыбках, об их кокетстве.

И тут сказывалась разность двух душ, двух темпераментов, двух кровей. Александров любил с такою же наивной простотой и радостью, с какою растут травы и распускаются почки. Он не думал и даже не умел еще думать о том, в какие формы выльется в будущем его любовь. Он только, вспоминая о Зиночке, чувствовал порою горячую резь в глазах и потребность заплакать от радостного умиления.

Венсан был влюблен страстнее и определеннее, со всей сознательностью молодого человека, вступившего в полосу половой зрелости. Но он не скрывал ни от себя, ни от Александрова своих практических дальних планов.

– Машенька – прелесть и чудо, – говорил он, – но она еще и умна и образованна. Такая же-на всегда будет хорошей вывеской для мужа. А кроме того (зачем же мне притворяться и ломаться перед тобою), – кроме того, она богата и за ней будет хорошее приданое. У нас уже условлено: в день производства я прошу ее руки. Выйду я в Перновский гренадерский полк, на сослужение с братом. Все-таки Москва... Когда мне исполнится двадцать три года, я женюсь на ней, а затем непременно, во что бы то ни стало, поступаю в Академию генерального штаба. Вот уже моя карьера и на виду. Эх, дружище: плохая вещь любовь в шалаше, с собственной стиркой белья и личным кормлением младенцев из рожка.

– Ты циник, – говорил Александров.

Венсан смеялся.

– Совсем нет. Я только соединяю любовь с рассудком. Но ты этого никогда не поймешь. Ты – писатель, и твое одно удовольствие – это парить в облаках...

Глава XXV Rendez-Vous⁸

Утренняя перекличка – самый важный и серьезный момент в дневной жизни роты. После оклика всех юнкеров поочередно фельдфебель читает приказы по полку. Он же назначает на сутки одного дежурного из старшего курса и двух дневальных из младшего, которые чередуются через каждые четыре часа, он же объявляет о взысканиях, налагаемых начальством.

Наконец, по окончании переклички, выдавались юнкерам полученные на их имя письма. Последнее обыкновенно делал сам Дрозд, и не без некоторой значительности. По уставу он мог бы всякую корреспонденцию юнкеров предварительно просматривать, но он их передавал в нетронутом виде. Он, вероятно, инстинктом понял великую аксиому власти: «Взаимное доверие сильнее связывает начальника с подчиненным, чем подозрение и репрессии». К тому же он понимал, что письмо с воли в закрытое заведение всегда дает радость и тепло, а тронутое чужими руками как-то вянет и охладевает.

В конце февраля Александров получил из рук Дрозда такое трогательное малюсенькое письмо, что его марка, казалось, покрывала весь конверт.

⁸ Свидание (фр.).

– Гм, – сказал Дрозд, – какая воробьиная переписка!

В строю решительно немислимо заниматься чем-нибудь иным, как строем: это первейший военный завет. Маленькое письмецо жгло карман Александра до тех пор, пока в столовой, за чашкой чая с калачом, он его не распечатал. Оно было больше чем лаконично, и от него чуть-чуть пахло теми прелестными прежними рождественскими духами!..

«На второй день Масленицы, в два часа пополудни, приходите на каток Чистых прудов. Я буду с подругой. Ваша З. Б.».

Ваша! О, господи! Ваша! Это словечко точно горячей водою облило юнкера и на минуту сладко закружило его голову.

В этот день первой лекцией для юнкеров старшего курса четвертой роты была лекция по богословию. Читал ее доктор наук богословских, отец Иванцов-Платонов, настоятель церкви Александровского училища, знаменитый по всей Европе знаток истории церкви.

Будучи на первом курсе, Александров с жадным вниманием слушал его поразительные лекции о римских папах эпохи Возрождения и о Савонаролле. Но теперь он читал о разрыве церкви, об исхождении святого духа, о причастии под одним или под двумя видами, о непогрешимости пап и о соборах. Эта тема была суха, схоластична, трудно понимаема.

Александров и вместе с ним другие усердные слушатели отца Иванцова-Платонова очень скоро отошли от него и перестали им интересоваться. Старый мудрый протоиерей не обратил никакого внимания на это охлаждение. Он в этом отношении был похож на одного древнего философа, который сказал как-то: «Я не говорю для толпы. Я говорю для немногих. Мне достаточно даже одного слушателя. Если же и одного нет – я говорю для самого себя».

У Иванцова-Платонова было много занятий в Троице-Сергиевской духовной академии, в разных богословских обществах, и, кроме того, ему едва хватало времени для издания и корректур его многих и замечательных книг. Он отлично знал, что в училище богословие считается предметом почти необязательным, экзамена по нему не полагалось. И он со спокойным равнодушием ставил всем юнкерам по двенадцати баллов. Также ему было все равно, чем занимаются юнкера на его лекциях. Он даже не глядел на них, произнося свои веские мудрые ученые слова... А юнкера в это время подзубривали военные науки для близкой репетиции, чертили профили и фасы, заданные профессорами артиллерии и фортификации, упражнялись в топографическом искусстве, читали книжки Дюма-отца или попросту срисовывали лысую, почти голую мощную голову прославленного пастыря. Требовалась только условная минимальная тишина, ибо Иванцов-Платонов готовился к ближайшей лекции в более серьезном месте.

Александров, как и всегда, сел рядом с Венсаном и протянул ему полученное письмецо. Венсан неторопливо с серьезным видом рассмотрел и отдал назад.

– Ну что же, Александров, ты – счастливцев, – сказал он с дружеской улыбкой. (У них уже давно вошло в обычай говорить друг другу «вы» по делам училищным и «ты» – по делам дружбы, тонких чувств и любви.)

– Вчера, только вчера ты не осмеливался прикоснуться губами к ее фотографическому портрету, а, смотри, сегодня она тебе назначила randevu на катке, где ты поцелуешь не кусок картона, а, может быть, живую теплую душистую перчатку на маленькой ручке. Ох, уж вы мне, скрипучие пессимисты!

– А погляди, погляди, – волновался Александров, – погляди, как она, мое божество, подписалась. «Ваша». Это значит – моя, моя, моя, моя. Моя.

Суровый реалист Венсан не согласился.

– Ваша – это не значит – твоя. Ваша или ваш – это только условное и не очень почтительное сокращение обычного окончания письма. Занятые люди нередко, вместо того чтобы написать: «теперь, милостивый государь мой, разрешите мне великую честь покорнейше просить Вас увериться в совершенной преданности, глубоком почтении и неизменной готовности к услугам Вашим покорнейшего слуги Вашего...» Вместо всей этой белиберды канцелярской умный и деловитый человек просто пишет: «Ваш Х.», и все тут.

Александров сделал кислое лицо.

– Ну вот, ты всегда такой практик. Все ты через серые очки видишь. А ты обратил внимание на подругу?

– Как же, обратил. Это, наверное, будет дуэнья, барышня постарше и поне красивее, строгого характера, и потому я заранее отказываюсь от удовольствия сопровождать тебя на чисто-

прудный каток и занимать на морозе апатичную, неразговорчивую дурнушку.

– Ах, Венсан!

– Нет, голубчик, – смягчился дружок. – У меня на второй день Масленой недели тоже – приглашение и – тоже на каток, но только на Патриаршем пруду, от Машеньки Шелкевич, от моей прекрасной еврейки.

– Эх, пропало мое дело, – уныло сказал Александров и причмокнул языком.

– Почему пропало? Я хоть и реалист и практический человек, но зато верный и умный друг. Посмотри-ка на письмо Машеньки: она будет ждать меня к четырем часам вечера, и тоже с подругой, но та превеселая, и ты от нее будешь в восторге. Итак, ровно в два часа мы оба уже на Чистых прудах, а в четыре без четверти берем порядочного извозчика и катим на Патриаршие. Идет?

– Ах, дорогой мой, как ты хорошо распорядился! А у меня уж было печенки заболели. Ты добр и великодушен, бледнолицый брат мой.

– То-то.

В субботу юнкеров отпустили в отпуск на всю неделю Масленицы. Семь дней перерыва и отдыха посреди самого тяжелого и напряженного зубрения, семь дней полной и веселой свободы в стихийно разгулявшейся Москве, которая перед строгим Великим постом вновь возвращается к незапамятным языческим временам и вновь впадает в широкое идолопоклонство на яростной тризне по уходящей зиме, в восторженном плясе в честь весны, подходящей большими шагами.

Вчера еще Москва ела жаворонков: булки, выпеченные в виде аляповатых птичек, с крылышками, с острыми носиками, с изюминками-глазами. Жаворонок – символ выси, неба, тепла. А сегодня настоящий царь, витязь и богатырь Москвы – тысячелетний блин, внук Дажбога. Блин кругл, как настоящее щедрое солнце. Блин красен и горяч, как горячее всесогревающее солнце, блин полит растопленным маслом, – это воспоминание о жертвах, приносимых могущественным каменным идолам. Блин – символ солнца, красных дней, хороших урожаев, ладных браков и здоровых детей.

О, языческое удельное княжество Москва! Она ест блины горячими, как огонь, ест с маслом, со сметаной, с икрой зернистой, с паюсной, с салфеточной, с ачуевской, с кетовой, с сомовой, с селедками всех сортов, с кильками, шпротами, сардинами, с семушкой и с сижком, с балычком осетровым и с белорыбьим, с тешечкой, и с осетровыми молоками, и с копченой стерлядкой, и со знаменитым сметком из Бела озера. Едят и с простой закладкой и с затейливо комбинированной.

А для легкости прохода в нутро каждый блин поливается разнообразными водками сорока сортов и сорока настоев. Тут и классическая, на смородинных почках, благоухающая садом, и тминная, и полынная, и анисовая, и немецкий доппель-кюммель, и всеисцеляющий зверобой, и зубровка, настойка на березовых почках, и на тополевых, и лимонная, и перцовка, и... всех не перечислишь.

А сколько блинов съедается за Масленую неделю в Москве – этого никто никогда не мог пересчитать, ибо цифры тут астрономические. Счет приходилось бы начинать пудами, переходить на берковцы, потом на тонны и вслед за тем уже на грузовые шестимачтовые корабли.

Ели во славу, по-язычески, не ведая отказу. Древние старожилы говорили с прискорбием:

– Эх! Не тот, не тот ныне народ пошел. Жидковаты стали люди, не емкие. Посудите сами: на блинах у Петросеева Оганчиков-купец держал пари с бакалейщиком Трясиловым – кто больше съест блинов. И что же вы думаете? На тридцать втором блине, не сходя с места, богу душу отдал! Да-с, измельчали люди. А в мое молодое время, давно уже этому, купец Коровин с Балчуга свободно по пятидесяти блинов съедал в присест, а запивал непременно лимонной настойкой с рижским бальзамом.

Но Александров блинного объедения не понимает и к блинам особой страсти не чувствует. Съел парочку у мамы, парочку у сестры Сони и стал усиленно готовиться ко вторичной встрече. Его стальные коньки, лежавшие без употребления более года в чулане, оказывается, кое-где успели заржаветь и в чем-то перепачкались; пришлось над ними порядочно повозиться, смазывая их керосином, обтирая теплым деревянным маслом и, наконец, полируя наждаком особенно неподатливые ржавчинки.

Когда же коньки были приведены в полный порядок, Александров вспомнил о том, что он уже давно, уже более года не занимался благородным спортом бегания на коньках. Надо было

немедленно заняться необходимой тренировкой. Правда, девушки в конькобежном искусстве всегда стоят гораздо ниже молодых людей, однако Александрову приходилось дважды в своей жизни видеть совершенно обратные примеры, оба на большом катке Зоологического сада. Один раз это была датчанка, другой – суровая норвежская девица. В быстроте и выносливости их не мог победить ни один из московских профессионалов-мужчин. Но в фигурном катании выше их по очкам оказывался каждый раз преподаватель гимнастики в Александровском училище – Постников, знаменитый московский спортсмен.

«Ну, конечно, Зиновья Бельшева не датчанка, не норвежка, но, судя по тому, как она ходит, и как танцует, и как она чутка к ритму и гибка и ловка в движениях, можно предположить, что она, пожалуй, очень искусна в работе на коньках. А вдруг я окажусь не только слегка слабее ее, а гораздо ниже. Нет! Этого унижения я не могу допустить, да и она меня начнет немного презирать. Иду сейчас же упражняться».

Самый близкий каток от Кудрина был как раз на Патриарших прудах, но за вход на его заботливо содержимое ледяное поле и за музыку полагалось со своими коньками десять копеек... И отсюда-то и начались лютые горести и моральные муки для бедного вновь влюбленного юнкера в звании обер-офицера, Алексея Александрова.

Смета его предполагаемых расходов была колоссально велика, даже считая в обрез: суббота, воскресенье, понедельник – три дня, каждый день по два упражнения на Патриарших, итого шесть раз – шестьдесят копеек. Вход на Чистые пруды – гривенник, итого семьдесят копеек. Угостить чем-нибудь Зиновью. Довезти ее домой на извозчике. Заплатить за нее услужнице.

А у Александрова не было ни единой копейки. О свинская, о подлая бедность! Неужели придется отказаться? не прийти? сказать через Венсана, что заболел мгновенно дифтеритом или сломал ногу?

Прости-прощай навсегда, светлый, милый, нежный облик Зиновьи, ласковой волшебницы, такой прелестной душеньки, с которой не сравнятся никакие знаменитые красавицы. Прощай, любовь моя! И все это из-за жалких копеек!

Он мог бы обратиться к матери и попросить ее, но он давно знал, как она непоколебима в своих убеждениях, внушенных ей чужим злобным и глупым авторитетом.

Была у мамы такая давняя, необычайно почитаемая старшая подруга, Мария Ефимовна Слепцова – самая важная, самая либеральная и самая неоспоримо умная особа в Вышнем Волочке. Она в год раза четыре приезжала в Москву по делам, навещала маму и всегда-то всех учила, делала замечания, прорицала, предостерегала и тому подобное.

Мать, в силу многолетнего, еще с девичества ненарушимого преклонения, внимала ей, как гласу ангельскому с небес, и, сама очень свободолюбивая по натуре, считала ее индюшечью болтовню непрекращаемым кладом мудрости и опыта.

Однажды, перед вечером, когда Александров, в то время кадет четвертого класса, надел казенное пальто, собираясь идти из отпуска в корпус, мать дала ему пять копеек на конку до Земляного вала, Марья Ефимовна зашипела и, принявшись теребить на обширной своей груди старинные кружева, заговорила с тяжелой самоуверенностью:

– Я тебя не понимаю, Люба, – разве это педагогично давать детям или, скажем, юношам деньги на руки? К чему они ему? (Александров-то знал – к чему: на пару тирольских пирожных у корпусного разносчика Егорки.) Он, слава богу, обут, одет и учится в хорошем, теплом и хорошо освещенном помещении. Куда же ему девать деньги? На конку? Но для мальчика его возраста пройти пешком от Кудрина до Лефортова одно только удовольствие! А мы не раз видели, и слышали, и читали, к каким плачевным, роковым результатам приводит молодежь раннее знакомство с деньгами и с тем, что можно получить за деньги.

– Вы правы, Марья Ефимовна, вы совершенно правы, – говорила покорно Алешина мать. – Я приму ваши золотые слова к самому сердцу. Как вы добры и мудры!

Вышневолоцкая пифия совсем рассиропилась и продолжала томным голосом:

– В особенности я об этом говорю потому, что знаю, Любочка, твое совсем не богатое положение. Но я надеюсь, что ты позволишь мне на основании нашей старой дружбы подарить твоему милему мальчику вот этот рубль, который ты будешь расходовать на его маленькие невинные забавы.

Александров быстро надел фуражку и пошел к двери.

– Алеша, поблагодари! Алеша, прости с Марьей Ефимовной! – тревожно кричала мать.

– Не стоит, – ответил дрожащим голосом кадет и хлопнул дверью.

Александров молчал, предаваясь унылым думам. Мать тоже молча вышивала гарусом по канве, и часто слышался роговой тихий стук ее спиц.

«Нет, у мамы стыдно и бесполезно просить. Ведь она для себя никогда не жила. Все для нас. Выезжать надо было сестрам – продала две родовые деревнюшки Зубово и Щербатовку с землей. Приданое понадобилось – отдала пополам бабушкино наследство. Пошли дети у сестер – она и бабкой и нянькой, – сама из рожка кормила. И всегда она нас в детстве вывозила летом на дачу из пыльной пламенной Москвы и там бывала нам и кухаркой и горничной. А мне, балбесу, лентяю и грубияну, не могшему одолеть первых начал алгебры, разве не нанимала она репетиторов, или, как она сама называла, «погонялок».

Ах! К ней никак невозможно и, стало быть, – пропал счастливый второй день Масленицы. Жестокая моя жизнь!»

Но есть в мире удивительное явление: мать с ее ребенком еще задолго до родов соединены пуповиной. При родах эту пуповину перерезают и куда-то выбрасывают. Но духовная пуповина всегда остается живой между матерью и сыном, соединяя их мыслями и чувствами до смерти и даже после нее.

– Ты что же, Алеша, надулся, как мышь на крупу? – сказала тихонько мать. – Иди-ка ко мне. Иди, иди скорее! Ну, положи мне голову на плечо, вот так.

– Да я, мамочка... так...

– Ну говори, рассказывай. Я уж давно чувствую, что ты какой-то весь смутный и о чем-то не переставая думаешь. Скажи, мой светик, скажи откровенно, от матери ведь ничто не скроется. Чувствую, гложет тебя какая-то забота, дай бог, чтобы не очень большая. Говори, Алешенька, говори – вдвоем-то мы лучше разберем.

Милый, с колыбели родной голос, нежные, давно привычные слова растопили угрюмость юнкера. Мать гладила его волосы, а он рассказывал все по порядку: блестящий рождественский бал в Екатерининском институте, куда его почти насильно отправил Дрозд. Танцы. Знакомство с Зиной Бельшевой. Летучая ссора, наивное примирение. Первая любовь, настоящая, пылкая и на веки вечные (прежние дачные любвишки не в счет. Так – баловство, обезьянство, подражание прочитанным романам). Рассказал также Александров о том, как написал обожаемой девушке зашифрованное письмо, лимонными чернилами с акrostихом выдуманной тетки, и как Зинка прислала ему очаровательный фотографический портрет, и как он терзался, томясь долгой разлукой и невозможностью свидания.

– Ведь ты же, мама, понимаешь меня? Ты же была в свое время влюблена, прежде чем выйти замуж?

– Нет, нет, Алешенька, мой милый, – тихо засмеялась мать. – В мое время таких влюблений у нас не бывало. Пришли ко мне твои дедушка и бабушка и сказали: «Любушка, к тебе сватается председатель мирового съезда Николай Федорович Александров; человек он добрый, образованный и даже играет на скрипке. Фамилия его хорошая, дворянская. Место почтенное. Ну, как ты скажешь? Пойдешь? Не пойдешь?» – «Как вы, папенька, маменька, скажете». Так я и вышла замуж неполных шестнадцати лет; даже после венчания все куклы свои в мужнин дом перевезла. А ты говоришь влюбление.

– Ах, мамочка, то было – когда, а теперь – теперь совсем другое.

– Да, ладно, хорошо. Верю тебе, что нынче иное. А ты дальше говори.

– А дальше то, что Зинка прислала мне в училище вот это коротенькое письмецо, и я теперь не знаю, что делать...

Мать, не торопясь, надела на нос большие в металлической оправе очки и внимательно прочитала записочку. А потом вздела очки на лоб и сказала:

– Быстрая барышня, деловитая и живая. Она из каких же Бельшевых? Не профессора ли Дмитрия Петровича дочка?

– Да, мамочка. Она самая – Зинаида Дмитриевна.

– Ну, что же? Не мое право его укорять, что он дочку на такой широкой развязке держит... Однако он человек весьма достойный и по всей Москве завоевал себе почет и уважение. Впрочем – это не мое дело. Ты лучше прямо мне скажи, что тебе так до смерти нужно? Денег, наверное? Так?

– Так, мамочка. Только мне очень, очень стыдно у тебя просить.

– Ну, стыд не велик. Я еще твоя должница. В прошлом году ты мне шевровые башмаки подарил. Но к чему мне шевро? Я не модница. Стара стала. Я пошла в этот магазин, где ты покупал, и там хорошие прюнелевые ботинки присмотрела и разницу себе взяла. Ну, что же, пяти целковых тебе довольно? Хватит?

Александров прильнул губами к ее морщинистой шее и, горячо целуя ее, растроганно забормотал:

– Этого довольно, совсем довольно. Ах, какая ты у меня восторгательная, мамочка. Какая ты золотая, брильянтовая! Ты подумай только, мама, что бы теперь сказала Мария Ефимовна Слепцова, если бы увидела твою непомерную расточительность!

Мать улыбнулась той милой, славной, стародавней улыбкой, которую так знал и любил Алексей и в которой так наивно скользило беззлобное лукавство.

– Ах, Алешенька! Здесь нас только двое. Никто чужой не услышит. Не в укор и не в осуждение, скажу тебе, что моя Марья Ефимовна при всех своих прекрасных чертах – порядочная-таки дурища, дай ей бог всякого счастья и здоровья. Она еще и в Пензе этим качеством отличалась. Но, однако, при всей своей глупой гордости и при вечном всезнайстве она чрезвычайно добра и всегда готова оказать помощь. Но и тебе, мой Алеша, я должна сказать: научись ты, ради бога, обуздывать свой неумный татарский нрав. Много ты несчастий через него в жизни перетерпишь. Кровь у тебя уж чересчур вспыльчивая.

Глава XXVI Чистые Пруды

В ту же субботу, ранним вечером, успел Александров сбежать с коньками на небольшой, но уютный и близкий от дома каток Патриарших прудов. Там нынче не было музыки, но зато беговое ледяное поле, находившееся под присмотром ревностных членов конькобежного клуба, отличалось замечательной чистотой и зеркальной гладкостью. Над деревянной кабинкой, где спортсмены надевали на ноги коньки, пили лимонад и отогревались в морозные дни, – висел печатный плакат: «Просят гг. посетителей катка без надобности не царапать лед вензелями и не делать резких остановок, бороздящих паркет».

Александров сначала опасался, что почти шестимесячная отвычка от «пatinaжа» даст себя знать тяжестью, неловкостью и неумелостью движений. Но когда он быстрым полубегом-полускоком обогнул четыре раза гладкую поверхность катка и поплыл большими круглыми, перемежающимися размахами, то сразу радостно почувствовал, что ноги его по-прежнему работают ловко, послушно и весело и отлично помнят конькобежный темп.

Какой-то пожилой толстый спортсмен, с крошечной круглой шапочкой на голове, воскликнул, сбегая на коньках с деревянной лестницы:

– Браво, господин юнкер! Браво, браво, молодцом.

Александров с широкой улыбкой приложил правую руку к своей барашковой орленой шапке и подумал не без гордости: «Это еще пустяки. А вот ты лучше погляди на меня в следующий вторник, на Чистых прудах, где я буду без шинели, без этого нелепого штыка, в одном парадном мундире, рука об руку с ней, с Зиной Бельшевой, самой прекрасной и грациозной барышней в мире...»

Так он проминал и упражнял свое тело до глубоких сумерек. Когда уже стало ничего не видно вокруг, тогда, приятно усталый и блаженно расслабленный, он с трудом дошел до дома.

Но на другой день, с самого раннего утра, стали давать знать себя последствия неумеренной тренировки, затеянной через большой промежуток пустого времени. Он проснулся с таким чувством, будто его руки, ноги, спина и все тело избиты до синяков. Каждый мускул болел и ныл и не позволял до себя дотрагиваться. Чтобы встать с постели, Александрову пришлось держаться за стул и кряхтеть совсем по-старчески. Он подумал, что заболел, катаясь вчера на коньках, и, чтобы не тревожить мать, попросил принести ему утренний чай в постель, чего раньше никогда не делал, считая еду в лежачем положении ужасным свинством.

Но мать сама принесла ему чай и калач с маслом. Она сразу увидела, как ее сын мается от ломоты и через силу, с трудом передвигает свои члены, и участливо спросила:

– Что, Алешенька? Никак перекатался вчера?

– Да, немножко, мамочка. Но сам не понимаю, почему меня всего так и тянет, так и разби-

рает, точно у меня лихорадка. Не хватало еще такой глупости, чтобы захворать на Масленой неделе.

Мать поцеловала его в лоб (так она всегда измеряла температуру у своих детей) и сказала:

– Слава богу, никакой болезни нет. А твое недомогание – вещь простая и легко объяснимая: просто маленькое растяжение мускулов. Бывает оно у всех людей, которые занимаются напряженной физической работой, а потом ее оставляют на долгое время и снова начинают. Эти боли знакомы очень многим: всадникам, гребцам, грузчикам и особенно циркачам. Цирковые люди называют ее корруптурой или даже колупотурой.

– А как же от нее лечатся? – спросил Александров, вспомнив о недалеком вторнике.

– Да просто никак, Алешенька. Здесь ни массажи, ни втирания, ни внутренние средства не помогают. Поможет только время. А самое лучшее, что я тебе посоветую, Алеша, это – иди сейчас же на каток и начни снова упражняться по-вчерашнему.

– Батюшки, да у меня все тело, сверху донизу, точно расползается на части. Мне даже шевелиться больно.

– А все-таки возьми да и пошевелись. Клин клином надо вышибать. Это старая народная мудрость. Ногам больно – встань на ноги да пойди. И пойди прямо на каток. Преодолей сам себя и перетерпи всякую боль. А там – как рукой снимет. Ты уж верь мне. Я сколько раз это лечение употребляла. Дядюшка твой, а мой брат, совсем не почтенный Аркадий Алексеевич, был самый отчаянный татарин и самый страстный лошадиный во всей Пензенской и Тамбовской губерниях. О боже, сколько он надурил в течение своей жизни. Так, например, он уверял всех, а в особенности меня, тогда девчонку лет тринадцати, что во мне зарыт великий талант дикой, неподражаемой и несравненной наездницы, который надо только развить и отшлифовать, и – тогда мне будут свободны все дороги по лошадиной части: в цирк так в цирк, на роль грандиозной наездницы Эльфриды. А то на скачки: женщина-жокей, первая в мире и никем не победимая. Если захочу – в Аравию, тамошних первоклассных лошадей объезжать, или поступлю к английской королеве, шефом ее личной конюшни... Всегда врал князь Аркадий, как непутевый, однако, по правде сказать, был у меня какой-то прирожденный, потомственный дар к лошадям. Я их всегда любила, и они меня любили и слушались. Так что же ты думаешь, этот братец мой Аркаша, сорвиголова, для моего обучения придумал. (Тогда уже он, с такими же любезными братцами – татарскими князьями, – успел наш прекрасный прапрадедовский конный завод разорить дотла своими кутежами всякими и фокусами.) Поедет он, бывало, далеко в киргизские степи и пригонит оттуда большой косяк тамошних лошадей-неуков. А лошади эти были замечательные, и любители их очень ценили. Отличались они, при сравнительно небольшом росте, необыкновенно широкой грудью, четырьмя продушинами в ноздрях и таким долгим духом в скачке, какого у других пород не существует. И свободно ходили иноходью. Но, кроме всех подобных качеств, эти косматые киргизы, как на подбор, были злы, упрямы и непослушны до крайности. Они постоянно и между собой грызлись, и с чужими лошадьми, и человека всегда норовили искушать или копытом ударить. И когда злились, то визжали и скрежетали зубами, как, прости господи, озверелые черти. Вот их-то и объезжал возлюбленный мой братец Аркаша, а потом продавал помещикам-любителям. На них он и начал развивать мой замечательный лошадиный дар. Сначала сажал меня верхом, по-мужски, без седла, на потнике. Посадит, даст мне хлыст в руку, да как огреет степняка арапником. Да еще мне кричит вдогонку: ты его пори, пори все время. Уж и что же со мной эти киргизы выделявали. Теперь и вспомнить страшно. Вся я ходила в синяках, в рубцах, во шрамах, в шишках. А все-таки старшим не жаловалась. Моя мама, а твоя бабушка, Елизавета Григорьевна, была святой человек, и никто ее не боялся и не слушался, а огорчать ее жалобой было как-то стыдно. А уж признаться по правде, должна сказать, что эти Аркашины лошадиные зверства были для меня приятнее всякой книжки и слаще всех конфет. Случалось иногда со мною, как вот и с тобою нынче, что полгода, год не приходилось мне верхом на лошадь сесть, а потом сразу наезжусь до отвала, и пойдут у меня эти прострелы да ломоты, что еле хожу и все стенаю от боли. Тут непременно является Аркадий со своей ветеринарной помощью:

«Эй, непревосходимая всадница. Люмбагой изволите страдать. Пожалуйте на конюшню. Да не шагом, когда вам берейтор приказывает, а полегалопом. Ну-с!» – и сам арапником щелкает оглушительно. Поневоле побежишь. Он даже сам на седло посадит и коня сзади воодушевит посылом, и марш, марш в широкое поле. Конечно, больно сначала всем суставам. А вернешься домой – и, глядишь, все твои недуги как рукой сняло, без всяких бобковых мазей и перувианских

бальзамов. Вот я и тебе, Алешенька, советую, прибегни ты к этому стародавнему героическому средству.

Александров послушался мудрого материнского совета и пошел на Патриаршие пруды, охая, морщась и потирая ноющие места. Прикреплять коньки к каблукам ему казалось невероятно трудным, но еще труднее, неловчее и больнее давались ему разгоны по льду. Так он долго с наморщенным лицом и со срывающимся кряхтением тщетно пытался восстановить давно знакомые ему круги и повороты, и потом он сам не мог понять, как это наступил момент, когда он сам себя спросил: «Позвольте, а где же моя боль? Куда девалась моя досадливая боль?» Медвежье пензенское средство оказалось превосходным.

В этот день (в воскресенье) Александров еще избегал утруждать себя сложными номерами, боясь возвращения боли. Но в понедельник он почти целый день не сходил с Патриаршего катка, чувствуя с юношеской радостью, что к нему снова вернулись гибкость, упругость и сила мускулов.

Во вторник Венсан и Александров встретились, как между ними было уговорено, у церкви Большого Вознесения, что на стыке обеих Никитских улиц – Большой и Малой. По истинно дружеской деликатности они оба поспешили и пришли на место свидания минутами двадцатью раньше условленного срока.

– Давайте, – сказал Венсан, – пойдем, благо времени у нас много, по Большой Никитской, а там мимо Иверской по Красной площади, по Ильинке и затем по Маросейке прямо на Чистые пруды. Крюк совсем малый, а мы полнубоемся, как Москва веселится.

Они пошли рядышком, по привычке в ногу, держась подтянуто, как на ученье, и с механической красивой точностью отдавая честь господам офицерам.

Белые барашки доверчиво и неподвижно лежали на тонком голубом небе. Мороз был умеренный и не щипал за щеки, и откуда-то, очень издалека, доносился по воздуху томный и волнующий запах близкой весны и первого таяния.

Москва была вся откровенно пьяная и весело добродушная. Попадались уже в толпе густо-сизые и пламенно-багровые носы, заплетающиеся ноги и слышались меткие острые московские словечки, тут же вычеканенные и тут же, для сохранности, посыпанные крепкой солью.

– Не мешайте Москве, – сказал глубокомысленно Венсан, – творить свое искусство слова.

Красная площадь вся была переполнена, и по ней приходилось пробираться с трудом. Гроздь бесчисленных воздушных шаров, цветов красной и белой смородины висели высоко в воздухе и точно порывались ввысь. Стаи здешних прирученных голубей беспорядочно кружились над толпой, и часто отдельные растерявшиеся голуби чертили крылами по головам людей. Истоптанный снег и плитки халвы казались одного цвета. Белые лоханки с мочеными яблоками, пересыпанными красной клюквой, стояли длинными рядами, и московский студент, купив холодное яблоко, демонстративно ел его, громко чавкая от молодечества и от озноба во рту. Есть моченые яблоки на Масленой – это старый обряд московских студентов. И везде блины, блины, блины. Блины ходячие, блины стоячие, блины в обжорном ряду, блины с конопляным маслицем, и везде горячий сбитень, сбитень, сбитень, паром подымающийся в воздухе. Живые американские чертики в узких, длинных скляночках. Солдатики оловянные в берестяных коробочках, солдатики деревянные раздвижные, работы балбешников из Троице-Сергиевой лавры, их же медведи с мужиками, и множество всяких живых предсказателей будущего, которые вытаскивают билетики из пачки на счастье: чижи, клесты, овсянки, снегири, скворцы.

– Идем, пора, – говорит Венсан.

– Сию минуту, голубчик, – отвечает Александров, – я только свое счастье вытащу.

Он подходит к ларьку, за которым в клетке беспрестанно прыгает и кувыркается белка.

– Сколько?

– Две копейки-с.

– Давай.

Белка вынимает ему предсказательный билетик, и он спешит присоединиться к товарищу. Они идут поспешным шагом. По дороге Александров разворачивает свой билетик и читает его: «Ту особу, о коей давно мечтает сердце ваше, вы скоро улицезреете и с восторгом убедитесь, что чувства ваши совпадают и что лишь злостные препоны мешали вашему свиданию. Месяц ваш Януарий, созвездие же Козерог. Успех в торговых предприятиях и благолепие в браке».

– Можно поглядеть? – спрашивает Венсан.

– Нет, все это пустяки, – отвечает Александров, скомкивая бумажку и пряча ее в карман. Предсказание кажется ему удивительно прозорливым.

Юнкера приходят на Чистые пруды почти в два часа, всего без трех, четырех минут.

– Не беспокойся, – говорит Венсан волнуемому Александрову. – Четверть часа – это минимум их опоздания, а максимум – они вовсе не приходят. Пойдем ко входу с Мясницкой, тут прямо путь от Екатерининского бульвара.

Александров согласен. Но в эту секунду молчавший до сих пор военный оркестр Невского полка вдруг начинает играть бодрый, прелестный, зажигающий марш Шуберта. Зеленые большие ворота широко раскрываются, и в их свободном просвете вдруг появляются и тотчас же останавливаются две стройные девичьи фигуры.

– Странно, – говорит Венсан с одобрительной улыбкой, – не то оркестр их ждал, не то они дожидались оркестра.

А Александров, сразу узнавший Зиночку, подумал с чувством гордости: «Она точно вышла из звуков музыки, как некогда гомеровская богиня из морской пены», и тут же сообразил, что это пышное сравнение не для ушей прелестной девушки.

Юнкера быстро пошли навстречу приехавшим дамам. Подруга Зиночки Бельшевой оказалась стройной, высокой – как раз ростом с Венсана – барышней. Таких ярко-рыжих, медно-красных волос, как у нее, Александров еще никогда не видывал, как не видывал и такой ослепительно белой кожи, усеянной веснушками.

А между тем эта девушка была поразительно красива, и ее высоко поднятая голова придавала ей вид гордый и самостоятельный.

– Это моя милая подруга Дэлли, – сказала Зиночка. – Она ирландка и ровно ничего не понимает по-русски, но по-французски она говорит отлично.

В эту минуту Александров представил Зиночке своего товарища:

– Венсан, мой лучший друг.

Она светло улыбнулась и сказала:

– Надеюсь, и мне вы будете хорошим другом.

Венсан свободно и недурно владел французским языком и потому был очень удобным кавалером для рыжей мисс Дэлли. Впрочем, и по виду они представляли такую крупную, ладно подобранную пару, что на них охотно заглядывалась публика катка.

– Ведите меня в ту будку, где можно надеть коньки, – сказала Зиночка, нежно опуская левую руку на обшлаг серой шинели Александрова. – Боже, в какую жесткую шерсть вас одевают. Это верблюжья шерсть?

Теперь Александров мог свободно наглядеться на свою возлюбленную. Она очень изменилась за время, протекшее от декабря до марта, но в чем состояла перемена, трудно было угадать. Как будто бы в ней отошел, выветрился прежний легкий налет невинного и беспечного детства. Как будто про нее уже можно было сказать: «Да. Она бесспорно красива. Но в ней есть нечто более ценное, более редкое и упоительное, чем красота. Она мила. Мила тем необъяснимым, сладостным притяжением, о котором простонародье так чутко говорит: «Не по хорошу мил, а по милу хорош». И не есть ли эта загадочная, всепобеждающая «милость», видимая глазами, только слабый отголосок, только невинный залог расцветающих прелестей ума, души и тела?»

Александров привел Зиночку в деревянный барак, где публика вешала свои пальто на крючки, где продавались бутерброды, чай и ланинские шипучие воды и где давали коньки напрокат.

У Зиночки и Александрова были коньки собственные. Александров опустился на одно колено и сказал:

– Будьте, Зинаида Дмитриевна, пожалуйста, со мною совсем без церемонии. Поставьте вашу ногу на мое колено. Я в один миг надену вам коньки и закреплю их крепко-накрепко.

– Отчего же? – улыбнулась дружески Зиночка. – Я вам буду очень благодарна.

Она проворно сняла свою легкую шубку из шеншеля и повесила ее на крючок. Потом сбросила калоши и поставила ножку на согнутое колено Александрова.

– Вот вам мои коньки. Возьмите. А я немного помогу вам. – Она ловко склонилась и слегка приподняла суконную юбочку. Перед глазами юнкера на мгновение показалась изящная ножка с высоким подъемом. Это вдруг умилило Александрова чуть не до слез: «Господи, какая она прелесть и душенька. И как я люблю ее. Пусть вся ее жизнь будет радостна и светла».

– Вам ловко? Вам не больно? Вам удобно? – спрашивает он с нежной заботливостью. Но Зиночка чувствует себя превосходно. Коньки сегодня точно веселят ноги, и какой день чудесный выдался. Она сходит по ступенькам на лед, гроыхая сталью по дереву и с очаровательной неуклюжестью поддерживая равновесие. На льду она делает широкий, красивый круг и, остановившись у лестницы, возбужденно кричит Александрову:

– Сходите скорее на лед. Побежим вместе, да живо, живо.

Александров сбрасывает с себя шинель и шумно сбегает вниз. Они берутся за руки и плывут по длинному катку, одновременно набирая инерцию короткими и сильными толчками. Александров с восторгом чувствует в ней отличную конькобежицу.

– Снимите перчатки, – предлагает она, – теперь не холодно, а без перчаток удобнее и приятнее.

«Ах, в миллион раз приятнее!» – восторженно думает Александров, осторожно и крепко держа в своей грубой ладони ее доверчивую, ласковую, нежную ручку. Они переплетают свои руки наискось и так летят, близко, близко касаясь друг друга, и, как тогда, в вальсе, Александров слышит порою чистый аромат ее дыхания. Потом они садятся на скамейку отдохнуть.

– Помните наш вальс в институте? – спрашивает Зиночка.

– Как же, – отвечает юнкер, – до конца моих дней не забуду. – И спрашивает в свою очередь: – А помните, как нас чуть не опрокинул этот долговязый катковский лицеист?

Он ловит в ее многоцветных зрачках какие-то задорные искры и молчит. Она же отвечает с едва-едва сдерживаемым смехом, но и с легкой краской стыда:

– Представьте, не помню. Вероятно, забыла. Помню только, что танцевать с вами было так приятно, так удобно и так ловко, как ни с кем.

Этот случай с лицеистом повлек за собою новые воспоминания из их коротенького прошлого, освещенного сиянием люстр, насыщенного звуками прекрасного бального оркестра, обвеенного тихим ароматом первой, наивной влюбленности.

– А вы помните, как мы поссорились? – спрашивает Зиночка.

– И как мило помирились, – отвечает Александров. – Боже, как я был тогда глуп и мнителен. Как бесился, ревновал, завидовал и ненавидел. Вы одним взглядом издали внесли в мою несчастную душу сладостный мир. И подумать только, что всю эту бурю страстей вызвала противная, замаринованная классная дама, похожая на какую-то снулую рыбу – не то на севрюгу, не то на белугу...

Зиночка осторожно положила пальцы на его горячую руку.

– Оставьте, оставьте, не надо. Нехорошо так говорить. Что может быть хуже заочного, безответственного глумления. Нашекина умная, добрая и достойная особа. Не виновата же она в том, что ей приходится строго исполнять все параграфы нашего институтского, полумонастырского устава. И мне тем более хочется заступиться за нее, что над ней так жестоко смеется... – она замолкает на минуту, точно в нерешительности, и вдруг говорит: – смеется мой рыцарь без страха и упрека.

Александров потрясен. Он еще не перерос того юношеского козлиного возраста, когда умный совет и благожелательное замечание так легко принимается за оскорбление и вызывает бурный протест. Но кроткая и милая нотация из уст, так прекрасно вырезанных в форме натянутого лука, заливает все его существо теплом, благодарностью и преданной любовью. Он встает со скамейки, снимает барашковую шапку и в низком поклоне опускает ее до ледяной поверхности.

– Прошу простить мне мою дурацкую выходку, – говорит он с неподдельным раскаянием, – также примите мои глубокие извинения перед madame Нашекиной.

– Наденьте скорее шапку, – говорит Зиночка. – Вы простудитесь. Ах! Наденьте же, наденьте.

И они опять сидят на скамейке, слушая музыку. Теперь они прямо глядят друг другу в глаза, не отрываясь ни на мгновение. Люди редко глядят так пристально один на другого. Во взгляде человеческого есть какая-то мощная сила, какие-то неведомые, но живые излучающие флюиды, для которых не существует ни пространства, ни препятствия. Этого волшебного излучения никогда не могут переносить люди обыкновенные и обыкновенно настроенные; им становится тяжело, и они невольно отводят глаза, отворачивают головы в первые же моменты взгляда. Люди порочные, преступные и слабовольные совсем избегают человеческого взгляда, как и боль-

шинство животных. Но обмен ясными, чистыми взорами есть первое истинное блаженство для скромных влюбленных.

«Любишь?» – спрашивают искристые глаза Зиночки, и белки чуть-чуть розовеют.

«Люблю, люблю, – отвечают глаза Александрова, сияющие выступившей на них прозрачной влагой. – А ты меня любишь?» – «Люблю». – «Любишь». – «Люблю». – «Любишь». – «Люблю». – «Любишь». – «Люблю»...

Самого скромного, самого застенчивого признания не смогли бы произнести их уста, но эти волнующие, безмолвные возгласы: «Любишь. – Люблю» – они посылают друг другу тысячу раз в секунду, и нет у них ни стыда, ни совести, ни приличия, ни осторожности, ни пресыщения. Зиночка первая стряхивает с себя магическое сладостное влияние флюидов. «Люблю, но ведь мы на катке», – благоразумно говорят ее глаза, а вслух она приглашает Александрова:

– Пойдемте еще покатаемся. Попробуем теперь голландскими шагами. Или как надо говорить – гигантскими?

Они опять берутся за руки, но теперь по требованию фигурного номера держатся на большом расстоянии, идут параллельно. Они одновременно вычерчивают правыми ногами огромный полукруг, склоняясь всем телом на правую сторону, и, окончив его, тотчас же переходят на другой большой полукруг, делая его левыми ногами и наклоняясь круто влево. Чем шире круг и чем ниже наклоны, тем красивее и чище считается фигура. Но голландские шаги не очень легкое упражнение. Чтобы вычертить особенно правильный и особенно широкий круг, надо сделать толчок по льду с наивозможнейшей силой, и эти старания скоро утомляют. Опять Зиночка сидит с Александровым, и опять их глаза поют чудесную многовековую песню: «Любишь – люблю. – Любишь – люблю...» – простую, но самую великую в мире песню.

Но к ним, на сильном разбеге, подлетают мисс Дэлли с Венсаном.

– Ну, я вам скажу, и барышня, – говорит восхищенно Венсан. – Ах, какая артистка на коньках. Я в сравнении с ней в полотерные мальчики не гожусь. Неужели все ирландские красавицы такие искусницы?... Кстати, не хотите ли вы взглянуть образцы высшего фигурного пати-нажа? Сейчас только что приехал на каток знаменитый конькобежец Постников. Он, между прочим, заведует гимнастическими упражнениями в нашем Александровском училище. Пойдемте, пока не навалила публика. Потом не протолпишься.

Они пошли к судейской площадке. На ней стоял в белой фуфайке и белом берете давно знакомый юнкерам Постников, стройный и казавшийся худощавым, бритый по-английски, еще молодой человек, любимец всей спортивной Москвы, впрочем, не только спортивной. Вся Москва от мала до велика ревностно гордилась своими достопримечательными людьми: знаменитыми кулачными бойцами, огромными, как горы, протодиаконами, которые заставляли страшными голосами своими дрожать все стекла и люстры Успенского собора, а женщин падать в обмороки, знаменитых клоунов, братьев Дуровых, антрепренера оперетки и скандалиста Лендовского, репортера и силача Гиляровского (дядю Гиляя), московского генерал-губернатора, князя Долгорукова, чьей вотчиной и удельным княжеством почти считала себя самостоятельная первопрестольная столица, Сергея Шмелева, устроителя народных гуляний, ледяных гор и фейерверков, и так без конца, удивительных пловцов, голубиных любителей, сверхъестественных обжор, прославленных юродивых и прорицателей будущего, чудодейственных, всегда пьяных подпольных адвокатов, свои несравненные театры и цирки и только под конец спортсменов. И все это в пику чиновному Петербургу: «У вас в Питере так-то, а у нас, в Москве, в сто раз хлеще. Куда вам, сопливым».

Постников издали узнал юнкеров и, снявши с головы берет, высоко помахал им:

– Здравствуйте, господа юнкера александровцы.

Юнкера ответили со смехом:

– Здравия желаем, господин учитель.

И тогда Постников, очевидно, давно знавший вес и силу публичной рекламы, громко сказал кому-то, стоявшему с ним рядом на площадке:

– Самые лучшие мои ученики. Прекрасные гимнасты Александровского военного училища.

В толпе, теперь уже довольно большой, слышались густые, прерывистые звуки, точно холеные лошади зареготали на принесенный овес. Москва в число своих фаворитов неизменно включала и училище в белом доме на Знаменке, с его молодцеватостью и вежливостью, с его

оркестром Крейнбринга и с превосходным строевым порядком на больших парадах и маневрах.

– Нет, это вам не жидкий, золотушный Петербург, а московские богатыри, кровь с молоком.

Венсан и мисс Дэлли успели пробраться в первые ряды зрителей. Зиночка с Александровым очутились (вероятно, случайно) на другом конце, где впереди их был высокий забор, а позади чьи-то спины. Впереди громко зааплодировали. Александров обернулся к своей даме, и она в ту же минуту посмотрела на него, и опять их глаза слились, утонули в сладостном разговоре: «Любишь – люблю, люблю». «Всегда будешь любить?» – «Всегда, всегда». И вот Александров решается сказать не излучающимися флюидами, а грубыми, неподатливыми словами то, что давно уже собиралось и кипело у него в голове. Ему стало страшно. Подбородок задрожал.

– Зинаида Дмитриевна, – начал он глухим голосом. – Я хочу сказать вам нечто очень важное, такое, что переменяет судьбы людей. Позвольте ли вы мне говорить?

Лицо ее побледнело, но глаза сказали: «Говори. Люблю».

– Я вас слушаю, Алексей Николаевич.

– Я – вот что... Я... Я давно уже полюбил вас... полюбил с первого взгляда там... там, еще на вашем балу. И больше... больше любить никого не стану и не могу. Прошу, не сердитесь на меня, дайте мне... дайте высказаться. Я в этом году, через три, три с половиною месяца, стану офицером. Я знаю, я отлично знаю, что мне не достанется блестящая вакансия, и я не стыжусь признаться, что наша семья очень бедна и помощи мне никакой не может давать. Я также отлично знаю тяжелое положение молодых офицеров. Подпоручик получает в месяц сорок три рубля с копейками. Поручик – а это уже три года службы – сорок пять рублей. На такое жалование едва-едва может прожить один человек, а заводить семью совсем бессмысленно, хотя бы и был реверс. Но я думаю о другом. Рая в шалаше я не понимаю, не хочу и даже, пожалуй, презираю его, как эгоистическую глупость. Но я, как только приеду в полк, тотчас же начну подготавливаться к экзамену в Академию генерального штаба. На это уйдет ровно два года, которые я и без того должен был бы прослужить за обучение в Александровском училище. Что я экзамен выдержу, в этом я ни на капельку не сомневаюсь, ибо путеводной звездой будете вы мне, Зиночка.

Он смутился нечаянно сказанным уменьшительным словом и замолк было.

– Продолжайте, Алеша, – тихо сказала Зиночка, и от ее ласки буйно забилося сердце юнкера.

– Я сейчас кончу. Итак, через два года с небольшим – я слушатель Академии. Уже в первое полугодие выяснится передо мною, перед моими профессорами и моими сверстниками, чего я стою и насколько значителен мой удельный вес, настолько ли, чтобы я осмелился вплести в свою жизнь – жизнь другого человека, бесконечно мною обожаемого. Если окажется мое начало счастливым – я блаженнее царя и богаче миллиардера. Путь мой обеспечен – впереди нас ждет блестящая карьера, высокое положение в обществе и необходимый комфорт в жизни. И вот тогда, Зиночка, позвольте ли вы мне прийти к Дмитрию Петровичу, к вашему глубокочтимому папе, и просить у него, как величайшей награды, вашу руку и ваше сердце, позвольте ли?

– Да, – еле слышно пролепетала Зиночка.

Александров поцеловал ее руку и продолжал:

– Я по материнской линии происхожу от татарских князей. Вы знаете, что по-татарски значит «калым»? Это – выкуп, даваемый за девушку. Но я знаю и больше. В губерниях Симбирской, Калужской и отчасти в Рязанской есть такой же обычай у русских крестьян. Он просто называется выкупом и идет семье невесты. Но он незначителен, он берется только в силу старого обряда. Главное в том – оправдал ли себя парень перед женитьбой. То есть имеется ли у него свой дом, своя корова, своя лошадь, свои бараны и своя птица и, кроме того, почет в артели, если он на отхожих промыслах. Вот так и я хочу себя оправдать перед вами и перед папой. Не могу ни видеть, ни слышать о жалких тлях, гоняющихся за приданым. Это – не мужчины. Конечно, до того времени, пока я не совью свою собственную лачугу, вы абсолютно свободный человек. Делайте и поступайте всячески, как хотите. Ни на паутинку не связываю я вашей свободы. Подумайте только: вам дожидаться меня придется около трех лет. Может быть, и с лишним. Ужасно длинный срок. Чересчур большое испытание. Могу ли я и смею ли я ставить здесь какие-либо условия или брать какие-либо обещания? Я скажу только одно: истинная любовь, она, как золото, никогда не ржавеет и не окисляется... Она... – и тут он замолк. Маленькая нежная ручка Зи-

ночки вдруг обвилась вокруг его шеи, и губы ее коснулись его губ теплым, быстрым поцелуем.

– Я подожду, я подожду, – шептала еле слышно Зиночка. – Я подожду. – Горячие слезы за- капали на подбородок Александрова, и он с умиленным удивлением впервые узнал, что слезы возлюбленной женщины имеют соленый вкус.

– О чем вы плачете, Зина?

– От счастья, Алеша.

Но к ним уже подходили, пробираясь сквозь толпу, Венсан с огненно-рыжей ирландкой, мисс Дэлли.

Часть III

Глава XXVII Топография

Июнь переваливает за вторую половину. Лагерная жизнь начинает становиться тяжелой для юнкеров. Стоят неподвижные, удручающе жаркие дни. По ночам непрерывные зарницы молчаливыми голубыми молниями бегают по черным небесам над Ходынским полем. Нет покоя ни днем, ни ночью от тоскливой истомы. Души и тела жаждут грозы с проливным дождем.

Последние лагерные работы идут к концу. Младший курс еще занят глазомерными съемками. Труд не тяжелый: приблизительный, свободный и даже веселый. Это совсем не то, что топографические точные съемки с кипрегелем-дальномером, над которыми каждый день корпят и потеют юнкера старшего курса, готовые на днях чудесным образом превратиться в настоящих заправдашних господ офицеров.

– Это тебе не фунт изюма съесть, а инструментальная съемка, – озверело говорит, направляя визирную трубку на вежу, загоревший, черный, как цыган, уставший Жданов, работающий в одной партии с Александровым, – и это тоже тебе не мутовку облизать. Так-то, друзья мои.

Жутко приходится и Александрову. Для него вопрос о балле, который он получит за топографию, есть вопрос того: выйдет он из училища по первому или по второму разряду. А это – великая разница. Во-первых: при будущем разборе вакансий, чем выше общий средний балл у юнкера, тем разнообразнее и богаче предстоит ему выбор места службы. А во-вторых – старшинство в чине. Каждый подпоручик, явившийся в свой полк со свидетельством первого разряда, становится в списках выше всех других подпоручиков, произведенных в этом году. И высокий чин поручика будет следовать ему в первую очередь, года через три или четыре. Это ли не поводы великой важности и глубочайшей серьезности?

Но вся задача – в том суровом условии, что для первого разряда надо во что бы то ни стало иметь в среднем счете по всем предметам никак не менее круглых девяти баллов; жестокий и суровый минимум!

Вот тут-то у Александрова и гнездится досадная, проклятая нехватка. Все у него ладно, во всех научных дисциплинах хорошие отметки: по тактике, военной администрации, артиллерии, химии, военной истории, высшей математике, теоретической топографии, по военному правоведению, по французскому и немецкому языкам, по знанию военных уставов и по гимнастике. Но горе с одним лишь предметом: с военной фортификацией. По ней всего-навсего шесть баллов, последняя удовлетворительная отметка. Ох, уж этот полковник, военный инженер Колосов, холодный человек, ни разу не улыбнувшийся на лекциях, ни разу не сказавший ни одного простого человеческого слова, молчаливый тиран, лепивший безмолвно, с каменным лицом, губительные двойки, единицы и даже уничтожающие нули! Из-за его чертовской шестерки средний балл у Александрова чуть-чуть не дотягивает до девяти, не хватает всего каких-то трех девятых. Мозговатый в арифметике товарищ Бутынский вычислил точно:

– Если ты, Александров, умудишься получить за топографическую съемку десять баллов, то первый разряд будет у тебя как в кармане. Ну-ка, напрягись, молодой обер-офицер.

Съемки происходят вокруг огромного села Всехсвятского, на его крестьянских полях, выгонах, дорогах, оврагах и рошицах. Каждое утро, часов в пять, старшие юнкера наспех пьют чай с булкой; захвативши завтрак в полевые сумки, идут партиями на места своих работ, которые будут длиться часов до семи вечера, до той поры, когда уставшие глаза начинают уже не так

четко различать издали показательные приметы. Тогда время возвращаться в лагери, чтобы до обеда успеть вымыться или выкупаться. Внизу, за лагерной линией, в крутом овраге, выстроена для юнкеров просторная и глубокая купальня, всегда доверху полная живой, бегучей ключевой водой, в которой температура никогда не подымалась выше восьми градусов. А над купальней возвышалось кирпичное здание бани, топившейся дважды в неделю. Бывало для иных юнкеров острым и жгучим наслаждением напариться в бане на полке до отказа, до красного каления, до полного изнеможения и потом лететь со всех ног из бани, чтобы с разбегу бухнуться в студеноую воду купальни, сделавши сальто-мортале или нырнувши вертикально, головой вниз. Сначала являлось впечатление ожога, перерыва дыхания и мгновенного ужаса, вместе с замиранием сердца. Но вскоре тело обвыкало в холоде, и когда купальщики возвращались бегом в баню, то их охватывало чувство невыразимой легкости, почти невесомости во всем их существе, было такое ощущение, точно каждый мускул, каждая пора насквозь проникнута блаженной радостью, сладкой и бодрой.

Уже вечерело, когда горнист трубил сигнал к обеду:

У папеньки, у маменьки
Просил солдат говядинки.
Дай, дай, дай.

Проголодавшиеся юнкера ели обильно и всегда вкусно. В больших тяжелых оловянных ендавах служители разносили ядреный хлебный квас, который шибал в нос. После обеда полчаса свободного отдыха. Играл знаменитый училищный оркестр. Юнкера пили свой собственный чай и покупали сладости у какого-то приبلудившегося к Александровскому училищу маркитанта, который открыл в лагере лавочку и даже охотно давал в кредит до производства. Кормили конфетами (это была очередная мода) хорошенького белокурого мальчика-барабанщика, внука знаменитого барабанщика Индурского. А затем по сигналу все четыре роты выстраивались в две шеренги вдоль линейки, и начиналась перекличка.

– Такой-то! – вызывал фельдфебель.
– Я! – коротко отвечал спрошенный.
– Такой-то!
– Я!

«Как это мило и как это странно придумано господом богом, – размышлял часто во время переклички мечтательный юнкер Александров, – что ни у одного человека в мире нет тембра голоса, похожего на другой. Неужели и все на свете так же разнообразно и бесконечно неповторимо? Отчего природа не хочет знать ни прямых линий, ни геометрических фигур, ни абсолютно схожих экземпляров? Что это? Бесконечность ли творчества или урок человечеству?»

Но с особенным напряжением дожидался Александров того момента, когда в перекличке наступит очередь любимца Дрозда, портупей-юнкера Попова, обладателя чудесного низкого баритона, которым любовалось все училище.

– Портупей-юнкер Попов, – монотонно и сухо выкликает фельдфебель.
«Вот сейчас, сейчас», – бьется сердце Александрова.
– Я!

О, как этот звук безупречно полон и красиво кругл! Он нежно густ и ароматен, как сотовый мед. Его чистая и гибкая красота похожа на средний тон виолончели, взятый влюбленным смычком. Он – как дорогое старое красное вино.

И, как всегда, Александров переводит глаза вверх на темное синее небо. А там, в мировой глубине, повисла и, тихо переливаясь, дрожит теплая серебряная звездочка, от взора на которую становится радостно и щеотно в груди. Совершенно дикая мысль осеняет голову Александрова: «А что, если этот очаровательный звук и эта звездочка, похожая на непроливающуюся девичью слезу, и далекий, далекий отсюда только что повеявший, ласковый и скромный запах резеды, и все простые радости мира суть только видоизменения одной и той же божественной и бессмертной силы?»

– На молитву! Шапки долой! – командуют фельдфебеля. Четыреста молодых глоток поют «Отче наш». Какая большая и сдержанная сила в их голосах. Какое здоровье и вера в себя и в судьбу. Вспоминается Александрову тот бледный, изношенный студент, который девятого сен-

тября, во время студенческого бунта, так злобно кричал из-за железной ограды университета на проходивших мимо юнкеров:

– Сволочь! Рабы! Профессиональные убийцы, пушечное мясо! Душителы свободы! Позор вам! Позор!

«Нет, не прав был этот студентишко, – думает сейчас Александров, допевая последние слова молитвы господней. – Он или глуп, или раздражен обидой, или болен, или несчастен, или просто науськан чьей-то злобной и лживой волей. А вот настанет война, и я с готовностью пойду защищать от неприятеля: и этого студента, и его жену с малыми детьми, и престарелых его папочку с мамочкой. Умереть за отечество. Какие великие, простые и трогательные слова! А смерть? Что же такое смерть, как не одно из превращений этой бесконечно непонимаемой нами силы, которая вся состоит из радости. И умереть ведь тоже будет такой радостью, как сладко без снов заснуть после трудового дня».

После молитвы юнкера расходятся. Вечер темнеет. На небо выкатился блестящий, как осколок зеркала, серп молодого месяца. Выкатился и потащил на невидимом буксире звездочку. В бараках первого (младшего) курса еще слышатся разговоры, смех, согласное пение. Но господа офицеры (старший курс) истомились за день. Руки и ноги у них точно изломаны. Александров с трудом снимает левый сапог, но правый, полуснятый, так и остается на ноге, когда усталый юнкер сразу погружается в глубокий сон без сновидений, в это подобие неизбежной и все-таки радостной смерти.

На следующий день опять вставание в пять часов утра и длинный путь до места съемки. В каждой партии пять человек, выбранных по соображениям курсового офицера, ведущего курс уже без малого два года. Курсовой четвертой роты поручик Новоселов Николай Васильевич, он же по юнкерскому прозвищу Уставчик, назначил в своих партиях лишь самых надежных юнкеров за старших, а дальнейшие роли в съемках предоставил распределить самим юнкерам. Таким образом, к великому удовольствию Александрова, на него выпала добровольная обязанность таскать на место съемки и обратно довольно тяжелый кипрегель-дальномер с треногой и стальную круглую рулетку для промеров на ровных плоскостях.

К своим обязанностям он относится с похвальным усердием и даже часто бывал полезен партии отличной зоркостью своих глаз, наблюдательностью, находчивостью и легкостью на ходу. Не очень сложную работу с кипрегелем он совершенно ясно понял в первый же день съемки. Но что упорно ему не давалось, так это вычерчивание на бумаге штрихами всех подъемов и спусков местности, всех ее оврагов и горбушек. Чем ровнее шла земля, тем тоньше и тем дальше друг от друга должны были наноситься изображающие ее штрихи. И наоборот: как только она начинала показывать уклон, штрихи теснились ближе, и карандаш вычерчивал их гуще. Здесь все дело было не в искусстве и не в таланте, а только в терпении, внимании и аккуратности. На картон старшего в партии юнкера, носившего фамилию Патер, худенького, опрятного, сухого юноши, просто любо было бы поглядеть даже человеку, ничего не понимающему в топографии. Стоило только немного прищурить глаза, и весь рельеф местности выступал с такой выпуклостью, точно он был вылеплен из гипса.

Не только этого чуда, но и отдаленного его подобия никак не мог сделать Александров. Он совсем недурно рисовал карандашом и углем, свободно писал акварелью и немножко маслом, ловко делал портреты и карикатуры, умел мило набросать пейзаж и натюрморт. Но проклятое «штрихоблудие» (как называли юнкера это занятие) окончательно не давалось ему. Просить помощи у одного из товарищей, искушенных в штрихоблудии, не позволяла своеобразная этика, установленная в училище еще с давних годов, со времен генерала Шванебаха, когда училище переживало свой золотой век. Правда, оставалась у него далекая, почти фантастическая тень надежды. В прошлом году, помнилось ему смутно, господа офицеры, уже близкие к выпуску и потому как-то по-товарищески подобревшие к старым фараонам, упоминали хорошими словами о строгом и придирчивом Уставчике. Говорили, что кое-когда Уставчик в случаях, подобных случаю Александрова, тайком перештриховывал поданный ему картон с плохой съемкой. «Был он, – говорили обер-офицеры, – искусным штрихоблудом и, вопреки своей крикливости, добрейшим человеком».

«Да. Хорошо было моим предшественникам, – уныло размышлял Александров, кусая ногти. – Все они небось были трынчики, строевики, послушные ловкачи, знавшие все военные уставы назубок, не хуже чем «Отче наш». Но за мною – о господи! – за мною-то столько грехов

и прорех! И сколько раз этот самый Николай Васильевич Новоселов сажал меня под арест, наряжал на лишнее дневальство и наказывал без отпуска?

И какой неугомонный черт дергал меня на возражения курсовому офицеру? Ведь известно же всему миру еще с библейских времен, что всякое начальство именно возражений не терпит, не любит, не понимает и не переносит». Правда, порою от возражения никак нельзя удержаться. Ну вот, например, экзамен по гимнастике. Прыжки с трамплина. Препятствие всего с пол-аршина высоты. Но изволь его брать согласно уставу, где написано о приуготовительных к прыжку упражнениях. Требуется для этого сделать небольшой строевой разбег, оттолкнуться правой ногой от трамплина и лететь в воздухе, имея левую ногу и обе руки вытянутыми прямо и параллельно земле. А после прыжка, достигнув земли, надо опуститься на нее на носках, каблукми вместе, коленями врозь, а руками подбоченившись в бедра.

– Господин поручик! – восклицает с негодованием Александров. – Да это же черепаший жеманный прыжок. Позвольте мне прыгнуть свободно, без всяких правил, и я легко возьму препятствие в полтора моих роста. Сажень без малого.

Но в ответ сухая и суровая отповедь:

– Прошу без всяких возражений. Исполняйте, как показано в уставе. Устав для вас закон. Устав для вас, как заповедь. И, кроме того, дневальство без очереди за возражение начальству. Фельдфебель! Запишите.

«Нет, не выйти мне по первому разряду, – мрачно решает Александров. – Никогда мне не простит моих дурацких выходов Уставчик и никогда не засияет милосердием его черствая душа. Ну и что ж? Ничего. Выйду в самый захолустный, в самый закатальский полк или в гарнизонный безымянный батальон. Но ведь я еще молод. Приналягу и выдержу экзамен в Академию генерального штаба. А то начнется война. Долго ли храброму отличиться? Получу Георгия, двух Георгиев, золотое оружие и, чин за чином, вернусь с войны полковником – так этот самый Уставчик будет мне козырять и тянуться передо мною в струнку. А я ему:

– Капитан! Темляк при шашке у вас криво подвязан. Делаю вам замечание, о чем извольте доложить вашему непосредственному начальству. Можете идти...»

Какая сладкая месть!

Это жаркое, томительное лето, последнее лето в казенных учебных заведениях, было совсем неудачно для Александрова. Какая-то роковая полоса невезенья и неприятностей. Недаром же сумма цифр, входящих в этот год, составляла число двадцать шесть, то есть два раза по тринадцати. А тут еще новое несчастье...

Съемка уже близилась к окончанию. Работы на всехсвятских полях оставалось не больше чем дня на три, на четыре.

В одну из суббот партия Александрова, как и всегда, зашабашила несколько раньше, чем обыкновенно, и, собрав инструменты, направилась обратно в лагерь. Но посредине пути Александров вдруг забеспокоился и стал тревожно хлопотать себя по всем карманам.

– Вы что? – спросил Патер.

– Да вот не знаю, куда девал измерительную рулетку. Ищу и не могу найти.

– А может, вы оставили ее на месте съемки?

– Пожалуй, что и так. Ну-ка, господа офицеры, возьмите у меня кипрегель с треногой. А я мигом смотаюсь туда и назад.

Он быстро пустился по пройденной дороге, меняя для отдыха резвый бег частым широким шагом.

Вдруг женский грудной голос окликнул его из ржи, стоявшей золотой стеной за дрожкой:

– Эй, юнкарь, юнкарь! погоди, сделай милость!

Он остановился, часто дыша, и обернулся. С лица его струились капли пота.

На меже, посреди буйной ржи, окруженная связанными снопами, сидела крестьянская девушка из Всехсвятского, синеглазая, с повитой вокруг головы светло-русой, точно серебристой косой.

– Ты это меня, что ли, красавица?

– Тебя, тебя, красавец. Ты не потерял ли чего-нибудь?

– И то – потерял. Сумочку такую, круглую. А в ней железная лента, чтобы мерять землю.

– Ну вот, счастье твое, что я подняла. Ты ее вон где обронил, на самой дороге. А народ у нас, знаешь сам, какой вороватый: что нужно, что не нужно – все норуют в карман запихать. Да

ты присядь-ка на минуточку, передохни. Ишь как зарьялся, бежавши. Вещица-то небось казенная?

– То-то и есть что казенная, душенька.

– Ишь ты! Словечко какое подобрал: душенька! А меня и впрямь Дуняшей зовут. Душкой. Да ты сядь, юнкарь, сядь. В ногах правды нет. А я тебя квасом угощу, нашим домашним, суровым.

Она ласковой, но сильной рукой неожиданно дернула Александрова за край его белой калямянковой рубахи. Юнкер, внезапно потеряв равновесие, невольно упал на девушку, схватив ее одной рукой за грудь, а другой за твердую гладкую ляжку. Она громко засмеялась, оскалив большие прекрасные зубы.

– Нет, юнкарь, ты играть – играй, а чего не надо – не трогай. Молод еще.

– Да я, ей-богу, нечаянно!

– Хорошо, хорошо! Знаем мы вас, солдат, как вы нечаянно к девкам под подол лазаете.

– Да я, право же...

– А кругом, куда ни погляди, – все народишко бегают. Неровен час, увидят и пойдут напраслину плести. Долго ли девку ославить и осрамить? Вон, погляди-ко, какой-то мужик с коробом сюда тащится. Ты уж, милый, лучше вылезай-ко!

Александров обернулся через плечо и увидел шагах в ста от себя приближающегося Апостола. Так сыздавна называли юнкера тех разносчиков, которые летом бродили вокруг всех лагерей, продавая конфеты, пирожные, фрукты, колбасы, сыр, бутерброды, лимонад, боярский квас, а тайком, из-под полы, контрабандою, также пиво и водчонку. Быстро выскочив на дорогу, юнкер стал делать Апостолу призывные знаки. Тот увидел и с привычной поспешностью ускорил шаг.

– Ну и к чему ты позвал его? – с упреком сказала Дуняша, укрываясь в густой ржи. – Очень он нам нужен!

– Подожди минутку. Сейчас увидишь. Да ты не бойся, он не из ваших, он – чужой.

– Чужой-то – чужой, – пропела девушка, показывая из золотых снопов смеющийся синий глаз. – А все-таки...

Апостол подошел и стал со щеголеватой ловкостью торгового москвича разбирать свою походную лавочку.

– Чем могу служить господину обер-офицеру?

– А вот дай-ка нам два стаканчика, да бутылочку лимонада, да пару бутербродов с ветчиной и еще... – Александров слегка замялся.

– Червячка изволите заморить? Сей минут-с! Готово-с.

– Вот именно. Два шкалика.

Всехсвятская красавица сначала пожеманилась: да не надо, да зачем мне, да кушайте сами. Но, однако, после того как она убедилась, что ланинский шипучий лимонад куда вкуснее и забористее ее квасца-суровца, простой воды, настоянной на ржанных корках, то уговорить ее пригубить расейской водочки было уж не так трудно и мешкотно. Она пила ее, как пьют все русские крестьянки: мелкими глотками, гримасничая, как будто после принятия отвратительной горечи. Но последний глоток она опрокинула в рот совсем молодцом. Утерла губы рукавом и сказала жалобно:

– Ну и крепка же она, матушка! Как ее бедные солдаты пьют?

Пережевывая своими белыми блестящими зубами ветчину на помасленном белом хлебе, она охотно и весело разговорилась:

– Вот ты – хороший юнкарь, дай бог тебе доброго здоровья и спасибо на хлебе, на соли, – кланялась она головой, – а то ведь есть и из вашей братии, из юнкерей, такие охальники, что не приведи господи. Вот в прошлом-то годе какую они с нами издевку сделали; по сию пору вспомнить совестно. Стояли они здесь, неподалечку, со своей стрелябией и все что-то меряли, все что-то в книжки записывали. А мы, девки да бабы, все на их смотрели и дивовались. А один-то из юнкерей возьми да и крикни: «Идите к нам сюда, девочки да бабочки! Посмотрите-ка в нашу подозрительную трубку». Ужаси, как занятно. Ну мы, конечно, бабы глупые, вроде как индюшки: так одна за другой и потянулись. В трубке-то стеклышко малое; так, значит, в это стеклышко надо одним глазом глядеть. И что ты думаешь! Чудо-то какое! Видать очень хорошо, даже, можно сказать, отлично. Но только все, милый ты мой, показывается не прямо, а вверх но-

гами, вниз головой. Вот так штука! Смотрели мы на нашу сельскую церковь во имя всех святых, и – поверишь ли? – видим: стоит она кумполом вниз, папертью вверх. На выставку поглядели – опять вверх тормашками. Потом юнкарь стекляшку на наше стадо навел, дал мне глядеть, и что ж ты думаешь?.. Все коровы вверх ногами идут, и даже видно, как наш общественный бык Афанасий, ярославской породы, ногами перебирает, а головой-то вниз идет. Тут тетка Авдотья Бильдина, тезка моя, баба уже в годах, закричала: «Побежим, девоньки, домой! Долго ли тут до греха?» Ну, мы и прыснули утекать. А юнкря вослед нам рыгочат, как жеребцы стоялые. Орут: «Бабочки, девочки, берегитесь! Все вы, как одна, вверх ногами идете, и подола у вас задранные...» И уж так мы тогда всполошились, что и сказать нельзя! Кто юбками давай завешиваться, кто на землю сел, все давай визжать со стыда. А юнкря со смеха помирают... Навеки в памяти у нас остались их стекляшки проклятые.

Слушая Дуняшу, Александров с некоторой тревогой смотрел на Апостола, который, спешно укладывая свой короб, все чаще и беспокойнее озирался назад, через плечо, а потом, не сказав ни слова, вдруг пустился большими шагами уходить в сторону. Юнкер обернулся назад и на минуту остался с разинутым ртом. Невдалеке, взрывая дорожную коричневую пыль, легким галопом скакал на своей белой арабской кобыле Кабардинке батальонный командир училища, полковник Артабалевский, по прозвищу Берди-Паша. Вскоре Александров услышал его окрик: – Юнкер, ко мне! Сюда, юнкер!

Александров поспешной рысью побежал ему навстречу и остановился как раз в ту минуту, когда Берди-Паша, легко соскочив со вспененной лошади, брал ее под уздцы.

– Эт-то что за безобразие? – завопил Артабалевский пронзительно. – Это у вас называется топографией? Это, по-вашему, военная служба? Так ли подобает вести себя юнкеру Третьего Александровского училища? Тьфу! Валяться с девками (он понюхал воздух), пить водку! Какая грязь! Идите же немедленно явитесь вашему ротному командиру и доложите ему, что за самовольную отлучку и все прочее я подвергаю вас пяти суткам ареста, а за пьянство лишаю вас отпусков вплоть до самого дня производства в офицеры. Марш!

– Слушаю, ваше высокоблагородие! – лихо ответил Александров, скрывая горечь и досаду.

Глава XXVIII Последние дни

Неудобно, невесело и досадно влеклись эти пять дней сидения под арестом в карцерном бараке, в ветхом, заброшенном деревянном узком здании, обросшем снаружи высокой, выше человеческого роста, крапивой и гигантскими лопухами. Зеленоватый дрожащий свет скудно и мутно падал сюда сквозь потолочные окна, забранные железными ржавыми решетками. Особенно неприятно было то, что сидение под арестом сопровождалось исполнением служебных обязанностей. Три-четыре раза в день нужно было выходить из карцера: на топографические работы, на ротные учения, на стрельбу, на чистку оружия, на разборку и сборку всех многочисленных частей скорострельной пехотной винтовки системы Бердана, со скользящим затвором номер второй, на долбление военных уставов – и потом возвращаться обратно под замок. Эта беготня точно умножала тягость заключения.

До прибытия Александрова в карцер там уже сидело двое господ обер-офицеров, два юнкера из роты «жеребцов» его величества: Бауман и Брюнелли, признанные давно всем училищем как первые красавцы. Бауман – рыжеволосый, белолицый, голубоглазый, потомок тевтонов; Брюнелли – полуитальянец, полурусский, полукавказец, со смугловатым, правильным, строгим и гордым лицом. Оба они были высоки и стройны. Когда их видели стоящими рядом, то они действительно производили впечатление сильного, эффектного контраста. Кстати – они были очень дружны друг с другом.

Известно давно, что у всех арестантов в мире и во все века бывало два непобедимых влечения. Первое: войти во что бы то ни стало в сношение с соседями, друзьями по несчастью; и второе – оставить на стенах тюрьмы память о своем заключении. И Александров, послушный общему закону, тщательно вырезал перочинным ножиком на деревянной стене: «26 июня 1889 г. здесь сидел обер-офицер Александров, по злой воле дикого Берди-Паши, чья глупость – достояние истории».

Арестованные занимали отдельные камеры, которые днем не запирались и не мешали юн-

керам ходить друг к другу в гости. Соседи первые рассказали Александрову о своих злключениях, приведших их в карцер.

В прошлое воскресенье, взяв отпуск, пошли они в город к своим портным, примерить заказанную офицерскую обмундировку. Но черт их дернул идти обратно в лагери не кратчайшим привычным путем, а через Петровский парк, самое шикарное дачное место Москвы!

У них, говорили они, не было никаких преступных, заранее обдуманных намерений. Была только мысль – во что бы то ни стало успеть прийти в лагери к восьми с половиною часам вечера и в срок явиться дежурному офицеру. Но разве виноваты они были в том, что на балконе чудесной новой дачи, построенной в пышном псевдорусском стиле, вдруг показались две очаровательные женщины, по-летнему, легко и сквозно одетые. Одна из них, знаменитая в Москве кафешантанная певица, крикнула:

– Бауман, Бауман! Иди к нам скорее. И своего товарища тащи. Да ты не бойся: всего на две минуты. А потом мы вас на лошадях отвезем. Будьте спокойны. Только один флакон раздавим, и конец.

Юнкера вошли. Обширная дача была полна гостями и шумом: сумские драгуны, актеры, газетные издатели и хроникеры, трое владельцев скаковых конюшен, только что окончившие курс катковские лицеисты, цыгане и цыганки с гитарами, известный профессор Московского университета, знаменитый врач по женским болезням, обожаемый всею купеческою Москвою, удачливый театральный антрепренер, в шикарной, якобы мужицкой поддевке, и множество другого народа. Шла великая московская пьянственная неразбериха. Давно уже перешли на шампанское вино, которым были залиты все скатерти. Сумцы выпили за александровцев, александровцы – за катковский лицей. Потом поднимались тосты за всех военных и штатских, за великую Россию, за победоносную армию, за русское искусство и художество.

Вскоре густой веселый туман обволок души, сознание и члены юнкеров. Они еще помнили кое-как мерное, упругое и усыпляющее качание парных колясок на резиновых шинах. Остальное уплыло из памяти. Как сквозь сон, им мерещился приезд прямо на батальонную линию и сухой голос Хухрика:

– Конечно, милостивые государыни, патриотизм вещь всегда ценная и возвышенная, и ваши чувства, барыни, достойны всякого почтения. Но извините: закон есть закон, и устав есть устав. И потому прошу вас удалиться с лагерной линейки.

Рассказал и Александров свое маленькое приключение с апостольским вином и со всехвятской Дуняшей. Красавцы выслушали его рассказ без особой внимательности, добродушно.

– Какой фатум, – сказал Брюнелли. – Все мы пали жертвами и Вакха и Венеры.

Но потом и разговаривать стало не о чем. Пригладивался к ним обоим Александров, часто думал:

«Ничего между нами нет общего. Ну, скажем, они выше меня ростом, даже красивее. Может быть, у них знатная или богатая родня?.. Но путь их жизней я вижу, точно на ладони, и неизменно. Бауман будет в своем полку сначала батальонным, потом полковым адъютантом. Затем он удачно или выгодно женится на красивой остзейской барышне и поступит в жандармы или в пограничную стражу. Что же касается Брюнелли – такого серьезного, – то жизненный путь его еще яснее. Академия генерального штаба или юридическая. Длинный, упорный и верный путь к почетной, независимой и обеспеченной будущности. И нет никаких сомнений в том, что в маститые годы они обое станут генералами с красными широкими лампасами и с красными подкладками пальто. Вот и вся их жизнь. И больше нет ничего. И дай им бог этого счастья».

Нет! Жизнь Александрова пройдет ярче, красивее, богаче, разнообразнее и пестрее. Он будет великим военным героем России. А может быть, он будет знаменитым живописцем, любимым современным писателем, идолом молодежи, исследователем Памира, восходящим на вершины Гималайских недоступных гор. Или первоклассным актером! Имя его будет у всех на устах. Его портреты украсят все журналы. «Кто этот загорелый суровый человек, которому все кланяются?» – «Ах, это известный Александров. Не правда ли – какое мужественное лицо?»

Добрые отношения между Александровым и его собратьями по заключению тихо, беззлобно потухали с каждым днем, пока незаметно не исчезли совсем.

В ночь с четвертого на пятый день ареста тяжелая, знойная, напряженная погода наконец разрядилась. Весь день был точно угарный. Губы ежеминутно сохли от недостатка свежего воздуха. Небо стало грузным, темным, неподвижным и угрожающе сонным. Дышать становилось

все труднее. Изнуряющий липкий пот выступал на шее, на лице, на всем теле. Только вечером, когда небо, воздух и земля так густо почернели, что их нельзя стало различать глазом, заворчали первые глухие отдаленные рычащие громы. А потом, как это всегда бывает в сильные грозы, – наступила тяжелая, глубокая тишина; в камере сухо запахло так, как пахнут два кремня, столкнувшиеся при сильном ударе, и вдруг ярко-голубая ослепительная молния, вместе со страшным раскатом грома, ворвалась в карцер сквозь железные решетки, и тотчас же зазвенели и задребезжали разбитые карцерные окна, падая на глиняный пол. Начиналась такая дьявольская гроза, подобной которой никогда, ни раньше, ни потом, не видывал Александров: необычайной силы гроза, оставшаяся на долго лет в памяти коренных москвичей, потому что она снесла наголо Анненгофскую Лефортовскую рошу и разрушила вдребезги более сотни московских деревянных домишек. Она не прекращалась до той поры, пока не забрезжил ранний сереющий рассвет.

Ветхий потолок и дырявые стены карцера в обилии пропускали дождевую воду. Александров лег спать, закутавшись в байковое одеяло, а проснулся при первых золотых лучах солнца весь мокрый и дрожащий от холода, но все-таки здоровый, бодрый и веселый. Отогрелся он окончательно лишь после того, как сторожевой солдат принес ему в медном чайнике горячего и сладкого чая с булкой, после которых еще сильнее засияло прекрасное, чистое, точно вымытое небо и еще сластнее стало греть горячее восхитительное солнце.

А час спустя он услышал шлепанье сапог по лужам и милый, знакомый голос, призывавший его снизу.

– Александров! Александров! – кричал под окном верный дружок Венсан. – Высуньте, насколько можно, руку из решетки. Я сижу на дереве. И, кстати, сердечно вас поздравляю.

– С чем? С окончанием ареста?

– Нет. Сейчас вы увидите сами. Но каким молодцом оказался наш Уставчик! Однако живее! Здесь где-то поблизости слоняется зловещий Берди-Паша. Ну, тяните скорее руку! Так!

Венсан, прыгнув, густо шлепнулся в грязь. В руке Александрова остался напечатанный на множителе свертков казенной бумаги, очевидно купленный или украденный из походной батальонной канцелярии. В нем, в нисходящем порядке, были оттиснуты все имена выпускных юнкеров, от фельдфебелей и портупей-юнкеров до простых рядовых, с приложением их средних баллов по военной науке. Со странным двойным чувством гордой радости и унижения увидел Александров свой номер, ровно сотый, и как раз последний; последняя девятка, дающая право на первый разряд. Ниже шло еще сто номеров для злосчастных юнкеров второго разряда.

«Но ведь это все же только подачка, только жалкая милостыня, брошенная мне Уставчиком», – горестно подумал Александров и покрутил головой.

Через дней пять-шесть пришли из петербургского главного штаба списки имеющихся в разных полках офицерских вакансий. Они тотчас же были переписаны в канцелярии и розданы на руки юнкерам. Всего только три дня было дано господам обер-офицерам на ознакомление с этими листами и на размышления о выборе полка. И нельзя сказать, чтобы этот выбор был очень легким. С ним связывалось много условий: как необыкновенно важных, так и вздорных, совсем пустяковых, и разобраться в них было мудрено. Какое главное? Какое третьестепенное?

Хотелось бы выйти в полк, стоящий поблизости к родному дому. Теплый уют и все прелести домашнего гнезда еще сильно говорили в сердцах этих юных двадцатилетних воинов.

Хорошо было бы выбрать полк, стоящий в губернском городе или, по крайней мере, в большом и богатом уездном, где хорошее общество, красивые женщины, знакомства, балы, охота и мало ли чего еще из земных благ.

Пленила воображение и относительная близость к одной из столиц: особенно москвичей удручала мысль расстаться надолго с великим княжеством Московским, с его семью холмами, с сорока сороками церквей, с Кремлем и Москва-рекою. Со всем крепко устоявшимся свободным, милым и густым московским бытом.

Но такие счастливые вакансии бывали редкостью. В гвардейские и гренадерские части попадали лишь избранные, и во всяком случае до номера сотого должны были дойти, конечно, славные боевые полки – но далеко не блестящие, хорошо еще, что не резервные батальоны, у которых даже нет своих почетных наименований, а только цифры: 38-й пехотный резервный батальон, 53-й, 74-й, 99-й... 113-й и так далее.

Но были и другие соблазны, другие просторы для фантазии молодых душ, всегда готовых мечтать об экзотической жизни, о неведомых окраинах огромной империи, о новых людях и

народах, о необычайных приключениях на долгих и трудных путях... Тянул к себе юг: служба на Кавказе, в Самарканде, в Туркестане, на границах с Персией, Афганистаном и Бухарой, на подступах к великой, загадочной, пышной, сказочной Азии. Нельзя сказать, чтобы выпускные юнкера особенно хорошо знали географию. Ведение ее остановилось на шестом классе кадетского корпуса и с этой поры не подновлялось. Однако по смутным воспоминаниям соображали они, что Крым – это земной рай, где растет виноград и зреют превкусные крымские яблоки; что красоты Кавказа живописны, величественны и никем не описуемы, кроме Лермонтова; что Подольская губерния лежит на одной широте с Парижем, и оттого в ней редко выпадает снег, и летом произрастают персики и абрикосы; что Полесье славится своими зубрами, а его обитатели колтунами, и так далее в этом же роде. Большое значение имела краткая военная история полка, его бывшие доблести и заслуженные им отличия и награды. Не малую роль играли в выборе полка его петлицы – красные, синие, белые или черные: кому что шло к лицу. Случалось, – говорили прежние господа обер-офицеры, – что глубокий второразрядник сокрушенно махал рукой и заявлял: «Мне все равно. Пишите меня в ту часть, где красные петлицы».

Почти в таком же настроении был и Александров. С недавнего времени он вообще стал склонен к философии. Он размышлял: «Сто полков будут мне даны на выбор, и из них я должен буду остановиться на одном. Разве это не самый азартный вид лотереи, где я играю на всю собственную жизнь? Одному только богу ведомо, что ждет меня в первом, во втором, в тридцатом, в семьдесят четвертом или в девяносто девятом и сотом полку. Совершенно неизвестно, где меня поджидает спокойная карьера исполнительного офицера пехотной армии, где бурная и нелепая жизнь пьяницы и скандалиста, где удачный экзамен в Академию и большая судьба. Где богатая женитьба на любимой прекрасной девушке, где холостая, прокуренная жизнь одинокого армейца, где несчастливая дуэль, где принудительный выход из полка по решению офицерского суда чести, где великие героические подвиги на театре военных действий. Все покрыто непроницаемой тьмой, и все-таки тяни свой жребий».

И кто же возьмет на себя дерзость разрешать, какой полк хорош и какой плох, который лучше и который хуже? И невольно приходит на память Александрову любимая октава из пушкинского «Домика в Коломне»:

У нас война! Красавцы молодые,
Вы, хрипуны (но хрип ваш приумолк),
Сломали ль вы походы боевые,
Видали ль в Персии Ширванский полк?
Уж люди! Мелочь, старички кривые,
А в деле всяк из них, что в стаде волк.
Все с ревом так и лезут в бой кровавый,
Ширванский полк могу сравнить с октавой.

Да, конечно же, нет в русской армии ни одного порочного полка. Есть, может быть, бедные, загнанные в непроходимую глушь, забытые высшим начальством, огрубевшие полки. Но все они не ниже прославленной гвардии. Да, наконец... и тут перед Александровым встает давно где-то вычитанный древний греческий анекдот: «Желая посрамить одного из знаменитых мудрецов, хозяева на званом обеде посадили его на самое отдаленное и неудобное место. Но мудрец сказал с кроткой улыбкой: «Вот средство сделать последнее место первым».

Настал наконец и торжественный день выбора вакансий.

В один из четвергов, после завтрака, дежурные юнкера побежали по своим баракам, выкрикивая словесное приказание батальонного командира:

– Всем юнкерам второго курса собраться немедленно на обеденной площадке! Форма одежды обыкновенная. (Всем людям военного дела известно, что обыкновенная форма одежды всегда сопутствует случаям необыкновенным.) Взять с собою листки с вакансиями! Живо, живо, господа обер-офицеры!

Служители уже расставляли на площадке обеденные столы и табуретки. Никогда еще юнкера так охотно и быстро не собирались на призыв начальства, как в этот раз. Через три минуты они уже стояли навтыжку у своих столов, и все двести голов были с нетерпением устремлены в ту сторону, с которой должен был показаться полковник Артабалевский.

Он скоро показался в сопровождении ротных командиров и курсовых офицеров.

– Садитесь! – приказал он как будто угрожающим голосом и стал перебирать списки. Потом откашлялся и продолжал: – Вот тут перед вами лежат двести десять вакансий на двести юнкеров. Буду вызывать вас поочередно, по мере оказанных вами успехов в продолжение двухлетнего обучения в училище. Рекомендую избранную часть называть громко и разборчиво, без всяких замедлений и переспросов. Времени у вас было вполне достаточно для обдумывания. Итак, номер первый: фельдфебель первой роты, юнкер Куманин!

Ловко и непринужденно встал высокий красавец Куманин.

– Имени светлейшего князя Суворова гренадерский Фанагорийский полк.

Артабалеvский громко повторил название части и что-то занес пером на большом листе. Александров тихо рассмеялся. «Вероятно, никто не догадывался, что Берди-Паша умеет писать», – подумал он.

– Фельдфебель четвертой роты, юнкер Тарбеев!

– В лейб-гвардии Московский полк.

– Фельдфебель второй роты, юнкер Пожидаев!

– В двенадцатую артиллерийскую бригаду на сослужение с отцом.

– Портупей-юнкер, князь Вачнадзе!

– На сослужение с братом в Эриванский гренадерский полк.

Так прошли перед выпускными юнкерами все фельдфебели, портупей-юнкера и юнкера с высокими отметками. Соблазнительные полки с хорошими стоянками быстро разбирались. Для второразрядных оставались только далекие места в провинциальных уездных городах, имена которых юнкера слышали первый раз в своей жизни.

Внимание Александрова давно устало и рассеялось. Он машинально зачеркивал выходящие полки и в то же время вел своеобразную детскую игру: каждый раз, как вставал и называл свой полк юнкер, он по его лицу, по его голосу, по названию полка старался представить себе – какая судьба, какие перемены и приключения ждут в будущем этого юнкера? И когда Александров услышал свою фамилию, громко названную Берди-Пашой, то он вздрогнул и совсем растерялся. Беспомощно водя глазами по листу, исчерченному синим и красным карандашом, он никак не мог остановиться на одном из намеченных полков.

Артабалеvский крикнул своим металлическим «первым»:

– Чего молчать! Чего мечтать? Проснитесь, юнкер!

Тогда Александров ткнул наудачу пальцем в лист. Вышел полк совсем ему неведомый и маленький городишко, никогда им не слыханный. И, откашлявшись, он громко крикнул:

– Ундомский пехотный полк!

Город Великие грязи. И опять подумал про себя: «Вот средство сделать последнее место – первым».

Раздача вакансий окончилась. Берди-Паша сказал поучительное слово:

– Однако не воображайте, что вы уже в самом деле – господа офицеры. Этого воображать отнюдь не следует. Вы суть только юнкера. Пока выбранные вами вакансии дойдут до Санкт-Петербурга, и пока великому государю нашему, его императорскому величеству императору Александру Третьему не благоугодно будет собственноручно их утвердить, и пока, наконец, высочайшее его соизволение не дойдет до Москвы – вы будете нести военную службу со всеми ее строжайшими обязанностями неукоснительно и в двойном размере. Ибо многому вы еще не доучились и ко многому не привыкли. Итак, сейчас же построиться на передней линейке для батальонного учения!

О! Злобный азиат!

Глава XXIX

Травля

Двести вакансий в разные полки разобраны.

Военные портные уже уведомлены, какого цвета надо пришивать петлички к заказанным мундирам и какого цвета кантики: белого, красного, синего или черного.

Фамилии будущих господ офицеров и названия выбранных ими частей уже летят, летят теперь по почте в Петербург, в самое главное отделение генерального штаба, заведующее офи-

церскими производствами. В этом могущественном и таинственном отделении теперь постепенно стекаются все взятые вакансии во всех российских военных училищах, из которых иные находятся страшно далеко от Питера, на самом краю необъёмной Российской империи.

И вот наконец все вакансии собраны и проверены. Тогда их поручают десяти искуснейшим во всей России писарям, из которых каждый состоит в капитанском чине, и они на ватманской слоновой бумаге золотыми перьями составляют список юнкеров, имеющих быть произведёнными в первый офицерский чин и зачисленными на доблестное служение в одном из славных победоносных полков великой русской армии.

А теперь уже выступает на сцену не кто иной, как военный министр. В день, заранее ему назначенный, он с этим драгоценным списком едет во дворец к государю императору, который уже дожидается его.

Конечно, русскому царю, повелевающему шестой частью земного шара и непрестанно пекущемуся о благе пятисот миллионов подданных, просто физически невозможно было бы подписывать производство каждому из многих тысяч офицеров. Нет, он только внимательно и быстро проглядывает бесконечно длинный ряд имен. Уста его улыбаются светло и печально.

– Какая молодежь, – беззвучно шепчет он, – какая чудесная, чистая, славная русская молодежь! И каждый из этих мальчиков готов с радостью пролить всю свою кровь за наше отечество и за меня!

Он со вздохом подписывает свое имя и говорит министру:

– Передайте им всем мои поздравления с производством и мою уверенность в их беспорочной будущей службе.

Очень долги пути государственных бумаг!

Старшие юнкера изводятся от нетерпения – они уже перестали называть себя господами обер-офицерами, иначе рядом с выдуманном званием не так будет сладко сознавать себя настоящим подпоручиком, его благородием и, по праву, господином обер-офицером.

Теперь все они кажутся совсем взрослыми, даже как будто пожилыми. Они стали осторожнее в движениях и умереннее в жестах. У них такой вид, точно каждый боится расплескать чашу, до краев полную драгоценной влагой. Они как-то любовно, по-братски присматривают друг за другом. Стоит самая африканская жарница. Клокочущее нетерпение не знает, во что вылиться. Нервы натянуты до предела. Не дай бог, кто-нибудь под этими давлениями взорвется и сделает такой непозволительный грубый и глупый поступок, который повлечет за собою лишение офицерского чина. Что тогда делать? Скрыть невозможно и нельзя. Отдать в солдаты? Выгнать из училища? Но как же быть, если события так повернутся, что наказанного в Москве государь только что произвел в офицеры в Петербурге? Телеграфировать на высочайшее имя для осведомления императора? Но какое огорчение нанесет это обожаемому монарху! Какое несмыслимое пятно для славного, любимого, дорогого Александровского училища! Ротным командирам и курсовым офицерам известно это волнение молодых сердец, и они начинают чуть-чуть ослаблять суровые требования воинской дисциплины и тяжкие, в жару просто непереносимые трудности строевых учений. Выпускные юнкера в свою очередь чувствуют эти поблажки и впадают в легкую фамильярность с начальством, в ленцу и в небрежность.

На полевом учении, в рассыпном строю, поручик Новоселов (он же Уставчик) командует:

– Перестать стрелять, встать – направление на мельницу. Бегом!

А кто-нибудь из выпускных лениво говорит:

– Зачем бегать, Николай Васильевич? Жара ада. Полежимте-ка лучше.

Уставчик топчет ногами и слабо кричит:

– Вставать-с, в карцер посажу-с!

Выпускной смягчается:

– Да уж, пожалуй, пойдем, Николай Васильевич. Ведь мы вас так любим, вы такой добрый.

– Молчать-с! Перебежка частями!

Или иногда говорили Дрозду, томно разомлевшему от зноя:

– Господин капитан, позвольте рассыпать цепью по направлению на вон ту девчонку в красном платке.

– Э-кобели! – ворчал Дрозд и вдруг властно вскакивал. – Встать! Бежать на третью роту! Да бежать не как рязанские бабы бегают, а по-юнкерски! Эй, ходу, а то до вечера проманежу!

Этот странный Дрозд, то мгновенно вспыльчивый, то вдруг умно и великодушно заботли-

вый, однажды чрезвычайно удивил и умилил Александрова. Проходя вдоль лагеря, он увидел его лежащим, распластав широко ноги и руки, в тени большой березы и остановился над ним. Александров с привычной ловкостью и быстротой вскочил, встряхнул шапку и сделал под козырек.

– Опустите руку, – сказал Дрозд. Поглядел долгим ироническим взглядом на юнкера и ни с того ни с сего спросил: – А ведь небось ужасно хочется хоть на минутку поехать в город, к портному, и примерить офицерскую форму?

– Так точно, господин капитан, – с глубоким вздохом сознался Александров. – Ужасно, невероятно хочется. Да ведь я наказан, без отпуска до самого производства.

– Да, плохое твое дело. Командир батальона ничего не прощает и никогда не забывает. Он воин серьезный.

– Так точно, господин капитан. Серьезнее на свете нет.

– Н-да, плохое ваше дело: и хочется, и колется, и маменька не велит. Вполне понимаю ваше горе...

– Покорно благодарю, господин капитан.

– А главное, – продолжал Дрозд с лицемерным сожалением, – главное, что есть же на свете такие отчаянные сорванцы, неслухи и негодяи, которые в вашем положении, никого не спрашивая и не предупреждая, убегают из лагеря самовольно, пробудут у портного полчаса-час и опрометью бегут назад, в лагерь. Конечно, умные, примерные дети таких противозаконных вещей не делают. Сами подумайте: самовольная отлучка – это же пахнет дисциплинарным преступлением, за это по головке в армии не гладят.

– Так точно, господин капитан.

Оба собеседника замолкают и молчат минуты три-четыре. Вдруг Дрозд загадочно фыркает и презрительно восклицает:

– Ну и бревно же!

– Какое бревно? – с недоумением спрашивает Александров.

– А такое, – равнодушно отвечает Дрозд и медленно отходит от юнкера.

Александров растерян. Кажется ему, что какой-то темный намек сквозил в небрежном разговоре Дрозда, но как его понять? Он идет в барак, отыскивает в нем Жданова, замечательного разгадчика всех начальственных каверз и закавык, и передает ему всю свою странную болтовню с Дроздом. Жданов саркастически улыбается:

– Бревно – это, конечно, ты, мой красавец. Разве ты сразу не мог понять, что сострадательный Дрозд окольным путем тебе советует сделать алегро удирато? То есть убежать самоволкой в город? Конечно, он яснее высказаться не мог и не смел, ибо он все-таки твой прямой начальник. Но, ей-богу, он все-таки отменный парень. А тебе остается только одно – завтра отпуск, и ты без всяких размышлений наденешь на себя мундир и скорым шагом отправишься к своему портному; старайся не терять времени понапрасну. Уходи в толпе и приди в толпе, чтобы не быть ни для кого заметным. Если хочешь, я пойду впереди тебя наблюдательным дозором.

Так Александров на другой день и сделал: ловко втиснулся в густую массу отпускных юнкеров и благополучно выбрался на Ходынское поле. Там он уже был на свободе и крылатым шагом дошел до Тверской-Ямской, до того дома, где красовалась золотая вывеска: «Сур. Военный портной». И правда, риск самовольного побега был ничтожен в сравнении с наслаждениями, ожидавшими Александрова. Старый портной елозил вокруг него, обтягивая материю и пестря ее портновским мелком. В трех зеркалах бесчисленно отражалась его новая для самого себя фигура, и все ему хотелось петь на мотив из «Фауста»: «Александров! Это не ты! Отвечай, отвечай, отвечай мне поскорее!»

Он примерил массу вещей: мундир, сюртук, домашнюю тужурку, два кителя из чертовой кожи, брюки бальные и брюки походные. Он с удовольствием созерцал себя, многократного, в погонах и эполетах, а старик портной не уставал вслух восхищаться стройностью его фигуры и мужественностью осанки.

На обратном пути он хотел было сделать маленький крюк, чтобы забежать в Екатерининский институт и справиться у Порфирия о том, как поживает Зиночка Бельшева, но вдруг почувствовал, что у него не хватит духа. В лагерь он пришел, когда уже начинало темнеть. Быстрым катышком свалился он в глубь оврага, где протекала холодная быстрая речонка, спешно переоделся в заранее спрятанную каламянковую рубашку и вышел наверх. Первый, кого он увидел, был Дрозд, прогуливавшийся по плацу над купальней, заложивши руки за спину.

– Как поживаете, господин обер-офицер? – спросил Дрозд лениво.

– Покорно благодарю, господин капитан, очень хорошо! – воскликнул Александров, блестя глазами.

Так успели за двухлетнее знакомство и за лагерную страду опроститься и очеловечиться отношения между юнкерами и офицерами.

Только три человека из всего начальственного состава не только не допускали таких невинных послаблений, но злились сильнее с каждым днем, подобно тому как мухи становятся свирепее с приближением осени. Эти три гонителя были: Хухрик, Пуп и Берди-Паша, по-настоящему – командир батальона, полковник Артабалеvский.

Первые двое были, пожалуй, уж не так злоvредны и безжалостно строги, чтобы питать к ним лютую вражду, ненависть и кровавую месть. Но они умели держать молодежь в постоянном состоянии раздражения ежеминутными нервными замечаниями, мелкими придирками, тупыми повторениями одних и тех же скучных, до смерти надоевших слов и указаний, вечной недоверчивостью и подозрительностью и, наконец, долгими, вязкими, удручающими нотациями.

Берди-Паша не был выпечен из такого пресного теста. Его, должно быть, отлили из железа на заводе и потом долго били стальными молотками, пока он не принял приблизительную, грубую форму человека. Снабдить же его душою мастер позабыл.

И правда: Берди-Паша кажется лишенным если не всех, то очень многих свойственных обыкновенному человеку достоинств и недостатков, страстей и слабостей. Он не знает ни честолюбия, ни жалости, ни любви, ни привязанности. Ему чужды страх и стыд. Он никогда не хвалит и не делает выговоров. Он только спокойно и холодно, как машина, наказывает, без сожаления и без гнева, прилагая максимум своей власти. У него сильный стальной голос, слышимый из конца в конец огромнейшего Ходынского поля, на котором летом свободно располагаются лагерями и производят учение все войска Московского военного округа. Но ни разу он не закричал на юнкера, так же как никогда не показал ему сострадания.

Все в училище, не исключая и офицеров, глубоко убеждены в том, что Берди-Паша просто глуп. Его редкие изречения тщательно запоминаются второкурсниками и передаются из поколения в поколение, обрастая, конечно, добавками, как корабль в далеком пути обрастает ракушками и моллюсками.

Берди-Пашу юнкера нельзя сказать чтобы любили, но они ценили его за примитивную татарскую справедливость, за голос, за представительность и в особенности за неподражаемую красоту и лихость, с которыми он гарцевал перед батальоном на своей собственной чистокровной белой арабской кобыле Кабардинке, которую сам Паша, со свойственной ему упрямостью, называл Кабардиновкой.

Но теперь юнкера, а в особенности выпускные, были обижены тем, что немедленно по окончании торжественного разбора вакансий Берди-Паша бесцеремонно погнал батальон на строевые занятия, как будто наплевав на великую важность происшедшего события.

Всякий порядочный командир батальона дал бы своей части в подобном случае хоть час-два блаженного отдыха после только что пережитых, столь сильных впечатлений.

Это с его стороны невежество, умышленное свинство, пренебрежительный вызов, требующий немедленного воздаяния.

И вот тогда, точно по телеграфу, работающему без проводов, разнесся, начиная с первой роты, самой долговязой, самой шикарной и самой авторитетной, и кончая предприимчивой четвертой – невидимый приказ: «Травить всех по-прежнему, умеренно. Хухру и Пупа – с натиском. А нераскаянного Берди-Пашу не только сугубо, но двугубо и даже многугубо».

Это предложение было принято повсюду с величайшей готовностью. К тому же, надо сказать, всему училищу было известно, что в этом году производство начнется с большим, против всегдашнего, промедлением. По каким-то важным политическим причинам государь опоздает приехать в Петербург. Лишнее промедление обрекало всех юнкеров на длительную скуку. Сугубая травля обещала некоторые развлечения, и она вышла действительно неслыханно разнообразной и блестящей.

Она началась непосредственно после вечерней переклички, «Зори» и пения господней молитвы, когда время до сна считалось свободным. Как только раздавалась команда «разойтись», тотчас же чей-нибудь тонкий гнусавый голос жалобно взывал: «Ху-у-ух-рик!» И другой подхватывал, точно хрюкая поросенком: «Хухра, Хухра, Хухра». И целый многоголосый хор жи-

вотных начинал усердно воспевать это знаменитое прозвание, имитируя кошек, собак, ослов, филинов, козлов, быков и так далее.

Затем начинался фейерверк в честь и славу Пупа. Не без гордости взял на себя Александров должность одного из самых главных пиротехников. Недаром же он еще в корпусе, вместе с товарищем Тучабским, вышедшим год назад в офицеры, изучал искусство потешных огней. Он даже не знал, откуда ему приносили серу и селитру, кремортартар и другое. Он сам толоч в мелкий порошок древесный уголь и сахар. Порох он получал из патронов, оставшихся у многих юнкеров от учебной стрельбы. Необходимые же трубки и трубочки он скатывал на шомполах и на других цилиндрических предметах. Таким образом он, хоть и грубо, но все-таки достаточно для простой цели, изготовлял шутихи, бенгальские огни, римские свечи и главным образом ракеты.

Когда травление Хухрика начинало немного приедаться, Александров пускал цветной сигнал для привлечения внимания и сейчас же, держа двумя пальцами трубку ракеты, поджигал ее. Ракета, оставляя звездчатый золотой хвост, весело шла вверх. Вибрирующее шипение шло за нею. Это продолжалось недолго, секунд десять-двенадцать, но времени хватало, чтобы прокричать мадригал Дудышкину. Множество голосов наперебой восклицало:

«Я Пуп, но не так уж глуп. Когда я умру, похороните меня в моей табакерке. Робкие девушки, не бойтесь меня, я великодушен. Я Пуп, но это презрительная фора моим врагам. Я и Наполеон, мы оба толсты, но малы» – и так далее, но тут, достигая предела, ракета громко лопалась, и сотни голосов кричали изо всех сил: «Пуп!»

Травля Берди-Паши была сложнее, разнообразнее и художественнее. Сначала из архивов памяти, еще от преданий предков, выкапывались поразительные, незабвенные изречения Паши. Вот некоторые из них:

Юнкер стоит, облокотившись на раму, и смотрит сквозь окно на училищный плац. Подходит Берди-Паша и упирается взглядом ему в спину. Оба молчат очень долго, минут десять, пятнадцать... Вдруг Паша нарушает тишину:

– Стоить и думать, и думать, что думать, и сам не знает, что ничего не думать. А не хотите ли в карцер, юнкер?

И еще:

Оркестр Крейнбринга, училищный знаменитый оркестр, играет в училищной столовой. Один из музыкантов держит под мышкой свою валторну. Берди-Паша подходит к капельмейстеру и спрашивает:

– А этот почему стоит без дела?

– Он паузу держит.

– Почему же он ее за пазухой держать? почему не играть?

И опять о Крейнбринге:

Наблюдая за оркестром, Паша замечает, что старый артист на бейном басы во все время концерта ни разу не прикоснулся к своему инструменту. Он подходит к Крейнбрингу:

– Ну а этот почему не играет? Тоже паузу держать? Лентяй!

– Нет, он амбушюр потерял.

– Вот сволочь! Казенную вещь терять? Взгрейте-ка его хорошенько, а стоимость вычтите из его жалования. Я их научу, как казенные вещи терять!

Потом на голову бедного полковника Артабалева вешаются все бесчисленные анекдоты о русских генералах, то слишком недогадливых, то чересчур ревностных, то ужасно откровенных, то неловких поклонников дамской красоты, то любителей загадок, и так без конца.

Анекдоты эти рассказываются обыкновенно в таких местах, где сам Берди-Паша их отлично может расслышать. Начинает рассказчик так:

– Ну а вот послушайте новый анекдот еще об одном генерале... – Все, конечно, понимают, что речь идет о Берди-Паше, тем более что среди рассказчиков многие – настоящие имитаторы и с карикатурным совершенством подражают металлическому голосу полковника, его обрывистой, с краткими фразами речи и со странной манерой употреблять ер на конце глаголов.

Берди-Паша понимает, изводится, вращает глазами, прикусывает губу, но сделать ничего не может – боится попасть в смешное или неприятное положение. Но татарская кровь горяча и злопамятна. Берди-Паша молча готовит месть.

Однажды в самый жаркий и душный день лета он назначает батальонное учение. Батальон

выходит на него в шинелях через плечо, с тринадцатифунтовыми винтовками Бердана, с шанцевым инструментом за поясом. Он выводит батальон на Ходынское поле в двухвзводной колонне, а сам едет сбоку на белой, как снег, Кабардинке, офицеры при своих ротах и взводах.

Надо сказать, что Берди-Паша, вероятно, один из самых совершеннейших и тончайших мастеров и знатоков батальонного учения во всем корпусе русских офицеров.

Он не давал батальону роздыха (это оттого, что сам он сидит на Кабардиновке, сердито думали юнкера) и только изредка, сделав десять, пятнадцать построений, командовал:

– Вольно. Оправиться. С мест не сходить, – чтобы через две минуты снова крикнуть: – Батальон, в ружье. (Такие частые, но малые остановки, как известно, гораздо больше утомляют пехотинцев, чем сплошной ровный ход.) Он управлял батальоном, точно играл на гармонии: сжимал батальон так тесно в сближение четырех рот, что он казался маленьким и страшно тяжелым, и разжимал во взводную колонну так, что он казался длинным-предлинным червяком. Он заставлял «заходить», то есть вращаться, как по циркулю, целые роты. Он водил батальон прямым, широким, упругим маршем и облическим, правильно косым движением, и вдруг резкой командой «на руку» заставлял все четыреста ружей ошестиниться на ходу штыками, мгновенно взятые наперевес.

Берди-Паша был в эти минуты похож на знаменитого балетмейстера, управляющего отлично слаженным кордебалетом, на директора цирка, заставляющего массу нарядных лошадей однообразно делать сложные вольты, лансады и пируэты, на большого мальчишку, играющего своими раздвижными деревянными солдатиками, заставляя всю их сомкнутую группу разом сдвигаться и раздвигаться то сверху вниз, то слева направо.

Команды Берди-Паши были отчетливы, а приемы юнкеров абсолютно правильны. Но сегодня Артабалевский точно обьелся белены и взбесился. Через каждые десять шагов он командовал:

– Стой!

И батальон, как один человек, останавливался в два темпа, а в три других темпа, сняв ружье с плеча, ставил его прикладом на землю. И тотчас уже опять:

– Батальон, шагом марш, стой, шагом марш, стой, шагом марш, стой.

И на каждой краткой остановке молниеносный, пламенно бешеный разнос:

– Почему приклады стучать? Почему стучать приклады? Сказано, опускать приклады на землю беззвучно. Беззвучно опускать вам приказано.

И снова:

– Шагом марш. Стой. Зачем, зачем шлепают прикладами? Заморю на учении, а заставлю, чтоб никакого звука не было слышно.

Так Берди-Паша каждый раз неистовствовал и крупным галопом носился вокруг батальона, истязая шпорами красавицу Кабардинку, которая вся была в мыле и роняла со своей прелестной морды охлопья белой пены, но добиться идеального беззвучия он не мог, как ни выходил из себя.

Юнкера знали, в чем здесь дело. Берди не был виноват в том, что заставлял юнкеров исполнять неисполнимое. Виноват был тот чрезвычайно высокопоставленный генерал, может быть, даже принадлежавший к членам императорской фамилии, которого на смотре в казармах усердные солдаты, да к тому же настреканные начальством на громкую лихость ружейных приемов, так оглушили и одурманили битьем деревянными прикладами о деревянный пол, что он мог только сказать с унынием:

– Да, все это очень хорошо, но хотелось бы, чтобы было потише. Согласитесь, что такими мощными ударами можно потрясти берданку и значительно испортить ее тонкие, весьма чувствительные внутренние части.

Замечание это было разослано для принятия ко вниманию во все округа, корпуса, дивизии и полки. Военная служба – строгая служба. В ней нет места ни своеволию, ни отказу, ни возражению. Приказано и – делать. И притом не рассуждать. Но беспрестанные «марш» и «стой» в сопровождении татарских наскоков Берди-Паши извели и утомили юнкеров, а главное, накучили до смерти. Сначала один, двое, трое юнкеров, по усталости и небрежности и отчасти по случайности, слишком громко поставили приклады. Соседи поддерживали их из проказливости, показала свою власть и липкая подражательность. По батальону побежал магнетический слух: «Берди-Пашу травят! Травите Берди-Пашу».

И тогда уже весь батальон, четыреста человек, стали при каждой команде «стой» изо всех сил бить прикладами по сухой земле.

Батальонный не растерялся. Он озверел: пята свою Кабардинку задом на строй первой роты, позеленевший от злобы, он кричал обрывающимся голосом:

– Не хотите? Не жалаете? Разнежничались? А, вот я вас всех сейчас до выставки погоню, туда и обратно.

Чей-то неведомый голос вдруг возразил из середины строя:

– Ан не погонишь!

– Не погоню? – взревел Паша изо всей силы своего голоса, и лицо его пошло красными пятнами. – Не прогоню? Два раза прогоню: туда и обратно и еще раз – туда и обратно... Батальон на плечо. Шагом марш!

Ошарашенный этой грозной вспышкой, батальон двинулся послушно и бодро, точно окрик послужил ему хлыстом. Имя юнкера-протестанта так и осталось неизвестным, вероятно, он сам сначала опешил от своей бессознательно вырвавшейся дерзости, а потому ему стало неловко и как-то стыдно сознаться, тем более что об этом никто уже больше не спрашивал. Спроси Паша сразу на месте – кто осмелился возразить ему из строя, виновник немедленно назвал бы свою фамилию: таков был строгий устный адат училища.

Не важно, какому бы тягчайшему наказанию подверг Берди-Паша дерзилу. Гораздо опаснее было бы, если бы весь батальон, раздраженный Пашой до крайности и от души сочувствовавший смельчаку, вступился в его защиту. Вот тут как раз и висели на волоске события, которые грозили бы многим юнкерам потерю карьеры за несколько дней до выпуска, а славному дорогому училищу темным пятном.

Вовсе не от такта, или политики, или жалости ограничился Паша длинным маршем, в котором невольно приняли участие ротные командиры и курсовые офицеры. Нет, Берди-Паша поступил так, влекомый природной глупостью и ослепившим его гневом. Но четырех концов ему все-таки не удалось сделать. В конце третьего у штабс-капитана Белова, курсового офицера четвертой роты, от жары и усталости хлынула кровь из носа в таком обилии, что ученье пришлось прекратить. Батальон повели обратно, в лагери. У Берди-Паши, еще не перестававшего шпорить Кабардинку, был вид тигра, у которого изо рта насильно вырвали добычу.

Глава XXX Производство

Упорствуют, не идут, нарочно не хотят идти из Петербурга волшебные бумаги, имеющие магическое свойство одним своим появлением мгновенно превратить сотни исхудалых, загоревших дочерна, изнывших от ожидания юношей в блистательных молодых офицеров, в стройных вояк, в храбрых защитников отечества, в кумиров барышень и в украшение армии.

Но Петербург все безмолвствует. Доходят до лагерей смутные слухи, что по каким-то очень важным государственным делам император задержался за границей и производства можно ожидать только в середине второй половины июля месяца.

Училищных офицеров тоже беспокоит и волнует это замедление. После производства в офицеры бывшие ученики и прямые подчиненные становятся отрезанным ломтем, больше о них нет ни забот, ни хлопот, ни ответственности, ни даже воспоминаний.

Будущие второкурсники (господа обер-офицеры) обыкновенно дня за три до производства отпускаются в отпуск до начала августа, когда они в один и тот же день и час должны будут прибыть в училищную приемную и, лихо откозыряв дежурному офицеру, громко отрапортовать ему:

– Ваше благородие, является из отпуска юнкер второго курса, такой-то роты и фамилия.

Но от дня производства до явки отпускных у начальства остается почти месяц свободного от занятий времени, которым каждый пользуется по средствам и воображению.

Потому-то весь состав училища становится в эти дни напряженного ожидания нетерпеливее и распущеннее, чем обыкновенно. Занятий почти нет. Ружья на неделю отобраны от юнкеров и отправлены в оружейную мастерскую училища. Там старые, постоянные мастера уже успели на глаз, на ощупь и через специальное маленькое зеркальце осмотреть все раковинки, ржавчинки и царапинки и другие повреждения, которые принесли ружьям плохая чистка и небрежное об-

ращение. Старшему курсу уже был прислан отчет о том, какая сумма будет вычтена при производстве с каждого юнкера за порчу казенных вещей (Александрову насчитали ужасно много: тринадцать рублей сорок восемь копеек), второй курс заплатит свою пеню в будущем году.

Занимаются подзубриванием уставов, перечислением лиц императорской фамилии, караулом при знамени и перед пороховым погребом, немного гимнастикой, немного маршировкой.

Юнкеров, взявших вакансии в артиллерию, училищный берейтор Плакса каждый день тренирует в верховой езде. Больше всего увлекаются купаньем – погода стоит пламенная.

Даже травля надоела. Попробовал Александров однажды вечером запустить последнюю оставшуюся у него ракету – как раз она и вылетела шикарно и разорвалась эффектно. Но никто не послал ей вслед острого словца, только на взрыв какой-то юнкер ответил: «Пуп» – и так уныло у него вышло, как будто он собирался крикнуть: «А производства-то все нет...»

Третья рота устроила перед своими бараками пышное представление под заглавием «Высокое награждение султаном ниневийским храброго джигита и абрека Берди-Пашу». Постановка была очень недурна, принимая во внимание, что декорации и костюмы были сделаны из простынь, подушек, шинелей, цветной бумаги и древесных веток. Юнкер Павлов, изображавший Пашу, обмотал лоб громаднейшим тюрбаном, посол султана был в белом остроконечном картонном колпаке, усеянном звездами. Собственная музыка сыграла при входе посла ниневийского марш; инструментами музыкантам служили: головные гребешки, бумажные трубы, самодельные барабаны и свой собственный свист.

Сцена роскошно освещалась четырьмя стеариновыми свечами. Посол низко поклонился Берди-Паше, а Берди-Паша послу. Затем посол приказал своей свите: «Приведите присланных одалисок».

Свита ушла и через минуту вернулась назад, поддерживая с нежностью двух смазливых юнкеров, одетых в роскошные женские одежды из простынь.

– О прелестные одалиски, упоите зрение знаменитого воина Берди-Паши вашими грациозными танцами.

Оркестр грянул «Турецкий патруль», и под него одалиски протанцевали изумительный танец, виляя бедрами и боками, вращая животами, оглядывая публику сладострастными восточными взорами.

– Теперь довольно, – сказал посол и поклонился Паше. Паша сделал то же самое. – О великий батырь Буздыхан и Кисмет, – сказал посол, – мой владыко, сын солнца, брат луны, повелитель царей, жалует тебе орден великого Клизапомпа и дает тебе новый важный титул. Отныне ты будешь называться не просто Берди-Паша, а торжественно: Халда, Балда, Берди-Паша. И знай, что четырехстворчатое имя считается самым высшим титулом в Ниневии. В знак же твоего величия дарю тебе два драгоценных камня: желчный и мочево-

Новоиспеченный Халда, Балда, Берди-Паша глубоко поклонился послу, посол сделал то же и потом сказал:

– Мой повелитель дарит тебе этих прекрасных ниневиятинок.

– Ни, ни! – закачал Паша головою. – Что я с ними буду делать? мне они незачем. А вот место евнуха в султановом гареме, да еще с порядочным жалованием, от этого я бы не отказался... – Будь им с нынешнего числа, – сказал посол. – Я вовсе не посол, а сам султан. Ты нравишься мне, Берди. Идем-ка вместе в трактир. Пьеса окончена. Что? Хорошо я играл, господа почтенные зрители?

Эта пьеса-церемония была придумана за час до представления и, по совести, никуда не годилась. Она не имела никакого успеха. К тому же у юнкеров еще не вышло из памяти недавнее тяжелое столкновение с Артабалеvским, где обе стороны были не правы. Юнкерская даже больше.

Но зато первая рота, государева, в скором времени ответила третьей – знаменной, поистине великолепным зрелищем, которое называлось «Похороны штыка» и, кажется, было наследственным, преемственным. «Жеребцы» не пожалели ни времени, ни хлопот и набрали, бывая по воскресеньям в отпуску, множество бутафорского материала.

Начали они, когда слегка потемнело. Для начала была пущена ракета. Куда до нее было кривым, маленьким и непослушным ракетикам Александрова – эта работала и шипела, как паровоз, уходя вверх, не на жалкие какие-нибудь сто, двести сажен, а на целых две версты, лопнувши так, что показалось, земля вздрогнула и рассыпала вокруг себя массу разноцветных ша-

ров, которые долго плавали, погасая в густо-голубом, почти лиловом небе. По этому знаку вышло шествие.

Впереди шли скрипка, окarina и низкая гитара. Они довольно ладно играли похоронный марш Шопена. За музыкой шел важными и медленными шагами печальный тамбур, держа в руках высокую палку с траурными лентами.

Затем шествовал гроб такой величины, что в нем свободно умещался берданочный штык, размером не более полуаршина. Гроб был покрыт чем-то похожим на парчу и завален весь через верх грудой полевых цветов. Он стоял на крошечных носилках, четыре угла которых поддерживали четыре траурных кавалера, освещаемые с обеих сторон смоляными факелами. Дальше медленно и почтительно двигались провожающие. Шествие началось у купального водоема, а окончилось за первым флангом расположения первой роты. Там гробик был опущен в приготовленную для него яму и засыпан землей. Каждый юнкер бросил горсточку. Потом могильный холмик был осыпан цветами, водружена была дощечка со скромной надписью:

ШТЫК

1889.

И вся церемония окончилась в той же строгой серьезности, как и началась.

— Желающие могут произнести речи, — предложил высокий юнкер первой роты, лицо которого нельзя было разглядеть из-за спустившихся сумерек. Кто-то приблизился к могиле и стал говорить:

— Прощай, штык. Два года носили мы тебя на левом бедре. Спрашивается: зачем? Как символ воинского звания? Но вид у тебя был совсем не воинственный, а скорее жалкий. Воткнувший в свое кожаное узкое влагалище, ты походил на длинную болтающуюся селедку. Для возможной обороны? Но ты только тогда и силен, когда подкреплён огромным весом ружья. Для украшения? Но без тебя воинский чин только выигрывал в красоте. У нас были в обмундировании золотые орлы на барашковых шапках, пылающие бомбы на медных застёжках поясов, золотые галуны и прекрасный наш вензель. Куда же ты сунулся, о несчастный, в какое благородное общество? Я помню наш прежний тяжеловесный тесак, с которым наши славные предки делали такие могучие атаки и который был отнят у нас за чужую проказу. Он величествен и грозен, как настоящее оружие войны. И он был универсален: в случае надобности на войне им можно было нарубить дров, наколоть лучин, расколотить лед, вырыть окоп и так далее... Прощай же, штык. Ржавей и разрушайся в земле. Мы не помним на тебя зла. Это не ты пришел непрощенный в наше общество. Нет. Тебя нам навязали насильно, и в конце концов в моей краткой речи я нарушил старый обычай: «О мертвых либо хорошо, либо ничего». Поэтому, воздавая тебе справедливость, скажу почтительно, что в минувшую войну с турками ты немало продырявил и пропорол вражеских животов. Прощай же, наш невольный боевой товарищ. Через день, два тебя заменит нам благородная, быстрая, страшная шашка, благородная дочь знаменитой исторической сабли. Аминь.

— Аминь, — повторяют участники похорон. Печальный обряд окончен, и все расходятся по своим баракам.

Теплая ночь, и на небе пропасть больших шевелящихся звезд...

Но наступает время, когда и травля начальства и спектакли на открытом воздухе теряют всякий интерес и привлекательность. Первый курс уже отправляется в отпуск. Юнкера старшего курса, которым осталось день, два или три до производства, крепко жмут руки своим младшим товарищам, бывшим фараонам, и горячо поздравляют их со вступлением в училищное звание господ обер-офицеров.

— Блюдайте внутреннюю дисциплину, — говорят они уходящим младшим товарищам. — Не распускайте фараонов, глядите на них свысока, следите за их молодцеватым видом и за благородством души, остерегайтесь позволять им хоть тень фамильярности, жучьте их, подтягивайте, ставьте на место, окрикивайте, когда надо. Но завещаю вам: берегитесь цукать их нелепой гоньбой и глупыми, оскорбительными приставаниями. Помните, что Александровское военное училище есть первейшее из всех российских училищ и в нем дисциплина живет не за страх, а за совесть и за добровольное взаимное доверие. Прощайте, друзья, прощайте, и дай бог нам встретиться соратниками на поле брани.

А другие говорили уходящим:

– Никогда и никому не позволяйте унижать звание пехотинца и гордитесь им. Пехота – самый универсальный род оружия. Она передвигается подобно кавалерии, стреляет подобно артиллерии, роет окопы подобно инженерным войскам и, подобно им, строит мосты и понтоны, и решает участь боя главным образом мужество и стойкость пехоты. Прощайте!

Господа обер-офицеры ушли, и как раз на другой день рано утром прибыл из Москвы в хамовнические лагеря в полном составе чудесный оркестр училища.

– Это – подарок начальника училища, – объяснил Дрозд, – лето было уж очень жаркое и лагеря тяжелые.

– Сегодня производство? – спросил нервно один из юнкеров.

– Не знаю. Ровно ничего не знаю, – ответил Дрозд уклончиво.

В семь часов сделали перекличку. Батальонный командир отдал приказание надеть юнкерам парадную форму. В восемь часов юнкеров напоили чаем с булками и сыром, после чего Артабалевский приказал батальону построиться в двухвзводную колонну, оркестр – впереди знаменной роты и скомандовал:

– Шагом марш.

Утро было не жаркое и не пыльное. Быстрый крупный дождь, пролившийся перед зарею, прибил землю: идти будет ловко и нетрудно. Как красиво, резво и вызывающе понеслись кверху звуки знакомого марша «Под двуглавым орлом», радостно было под эту гордую музыку выступать широким, упругим шагом, крепко припечатывая ступни. Милым показалось вдруг огромное Ходынское поле, обильно политое за лагерное время юнкерским потом. Перед беговым ипподромом батальон сделал пятиминутный привал – пройденная верста была как бы той проминкой, которую делают рысаки перед заездом. Все оправились и ту же подтянули ремни, расправили складки, выровняли груди и опять – шагом марш – вступили в первую улицу Москвы под мужественное ликование ярко-медных труб, веселых флейт, меланхолических кларнетов, задумчивых тягучих гобоев, лукавых женственных валторн, задорных маленьких барабанов и глухой могучий темп больших турецких барабанов, оживленных веселыми медными тарелками.

Свернутое знамя высится над колонной своим золотым острием, и, черт побери, нельзя решить, кто теперь красивее из двух: прелестная ли арабская кобыла Кабардинка, вся собранная, вся взволнованная музыкой, играющая каждым нервом, или медный ее всадник, полковник Артабалевский, прирожденный кавалерист, неукротимый и бесстрашный татарин, потомок абреков, отсекавших одним ударом шашки человеческие головы.

Улицы и слева и справа полным-полны москвичами.

– Наши идут. Александровцы. Знаменские.

Изо всех окон свесились вниз милые девичьи головы, женские фигуры в летних ярких ситцевых одеждах. Мальчишки шныряют вокруг оркестра, чуть не влезая замурзанными мордочками в оглушительно рывающий огромный геликон и разевающие рты перед ухающим барабаном. Все военные, попадающие на пути, становятся во фронт и делают честь знамени. Старый, седой отставной генерал, с георгиевскими петлицами, стоя, провожает батальон глазами. В его лице ласковое умиление, и по щекам текут слезы.

Все двести юнкеров, как один человек, одновременно легко и мощно печатают свои шаги с математической точностью и безупречной правильностью. В этом почти выше чем человеческом движении есть страшная сила и суровое самоотречение.

Какая-то пожилая высокая женщина вдруг всплескивает руками и громко восклицает:

– Вот так-то они, красавцы наши, и умирать за нас пойдут...

Святые, чистые, великие слова. Сколько народной глубокой мудрости в них. Вот забрили лоб рекруту. Ведут его под присягу. Бабы плачут, девки плачут, старики кряхтят на завалинках. А забритый пьян, распьян, куражится, задается, шумит, выражается. «Желаю, говорит, пролить кровь за отечество, Марфа. Тащи еще четверть водки». А вот он уже и в солдатах. Обреченный человек, казенный человек, ответчик за весь мир православный, слуга царю и родине. Первое время-то какое тяжелое! С непривычки все домой да домой тянет и учение плохо дается. Ну а там, гляди, обратался, отпрукался, освоился, стал настоящим исправным солдатом, даже ефлетером и младшим ундером. Приехал домой на кратковременный отпуск – узнать нельзя: стройный, ловкий, уверенный, прежнего вахлака и в помине нет. Спрашивают: «Ученьем вас небось много мучают?» А он этак по-солдатски, с кондачка: «Нам ученье чижало, между прочим нича-

го. А убоина у нас каждый день во щак и каша тоже, и мясная порция на спичке выдается, двадцать пять золотников ежедневно. А в государевы дни и в полковой праздник водку нам подносят по целой манерке». Нет, жить в солдатах можно хорошо, надо только быть расторопным, понимающим, усердным и веселым и, главное, правдивым.

А потом, спаси господи, война начнется. Идет солдат на войну, верный присяге. Шинелью из кислой шерсти навкося опоясан, ранец на нем и вещевой мешок со всем его имуществом, ружье на плече, патроны в подсумках.

Идет полк с музыкой – земля под ним дрожит и трясется, идет и бьет повсюду врагов отечества: турок, немцев, поляков, шведов, венгерцев и других инородцев. И все может понять и сделать русский солдат: укрепление соорудить, мост построить, мельницу возвести, пекарню или баню смастерить.

Он же, солдат, и на верную смерть охотником вызваться готов, и ротного своим телом от пули загородить, и товарища раненого на плечах из боя вынести, и офицеру своему под огнем обед притащить, и пленного ратника накормить и обласкать – все ему сподручно.

А забравши под Российское государство великое множество городов и взявши без числа пленных, возвращается солдат домой, простреленный, иногда без руки, иногда без ноги, но с орденом на груди святого великомученика Георгия.

И тут уже солдат весь входит в любимую легенду, в трогательную сказку. Ни в одном другом царстве не окружают личность военного кавалера таким наивным и милым уважением, как в России. Солдат из топора щи мясные варит, Петра Великого на чердаке от разбойников спасает, черта в карты обыгрывает, выгоняет привидения из домов, все улаживает, всех примиряет и везде является желанным и полезным гостем, кумом на родине, сватом на свадьбах.

«Странно, – думает Александров, – вот мы учились уставам, тактике, фортификации, законоведению, топографии, химии, механике, иностранным языкам. А, между прочим, нам ни одного слова не сказали о том, чему мы будем учить солдат, кроме ружейных приемов и строя. Каким языком я буду говорить с молодым солдатом. И как я буду обращаться с каждым из них по отдельности. Разве я знаю хоть что-нибудь об этом неведомом, непонятном существе. Что мне делать, чтобы приобрести его уважение, любовь, доверие? Через месяц я приеду в свой полк, в такую-то роту, и меня сразу определят командовать такой-то полуротой или таким-то взводом на правах и обязанностях ближайшего прямого начальника. Но что я знаю о солдате, господи боже, я о нем решительно ничего не знаю. Он бесконечно темен для меня.

В училище меня учили, как командовать солдатом, но совсем не показали, как с ним разговаривать. Ну, я понимаю – атака. Враг впереди и близко. «Ребята, вся Россия на нас смотрит, победим или умрем». Выхватываю шашку из ножен, потрясаю ею в воздухе. «За мной, богатыри. Уррррааа...»

Да, это просто. Это героизм. Это даже вот сейчас захватывает дыхание и холодом вдохновения бежит по телу. О, это я сумею сделать великолепно. Но ежедневные будни. Ежедневное воспитание, воспитание дикого неуча, часто не умеющего ни читать, ни писать. Как я к этому важному делу подойду, когда специально военных знаний у меня только на чуточку больше, чем у моего одноклассника, молодого солдата, которых у него совсем нет, и, однако, он взрослый человек в сравнении со мною, тепличным дитятей. Он умеет делать все: пахать, боронить, сеять, косить, жать, ухаживать за лошадей, рубить дрова и так без конца... Неужели я осмелюсь отдать все его воспитание в руки дядек, унтер-офицеров и фельдфебелей, которые с ним все-таки родня и свой человек?

Нет, если бы я был правительством, или военным министром, или начальником генерального штаба, я бы распорядился: кончил юноша кадетский корпус – марш в полк рядовым. Носи портянки, ешь грубую солдатскую пищу, спи на нарах, вставай в шесть утра, мой полы и окна в казармах, учи солдат и учись от солдат, пройди весь стаж от рядового до дядьки, до взводного, до ефрейтора, до унтер-офицера, до артельщика, до каптенармуса, до помощника фельдфебеля, попотей, потрудись, белоручка, подравняйся с мужиком, а через год иди в военное училище, пройди двухгодичный курс и иди в тот же полк обер-офицером.

Не хочешь? – не нужно – иди в чиновники или в писаря. Пусть те, у кого кишка слаба и нервы чувствительны, уходят к черту – останется крепкая военная среда».

Александров вздрагивает и приходит в себя от мечтаний. Жданов толкает его локтем в бок и бурчит:

– Не разравнивай рядов.

Батальон уже прошел Никитским бульваром и идет Арбатской площадью. До Знаменки два шага. Оркестр восторженно играет марш Буланже. Батальон торжественно входит на училищный плац и выстраивается поротно в две шеренги.

– Смирно, – командует Артабалевский, соскакивая с лошади. – Под знамя. Слушай на караул.

Ладно брякают ружья. Знамя, в сопровождении знаменщика и адъютанта, уносится на квартиру начальника училища. Генерал Анчутин выходит перед батальоном.

– Здравствуйте, юнкера, – беззвучно, но понятно шепчут его губы.

– Здравия желаем, ваше превосходительство, – радостно и громко отвечает черная молодежь.

Начальник училища передает быстро подошедшему Артабалевскому большой белый, блестящий картон. Берди-Паша отдает честь и начинает громко читать среди гулкой тишины:

– «Его императорское величество государь и самодержец всея России высочайше соизволил начертать следующие милостивые слова».

Юнкера вытягиваются и расширяют ноздри.

– «Поздравляю моих славных юнкеров с производством в первый обер-офицерский чин. Желаю счастья. Уверен в вашей будущей достойной и безупречной службе престолу и отечеству».

На подлинном начертано – *Александр* ».

Могучим голосом восклицает Артабалевский:

– Ура его императорскому величеству. Ура!

– Ура! – оглушительно кричат юнкера.

– Ура! – отчаянно кричит Александров и растроганно думает: «А ведь что ни говори, а Берди-Паша все-таки молодчина».

Все бегут в гимнастическую залу, где уже дожидается юнкеров офицерское обмундирование.

Там же ротные командиры объявляют, что спустя трое суток господа офицеры должны явиться в канцелярию училища на предмет получения прогонных денег. В конце же августа каждый из них обязан прибыть в свою часть. Станным кажется Александрову, что ни у одного из юных подпоручиков нет желания проститься со своими бывшими командирами и курсовыми офицерами, зато и у тех как будто нет такого намерения. Удивленный этим, Александров идет через весь плац и звонится на квартиру, занимаемую Дроздом, и спрашивает долговязого денщика, полуотворившего дверь:

– Можно ли видеть господина капитана?

– Никак нет, ваше благородие, – равнодушно отвечает тот, – только что выехали за город. Александров пожимает плечами.

Глава XXXI Напутствие

Форма одежды визитная, она же – бальная: темно-зеленоватый, длинный, ниже колен, сюртук, брюки навыпуск, с туго натянутыми стрипками, на плечах – золотые эполеты... какая красота. Но при такой форме необходимо, по уставу, надевать сверху летнее серое пальто, а жара стоит неопишная, все тело и лицо – в поту. Суконная, еще не размякшая, не разносившаяся материя давит на жестких углах, трет ворсом шею и жмет при каждом движении. Но зато какой внушительный, победоносный воинский вид!

Первым долгом необходимо пойти на Тверскую улицу и прогуляться мимо генерал-губернаторского дворца, где по обеим сторонам подъезда стоят, как львы, на ефрейторском карауле два великана гренадера. Они еще издали встречают Александрова готовно растарашенными глазами и, за четыре шага, одновременно, прием в прием, такт в такт, звук в звук, великолепно отдают ему винтовками честь по-ефрейторски. Он же, держа руку под козырек и проходя с важной неторопливостью, смотрит каждому по очереди в лицо взором гордым и милостивым. И кажется ему в этот миг, что бронзовый генерал Скобелев, сидящий на вздыбленном коне посредине Тверской площади, тихо произносит:

– Эх. Такого бы мне славного обер-офицера в мою железную дивизию, да на войну.

Но это наслаждение слишком коротко, надо его повторить. Александров идет в кондитерскую Филиппова, съедает пирожок с вареньем и возвращается только что пройденным путем, мимо тех же чудесных гренадеров. И на этот раз он ясно видит, что они, отдавая честь, не могут удержать на своих лицах добрых улыбок: приязни и поощрения.

А теперь – к матери. Ему стыдно и радостно видеть, как она то смеется, то плачет и совсем не трогает персикового варенья на имбире. «Ведь подумать – Алешенька, друг мой, в животе ты у меня был, и вдруг какой настоящий офицер, с усами и саблей». И тут же сквозь слезы она вспоминает старые-престарые песни об офицерах, созданные куда раньше Севастопольской кампании.

Офицерик просто душка,
Только ростом не велик.
Ах, усы его и шпоры,
Вы с ума меня свели.

– А то еще, Алеша, один куплет. Мы его под grosфатер пели – был такой старинный модный танец:

Вот за офицером
Бежит мамзель,
Ее вся цель,
Чтоб он в нее влюбился,
Чтоб он на ней женился.

Но офицер
Ее не замечает
И только удирает
Во весь карьер.

И опять она обнимает Алешину голову и мочит ее старческими слезами.

– Поедем завтра в Троице-Сергиевскую лавру, Алеша. Закажем молебен Угоднику.

Через три дня, в десять часов пополудни, Александров входит в училищную канцелярию, с трудом отыскав ее в лабиринтах белого здания. Седой казначей выдавал прогонные деньги молодым подпоручикам, длинным гусем ожидающим своей очереди. Расчет производился на старинный образец: хотя теперь все губернские и уездные большие города давно уже были объединены друг с другом железной дорогой, но прогоны платились, как за почтовую езду, по три лошади на персону с надбавкой на харчи, разница между почтой и вагоном давала довольно большую сумму. Вероятно, это был чей-то замаскированный подарок молодым подпоручикам.

Выдав офицеру деньги и попросив его расписаться, казначей говорил каждому:

– Его превосходительство, господин начальник училища, просит зайти к нему на квартиру ровно в час. Он имеет нечто сказать господам офицерам, но, повторяю со слов генерала, что это не приказание, а предложение. Счастливого пути-с. Благодарю покорно.

Александров пришел в училище натошак, и теперь ему хватило времени, чтобы сбегать на Арбатскую площадь и там не торопясь закусить. Когда же он вернулся и подошел к помещению, занимаемому генералом Анчутиным, то печаль и стыд охватили его. Из двухсот приглашенных молодых офицеров не было и половины.

– Что же другие? – спросил он в недоумении. Но ему никто не ответил. Кто-то поглядел на часы и сказал:

– Еще пять минут осталось. Подождем, что ли.

Но в эту минуту дверь широко раскрылась, и денщик в мундире Ростовского полка, в белых лайковых перчатках сказал:

– Пожалуйста, ваши благородия. Его превосходительство изволят вас ожидать в гостинной комнате. Соболаговолите следовать за мною.

Офицеры стали вслед за ним подыматься во второй этаж, немного смущенные малым ко-

личеством, немного подавленные всегдашней, привычной робостью перед каменным изваянием.

Генерал принял их стоя, вытянутый во весь свой громадный рост. Гостиная его была пуста и проста, как келия схимника. Украшали ее только большие, развешанные по стенам портреты Тотлебена, Корнилова, Скобелева, Радецкого, Тер-Гукасова, Кауфмана и Черняева, все с личными надписями.

Анчутин холодно и спокойно оглядел бывших юнкеров и начал говорить (Александров сразу схватил, что сиплый его голос очень походит на голос коршевского артиста Рощина-Инсарова, которого он считал величайшим актером в мире).

– Господа офицера, – сказал Анчутин, – очень скоро вы разъедетесь по своим полкам. Начнете новую, далеко не легкую жизнь. Обыкновенно в полку в мирное время бывает не менее семидесяти пяти господ офицеров – большое, очень большое общество. Но уже давно известно, что всюду, где большое количество людей долго занято одним и тем же делом, где интересы общие, где все разговоры уже переговорены, где конец занимательности и начало равнодушной скуки, как, например, на кораблях в кругосветном рейсе, в полках, в монастырях, в тюрьмах, в дальних экспедициях и так далее, и так далее, – там, увы, неизбежно заводится самый отвратительный грибок – сплетня, борьба с которым необычайно трудна и даже невозможна. Так вот вам мой единственный рецепт против этой гнусной тли.

Когда придет к тебе товарищ и скажет: «А вот я вам какую сногшибательную новость расскажу про товарища Х.» – то ты спроси его: «А вы отважитесь рассказать эту новость в глаза этого самого господина?» И если он ответит: «Ах нет, этого вы ему, пожалуйста, не передавайте, это секрет» – тогда громко и ясно ответьте ему: «Потрудитесь эту новость оставить при себе. Я не хочу ее слушать».

Закончив это короткое напутствие, Анчутин сказал сиплым, но тяжелым, как железо, голосом:

– Вы свободны, господа офицеры. Доброго пути и хорошей службы. Прощайте.

Господа офицеры поневоле отвесили ему ермоловские глубокие поклоны и вышли на цыпочках.

На воздухе ни один из них не сказал другому ни слова, но завет Анчутина остался навсегда в их умах с такой твердостью, как будто он вырезан алмазом по сердолику.

Фердинанд

Новогодний рассказ

В моей чересчур длинной жизни я был участником и свидетелем таких явлений и курьезных приключений, о которых теперь побаиваюсь и рассказывать: до такой степени они кажутся издали неправдоподобными. А ведь русский читатель, из всех читателей в мире, наиболее чуток на ложь, на вранье или даже на простое преувеличение.

Ну, кто мне поверит, например, что летом 1896 года, в южном Полесье, в деревне Казимирке, я видел град величиною приблизительно в кулачок двенадцатилетнего мальчугана? Я очень жалел тогда, что у меня не было под руками фотографического аппарата, чтобы снять эти огромные градины рядом с каким-нибудь простым предметом домашнего обихода: с папиросной или спичечной коробкой, с малой бутылкой из-под казенного вина, с обыкновенным чайным стаканом и так далее... Этот град почти мгновенно выбил все стекла и ставни в старом помещицком доме и обезлиствил всю плантацию тутовых деревьев. Он убил в поле мальчика-подпаса и несколько десятков ягнят, а крупному скоту причинил множество тяжких ушибов.

Зимой, не помню какого года, но твердо знаю – в день мессинского землетрясения, – мы вышли, я и Арапов, управляющий маленьким имением покойного Ф. Д. Батюшкова, – ранним нехолодным утром потравить зайцев. Мы перешли через холмистое урочище, называвшееся «Попов пуп», и искали зайцев в полях и коречках, принадлежавших тристенским мужикам.

Следы были неясны, а собаки (почти все – дворянжки) – вялы и небрежны. И мы обое шли как-то нехотя. Снег нам казался скучно-желтым.

И вдруг Арапов воскликнул:

– Александр Иванович! Смотрите! Смотрите же!

Он был холодно-смелый человек. Он участвовал в Цусимском погроме, будучи матросом на транспорте капитана Куроша, перенес крушение, спасся вплавь, пробыл почти год в японском плену, где держал себя с большим достоинством.

Меня удивило, почти испугало выражение ужаса, которое я услышал в его голосе:

– Да смотрите же на небо.

А на зимнем скучном небе сияли радуги. Не радуга, а именно радуги. Они шли сводчатым, полукруглым коридором от севера на юг и с каждой секундой становились все ярче и ярче. Собачонки завывали, да и мы не знали, что делать, что говорить... А потом эта семицветная аркада стала постепенно тухнуть... и вскоре пропала.

Лениво и беззвучно повалил снег лохматыми хлопьями...

Еще видел я однажды черную молнию. Это было в окрестностях села Курши, Касимовского уезда.

После нестерпимо знойного и душного дня, после совсем неудачной охоты вечерняя гроза застала меня на большом болоте. Это была одна из тех, длящихся беспрерывно, от заката до восхода, гроз, которые бывают в так называемые «воробьиные ночи». Рассказывают, что после таких ночей находят на полях и на дорогах множество убитых или ошеломленных воробьев. Верно ли это – я не знаю; никогда не пришлось проверить.

Больше часа я шел до дома. Была уже ночь, но дорогу я легко находил, потому что, ни на секунду не переставая и сливаясь одна с другой, полыхали во все южное небо, точно дышали, точно сжимались и расширялись дальние голубые молнии. И так же непрерывно рокотал где-то под землею сдержанно глухою угрозой далекий гром. И вдруг совсем близ меня ослепительно разорвалось небо черными зигзагами, и оглушая трахнул сухой гром. Это странное явление повторилось еще пять или шесть раз, вселяя в меня дикий ужас.

Повторяю: на колыхающейся бледно-голубой завесе дальних молний эти молнии были черные, хотя и ослепляли. Конечно, это был оптический обман, объяснить который я не умею. Старые лесники, живущие в низинах, подтверждали мое наблюдение...

Я спросил бы еще: многие ли видели волка, бегущего на свободе вверх ногами, вниз головой? Я думаю, что не очень многие. Мне это пришлось увидеть всего лишь раз в жизни.

Я тогда обмерял для нескольких волостей Зарайского уезда площади крестьянских лесов. В каждой деревне ко мне прикомандировывали нескольких мужиков. Они таскали за мною цепь, треногу и аппарат, втыкали вешки, куда я им указывал, обрубали мешающие ветки и так далее. Работа моя была самая пустая: обход площади. Ее легко можно было бы делать простой компасной съемкой, и мне даже было стыдно, что за неимением компаса я работал с таким тонким, прекрасным инструментом, как теодолит, да еще изделия самого господина Цейса.

Стояла ясная, холодноватая и в лесах такая ароматная осень.

Выдался однажды прелестный золотой денечек. Я расставлял вешки по одной стороне молодого липового леса, который почему-то назывался «Зиньтабры». Вдруг мои мужики закричали:

– Волк! волк!..

Они показывали пальцами куда-то далеко, далеко и неопределенно, туда, где лежали желтые и синие осенние нивы и изредка торчали кустики. Я с трудом увидел, наконец, крошечное пятнышко, которое медленно двигалось по горизонту. Мне все-таки удалось поймать его в визирную трубку довольно скоро. Удивительное зрелище: матерый, бесшей, толстохвостый, бурый волчище тряской, собачьей рысью бежит по воздуху вниз головой, ногами вверх... Небо у него под головою, а земля упирается ему в ноги. До него было версты, пожалуй, три. Но чудесный теодолит приблизил его сажень на сто. Поворачивая винтик визира, я успел показать волка мужикам. Они дивились, смеялись и хлопали себя ладонями по ляжкам.

Я мог бы без конца говорить о моих необыкновенных встречах, приключениях и наблюдениях: о доменных печах и о шахтах почти в версту глубиной, об аэропланах и водолазных скафандрах, о необыкновенном уме животных и об этом загадочном существе, человеке, размах которого так велик, что порою падает ниже гиены, а порою взлетает на высоту почти божественную. Но сегодня, перелистывая страницы моей памяти, я в них ничего не нашел новогоднего, кроме одного маленького рассказа. В нем, правда, нет ничего волшебного, необычайного,

сверхъестественного или трогательного.

В нем одно достоинство: то, о чем я в нем говорю, действительно произошло под новый 1898 год в городе Киеве.

Я в тот год работал в газете «Жизнь и искусство». Писал повести и рассказы. Моя изящная литература была в сущности для этой газеты, которая медленно, но верно умирала, чем-то вроде камфары или соляного раствора. Гонорара мне давно уже не платили. С полгода назад редактор подал мне светлую мысль:

– Разыщите где-нибудь объявление. Плату за него вы возьмете себе, а мы такую же сумму спишем с нашего долга.

Раза три эта веселая комбинация мне удалась. Потом пошло хуже. Клиенты мои стали предлагать очень низкие цены, да при этом еще платили не деньгами, а своим товаром, натурой. И вот что случилось: я щеголял в шикарном блестящем цилиндре, между тем как мои ботинки просили каши, или раздавал всем своим знакомым в подарок патентованные зубные щетки или несравненную пудру «Трефль Инкарна» в кокетливых коробочках. Оскорбительнее всего был тот случай, когда похоронное бюро предложило мне за объявление кредит в своем торговом доме. Кому я мог бы предложить такой сюрприз?

Редакция уже давно была должна мне около сорока рублей (считая по две копейки за строку). Почему я не уходил оттуда? не понимаю! Может быть, из рыцарского чувства, может быть, просто по упрямству, а пожалуй, от лени.

На встречу Нового года я был заранее приглашен знакомым нотариусом с Подола. Я часто бывал у него, запросто, по вечерам. Учил его детей Юру, Илюшу и Сашу фехтованию на рапирах, а также охотно дрессировал их превосходного белого пуделя Мухтара. (Я никогда потом в жизни не встречал другой собаки, которая бы с такой жадностью ловила уроки.) Нотариус, бывший правовед, угощал меня плохенькой марсалой и читал мне вслух французские стихи, которых я совсем не понимал.

Но как пойдешь под Новый год в большой, ярко освещенный дом, где мужчины во фраках, где женщины прекрасны и блестящи, где тебе поневоле кажется, что самое пристальное внимание всего общества обращено исключительно на протертые и заплатанные места твоего жалкого туалета, где сидишь за столом, спрятав поглубже руки и ноги.

Я написал вежливый отказ; сам снес конверт на Подол и сам просунул его в дверь нотариальной конторы.

Весь день я ходил, посвистывал и утешался отрицательной философией:

– Новый год. Что за предрассудок? Чему радоваться? Чего ждать? Все равно каждый человек с момента рождения уже приговорен к смертной казни. Почему же все люди не сходят с ума при мысли об этой обреченности? Не одно ли и то же ждать рокового момента восемьдесят лет или два дня? В бесконечности времени и оба срока одинаково ничтожны.

Однако на всякий случай я все-таки пошел на разведки в редакцию. Бывают же чудеса на свете. Хоть бы признаться у кого-нибудь двугривенный.

В редакции никого не было. В конторе светился огонь. Я постучал.

В конторе за зеленым столом сидела младшая дочка редактора, лет пять назад просто Тиночка, у которой я тогда в играх служил лошадью, иногда беговой, иногда скаковой, а теперь – милая пятнадцатилетняя толстушка Валентина Митрофановна.

– Ах, денег бы мне, прелестнейшая из барышень. Новый год идет.

– Я бы рада была, но, право же, в кассе ни копейки.

– Тиночка, поищите в ящике хорошенько. Может быть, какая-нибудь мелочь на мое счастье найдется?

Она вспыхнула до слез.

– Неужели вы мне не верите?

И выдвинула ящик.

– Смотрите сами.

Я посмотрел и увидел – о чудо! – целый десяток загородных семикопеечных марок!

– О, добрая Тина. Марки – это деньги. Поделитесь ими со мной.

– Вы смеетесь надо мною. Это нечестно.

– Милая, очаровательная Тина, я серьезен, как Дон-Кихот перед битвой. За каждую из этих марок я получу в любой мелочной лавке по шести копеек. Дайте, сколько вам не жаль.

– Вы человек без совести! – сказала Тина с горьким упреком. – А еще я вас считала за друга. Берите все.

Я от души пожелал ей гору счастья в будущем году и побежал в ближайшую лавчонку.

Вечером я пообедал, как Лукул, в «Злой яме». Так назывался подземный трактирчик на углу Крещатика и Фундуклеевской улицы. В этом кабачке, сидя за столом и задрав голову кверху, посетители могли при старании видеть лишь узенький кусочек высокого тротуара и бегущие по нему сапоги, башмаки и туфельки. Здесь даже и летними днями горели лампы. Посетителей в этот день было очень мало, да и те скоро разошлись. Остались только я да еще какой-то неизвестный мне человек с видом печального какаду, сидевший рядом со мною.

Часам к одиннадцати толстый хозяин кабачка присел за наш стол и даже пригласил сесть своего жирного мопса – почесть, которую он оказывал только самым любимым посетителям. Подсела также его буфетчица – огромная немка Лиза, которую все мы звали «Пферд»⁹, на что она совсем не обижалась. Хозяин, Нагурный, потчевал нас пуншем. Он познакомил меня с унылым соседом. Он был хозяином маленького паноптикума, помещавшегося в этом же доме, в первом этаже. Тоскливо тянулось время, а когда оно подошло к полуночи и часы зашипели, я достал блокнот и написал на нем, по старому обычаю: «Господи, благослови венец лета благодати твоя на 1898 год».

Нужно было бы еще сюда приписать какое-нибудь заветное желание, но я не нашел ни одного. Оттого, вероятно, и весь этот год у меня был такой прескверный.

Выходили мы вместе с какаду. Когда мы вылезли из подвала, он сказал мне:

– Пойдем на мой паноптикум. Я буду вас угощать с венгерским вином. – Бог его знает, какой он был нации.

Я согласился. Мы поднялись на несколько ступеней. Он открыл дверь ключом и засветил огарок свечи.

– Идите за мной. Я сейчас зажгу лампу.

Я, следом за ним, вошел в очень большую темную залу. Скучный свет огарка метался и прыгал по стенам, и какие-то призраки теней дрожали, качались и падали между полом и потолком. Мне стало томительно скучно. «Зачем я сюда полез, в самом деле?»

Зажглась лампа-молния, и я увидел себя в обыкновенном музее восковых фигур. Лежала мертвая, невдыхающая Клеопатра, и тонкая змейка неподвижно уткнула тонкую голову в ее красный сосок. Недвижимо окаменела в беге огромная волосатая горилла, держа на плече точно окаменевшую полуголую женщину. Со всех стен мертво таранились на нас из-под стеклянных колпаков знаменитые люди, убийцы, императоры, политики, все сплюснутые, скошеннные набок от жары и небрежной перевозки. Какие-то банки с уродами на столах. Мне стало неприятно, почти жутко, пожалуй, я лучше чувствовал бы себя в морге. В морге все ясно: «Вот лежат бесчувственные предметы, бывшие раньше людьми». А тут как будто бы заснули странные мертвые существа, которых каждый день пробуждают к мертвой механической жизни. А вдруг они видят сны?

Хозяин пришел с двумя стаканами и поставил на стекло витрины.

– Хрозит! Хох! Нейяр!¹⁰ – воскликнул он громко, и какие-то шелестящие голоса в ответ ему зашуршали по залу. Я чокнулся с ним. Вино было в самом деле превосходное. Но больше одного глотка я не мог сделать. А вдруг оно из древнего саркофага?

– А теперь, – сказал хозяин, – пойдемте. Я буду вам показать самый замечательный... О, это гвоздь моего музея, это его центр, это настоящий хозяин паноптикума. Это сам Фердинанд.

Ведя меня, он продолжал говорить:

– Он мудр. Он знает все: и прошлое и будущее. Он работал еще с моим дедушкой в музее знаменитого Барнум. Сколько ему лет? Вы скажете сто, двести. А я скажу, что, может быть, и две и четыре тысячи. О! Это Фердинанд!

⁹ Лошадь (от нем. pferd).

¹⁰ Ваше здоровье! Ура! С Новым годом! (нем.)

Он присел на корточки перед большим ящиком, окутанным байковыми одеялами, и стал бережно разворачивать материю. Я заглянул в ящик. Сначала мне показался там какой-то масляный, матовый, темный блеск, потом зашевелилось что-то живое. Наконец из ящика вытянулась узкая плоская длинная голова.

– Змея! – воскликнул я с отвращением.

– Змея! – передразнил меня хозяин. – Есть много людей, но король только один. Есть много змей, но выше их всех – боа констриктор. Это Фердинанд. И больше не надо никаких слов! О мой сынока, о мейн гросс-папа, мон пети и жоли!¹¹

– Молодой человек, – продолжал он, – вы видите на этом стуле клетку с кроликом. Это новогодний подарок моему сокровищу, моему красавцу Фердинанду. Сейчас я буду его кормить. Вы увидите самое трогательное в мире зрелище.

Вид огорченного какаду совсем сошел с лица моего собеседника, глаза его были полны нежной ласки. Мне большого труда стоило отказаться от его любезности. «А что, – опасливо думал я, – вдруг ему придет в голову угостить своего божественного удава ради праздника лакомым блюдом из молодого человека двадцати восьми лет?» Вот уж где следы преступления будут надежно спрятаны навеки.

Но зачем дурно думать о людях. Этот сумасшедший хозяин самым учтивым образом проводил меня не только до дверей, но даже и до улицы.

На прощанье он крепко пожал и потряс мою руку.

– Заходите, мой друг, на мой паноптикум хоть каждый день. Вход для вас всегда будет без плата. И если приведете с собой вашу красивую возлюбленную, то и ей тоже одна контрамарка.

Мы простились. Но, – силы небесные, – с какой радостью я глядел на ночное небо, и на свежий снег, и на уличные огни. И с каким наслаждением вдыхал прекрасный, сладкий, чуть морозный воздух.

Потерянное сердце

Из Гатчинской авиационной школы вышло очень много превосходных летчиков, отличных инструкторов и отважных бойцов за родину.

И вместе с тем вряд ли можно было найти на всем пространстве неизмеримой Российской империи аэродром, менее приспособленный для целей авиации и более богатый несчастными случаями и человеческими жертвами. Причины этих печальных явлений толковались различно. Молодежь летчицкая склонна была валить вину на ту небольшую рощицу, которая росла испокон десятилетий посредине учебного поля и нередко мешала свободному движению аппарата, только что набирающего высоту и скорость, отчего и происходили роковые падения. Гатчинский аэродром простирался как раз между Павловским старым дворцом и Балтийским вокзалом. Из западных окон дворца роща была очень хорошо видна. Рассказывали, что этот кусочек пейзажа издавна любила покойная государыня Мария Феодоровна, и потому будто бы дворцовый комендант препятствовал снесению досадительной рощи, несмотря на то что государыня уже более десяти лет не посещала Гатчины.

Конечно, молодежь могла немного ошибаться. Ведь известно, что всех начинающих велосипедистов, летчиков, конькобежцев и прочих спортсменов всегда неудержимо тянет к препятствиям, которые очень легко возможно было бы обойти. Опытные, дальновидные начальники школы судили иначе: они принимали во внимание топографическое положение Гатчины с окружающими ее болотами и лесами, с близостью Финского залива и Дудергофской горы и, исходя из этих данных, объясняли капризность, переменчивость и внезапность местных ветров. В виде примера они приводили спортивный перелет из Петербурга в Москву штатских авиаторов: Уточкина, Лерхе, Кузьминского, Васильева и еще каких-то трех. Все они сели самым жестоким образом на ничтожных Валдайских возвышенностях, поломав вдребезги свои аппараты. Продолжать полет мог только Васильев, и то лишь потому, что Уточкин, сам с разбитым коленом, отдал ему великодушно все запасные части, помог их приладить и лично запустил мотор...

Трагическое, возвышенное и гордое впечатление производил тот угол на гатчинском клад-

¹¹ О мой дедушка, мой маленький и красивый! (нем. и франц.)

бище, где беспокойные, отважные летчики находили свой глубокий вечный сон. Вместо памятников над ними водружались пропеллеры. Издали это кладбище авиаторов походило на высокий, беспорядочно воткнутый частокол, но, подходя к могиле ближе, каждый испытывал волнующее высокое чувство. Казалось, что вот с необычайной высоты упала прекрасная мощная птица и, разбившись о землю, вся вошла в нее. И только одно стройное крыло подымается высоко и прямо к далекому небу и еще вздрагивает от силы прерванного полета.

Жуток и величествен был обычай похоронных проводов убившегося товарища. На всем пути в церковь и потом на кладбище его сопровождала, кружась высоко над ним, летучая эскадра из всех наличных летчиков школы, и рев аэропланов заглушал идущее к небу последнее скорбное моление: «Святой боже, святой крепкий, святой бессмертный, помилуй нас».

Суров был и, пожалуй, даже немного жесток другой неписанный добровольный товарищеский обычай. Если летчику, по несчастному случаю или по неловкой ошибке, случалось угробить аэроплан, то на это крушение большого внимания никто не обращал. Если оно происходило далеко от аэродрома, то летчик телефонировал в школу, а если близко, то его падение бывало видно с поля. Очень быстро приезжали авиационные солдаты и на телегах увозили остатки катастрофы. Но если угробливался или опасно искалечивался сам летчик, то его везли в госпиталь. И в тот же час, хотя бы его труп лежал еще тут же, у всех на виду, на авиационном поле, все летчики, находящиеся на службе, выдвигали из ангаров или брали с поля готовые аппараты и устремлялись ввысь. Опытные летуны пробовали выполнить задачу, заданную на сегодня несчастному собрату, другие старались повесить собственные рекорды. Тщетно было бы искать происхождения такого вызова судьбе в параграфах военно-авиационного устава. Это был неписанный закон, священный обычай, словесный «адат» мусульман, выработанный инстинктом, необходимостью и опытом. Летчик всегда должен оставаться спокойным, даже тогда, когда лицо его обледенит близкое дыхание смерти. «Вот убился твой товарищ, однокашник и друг. Его прекрасное молодое тело, вмещавшее столько божественных возможностей, еще хранит человеческую теплоту, но глаза уже не видят, уши не слышат, мысль погасла и душа отлетела бог весть куда. Крепись, летчик! Слезы прольешь вечером. Дыши ровно. Не давай сердцу биться. Потеряешь сердце – потеряешь жизнь, честь и славу. Руки на рукоятках. Ноги на педалях. Взревел мотор, сотрясая громадный аппарат. Вперед и выше! Прощай, товарищ! Бьет в лицо ветер, уходит глубоко из-под ног темная земля. Выше! Выше, летчик!»

В то время, незадолго до войны, и в первые годы войны чрезвычайно, даже чрезмерно многие молодые люди жадно стремились попасть в военную авиацию. Поводов было много: красивая форма, хорошее жалованье, исключительное положение, отблеск героизма, ласковые взгляды женщин, служба, казавшаяся издали необременительной и очень веселой и легкой. Реже других попадали в авиационные школы люди настоящего призвания, прирожденные люди-птицы, восторженно мечтающие о терпких и сладких радостях летания в воздухе, те люди, о которых Пушкин говорил:

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья,
Бессмертья, может быть, залог!

Но надо сказать, что эти разверзатели пространств, эти летуны милостью божиею удивительно редко встречаются в природе, и к тому же они совсем лишены великих даров назойливости, попрошайничества и втирательства через протекции. Но и протекции все равно не помогали. Новичков принимали в авиационную школу, протискивая их через густое сито. Будущий летчик должен был обладать: совершенным и несокрушимым здоровьем; большой емкостью легких; способностью быстро ориентироваться как на земле, так и в воздухе; верным умением находить и держать равновесие; острым зрением, без намека на дальтонизм; безукоризненным слухом, физической силой и, наконец, сердцем, работающим при всяких положениях с холодной, неизменной точностью астрономического хронометра. Про храбрость, смелость, отвагу, дерзость, неустрашимость и про прочие сверхчеловеческие душевные качества летчика в этом летающем мире никогда или почти никогда не говорилось. Да и зачем? Разве эти, столь редкие ныне, качества не входили сами по себе в долг и обиход военного авиатора?.. Хвалили Нестерова, впервые

сделавшего мертвую петлю. Хвалили Казакова, снизившего восемнадцать вражеских аэропланов. Хвалили, но не удивлялись: удивление так близко к ротозейству!

Не мудрено, что при столь строгом испытании и при такой суровой дисциплине наибольшая часть неспособных, ненужных, никуда не годящихся кандидатов в летчики отваливалась вскоре сама собою, как шлак или мусор. Оставался безукоризненный, надежный отбор. Но даже среди этих избранных, при первых опытах полета, находились еще неудачники, люди смелые, ловкие, влюбленные в авиацию, но – увы! – лишенные какого-то из великих даров приближения к небу. Те уходили молча, с горестью в душе, и старые летчики провожали их с грубоватым и дружеским сожалением, хотя иных из них приходилось провожать только до кладбища.

Овладевал, между прочим, не только молодыми, но и опытными, закаленными знаменитыми летчиками особый трудно объяснимый и неизлечимый, внезапный недуг, который назывался «потерей сердца» и о котором ни один из авиаторов не позволил бы себе отозваться насмешливо или легкомысленно.

Здесь под понятием сердца не надо предполагать мощный мускул на левой стороне человеческой груди, который самоотверженно и послушно многие годы нагнетает кровь во все закоулки нашего тела. Нет! Здесь подразумевается символ психологический, моральный. Потерять сердце – это для летчика значит потерять божественную свободу разгуливать в небесном пространстве по своей воле на хрупком аппарате, пронизывать облака, спокойно встречать дождь, снег, ураган и молнии, ничуть не теряясь оттого, что ты совершенно не знаешь: летишь ли ты во тьме, на юг или на запад, вверх или вниз.

Одно из поразительнейших явлений – это потеря сердца. Ее знают акробаты, всадники и лошади, борцы, боксеры, бретеры и великие артисты. Эта странная болезнь постигает свою жертву без всяких последовательных предупреждений. Она является внезапно, и причин ее не сыщешь.

Вот так же неожиданно потерял сердце на Гатчинском аэродроме славный авиатор и отличный инструктор Феденька Юрков (ударение на о), о котором в наивной гатчинской авиационной звериаде пелось:

Кто хоть пьян, но в бой готов?
Это Феденька Юрков...
Химия, химия,
Сугубая химия...

И т. д.

Поступил он в авиацию не очень рано, лет двадцати семи-восьми, из кавалерии. Надо сказать, что кавалеристам легче, чем простым смертным, давалась несложная, но все-таки требующая присутствия духа наука управления авионом, ибо работа над лошадьёю поводьями и шенкелями имеет много общего с маневрами летчиков. Служил он раньше хотя и не в гвардейском, а в армейском полку, но полк от времен седой старины был покрыт исторической славой.

Замечателен он был еще тем, что в нем, как и в двух других кавалерийских полках, всему составу господ офицеров и всем вахмистрам полагалось быть холостыми, и на это крутое правило никогда не было ни исключений, ни поблажек. Что-то было в милом Феденьке Юркове от легендарных героев-кавалеристов 1812 года – от Милорадовича, от Бурцова, еры, забияки, от Дениса Давыдова, от Сес-лавина: хриплый командный голос с приятной сипловатостью, походка немного раскорякою, внешняя грубость и внутренняя правдивая доброта и, наконец, блестящая лихость в боевых делах. Вся русская военная авиация знала и с улыбкой вспоминала о его забавном и опасном приключении в начале войны на Западном фронте. Ему была поручена воздушная разведка. Штабу наверняка было известно, что немцы находятся где-то довольно близко, верстах в тридцати – сорока, но в каком направлении – никто не ведал.

Юрков быстро поднялся в воздух, имея позади себя наблюдателя с бомбой, знавшего прекрасно немецкий язык, бывшего ученика петербургской Петершуле, славного и сильного малого и из «русских распрорусского».

Погода в верхних слоях была моросливая, с густым тяжелым туманом. Пилот вскоре потерял намеченный путь, перестал ориентироваться и решил приземлиться, чтобы опознаться в местности. Судьба и начавшийся ветерок руководили им. Он спустился как раз на широкую и

теперь безлюдную площадь города Гумбинена, как раз напротив опрятного кабачка, тонувшего во вьющейся зелени. Город, несмотря на рев спускавшегося авиона, продолжал безмолвствовать, как в сказке о спящей царевне. Вероятно, звуки мотора были здесь обычным явлением. Из кабачка пахло кофеем и жареной колбасой. У Юркова сразу созрел план действий.

– Надо узнать, какой это город, и вытянуть, какие удастся, сведения. Итак, слушайте, Шульц: я – лейтенант кайзерской авиации, вы – мой унтер-офицер. Я ранен в горло и потому говорю совсем невнятно. Я буду хрипеть и сопеть. Так мне легче будет маскировать мое незнание немецкого языка, а берлинский жаргон я умею ловко передразнивать. Немецкие деньги у вас. Дайте сюда и идемте фриштыкать¹². Если возникнут недоразумения по поводу нашей формы, говорите, что наша секретная задача этого требует для заманивания в мешок этих руссише швейне¹³, и вообще ругайте нас без всякого милосердия. Когда подкрепитесь, идите к аппарату. Ну, форвертс!¹⁴

В опрятной столовой они выпили кофе с молоком, съели вкусный сытный завтрак из яичницы с ветчиной, жареных толстых сосисок и доброго сыра, запивали же его они дрянным шнапсом и отличным бархатным черным пивом.

Шульц без конца болтал на настоящем чистейшем немецком языке и ловко успел вывести, что город называется Гумбиненом, что отряды кайзера пробыли в нем четыре дня, а потом ушли куда-то на восток и теперь их не видно и не слышно уже трое суток, а в городе остались лишь раненые и инвалидная команда. Юрков произносил картаво, хрипло и густо, из самой глубины горла односложные слова «моэн», «маальцейт», «проозит», «колоссаль», «пирамидаль»¹⁵, а огромного, толстого, раздутого пивом хозяина звал, хлопая его дружески по жирной спине: «Май либа фаата»¹⁶.

Если Ницше называл прусский берлинский язык плохой и бездарной пародией на немецкий, то юрковская пародия на пародию выходила замечательно. Две милые женщины прислуживали за столом: полная – чтобы не сказать толстая – хозяйка, цветущая пышной, обильной красотой сорокалетней упитанной немки, и ее дочь, свеженькая «бакфиш»¹⁷, с невинными голубыми глазами, розовым лицом, золотыми волосами и губами красными, как спелая вишня.

«Эх, пожить бы нам здесь всласть дня два, три, – мечтательно подумал Феденька. – Я бы поволочился за фрау, а фрейлен предоставил бы Шульцу. Конечно, ничего дурного! Просто – буколическая идиллия под каштанами немецкого тихого городка...»

Но в эту минуту скорым ходом вернулся от аэроплана Шульц. Он чуть-чуть кивнул головой в знак того, что все обстоит благополучно, но легкое движение его ресниц красноречиво указало на дверь.

– Извините. Одна минута, – сказал по-немецки голосом чревоушителя Юрков и вышел.

– В чем дело?

– Проезжал в шарабане немец и остановился, чтобы сказать другому немцу, что по дороге он видел с холма большой немецкий отряд, идущий в колонне на Гумбинен. Что прикажете делать, господин ротмистр?

– Сниматься с якоря. Идем попрощаемся с милыми хозяевами. – Он расплатился за завтрак с такой щедростью, на какую никогда бы не отважился ни один немецкий эрцгерцог, и притом расплатился не жалкими бумажками, а настоящими серебряными гульденами. Пораженная сказочной платой, хозяйка навязала почти насильно авиаторам корзиночку с провизией, и растроганный Юрков вlepил ей в самые губы сердечный поцелуй. Хозяин охотно вызвался отыскать

¹² Завтракать (от нем. frühstücken).

¹³ Русских свиней (от нем. russische Schweine).

¹⁴ Вперед! (от нем. Vorwärts!).

¹⁵ От слов: Guten Morgen — доброе утро; Mahlzeit — приятного аппетита; Prosit — ваше здоровье; kolossal — колоссально; pyramidal — превосходно (нем.).

¹⁶ Мой дорогой отец (от нем. Mein lieber Vater).

¹⁷ 6 Девочка-подросток (от нем. Backfisch).

двух сильных людей, чтобы пустить в ход пропеллер аппарата. Через десять минут мощный «моран-парасоль», отодравшись от земли, уже летел легко к разъяснившемуся небу, а немецкие друзья махали вслед ему шляпами и платками.

Вскоре с большой высоты они увидели сплошную гусеницу немецкой колонны, казавшейся почти неподвижной.

– Господин ротмистр, – прокричал в слуховую трубку Шульц, указывая на гнездо, в котором лежала бомба. – А не пустить ли в них этой мамашей?

На что Юрков, никогда не терявший спокойствия, ответил серьезно:

– Нет, мой молодой друг! Наше точное задание – разведка. Часто – увы! – из-за сурового долга приходится отказывать себе в маленьких невинных удовольствиях!.. Вечером, в офицерском собрании, за ужином, в который входили и гумбиненские толстые сосиски, Феденька Юрков рассказал эту историю при громком хохоте всех летчиков. Ему не чужд был соленый, грубоватый юмор.

Юрков поступил в авиацию за год до войны. На войне он с успехом летал сначала на таких старых первобытных аппаратах, каких давным-давно и помину не было во всех воюющих армиях. Немцы говорили: «Самые храбрые летчики – это русские. Немецкий летчик счел бы безумием сесть на один из их аппаратов». Юркова точно чудом спасали от смерти его отвага, хладнокровие и находчивость. За это время он успел все-таки сбить шесть вражеских аэропланов. В 1916 году он получил две пулевых раны и был из госпиталя командирован в Гатчинскую школу в качестве инструктора. Вернее, это был замаскированный отдых.

Как товарищ Юрков, несмотря на некоторую шершавость характера, отличался добротою, готовностью к услуге, всегдашней правдивостью и был любимейшим компаньоном. Как инструктор он был строг и крайне требователен. Он как будто бы совсем позабыл о том постепенном преодолении трудностей, о той постоянной гимнастике духа и воли, которые неизбежны при обучении искусству авиации. Большинство учеников сбегало от него к другим, более мягким, инструкторам, но зато из молодежи, обтерпевшейся в его жестких руках, выходили немногие, но первоклассные летчики.

В Гатчине Феденька Юрков выбрал своим жильем гостиницу Веревкина, на вывесках которого золотом по черному было написано: на одной «Vieux Verevkinе»¹⁸, а на другой «Распивочно и раскурочно» – старый наивный след пятидесятих годов. Гатчина, городишко тихий, необщительный, летом весь в густой зелени, зимой весь в непроходимом снегу. Там семьи редко знакомятся друг с другом. Нет в нем никаких собраний, увеселений и развлечений, кроме гаденького кинематографа. Никогда ни одного человека нельзя было встретить: ни в Приоратском парке, ни в дворцовом, ни в зверинце. Замечательный дворец Павла I не привлекал ничьего внимания, пустовали даже улицы.

Вот именно в передней плохонького синема, после сеанса, Феденька Юрков и увидел Катеньку Вахтер.

Дожидаясь, пока ее матушка разыскивала свои галоши, а потом кутала шею и голову вязаным платком, Катенька стояла перед зеркалом, кокетничала со своею новой шляпой и вполголоса говорила подруге о своих впечатлениях, склоня личико то на один, тона другой бок.

– Ах, Макс Линдер! До чего он хорош! Это что-то сверхъестественное, не объяснимое никакими человеческими словами! Какое выразительное лицо. Какие прелестные жесты!

Тут она повернула головку направо, и глаза ее столкнулись в зеркале с глазами Юркова. Она глядела прямо на летчика, но глядела машинально: она его не видела и продолжала говорить с преувеличенной страстностью, упираясь зрачками в его зрачки.

– Он безумно, безумно мне нравится! Я еще никогда не видала в жизни такого прекрасного мужчину! Вот человек, которому без колебаний можно отдать и жизнь, и душу, и все, все, все. О, я совсем очарована им!

В это мгновение восторженный образ Юркова влился в сознание барышни Вахтер. Она покраснела и поспешила спрятаться за широкую спину маменьки. Но про себя она сказала по адресу офицера, жадно палившего на нее восхищенные глаза: «Какой дерзкий нахал!»

Юрков отлично заметил ее гордый, небрежный и презрительный взгляд. Но... все равно...

¹⁸ 7 «Старый Веревкин» (фр.).

Теперь ему уже не было спасенья. Стрела амура успела пронзить в этот момент его мужественное сердце, и он сразу же заболел первой любовью: любовью нежной, жестокой, непреодолимой и неизлечимой.

В доме Вахтеров иногда бывали гатчинские летчики. Один из них, поручик Коновалов, ввел Юркова в этот дом, и с тех пор Феденька зачастил туда с визитами. Он приносил цветы и конфеты, участвовал в пикниках и шарадах, держал для мамы на распяленных пальцах мотки шерсти, водил папашу, акцизного надзирателя и старого мухобоя, в офицерское собрание, где хоть и не без труда, но удавалось иногда выпросить стакан спирта у заведующего хозяйством школы капитана Озеровского. Недаром в исторической звериаде пелось:

А чтоб достать порою спирт,
Нам с Озеровским нужен флирт,
Химия, химия,
Сугубая химия.

Скрепя сердце играл Юрков в маленькие семейные игры и танцевал под мамашину музыку самые неуклюжие вальсы, венгерки и падеспани. Всем было известно, что он без ума влюбился в Катеньку. Товарищи-летчики удивлялись. Что он нашел в этой тоненькой семнадцатилетней девчонке? Она была мала ростом, с бледным лицом в пупырышках; к тому же была у нее неисправимая, дурная привычка беспрестанно двигать кожу на лбу, так что морщины подымались вверх до корней волос, что придавало лицу Катеньки глупое и всегда удивленное выражение. Не пленила ли Феденьку одна ее трепетная юность?

Бывший офицер славного холостого кавалерийского полка никогда не знал чистой, свежей любви. Он, подобно своим товарищам – драгунам, всегда в любовных делах занимался дальним каперством, чтобы не сказать пиратством, и вообще легкими амурами. Теперь он любил с уважением, с обожанием, с вечной иссушающей мечтой о тихих радостях законного брака. Это стремление к семейному раю порою глубоко изумляло его самого, и он иногда размышлял вслух:

– Гм... Попался, который кусался!..

Пробовал он порою закидывать косолопые намеки на предложение руки и сердца. Но куда девалось его прежнее развязное и бесцеремонное красноречие. Слова тяжело вязли во рту, а часто их и вовсе не хватало. Его жениховских подходов как будто никто не понимал...

К тому же всем давно было известно, что Катенька влюблена в Жоржа Востокова, двадцатипятилетнего летчика, который, несмотря на свою молодость, считался первым во всей русской авиации по искусству фигурного пилотажа. Кроме того, румяный Жоржик премило пел нежные романсы, аккомпанируя себе на мандолине и на рояле. Но он не обращал никакого внимания на Катюшины взоры, вздохи и на томные приглашения прокатиться на лодке по Приоратскому пруду. Вскоре он и совсем перестал бывать у Вахтеров.

Убедившись наконец в своей полной и бесповоротной неудаче, Юрков заскучал, захандрил, изнемог, и более двух недель он под разными предлогами не выходил из гостиницы «Vieux Verevkin'a» и вернулся на службу лишь после многозначительной бумаги начальника школы. Пришел он на аэродром весь какой-то мягкий, опущенный, с исхудалым и потемневшим лицом и сказал товарищам-пилотам:

– Я хворал и потому совсем раскис. Но теперь мне гораздо лучше. Попробую сегодня подняться на четыре тысячи. Это меня взбодрит и встряхнет.

Ему вывели из гаража его чуткий, послушный «моран-парасоль». Все видели, как ловко, круто и быстро он поднялся до высоты в тысячу метров, но на этой высоте с ним стало делаться что-то странное. Он не шел выше, вилял, несколько раз пробовал подняться и опять спускался. Все думали, что у него случилось что-нибудь с аппаратом. Потом он стал снижаться планирующим спуском. Но аэроплан точно шатался в его руках. И на землю он сел неуверенно, едва не сломав шасси... Товарищи подбежали к нему. Он стоял возле машины с мрачным и печальным лицом.

– Что с тобою, Феденька? – спросил кто-то.

– Ничего... – ответил он отрывисто. – Ничего... Я потерял сердце, как ни бился – не могу и не могу подняться выше тысячи метров, – и знаете ли? никогда не смогу. Покачиваясь, он пошел

через авиационное поле. Никто его не провожал, но все долго и молча глядели ему вслед.

Немного придя в себя, Юрков на другой день, и на третий, и на следующий пробовал одолеть тысячную высоту, но это ему не давалось. Сердце было потеряно навеки.

Ночь в лесу

Середина апреля. По ночам еще стоят холода; болотцы и лужи в лесах затягиваются к утру тонким, хрупким льдом, но дни солнечны и теплы. Клейкие почки на березах насытились весенними соками, и в воздухе чувствуется их радостный смолистый аромат.

Теперь – последние дни глухаринной охоты. Как только распустятся первые нежные березовые листочки, то начнут свое страстное токование краснобровые тетерева, глухари и замолкнут и забьются до осени в непроходимые чащи. Мне уже надоело ночевать каждый день в старой смолокурне, глубоко врытой в землю. Там удушливо пахнет смоляной гарью; бревенчатые стены на вершок поросли висячей черной липкой сажеей; каждый раз вылезая из смолокурни весь черный, как черт, чернее трубочиста; очень трудно потом отмыть руки и лицо. Кроме того, постоянное сообщество лесника Николая становится мне все более тяжелым и неприятным. Он без нужды болтлив, криклив, подобострастен, противно жаден до денег и суетлив. Но охотник он превосходный: знает все повадки, привычки и лежбища как птицы, так и зверя; неугомон на охоте, обладает почти собачьим чутьем и опознается в лесу, как в собственной избе.

Объездчик Алексеев однажды проговорился мне, что лесник Николай, в сущности, не охотник-любитель, а жадный дичепромышленник и шкурятник, что он-де бьет дичь для продажи, направляя ее пудами, при помощи кумовьев, свояков и дружков, через Тулу в Рязань и Москву. Кроме того, ставит на птиц и на зверей запрещенные капканы и разбрасывает отравы.

Все эти слухи о Николаевой изворотливости мало меня интересовали и беспокоили. Под самодержавным распоряжением моего зятя, у которого я тогда гостил, находились четыреста пятьдесят тысяч десятин Куршинского казенного лесничества, да еще ему поручено было наблюдение над Касимовскими соседними лесами братьев Хлудовых, где числилось более ста тысяч десятин; пространство, как видите, равное пяти-шести германским княжествам или любому лимитрофу. Этот лесничий (не только по образованию, но и по призванию) любит лес серьезной, деятельной любовью. Для борьбы с лесными истребительными пожарами он построил в каждом из кордонов высокие наблюдательные каланчи и никогда не устает экзаменовывать лесников в знании противопожарных инструкций. Он ревностно преследует лесные самовольные порубки и никогда их не прощает. Еще строже он следит за тем, чтобы в его лесничестве никто не смел разводить костров, особенно летом.

Он никогда не берет взятки. Когда наступает время продавать на сруб старые лесные делянки, то первые очереди он предоставляет соседям-крестьянам, а лесопромышленникам идут остатки или дорогие строевые деревья за высокие цены.

Крестьяне это знают и ценят: оттого-то в его лесах почти никогда не шалят и его заповедных питомников никто не трогает.

Ему, конечно, известно, что почти все его лесники охотятся без его позволения. Но он глядит на это сквозь пальцы.

– У меня, – говорит он, – такая уйма дичи, что на всех хватит без малейшей убыли. Я тоже держусь взглядов моего патрона. Но поведение Николая на охоте меня порою возмущает до гнева. Вот уже почти три года, как мы с ним охотимся, и сколько раз я ловил его на плутовстве, к которому, однако, никак нельзя придраться. То он заведет меня в лысое пустое место, куда от сотворения мира не залетал ни один глухарь, ни тетерев. А то бывало, услышу я издали знакомые мне волнующие звуки глухаринной песни и бегу под нее быстрыми короткими прыжками, стараясь делать это совершенно беззвучно. Вот, вот... уже близок глухарь. Я различаю теперь и второе колено его токования, похожее на мощное, глухое шипение; уже подымаю голову вверх, стараясь разглядеть среди веток густой сосны фигуру самого глухаря... И вдруг... треск валежника под ногами... Шлепанье кожаных бахил... Глухарь мгновенно замолкает. Из темного кустарника выдирается голова Николая. Громко хлопая огромными крыльями, глухарь улетает прочь, и теперь его больше не увидишь. О, черт! Николай спрашивает шепотом:

– Никак, спугнули?

Конечно, глухарь был спугнут, но не мной, а лесником, но по какой-то глупой деликатно-

сти я молчу и только гляжу на него с яростной злобой. «Ведь этак ты не в первый раз делаешь, подлец».

И правда: одного глухаря он еще мне иногда давал ухлопать, но стоило мне начать разыскивать глазами второго, как Николай уже мчался ко мне с криками:

– Сан Ваныч! Ау, ау, Сан Ваныч! А подойдя, говорил:

– А я-то вас кричу, кричу. Испугался даже. Тут место-то с закальцем. Стоит попасть ногой, так наверх никак не выкарабкаешься. Засосет.

Под конец я его просто возненавидел за его вертлявую заботливость и только сегодня решился сказать с надлежащей вескостью:

– Нечего нам с тобой, Николай, дурака валять друг перед другом... Нынче в ночь я пойду один, а ты сейчас же отправляйся домой, к себе на кордон. И сию же минуту! Он жалобно забубнил:

– Да я, помилуйте, Сан Ваныч. Да как же я вас оставлю одного? Здесь же болота разные, быстрые речушки, вы по ним и не пройдете, особенно ночью. И господин лесницын меня в прах обратит, если, не дай бог, с вами что-нибудь случится. Я же ведь только о вас самих забочусь... Я...

Но тут я ужасно заорал на него. Мне был стеснителен и труден лишь первый шаг, потом все пошло легче. Очень поспешно Николай оделся и вылез из смолокурни. Я долго слушал его удаляющиеся шаги, пока не убедился, что он действительно идет по направлению к Куршинской дороге. Наконец шаги стихли. Остался только шум в обоих ушах да странное, неудобное чувство внезапного одиночества. Я поглядел на часы: было около восьми. Мне вдруг стало жалко, что я прогнал Николая: прежде в этот час мы ложились спать в смолокурне, а к полуночи шли на ток. Ведь могло случиться, что я был неправ, приписывая леснику коварные замыслы. Но я преодолел свою чувствительность, вскинул ружье за плечо и, не торопясь, пошел в глубь леса узенькой, недавно вновь проторенной тропинкой.

Солнце заходило. Его закат был яркий и ясный, но спокойный, и ветер спадал: почти верный признак того, что завтра утром погода будет сухая и безветренная. Самая благоприятная для глухариних токов. А кроме того, какие-то птички, казавшиеся совсем малюсенькими, шныряли с необыкновенной быстротой в высоте смуглевого неба: тоже одна из примет тихого утра.

Было уже трудно видеть лесную дорожку, но я доверился инстинктивной памяти ног, которая так остра и послушна в тишине и в полутьме.

Так дошел я до узенькой, всего в сажень шириною, но необычайно быстрой речонки, называвшейся Пра. Ее звонкий лепет доносился до меня еще издалека. Через нее с незапамятных времен была мужиками перекинута «лава», первобытный неуклюжий мост из больших древесных сучьев, перевязанных березовыми лыками. Странно – никогда мне не удавалось благополучно перебраться через эту проказливую речонку. Так и нынче: как ни старался я держать равновесие, а пришлось все-таки угодить мимо и зачерпнуть холодной воды в кожаные, большие, выше колена, бахилы. Пришлось на другом бережку сесть, разуться и вытрясти воду из тяжелой обуви. На ходу ноги опять согрелись, приятно и ладно обтянутые высыхающей упругой кожей. Дальше путь пошел легкий. Я уже по опыту знал, что мне теперь, кренделя между мощными стволами и густым цепким кустарником, надо неуклонно держаться востока. Тут мне помогали и лиловое с золотом догорание запада, и мой полуигрушечный компас, мгновенно озаряемый светом папиросы. Я на ходу перетягиваю поудобнее за плечами мой походный ранец и вдруг невольно улыбаюсь: в глубоком вечереющем лесном безмолвии набежала смешная мысль. Я вспомнил прелестную поэму нового норвежского писателя Кнута Гамсуна под заглавием «Пан». Ах! Какими страстными словами, какими волшебными образами живописал ее герой, очаровательный лейтенант Глан, лес и его великое безмолвие... Но какой же это был лес, если через него кратчайшим путем ходят ежедневно девушки из деревни в городок с кувшинами молока? И какое же в нем великое одиночество, если он весь засорен окурками, замасленными бумагами, апельсинными корками и стеклом разбитых бутылок; всеми этими грязными следами, говорящими о постоянной и тесной близости человека? «Вот хорошо было бы, – думаю я, – перенести этого норвежского любителя природы сюда, в сплошную полосу кондовых, частью еще не обмеренных лесов, раскинувшихся на многие сотни тысяч квадратных верст, на пространство, равное среднему европейскому государству, заселенное медведями, волками, лосями, лисами, барсуками, зайцами, рысями, белками, горностаями, куницами и тысячами мелких неведомых

зверушек; и весь этот четвероногий мир находится в вассальном подданстве у местного лешего, которого не однажды видели куршинские мужики, прозываемые соседями «куршей головастой» или «литвой некрещеной», а бабы – те видят его очень часто, когда летом ходят по ягоды».

Но уже падает, падает мгла на землю. Если теперь выйти из освещенного жилья на волю, то сразу попадешь в черную тьму. Но мой глаз уже обвык, и я еще ясно вижу нужную мне, знакомую вереву. Вереей в этом крае называется большой холм, который высоко и широко торчит над болотом. Почти всегда на нем свободно растут две или три мощные столетние сосны, упирающиеся далекими вершинами в небо, с четырехохватными стволами в землю. Еще ясно различаю, как на самом кряжистом дереве, покрытом древнею, грубою, обомшелою корою, протянулся и точно дрожит бог весть откуда падающий густо-золотой луч, и дерево в этом месте кажется отлитым из красной меди.

Но прелестный лучик на глазах слабеет, затихает, меркнет... Вот уже и нет его совсем. Надо и мне улечься спать.

Я ложусь на ровном и мягком месте под холмом; так всегда удобнее лежать на открытом воздухе. Но уснуть мне долго не удастся. Шумно бьется кровь в ушах, и ложе мое все кажется неудобным. Но мне давно уже знаком этот искус: чем больше ты будешь менять позы, переворачиваться с боку на бок и возиться с ямками, бугорками и сучками – тем вернее будет бежать от тебя дрема. Я пробую лежать неподвижно, стараясь не замечать под собою ухабов и возвышений. «Это мне только кажется, – успокаиваю я себя. – Это мое избалованное воображение. Стоит потерпеть немного, и все пройдет». Вылез тонкий, ясный, только что очищенный серп полумесяца на высокое небо, и только теперь стало заметно, как темна и черна весенняя ночь. Бежит, бежит молодой нарядный блестящий месяц, плывет, как быстрый корабль, волоча за собою на невидимом буксире маленькую отважную звездочку – лодку. Порой они оба: и бригантина, и малая шлюпочка – раз за разом ныряют в белые, распушенные, косматые облака и мгновенно озаряют их оранжевым сиянием, точно зажгли там рыжие брандеры.

Не знаю, сколько проходит времени в этом восторженном наблюдении за небесными корсарами. Время меня больше не интересует, как, пожалуй, и все на свете. Я даже не сознаю того приятного ощущения, что меня уже больше нигде не жмет, не теснит, не давит. Кровь перестала гудеть в ушах, но зато удивительно уточнилось и стало чудесно внимательным чувство слуха.

Далеко, верстах в двадцати – тридцати, в лесном озерце низко и сипло мычит выпь, классная наставница: «Спите, дети, спа-оть, спа-оть». Небольшая птица, чуть побольше коростеля, а голос у нее, как у соборного протодиакона или у породистого недовольного быка, начальника стоголового стада. Но она вскоре умолкает. Маленькие птички прощаются дружка с дружкой в густом кустарнике: «чики», «спокойной ночи». Спите чутко: «чи-чи-чи». Дергач в болоте протяжно скрипит в последний раз. Блеет барашком бекас, летящий на ночлег. Всемирная тишина! Только малюсенький, недавно вылупившийся из яйца птенчик-соловьенчик слабо пискнул два раза: это он бредит сквозь сон. Что за ночь! Вспоминается мне вдруг давнишняя, точно воскресшая детская песенка:

В добрый час, в добрый час,
Спите: бог не спит за вас...

Я даже чувствую в голове ее простой, наивный, точно молитвенный напев. Как странно и как торжественно-сладостно ощущать, что сейчас во всем огромном лесу происходит великое и торжественное таинство, которое старые садоводы и лесники так мудро называют первым весенним движением соков.

Влажная благодатная земля представляется мне всемирной, могучей матерью, щедро предлагающей свои бесчисленные сосцы всему живущему, растущему, дышащему и славящему создателя. Углубившись в темные недра, ее тонкие, как ниточки, нежные отпрыски корней неустанно сосут, жадно впивают чудотворные соки. Слепые и бесчувственные, обладающие лишь божественным инстинктом, они никогда не ошибаются. Вот этот сок нужен липе, тот – ландышу, тот – сосне, а тот – папоротнику или дикой малине.

О, ночные часы! как в них много возобновляющейся силы, творческой работы, неведомой жизни и вечной тайны. Ночью мальчики летают по воздуху, падают с кровати и растут. Ночью ходят по вершинам лунатики, влекомые лунным притяжением. Ночью тревожатся и стонут де-

вушки-подростки, а беременные женщины ощущают первые потуги.

...Я сейчас думал. Но во сне это было или в ночной яви? Взглядываю на небо. Там большие перемены. Полумесяц снизился, стал вдвое больше. Он точно разбух и покраснел. Маленькая лодочка отцепилась от него и пропала навсегда... Да, это верно. Я заснул на несколько минут и совсем этого не заметил. Ночь стала еще тише, еще глубже и гуще. Едва-едва слышный звук раздается около меня, у моих ног. Точно кто-то сказал шепотом: «Пак». Нет, вернее: такой кроткий звук бывает порой, когда дитя в задумчивости разомкнет уста. Я догадываюсь о его причине и слабо с умилением улыбаюсь. Это какая-то почка вся набрякла соками, раздалась вширь, и от нее с тихим шумом отклеился первый лепесток. Какое счастье! Я живу теперь в самом центре, в самом святилище простых домашних интимных чудес природы, как в любимом знакомом доме.

Отчего нет больше сказок в наш суровый практический век? Какое, например, превосходное и какое бессчетное у меня королевство! Здесь живут дикие пчелы, осы и шмели, еще не решающиеся вылететь из зимних, глубоких дупел, забитых от холодов соломой и мохом. Здесь повсюду, в каждой щели и трещинке, в извилинке коры спят мертвым, но временным сном личинки и коконы разноцветных бабочек, изящных стрекоз, всевозможных жуков, свирепых комаров, пауков-строителей и всяких трудолюбивых червячков: пильщиков, резчиков, сверлильщиков, стругальщиков – и все они нужны для каких-то господних работ. Большими буграми высятся огромные жилища муравьев, битком набитые сильным, работающим, свирепым и умным народом...

Ну-ка, я попробую сделать подсчет: сколько у меня, в моем королевстве, приходится в среднем подданных на каждую кубическую сажень?

Я считаю. Голова моя тяжела и качается. Веки чешутся. Ах, как ночью в лесу, перед зарею, фантастически мешаются фантазии с правдой и сон с действительностью. Может быть, я снова задремал, но вдруг сразу нахожу себя проснувшимся и немного испугавшимся. Мне показалось, что кто-то сначала слегкадохнул на мою щеку, а потом ткнулся в нее чем-то холодным и мягким. Я вздрагиваю, хватаюсь за щеку. На ней еще осталась чуть прохладная влажность. Одновременно с этим я, не слыша, чувствую чей-то мелкий и торопливый скок. Ах, боже мой! Да ведь это какой-то лесной зверюшка пришел и обнюхал меня. «Что, мол, здесь, в моем лесу, за большая живая говядина валяется?» Я подымаю голову вверх. Теперь уже видно небо. Оно ровного скучно-стального цвета. Я себя чувствую так же разморенным и усталым, как после долгой езды в вагоне третьего класса. Кто-то ворошится высоко надо мною, в гуще сосны... Присматриваюсь настойчиво и напряженно. Да, это – глухарь, хотя от меня он и кажется величиною не более лесного голубя. Когда он успел сесть, что я его раньше не услышал. «Не бойся, милый глухаришка, – говорю я про себя, – я тебя сегодня не обижу, не буду стрелять. Ведь мы с тобою нынче вместе спали под одной и той же сосной...»

Вдалеке медленно загнусавила жолна, и одновременно я услышал ритмический хруст хвоста. Неужели опять этот проклятый злодей Николай?

Система

Познакомились мы друг с другом в прелестном княжестве Монако в 1912 году. Я в то лето без всякого труда, свободно и весело выиграл в казино Монте-Карло (в Карлушкиной Горке, как называет И. С. Шмелев) несколько десятков тысяч франков. Я бы, пожалуй, продолжал и дальше играть, но это не вышло. Последний, взятый мною куш был так велик, что я решил сделать в игре перерыв, чтобы отдохнуть и подкрепиться в буфете, так как утром забыл позавтракать, а теперь уже шел одиннадцатый час вечера. Путь мой шел через большой гранитный вестибюль. Там у колонны сидел скромно мой друг. Я высыпал ему на юбку весь выигрыш: сто- и тысячефранковые билеты, множество золотой мелочи и большое количество золотых стофранковиков, тяжелых, желтых и красивых, как только что выпеченные сдобные хлебцы. Она спокойно сказала:

– Тебе везет. Может быть, ты еще поиграешь? Вот тут-то я и взвился. Надо сказать, что в далекие от этого времени годы я прослужил около одиннадцати месяцев актером в бродячей драматической труппе, и пародии на бурные страсти, на возвышенные чувства мне даются очень легко.

– Ка-ак! – вскричал я полу задушенным блеющим голосом, закатывая глаза и устремляя

перст в потолок. – Это ты! Человек, любимый и уважаемый мною больше всего на свете! Ты! Кого я чту, как высокий образ доброты, милости, ума и порядочности. Ты! Моя радость, гордость, утешение и подпора! И ты своими чистыми, непорочными устами посылаешь меня... Но куда-а-а? Посылаешь в эту ужасную гнусную клоаку, где ненасытная жадность стирает с человеческих лиц образ и подобие божие! В этот кипящий дьяволами смрадный ад! Ибо нет на всем свете влечения более грязного, страсти более свирепой, порока более заразительного, чем азартная игра! О, ужас! Ужас!

Так я декламировал вполголоса, дико вращая глазами. Никаких этих трагических чувств во мне совсем не было. Просто: минутная победа над судьбою веселила мое сердце и заставляла меня паясничать по-мальчишески. Было также маленькое, совсем невинное, проказливое удовольствие кольнуть хоть раз в жизни, хоть шутя, прекрасного, безукоризненного человека. Но я взглянул и сразу осекся, не договорив монолога. В давно знакомых мне милых и умных глазах растаяла улыбка, и они глядели с тревогой, с вопросом, с укором, с затаенной виноватостью.

Этого я не мог вынести. Поспешно попросил прощения в дурацкой буффонаде, сказал другу, что она ангел, а я свинтус, и тут же торжественно порешил, что играть больше в Монте-Карло не стану. Ведь черт возьми! Уехать с Лазурных берегов после сладкого выигрыша и чувствовать себя потом на всю жизнь гордым победителем и человеком с железной волей – это не так уже часто встречается. Расспросите-ка по этому поводу всех ваших знакомых, когда-либо посещавших Ниццу, Ментону, Канны, княжество Монако и Рокебрюн. Всякий вам наскжет с три короба случаев колоссальных, умопомрачительных, феерических выигрышей. А в результате?

– Увы. Полный крах. Пришлось у добрых знакомых взять займы на обратный проезд. Телеграфным переводам из России уже не доверяли. Все равно: получим – и опять поскачем в Монте-Карло, в это сосущее болото.

Другие земляки, проигравшись в лоск, обращаются к администрации казино за помощью для отъезда домой. Отказ бывает очень редко. Один из служащих в казино, человек исключительной зоркости и безошибочной памяти, так сказать – глаз учреждения, всевидящий и всезнающий, незаметно для просителя, окидывает его острым взглядом и мгновенно аттестует его: проиграл приблизительно столько-то; ни в скандалах, ни в присвоении чужих ставок не замечен. И этого совершенно достаточно для получения суммы, необходимой на покупку билета второго класса и еще на кой-какие нужды, вроде папирос, завтрака и чаевых носильщикам. Когда этот бывший клиент спустя пять или даже десять лет вновь явится в бюро Монте-Карло за получением билета для входа в казино, то первое, что ему предлагают, – это уплатить давнишний поездной должок. Впрочем, о таких невинных сделочках посетители казино почему-то не особенно много рассказывают; предпочитают молчать. Так же безмолвствуют они и о прежних поражениях. «Ничего, пусть были в прошлом неудачи. А вот теперь-то мы взбутетеним эту самую рулетку! Умней стали и систему выработали».

Я всегда считал себя человеком не особенно крепкой воли и потому искренно обрадовался, когда убедился в том, что добровольное отрешение от рулетки дается мне легко и даже весело. Вместо утомительных ежедневных поездок из Ниццы в Монте-Карло, по два раза туда и обратно, вместо многочасовых сидений на стуле, в густых запахах табака, нездоровых дыханий и крепких, терпких отвратительных духов, передо мною вдруг открылись великолепные просторы времени, пространства и чистого воздуха. Жизнь была обеспечена надолго вперед. Не нужно было работать, насилуя себя, по заказу, без любви и увлечения, ради еды и пристанища на завтрашний день. Прекратилось постыдное кланье авансов, которые приходят всегда в урезанном размере и приходят с такой мучительной проклятой медлительностью.

Только теперь я заметил, что в нашем дворе душисто цветут лимоны и апельсины, что море благоухает лучше всех ароматов в мире и что недалеко от меня оно нежно сливается с голубым небом, образуя хрустальный купол. Работа стала для меня не тяжелой обузой, для исполнения которой я ежедневно должен был тащить самого себя за волосы к письменному столу, но лучшими, счастливейшими часами дня. Я вошел в ту ладную, гладкую полосу послушного творчества, когда мысль без затруднения переходит в слова, а слова свободно ложатся четкими строками на бумагу без единой заминки, без единой поправки; когда пишешь, не уставая, весь день, даже за обедом, даже среди разговора с двумя-тремя лицами; когда аппетит, как у каменщика, сон глубок и так отрадно хочется делать добро, услугу, помощь каждому ближнему.

Я снова узнал прелесть и сладость заслуженного отдыха: прогулки в горы, рыбную ловлю, катанье на килевой лодке, под туго натянутым латинским парусом, коротенькие поездки по Провансу; в древний Арль, знаменитый на весь мир необыкновенной красотой своих женщин и славящийся среди едоков высокими качествами своих колбас с чесноком; в Ним и Фрежус, где до наших времен простирают друг к другу полуразрушенные арки развалины старинных, гигантских римских цирков; в Тулон, где старые моряки еще вспоминают с дружелюбной улыбкой бывший русский флот и торжественные встречи с ним; в уютный Тараскон, недавно стыдившийся своего земляка Тартарена, а теперь уже гордящийся им перед любопытными путешественниками; в Авиньон, где нет ничего замечательного, кроме форелей, отличных булочек и дворца, когда-то резиденции плененных пап.

И все-таки наиболее занятным и интересным для меня оказалось княжество Монакское, до сих пор заслоненное, скрытое от моих глаз беспрестанной игрой в рулетку. Ну что за прелесть, например, монашеская армия. Две зеленые бронзовые пушки XVII столетия, шесть нарядных красавцев солдат, двенадцать офицеров еще более красивых, роскошно убранных золотом, серебром и всеми разноцветными перьями, какие только есть на петухах, попугаях, павлинах и райских птицах. Когда это войско делает смену караула, то глаза слезятся и слепнут.

Очень интересен и дворец с фамильными портретами высокого рода Гримальди. Какие упитанные чернокудрые лица, какие короткие шеи и мощные затылки, разбухшие от усиленного питания овечьим жиром, крепкими буйабезами, эскарго по-бордоски и горячим густым южным вином! Конечно, это только легенда, что первые Гримальди были пиратами. Пиратами – конечно, нет, но почтенными флибустьерами и уважаемыми корсарами – наверно: уж такой у них на портретах суровый, коричневый загар, такие хмурые, зоркие глаза, такие сжатые, решительные губы и такие волевые подбородки.

Современный, последний Гримальди не в них. Он скромный, но уже весьма известный ученый, изучающий флору и фауну океанских глубин. Его океанографический музей, помещающийся тут же, во дворце его энергичных прапращуров, представляет собой богатую и редкую коллекцию растений, живых рыб, моллюсков, раков, медуз, слизняков, осьминогов, скатов и еще каких-то морских гадов, на которых жутко и омерзительно смотреть даже сквозь толстые непроницаемые стекла. И тут же огромное собрание всяких предметов научно-морского обихода, модели и рисунки кораблей, разного вида лодки, паруса, карты, бунты канатов, лаги, кошки, тралы, драги, термометры, барометры и всякие морские вещи и принадлежности, порою совсем не знакомые глазу.

Но что я позорно и непростительно прозевал за дурацкой игрой в рулетку, так это прекрасный театр Монте-Карло с его великолепными симфоническими концертами, с роскошной оперой, с поразительным балетом. Да! Заправила казино не жалели-таки средств для привлечения будущих жертв.

Мы приезжали из Ниццы в Монте-Карло небольшой компанией друзей и спутников. Пока мои знакомцы страстно играли в залах на крупные тяжелые пятифранковики (называвшиеся «пляками»), я с жадным наслаждением наверстывал пропущенные мною, по легкомыслию, самые высокие земные радости. Играть меня вовсе не тянуло. Я как будто бы навсегда вышел из заколдованного круга рулетки...

Вот именно за «Евгением Онегиным» (во время вальса) я и познакомился с тем человеком, о котором упомянул в самом начале моего рассказа. Это был сосед мой по креслам, величественный, красивый старик с серебряными волосами на голове, с холеной седой бородой, одетый в светлый костюм с белоснежным воротником. Он уронил афишку. Я, памятуя древний завет: «Пред лицом седаго восстань и почти лице старчо», быстро поднял бумажку и вручил ему с полупоклоном. Он улыбнулся мне ласково и умно. Он мне очень понравился. В конце акта он меня спросил:

– Ведь это, кажется, Модест Чайковский написал либретто к «Онегину»?

– Да, Модест, его брат.

– Я и сам так думал, – сказал он, – но боялся, что ошибаюсь. Странно, Пушкин весь для музыки, и Чайковский отлично с ней справился. Но я бы не подумал, что либретто может быть таким порядочным...

После спектакля он сказал:

– Ночь так хороша и тепла, не хотите ли немного со мной прогуляться?

Я представился ему. Он назвал свою фамилию: Абэг, ударение на э обратном, а имя же его было Ювеналий Алексеевич.

Мы ходили неторопливо по парку, над морем, плескавшимся глубоко внизу. Монте-Карло действительно одно из самых очаровательных местечек на земном шаре. По-моему, оно даже слишком, даже чересчур красиво; оно напоминает собою женщину совершенной, божественной красоты, которая к тому же очень искусно и без нужды раскрасилась, отчего и вся ее торжествующая прелесть стала приторно сладкой, неправдоподобной, утомительной и надоедливой. Многие писатели пробовали словами описать эту знаменитую лазурную конфету. Но тщетно. Цветная олеографическая открытка скажет больше и вернее. После прогулки мы посидели немного на террасе большого отеля. Я спросил себе белого вина со льдом. Он потребовал маленький стаканчик вермута.

– Пить вермут в самом небольшом количестве, – сказал он, – научил меня покойный Анатолий Федорович Кони, прекраснейший из людей, мой друг, учитель и покровитель. Он утверждал, что это итальянское вино в размере наперстка не чинит никакого зла, а между тем действует благоприятно на почки. Моя ниццкая компания показалась в дверях казино. Я простился с господином Абэг. Он с любезной настоятельностью взял с меня слово непременно побывать у него в Кондамине, в двух шагах от Монте-Карло. У него там свой небольшой домик, хорошая кухарка и много редких книг, которые, если надо, будут в моем распоряжении.

Мы расстались очень дружелюбно расположенными. С этого дня и началась наша дружба, которая с каждым свиданием становилась теснее, глубже и крепче. Собственный домик Абэга в Кондамине был преуютным, премилым гнездышком: спальня, кабинет, гостиная, столовая, ванна, кухня – только и всего. Блестящая чистота, обилие света и воздуха радовали глаз. Наружный легкий балкон висел высоко над то синим, то голубым морем. Комнаты соединялись турецкими из камыша, стекляшек и камешков сквозными занавесами. Кухня, под надзором здоровенной красивой эльзаски, была великолепна. Абэг любил и умел хорошо поесть.

Иногда он приезжал ко мне на завтрак в Ниццу. Я и моя семья занимали комнаты в «Отель слав»¹⁹ на бульваре Променад дез-англе²⁰. Но так уж много было в нашей гостинице маргариновых русских баронесс, скучных, натянутых, претенциозных и глупо важных, что завтракать я предпочитал за углом, на улице Св. Филиппа, в кабачке «Рандеву де шофер»²¹, где патроном был папа Маликорне и где завтрак, включая сыр, вино, салат и хлеб, стоил два франка. Кормили здесь странно, но вкусно: южные огромные виноградные улитки, соус бордолез, макароны по-итальянски с пармезаном, итальянская минестра, изредка мозги с черным маслом и другие такие же необременительные блюда.

Ювеналию Алексеевичу эти завтраки чрезвычайно нравились. «Так едали древние римляне среднего достатка», – говорил он одобрительно. Понемногу я узнал от него все течение его жизни до нашего знакомства. Семья его была старая дворянская и небогатая. Большой частью Абэги служили в русском военном флоте, Ювеналий же Абэг учился в училище правоведения и кончил курс с малой золотой медалью. Его пленяла судебная карьера. Он уже прошел стаж судебного следователя, был товарищем прокурора в Петербургской судебной палате, и вдруг – несчастье: зловещий процесс в легких. Пришлось оставить Петербург, этот всемогущий город, где куются великие карьеры, и ехать на жаркий целебный юг в Ниццу. Петербургские знакомые, чтобы не сидел он без дела, устроили ему место атташе при ниццком консульстве... И вот уж четырнадцать лет, как он не покидает Ривьеры, окончательно в ней обжившись.

Что так прочно и ладно связало нас, затрудняюсь сказать. Разница в годах у нас была лет на десять. Он живо и остро интересовался тем неясным ему и далеким от него разнородом душ, умов и убеждений, который пошел по России, начиная с Петербурга в начале девятисотого года, а особенно после войны России с японцами. Он не уставал меня расспрашивать о спорах социал-демократов с народниками, о покушениях на министров и губернаторов, о журналах и газетах, о новых течениях в литературе, о новых молодых писателях и об их начинающих учениках,

¹⁹ «Славянском отеле» (фр.).

²⁰ Прогулка англичан (фр.).

²¹ «Свидание шоферов» (фр.).

о декадентах, союзах и верованиях, о студентах и курсистках, о том, какая судьба предстоит родине в ближайшем будущем. Меня же в нем очаровывало совсем другое.

Он проходил зону спокойной, здоровой, беззлобной мудрой старости, и он владел своим словом, как опытный, многознающий председатель окружного суда, выдвигая на первый план существенное и порою бросая такую характерную, незабываемую мелочь, которая сразу освещала весь рассказ. Какими круглыми, насыщенными образами выходили у него знаменитые адвокаты, прокуроры, судьи, сенаторы и профессора. События же всегда имели у него завлекательное начало, вескую, существенную середину и всеобнимающий конец. От своих дальних предков, англичан, унаследовал он драгоценнейший дар: тончайшее чувство юмора и умение пользоваться им кстати. Представляете себе, какое наслаждение было слушать его рассказы!

Только об игре, насколько помню, мы почему-то, кажется, не говорили... Ах, нет, впрочем, был один случай. Он однажды спросил меня: бывал ли я в казино. Я ответил, что да, бывал. И тут же рассказал ему о моем большом выигрыше и о том, как смешно и внезапно бросил игру, забастовав навсегда.

– И ни-ни?

– Ни-ни. Беседа с вами куда для меня ценнее и приятнее игорных впечатлений. Так мы и отошли от этой темы об игре. Но о нравах, обычаях и приемах мастеров рулетки он мне рассказывал много интересного.

– Все, что вы видите в Монте-Карло, – все служит наживкою на богатых, глупых и жадных остолопов. Опера, балет, концерты, великолепная природа, чудеснейший воздух, чертовски красивые женщины, пряная еда, тонкое вино... все, все. Слыхали ли вы легенду о черном траурном покрывале, которым покрывается игорный стол, который обанкротился и лопнул от чьей-нибудь слишком счастливой игры? Да. Это – правда. Какой-нибудь из столов порою облачают трауром. Но вовсе не от горести, а для ловкой и хитрой рекламы. Ведь рассказ о черном столе ходит по всему миру, и служителям рулетки надо только его время от времени подтапливать. А ротозеи и балбесы всегда будут думать: ведь вот, срывают же люди банки в Монте-Карло. Не понимаю, почему бы и мне не попробовать.

То же и о самоубийствах. Конечно, они, к сожалению, случаются. Не так часто, как об этом пишут романисты, но все-таки и нередко. Но для казино эти ужасные случаи опять-таки кровавая, но верная реклама. Помните изумительные, сверхчеловеческие строки Пушкина:

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Невыразимы наслажденья...
Бессмертья, может быть, залог?

Не отсюда ли охота на тигров и медведей, катанье с отвесных гор в Швейцарии, страсть к воздушным полетам, к дуэлям, к рискованным приключениям. Да, весть об одном самоубийстве в Монте-Карло привлечет в казино два десятка искателей сильных впечатлений. У рулетки нет никакой жалости. Она – машина. Льющиеся в нее миллионы, как известно, ничем не пахнут. И еще есть у казино другие рекламы, свидетельствующие о ее мягкосердечии. Это билеты на обратный проезд проигравшимся, иногда даже с прибавкою корзины, где несчастливец найдет жареную курицу и бутылку вина. К такому же порядку змеиной сентиментальности надо отнести и эту лицемерную щедрость казино к клиентам, оставившим ему миллионы и обедневшим до нищеты. Им пожизненно выдаются в день двадцать франков, с которыми он что хочет, то и делает. На такую сумму кое-как можно прожить один день. Ему даже вход в казино не воспрещается, но когда он выиграет, то ему ничего не дают, а когда проиграет, то двадцатифранковик ему мгновенно возвращается обратно. Но ведь здесь и дьявольский расчет: ведь очень много шансов за то, что у человека, проигравшего миллионы, могут отыскаться богатые родственники, раскаявшиеся должники или неожиданные наследователи. Такие примеры бывали, и вновь разбогатевшие нищие со стремительной жадностью бросались к игорному столу, не успев даже обзавестись приличной одеждой. Лихая это вещь и пакостная – рулетка. Прошло с этого разговора так, должно быть, около месяца, когда мы снова вернулись к рулетке. Не помню теперь, какими путями наш разговор подошел к тем системам игры, на которых сходят с ума окончательно обалдевшие неудачные игроки (девять десятых всего населения Лазурных берегов) и которые про-

даются утлыми, потрепанными джентльменами на каждом шагу. Я спросил прямо и коротко:

– Скажите, дорогой Ювеналий Алексеевич, ваше откровенное мнение об этих системах.

– Чушь, – ответил он односложно.

– Но скажите, разве уж совсем невозможно, немисливо предугадать падение шарика в ячейку, хотя бы при помощи высшей математики, ну, там теорий вероятностей, законов больших чисел или чего там еще.

– Положительно и абсолютно невозможно. Я в свое время очень внимательно приглядывался к рулетке, стараясь подсмотреть ее тайны. Нет, здесь всюду нелепый случай. Ну, хорошо. Я заметил, например, везет непременно новичку, играющему в первый раз в жизни. Но почему? Я не знаю. Может быть, есть у каждого человека свой ангел-хранитель. Он и говорит человеку: хорошо. Хочешь выиграть? На тебе на первый раз, на еще и еще. А уж больше, батюшка, – баста. Поиграл и за щеку. Везет чаще женщинам, нежели мужчинам. Вероятно, у них сильнее темные инстинкты неведомого. Везет молодым, здоровым людям среднего роста. Везет случайно пьяным, а кто нарочно перед игрой напьется, как бы для храбрости, – тому ни за что. И, однако, ни один из моих примеров никуда не годится и ничего не стоит. Все равно как бы если я сказал, что удачливы в игре владельцы серых полосатых кошек, косые и плешивые, заики и владельцы марки святого Маврикия, – все здесь не стоит и гроша ломаного. Вот, например, скачки. Сколько там у игрока перед стартом есть реальных, рациональных точек опоры. Посчитайте: происхождение, конюшня, тренер, жокей, вес, погода, предшествующие скачки. Вот они, твердые основания для игрока, а в рулетке все иррационально: и выбор игроком номера, и вращение диска, и прыганье шарика по ячейкам, прежде чем лечь в одну из них. Тут все нелепо, все гадательно, все зависит от каприза случая. Правильны и осязуемы лишь два положения: одно – это то, что у казино всегда больше денег, чем у игрока, и другое, что при выходе зеро все ставки водопадом низвергаются во чрево казино. И все тут.

Но я осмелел и позволил себе спросить:

– Ну, а что, если этому сумбурному вращению диска и пьяному скаканию на нем шарика игрок противопоставит холодную волю, суровую осторожность, железное терпение? Ведь лечат же сумасшедших спокойным и умным разговором? Ведь укрощают же стихийный бунт черни спокойной силой и даже волевым окриком?

Абэг смолк и вдруг уперся в мои глаза странным, тяжелым взглядом. Мне показалось, что он хочет нечто сказать и не решается. И еще мне показалось, что он будто бы нашел в моей душе какую-то новую черту, для него неожиданную, удивительную и как бы неприятную.

Он сказал:

– Ну, оставим этот метафизический вздор. Теперь уже поздно. Но я покорно прошу вас приехать ко мне завтра поутру. Вместе позавтракаем. А потом я скажу вам два-три кое-каких слова.

Мы распростились.

На другой день, так часам к десяти утра, я приехал к нему в Кондамин. По дороге у меня из ума и воображения не выходил его диковинный вчерашний взгляд. Какое-то важное, большое дело стояло за ним, так мне чудилось. Но встретились мы так же просто и сердечно, как и всегда. Следов вчерашнего загадочного взгляда совсем не было в его красивом важном лице. Завтрак был превосходный: матлот из налимов и превосходно, чисто по-сибирски, сделанные толстой эльзаской пельмени. Заметил я одну странность. Вино перед нами поставили не в кувшинчиках, как раньше, а в небольших бокалах. И еще: прежде Абэг всегда закармливал меня до убою, а теперь ни разу не попросил повторить блюдо. От завтрака я встал совсем легким.

Когда убрали со стола, он повел меня на резной балкончик над морем, придвинул мне кресло, угостил сигарой, сам закурил и стал говорить:

– У меня к вам, молодой и милый друг мой, большая и, признаюсь, довольно-таки дерзкая просьба. Не можете ли вы подарить мне пять-шесть таких утр, как сегодня.

– О, с удовольствием, – радостно ответил я. – Все мои старания, хлопоты, услуги и все мое время принадлежит вам. Располагайте мною, как вам будет угодно.

– Очень вам благодарен. Видите ли: у меня есть шесть тысяч франков, совершенно свободных.

Он вынул из бокового кармана аккуратно сложенную и обвитую гуттаперчевой ниткой пачку кредитных французских билетов.

– Но мне хочется (пусть это будет мой каприз), мне хочется из них сделать двадцать четыре тысячи. А это наращение удобнее всего и вернее произвести на игорном столе в казино Монте-Карло. Вот я и прошу вас потрудиться заместо меня. Я уже не так молод, и воля моя не так крепка, как раньше...

– Как? Играть? Мне? – удивился я.

– Вот именно, поиграть немножко.

– А ну как я проиграю? Деньги немалые.

– Не проиграете. По концу нашего вчерашнего разговора знаю, что вы выиграете. Да и, кроме того, ведь вы будете только выполнять мои точные указания. Ну, идет ли, мой дружок?

– Хорошо. Я слуга ваш, если указания...

– Ну, так слушайте: сегодня вы возьмете из нашей кассы всего пять процентов, то есть триста франков. Вы непременно или учетверите их, либо проиграете до конца. Спаси вас судьба помогать мне своими деньгами. Тогда все дело расстроится, и чудесный опыт пропадет впустую. Обещаете мне?

– Клянусь.

– Все дело в способе ведения игры. Начинайте с минимальных ставок, хоть с пяти франковых пляк и с простейших комбинаций: чет-нечет, черное-красное, пас-манк... потом колонки и дюжины. Наблюдайте за собою! Как только вы заметите у себя наклон к выигрышу – сейчас же повышайте ставку вдвое. Снова выигрыш – снова повышение, но теперь уже вчетверо. Так ловите полосу участия в арифметической прогрессии. Не бойтесь, если вам захочется пропустить одну, две игры или повторить только что выигравший удар. Делайте, что хотите. Только не думайте над этим. Будьте спокойны и легки внутри себя. Но вот пришел неизбежный момент неудачи. Вашу ставку сгребла лопатка крупье. Не обращайтесь внимания на это. Начинайте отступление. Но не убегайте сразу. Уменьшайте ставки в такой же прогрессии, как и в недавнем наступлении, пока не испарится весь ваш выигрыш и ваша первоначальная ставка. Тогда, без передышки, начинайте новую атаку, в таком же гармоническом порядке расширения и сужения, но только не переменяйте темпа игры. Ведь костяной шарик бездушен, глуп и дурашлив, а у вас есть мысль, воля и система... Да, государь мой, – вдруг гордо повысил тон Абэг, – единственная система, которая существует от начала веков во всем, в торговле, войне, любви и игре. Теперь остаются мелочи. Когда вы почувствуете, что ваш денежный запас учетверился, то есть из триста франков образовалась тысяча двести с малым хвостиком, – кончайте игру. Не пересчитывайте во время игры денег; это всегда нервирует, утомляет и рассеивает внимание. Но если вы наверняка знаете, что сверх задачи у вас имеется излишек в пять, десять франков, ставьте их куда попало, хоть целиком на один номер, где эта мелочь или исчезнет, или увеличится в тридцать семь раз. А затем немедленно домой, и отдыхать. Играть же вы будете по два раза в сутки: после легкого завтрака и перед солидным обедом. Надеюсь, что теперь вы уже хорошо вникли в мою несложную теорию?

– Да. Она мне и понятна, и нравится, и внушает доверие.

– И отлично. Будьте любезны, начните сейчас же. Вот вам деньги, и вот хорошая гаванская сигара. Если вы ее закурите перед вашей первой ставкой, то вам еще не удастся ее докурить, как ваша игра окончится. А главное, не бойтесь проиграться в прах. Через шесть часов мы начнем новую игру. Итак, не теряйте времени. Буду ждать вас.

Я пошел в казино. Игроков в зале было еще немного, что было мне с руки: я не люблю толпу, а особенно разгоряченную какими-либо страстями. Заняв место в узком конце стола, рядом с крупье, я тотчас же начал игру с десяти франков. Через четыре благоприятных тура я уже ставил сто франков на дюжину. Бог или, вернее, черт рулетки (всем известно, что родоначальник рулетки Блан продал душу дьяволу за секрет рулетки) явно мне способствовал в этот полдень. Сигара еще моя дымилась, не обжигая губ, когда я понял, что очередная задача моя выполнена. Я посчитал деньги. Оказалось пять франков сверх нормы. Я их поставил на номер тридцать два и взял что-то около двухсот франков и ушел из казино. Очевидно, мне везло в этот первый сеанс. Всего только два раза я проигрывал, но тотчас же спокойно и умело выправлял неудачу. Перед обедом я играл второй раз, взявши с собой пятьсот франков, и через полтора часа принес в Кондамин полторы тысячи. Ювеналий Алексеевич серьезно хвалил меня за то, что не отступался от канона. Через три дня шесть тысяч учетверились, и я освободился от добровольной службы. Да, кстати, и пора уже было мне думать об отъезде в Петербург. Прошло еще несколько суток, и я

приехал к Абэгу попрощаться. Тут мы в последний раз вновь поговорили о рулетке.

– Нет горше слов, чем слова прощальные, – сказал Ювеналий Алексеевич. – Я полюбил вас. Смотрите: ведь я никому, ни одному человеку не передавал моей игорной тайны, а вас просил поиграть за меня лишь потому, что хотел, чтобы вы усвоили себе мою систему не из рассказа, а на настоящем деле, чтобы вы ощупали ее, так сказать, перстами... А теперь она – мой дорожный подарок вам. Когда настанет тяжелая година, вспомните старого Абэга и его изобретение и идите смело поправлять ваши дела рулеткой. Моя система никогда не сорвется.

Тут я задал ему один вопрос, который давно уже чесался у меня на языке, но я стеснялся его предложить:

– Но почему же вы сами не играете, дорогой Ювеналий Алексеевич?

– Почему? История не особенно приятная. Я никому ее не передавал. Но вам расскажу, хотя бы для предупреждения, на всякий случай.

Видите ли, в первые годы моей жизни в Ницце я довольно-таки часто поигрывал. Но я выиграл, как новичок, а потом и пошло дьявольское невезение. Проигрался дотла. Казенных денег проиграл десять тысяч. Едва смог пополнить растрату; весь в долги для этого влез. Но к этому времени умер в Петербурге мой любимый дядя, адмирал Абэг, и оставил мне завещание в семьдесят тысяч рублей. Кое-как расплатился с долгами. Денег осталось не так уже много. Жила тогда на Ривьере почтенная старушка, моя большая приятельница, княгиня Вадбольская, урожденная чистокровная цыганка, но умница и по повадкам истинная русская княгиня-аристократка. Вот она-то, не то по симпатии, не то из сожаления, и навела меня на эту систему. Только взяла с меня строгий зарок: никогда правилам этой системы не изменять и за ротшильдовскими миллиардами не гоняться. И я своему обещанию всегда твердо повиновался. Каждый год я посвящал игре один месяц и учетверял основную сумму. Я большую вел игру. Доходил до миллиона. Большую часть откладывал в банк, другую на построение вот этой кельи под елью, на остальное скромно существовал. Но раз пришла мне в голову дурацкая и жадная мысль, нарушив клятву, данную княгине, довести выигрыш до миллиона. Так, блажь нашла. Ведь я тогда был комфортно уже обеспечен на весь остаток жизни. Пошел в казино. Занял привычное место. Начиная играть. Ничего, все идет хорошо. Но вот поставил я на трансверсаль две тысячи франков. Крупье кричит:

– Rien ne va plus²².

Шарик стал, выкликают номер одиннадцать – я выиграл. Крупье лопаточкой придвигает двенадцать тысяч. Я протягиваю руку. Но туда же тянется и другая рука, красивая, выхоленная, в драгоценных кольцах. Смотрю – высокий, прекрасно одетый молодой человек, изысканный и томный, настоящий пти-метр²³. Я говорю строго: «Мсье!» Он не менее строго тоже: «Мсье!» Я опять угрожающе: «Мсье – это моя ставка», и он повторяет с угрозой: «Нет, мсье, эта ставка моя». Начинается ссора. Ни он, ни я не уступаем. Скандал затягивается. Публика ропщет на замедление. Появляются все высшие власти казино.

– Господа, это какое-то недоразумение. Игра должна продолжаться. Пожалуйте, господа, в бюро. Там все это разъяснится.

В конторе, конечно, никакого разъяснения не происходит.

– Господа, вы оба должны покинуть немедленно казино. Мы допросили очевидцев. Оставьте нам ваши адреса. Завтра вы получите точные извещения. О, какая неприятность!

Но извещение не приходит ни завтра, ни послезавтра. На третий день захожу в канцелярию казино.

– Ну, как же мое дело со ставкой?

– Подождите, мсье, дело еще не расследовано. Потрудитесь подождать несколько дней, а пока, просим, воздержитесь от посещения казино.

Словом, обида и воровство канули в вечность. На другой год опять приезжаю в Монте-Карло. Как и всегда, сначала прихожу в канцелярию, показываю свой входной билет.

– Простите, мсье, мы не можем разрешить вам входа в игорные комнаты. За вами числится

²² Больше не идет (фр.).

²³ Щеголь (от фр. *petit maître*).

какое-то порочащее вас деяние или происшествие... Ах, нет, мсье, у нас нет времени входить с вами в длинные и бесполезные разговоры...

Вот и вся моя грубая, жестокая история. Дело же объясняется просто. Прозорливые инспекторы игры давно уже поняли мою непобедимую систему и решили избавиться от меня. Отсюда и наемный прекрасный молодой человек, и комедия расследования. И вот почему с тех пор моя нога не переступает порога казино уже пятнадцать лет. Если будете играть – не забывайте моего случая... Мы распрощались и больше никогда не увиделись. Жив ли он – не знаю. Но я к его системе так и не успел прибегнуть вторично. Не довелось с той поры побывать на Лазурных берегах.

Гемма

Зачем полковник Лосев таскал с собою, среди всякого домашнего хлама, натисканного в дряхлый кожаный чемодан, эту совсем ненужную, бесполезную вещь – он, пожалуй, и сам не мог бы ответить. Долгий и тяжелый путь его вовсе уже не был удобен, чтобы возиться с пустячными игрушками: дорога из Петербурга на юг России в добровольческую армию, дьявольская гражданская война, отступление, Новороссийск, Константинополь, Болгария, Сербия и, наконец, Франция... Вся жизнь заключалась в лихорадочном складывании и раскладывании походных вещей, которые с каждым этапом убывали в количестве. Но – странно – дешевенькая сердоликовая печатка никогда не терялась. При разборке и сборке вещей она как-то сама лезла на глаза, и ее механически швыряли на дно чемодана: «Все равно, места совсем не занимает, а вес пустяковый». Так, после многих странствий и приключений добралась русская печатка инталье, аляповатая на вид, до славного и доброго города Парижа, до столицы мира, успокоилась прочно на мраморном сером надкаминнике, в шестом этаже гостиницы «Старая Гаскония», на самом краю города-гиганта. И уже успела вся покрыться пылью.

Полковник Лосев из блестящего когда-то академика и флигель-адъютанта сделался отличным городским шофером. За работой был всегда трезвым, с пассажирами приветливым, владел свободно и изысканно французским языком, а главное, был весьма осторожен в езде и никогда не соглашался мчаться дуром, как бы яростно этого ни требовали нервные дамочки и нетерпеливые господа. Оттого-то и клиентура у него была постоянная и солидная, за которой он жил, не испытывая особенно резкой нужды.

Правда, бывали иногда черные полосы безработицы или забастовок, когда поневоле приходилось туже затягивать живот.

Как-то, в один из таких мрачных дней, взглянул случайно полковник Лосев на свою сердоликовую печатку и подумал:

«Я за нее заплатил в Гдове, у старьевщика, когда-то пять рублей. Почему бы теперь не попытаться загнать ее в какую-нибудь лавочку случайных старинных вещей? Франков так за шесть, за пять, а то и за четыре или три? На кой мне черт наконец эта дурацкая птица и эта мордатая кошка?» Сказано где-то давно уже, чуть ли не в Екклезиасте:

«Брюхо пустое – ноги резвые». Вставши рано утром, полковник Лосев успел к вечеру обегать все магазины редких старинных вещей на улице Фобур-Сант-Онорэ²⁴ и великое множество парижских лавок «Антикитэ»²⁵. Но успеха он не имел ни малейшего. Кое-где сердолик брали в руки, равнодушно разглядывали на свет и холодно говорили: «Таковыми предметами не интересуемся». В другом месте, сонливо взглянув, бросали сердолик на прилавок. «Не берем». А в третьем, ничего не сказавши, коротко и отрицательно качали головой, и так – без конца.

Но вот однажды как-то пришлось полковнику Лосеву присутствовать на вечере в пользу нуждающихся русских увечных воинов, где входная плата была очень умеренная, а программа весьма богатая. И там он случайно, за буфетом, познакомился и с удовольствием разговорился с почтенным стариком, господином Конопатовым. Конопатов был московский кондовый человек, когда-то упорный и ревностный старообрядец, и принадлежал раньше к богатейшей семье, тор-

²⁴ Предмесье святого Онорэ (фр.).

²⁵ «Старина» (фр.).

говавшей на Балчуге искони веков железным ломом. Этот старозаветный человек совсем порази и очаровал своими своеобразными знаниями удивленного полковника. Он умно и очень интересно говорил об архитектуре древних русских храмов XI и XII столетий, о старых славных изографах и иконописцах православия, унесших с собою в вечность тайны своих способов, приемов и чудесных нетленных красок; о древних ризах, пангиях, плащаницах, паникадилах, светильниках и о прочей строгой лепоте церковных приборов в давно ушедшие времена. Потом разговор или, вернее, импровизированная лекция как-то сама соскользнула на Урал и Екатеринбург, где и до сих пор еще живут замечательные резчики по камню, специалисты по малахиту и яшме, большие искусники ловко обделывать второстепенные цветные камешки в печатки, вставки и другие игрушки...

Вот на этом-то месте полковник Лосев, до сих пор слушавший старообрядца, раскрыв рот и развесив уши, решился вполголоса сказать о своем сердолике. К его удивлению, Конопатов заинтересовался:

– На сардониксе?

– На сердолике.

– Ну, да это – все равно. Но сардоникс – и звучит знаменательнее, и отдает Библиею. А кстати, скажите внешние приметы вашей вещички.

При этом Конопатов сжал в ладони рыжие волосы своей бороды и тотчас же распустил их.

– Первое, – начал полковник Лосев, – первое: на самом верху, в левом углу, сидит, раскрыв клюв, маленькая, хорошенькая, серенькая птичка. А внизу, справа, сидит на полу презлющий котяга с большущими злыми глазами и

глазеет на птичку. А по диагонали между ними протянута надпись: «Птичка поет, а кот не глядит».

– И это все? – спросил с иронической усмешкой старообрядец и еще раз заутюжил и разутюжил рыжую бородку.

– Да, как будто бы все...

– Ах, господин полковник, господин полковник. Память-то у вас должна бы быть повострее. Ну, хотите, я вам сейчас кое-что напому.

– Пожалуйста, прошу вас, буду очень благодарен.

– Хорошо. Да неужели вы и взаправду не заметили, что в слове птичка перекадина на литере п так угнута вниз, что уже получается не п, а широко расставленное м. Отчего и выходит не птичка, а как бы скорее мтичка.

– Ах, боже мой. Да ведь это верно. Как же я зазевался-то?

– И еще я вам кое-что укажу. Мтичка-то ваша, конечно, серенькая, а все-таки на правом нижнем перышке у нее есть тонюсенькая розовая полосочка. Так, чуть-чуточная.

– Ну, уж этого, признаюсь, я никогда не примечал, – развел руками Лосев. – Но вы-то, вы-то откуда все это знаете, ваше степенство? Ума не могу приложить. Чудеса какие-то!

Конопатов еще раз сжал и распустил бороду.

– У меня, видите ли, ваше высокоблагородие, – глазок-смотрок. Тем все мы, купцы, и живы. А вот позвольте-ка мне на этих днях, так завтра, послезавтра, к вам навеститься на квартиру. Очень бы желал поглядеть на вашу мтичку.

– Пожалуйста, пожалуйста, – заспешил полковник Лосев. – Сделайте честь и милость. Позвольте, я сейчас на картоне вам мой адрес напишу. Я человек холостой и свободный, от пяти вечера до восьми всегда дома. Очень буду рад вас увидеть!

Через три дня почтенный старообрядец Конопатов постучался вечером в дверь крошечной гостиничной комнаты полковника Лосева.

– Вот я и пришел вас навестить, – сказал он, снимая пальто. – Ну, уж надо правду сказать: к вам взбираться – все равно что Балканы переваливать. Полковник засутился было.

– Сейчас я чай вскипачу. А может, красненького винишка бутылку разыграем? У меня есть недурное божелэ...

Но Конопатов от угощения решительно отказался:

– Благодарю от души, но отложим этот кутеж на другой раз. Теперь у меня времени – всего пять минут, и то в обрез, в обрез. Я пришел, чтобы посмотреть на ваш резной сардоникс. Покажите, сделайте милость. А это не он ли у вас на камине? Позвольте полюбоваться?

Лосев предупредительно вытер тряпкою пыль с сердолика и передал его старообрядцу. И

он сам залюбовался тем, с какой бережной уверенностью и свободной ловкостью его гость рассматривает печатку, деликатно переворачивая ее с боку на бок и щуря глаза. И – странно: с каждым движением осторожных пальцев Конопатова сердолик становился изящнее и красивее и приобретал все новую, свежую, наивную прелесть.

«Вот точно так же, – подумал Лосев, – внезапно хорошеют в руках знатоков и специалистов предметы их глубокого ведения: вина, костюмы, лошади, драгоценные камни, книги, женщины и холодное оружие».

– Да, – сказал протяжно Конопатов, поднимая глаза на полковника, – эта вещичка, поистине можно сказать, не деревянная, а прекрасная художественная резьба по ониксу, по самому твердейшему, после алмаза, камню, который свободно режет стекло. И, посмотрите, что за чудесная, тонкая работа, какая тонкость и сколько терпения! Это – настоящая гемма инталье, и ее смело можно поставить рядом с прекрасными образцами Древней Греции, Древнего Рима и эпохи Возрождения! «Инталье» – вот как назывались у знатоков такого рода шедевры. Вы, вероятно, не хуже меня знаете кое-что об этом великом искусстве, о резьбе по твердому камню?..

– Простите, Евмений Силыч, – почтительно, но без ложного стыда сказал полковник, – простите мне мое полнейшее неведение в этой области, но я – весь внимание. Говорите, пожалуйста.

– Хорошо. Этому искусству уже много тысяч лет, и началось оно чуть ли не с того древнего времени, когда человек с четверенек стал на две ноги. С самого каменного периода. Вековые пирамиды и старинные саркофаги заключают в себе сначала искусно вырезанных скарабеев, мистических жуков. Потом искусство идет выше. В сокровенных заклятых усыпальницах фараонов ученые люди, нарушая загробную волю мертвецов, выкапывают из-под праха веков изумительные каменные доски, на которых артисты тех времен вырезали охоты, пиры и войны величайших владык, придавая событиям непонятную нам теперь красоту и условную верность. Затем – Древняя Греция, воистину золотой век человечества, какой-то божественный радостный расцвет красоты и искусств: зодчества, ваяния, живописи, танца, любви и жизни. Вот когда искусство резьбы по камню достигло своего кульминационного пункта. Знали ли вы как следует государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге? Там была одна древнегреческая гемма, барельеф, вырезанный из сардоникса. Лучший художник того времени, по имени Александр, провел целых двадцать лет в работе над этим чудесным произведением искусства. Вот что такое геммы, сударь!

Но золотой век канул в бесконечность, увлекая с собой много тайн и недоговоренных слов. Владычество над миром перешло к жестоковыйному Риму. Рим жил широко и жадно, жестоко и сурово даже в свои изнеженные времена. Бани, акведуки, термы, триумфальные арки, победные колонны – вот было его завоевательное творчество. Однако в резном по камню искусстве Рим оставил кое-где свои могущественные следы. Какие удивительные портреты, какие выразительные профили, дышащие силой и властью! И, кажется, первыми изобрели римляне небольшие сердоликовые печатки с изображением родового герба, которыми они припечатывали свои восковые послания. И вот последний этап: эпоха Возрождения. Искусства снова расцветают, как сад, после мокрой осени и снежной зимы, весной. Из-под земли люди выкапывают забытые в ней еще с дохристианских времен самые дивные, самые прекрасные творения из мрамора, радостно воспевающие не мрачный аскетизм, не подавление всех страстей, не вражду и отвращение к плодоносной и плодотворной земле, ради далекого и холодного неба, но буйную прелесть жизни, но огненную сладость и силу любви, ослепительную красоту нагого человеческого тела и обилие всех блаженств, так щедро рассыпанных по чудесной земле...

И тогда же, точно по могучему призывному сигналу, появляется на свет великое множество гениальных художников, которые с божественной щедростью, с языческой радостью принимают одаривать мир такими великолепными произведениями искусства, что и до нашего времени, через много столетий, они остаются несравненными и неподражаемыми, и даже секреты их творения не остались в поучение слаонервному потомству.

Вот тогда-то, в роскошную эпоху Возрождения, вместе с живописью, архитектурой, ваянием и другими искусствами, возродилось и искусство резьбы по камню, требующее ума, зоркости глаза, фантазии, терпения, а еще больше вдохновения. Тогда вошло в моду носить на указательном пальце правой руки оправленные в серебро или золото резные геммы, изображающие гербы, девизы, криптограммы, а порою даже профильные портреты знатных особ. Иногда бога-

тые господа и госпожи сами приносили к резчику приобретенные ими редкие, еще не тронутые сардониксы и заказывали сделать из них то-то и то-то, по их личному вкусу и разумению. Но художники в ту пору были люди гордые и самоуверенные. Рассказывают об одном старинном живописце, что когда в мастерскую к нему зашел король Филипп Второй, император Испании и многих других стран, и стал, глядя на работу маэстро, давать ему советы и указания, то художник вдруг остановился и, опустив кисть книзу, сказал: – Мне кажется, ваше королевское величество, что если бы вы присутствовали при сотворении мира господом богом нашим, то, наверное, не преминули бы сделать ему несколько полезных замечаний?

И король – ничего – промолчал. Так и творцы гемм... Они необыкновенно высоко ценили свое резное искусство и держали его на недоступной высоте. И надо сказать, что тогдашние князья церкви, как и князья мира, всячески любили, отличали, награждали и баловали их, не говоря уже о том, что часто прощали им великие прегрешения против всех десяти заповедей господних. Сохранился в преданиях один чрезвычайно характерный рассказ о Бенвенуто Челлини, величайшем резчике по всем металлам, минералам и камням и в то же время величайшем на свете проказнике, и о святейшем папе, не могу теперь вспомнить – Клименте, Павле, Сиксте или о каком-нибудь другом? Случилось так, что, находясь на службе у строжайшего и властнейшего из пап, Бенвенуто Челлини уехал из Рима, не спросив, без разрешения, и оставив все порученные ему работы недоконченными. Неизвестно было, по каким из прелестных итальянских городов носили его страсть к приключениям, любовь к жизни, ненасытно жадный темперамент и дьявольская вспыльчивость, но до Ватикана уже успели добежать темные глухие слухи о каком-то обиженном аббате, о похищенной у родителей девушке, о пропоротом шпагой боке завистливого и наглого конкурента. Но вот Челлини вернулся в Рим, с великим трудом добился разрешения предстать перед грозные очи папы. Со смущенной душою, но с обычным гордым видом вошел он в малый, интимный покой ватиканского дворца, где сидел святейший отец, окруженный ограниченным числом любимых кардиналов. Святейший отец уже давно накопил много гнева против Челлини в сердце своем. Поэтому он сразу накинулся на художника с укорами и бранью.

– Мессир Челлини, – сказал он, – вы уже давно своим мерзким поведением, неучтивостью и небрежностью перетянули ту слабую нить терпения, на которой висело наше благорасположение к вам, заставлявшее нас скрепя сердце прощать вам многие ваши гнусные преступления и ваш позорный образ жизни. В этой руке, – продолжал он, потрясая сжатым кулаком, – нередко лежали: ваша грязная честь и ваша жалкая жизнь. Но ныне – видите – я разжимаю пальцы и предоставляю вам падать в бездонную пропасть. Но прежде – и я на этом настаиваю – вы должны мне дать ясный и правдивый отчет в том, куда вы девали данные нами вам золото, серебро и драгоценные камни, предназначавшиеся для исполнения наших заказов. И, наконец, под страхом тяжелой кары за ложь, расскажите нам, какие причины заставили вас оставить Рим и что вы делали в своем долгом отсутствии?

Разгневанный папа умолк, но тут, на свое горе, льстиво сладким голосом вмешался приближенный кардинал князя церкви Строццо дель Пабло.

– Святейший отец наш, – сказал он, – как больно и как горько нам, вашим покорным рабам и верным служителям, созерцать неудовольствие и скорбь, омрачающие светлейшее чело великого Понтифекса, владыки всего христианского мира! И кто же явился причиной этого справедливого гнева?

Презренный человек, низкого происхождения, мелкий ремесленник, именующий себя художником! О! эти художники! вечные посетители кабаков, друзья развратных девок, шумные буяны, кропатели злых эпиграмм, подонки общества, язычники, а не христиане.

Но в этот момент Челлини, успевший оправиться от страха, в который его повергла папская немилость, вдруг оставил свое место и большими шагами направился прямо к креслу великого первосвященника. В руках у него был прекрасной работы кипарисовый ларец, украшенный по краям и по углам изумительными серебряными узорами. Не доходя трех шагов до подножия кресла-трона, он остановился, стал на колени и протянул ларец к ногам папы.

– Слова его эминенции, синьора кардинала, – сказал Челлини ясным и приятным голосом, – были подобны мухам на стекле: мухи жужжат, они бьются о непроницаемую поверхность, они могут загрязнить стекло, но сделать ему они ничего не могут. Одна только воля святейшего отца моего может наказать меня или наградить. Здесь, в этом ларце, заключены и мое обвинение,

и мое оправдание. Судья же мне только его блаженное святейшество, князь церкви, папа римский.

Тогда папа сделал знак двум отрокам, стоявшим в белых парчовых одеждах по бокам его трона, и они приняли из рук Челлини ларец, открыли его крышку и так, в раскрытом виде, поднесли его к очам первосвященника. Наступила тишина в зале. Папа долго рассматривал содержимое ящичка, и все присутствующие видели, как постепенно прояснялось лицо папы и как наконец оно озарилось светом божественной радости. Зоркий же глаз Челлини успел увидеть в глазах высочайшего владыки теплый блеск удержанной слезы.

– Посмотрите, – сказал папа, обращаясь к кардиналам. – Посмотрите на это совершеннейшее творение. Вот перед вами тайная вечера господня, изображение которой с неподражаемым искусством вырезано из многоцветного сардоникса. О! поглядите, какое дивное распределение цветов, пятен и прожилок. Господь наш Иисус Христос в белом хитоне, агнец чистый и непорочный, пришедший за грешное человечество. На груди же у него возлежит апостол Иоанн, кроткий и нежный – весь стремление к небесам. Оттого и одежда у него голубая. А дальше апостол Петр. Он стремителен, он страстен, он горяч. Он отрубает ухо рабу Малху, он же до третьих петухов трижды отрекается от спасителя, и он же, снедаемый вечным раскаянием, требует, чтобы его распяли головой к месту, где были на Голгофе ноги спасителя, он же тот камень, на коем основал господь церковь свою, которую не одолеют силы вражие до скончания света. Вот почему Петр – в красной одежде. Красный цвет – символ власти и душевного горения. А вот и Иуда. Он в темно-коричневом одеянии. Какой мрак! Ибо не будет прощения ни ему, ни диаволу.

Но вот что восхищает и умиляет до слез наше сознание: миллионы, может быть, лет лежал этот камень в земле на дорогах, в пыли, в небрежении. И вот поднял его однажды художник, поглядел на него и сказал: этот дикий, необработанный камень создан богом для возвеличения священной памяти о сыне его. И тогда взял он незатейливый резец свой и после медленной терпеливой работы создал свыше предначертанную ему последнюю трапезу господню... И затем папа громко произнес:

– Приблизься к нам, возлюбленный сын наш Бенвенуто. Да будет благословенно имя твое и пути твои. Ошибки твои я тебе прощаю властью, данной мне богом. И счетов между нами больше нет. Пусть твой гений по-прежнему служит восхвалению милости и радости господней.

И дал папа позволение Бенвенуто Челлини поцеловать свою святую руку, и все видели, как папа любовно положил руку на голову художника. А потом папа встал со своего сиденья и произнес страшные слова, обращенные к придиричивому кардиналу Строцци дель Пабло:

– Ты не мягкий, всепрощающий церковнослужитель. Ты верблюжий кал, ты погонщик мулов, ты скопец... Не хочу я видеть мерзкого лица твоего. Уйди от меня надолго, пока не получишь извещения. Творение же прекрасного мастера Бенвенуто Челлини сегодня же будет отнесено в собор святого апостола Петра и поставлено в алтаре главного притвора.

– Вот видите ли, – продолжал старовер Конопатов, – видите ли, каким великим обаянием обладали художники времен Возрождения и каким беспримерным уважением пользовались они у людей силы и власти. И поэтому не мудрено, что они с горделивым презрением, с обидной насмешкой встречали советы профанов и грубо отвергали домогания темных, сомнительных богачей. Да и зачем им было отдавать свои шедевры в грязные, невежественные руки плебеев, когда папы, императоры, короли и герцоги Европы за великое счастье считали приобретать их геммы и первые знатные красавицы Старого Света лучшим украшением для своих стройных шей и блистательных плеч признавали камни, вышедшие из-под резца одного из итальянских высоких мастеров!..

Ну, а теперь о вашей гемме, о вашем коте со мтичкой. Да, я повторяю опять: это – настоящая гемма. Конечно, не расцвета эпохи Возрождения, а, скорее, ее конца, но вещь все-таки стоящая внимания. Посмотрите, как тонко, умно и расчетливо мастер использовал все цветовые эффекты. Розовая жилочка в сердолике, вот вам и готово перышко малиновки. Полуоткрытый клюв – экстаз. Кот серый и притом самый лукавый, откормленный, глаз-то у него не то янтарного, не то хризолитового цвета, желтый, но ободок-то у глаза почти черный, ибо хищный котяга, беспощадный. Пустячное – скажете – инталье, а сколько в нем находчивости, старанья и любви! Мастер – безусловно итальянец, ну а надпись-то позднее придумал и сделал наш брат, новгородский гусеед, из Новгорода Великого. Надпись преехидная и презанимательная. Настоящее

русское густое остроумие. А где вам ее приобрести случилось?

– В Гдове, у захудалого старьевщика. За гроши мне досталась.

– Так, так, так-с. Крадишка, значит.

– Вероятно.

– Да чего же вероятнее. Я, когда мне шел тридцать третий годок, – время-то сколько утекло, – собственными глазами эту мтичку видел и хорошо запомнил. А видел я ее в Пскове, младшем брате Новгорода, в музее Поганкинских палат. Тогда же мне старый-престарый сторож рассказывал, что эта геммочка слывет как бы амулетом: кто ее носит с собою – тот может не бояться внезапной и пагубной любви к особе другого пола. Волшебная, видите ли, вещица.

Тут, кстати, Лосев поведал староверу о недавних своих попытках продать кота с мтичкой, но Конопатов даже руками замахал.

Тут, и думать об этом. Такое чудесное изделие нельзя псу под хвост бросать. Луврский музей тоже ее у вас не купит, уж больно густо-русский юмор. Нет, раз попала гемма вам в руки, держите ее у себя крепко. Полковник пожал руку Конопатову.

– И правда, – сказал он. – После вашего чудесного рассказа мне жалко стало думать о продаже. Пусть уж у меня живет и от роковой скоростной любви меня охраняет.

Удод

Над университетским ботаническим садом прошумел мгновенный, крупный, теплый, весенний дождь. Червонное зарево заката сквозь гущу ветвей бросало на свежие газоны пурпурные, фиолетовые и лимонные пятна, которые двигались, качались и трепетали. Цветущие паникадила розовых каштанов разливали свой прекрасный, почти человеческий, но греховный запах, от которого у женщин раздуваются и вздрагивают ноздри. Профессор Сапожников встряхнул и сложил свой зонтик.

«Уйдет ли наконец мой навязчивый незнакомец? – подумал он с досадой. – Или уж мне самому придется оставить привычное насиженное местечко? А жаль!» Но незнакомец не помышлял об уходе. Короткий обильный дождь был для него, казалось, всего лишь точкой с запятой. Поставив ее, он продолжал свой монолог нудным, тонким, плачевным голосом и все в том же вычурном, патетическом стиле: – Чудеса-то какие творятся на небе, на земле и в воздухе! Прежде, бывало, созерцаешь их, и сердце замирает от блаженной радости и от сугубой благодарности. Но ныне душа обомлела, заскорузла от ударов судьбы и уже недоступна стала высоким чувствам.

Да ведь и то сказать... Разве человеку, которого завтра поведут на виселицу или на хирургическую тяжелую операцию, – разве ему придет в голову любоваться красотами утренней зари, милым пением птишек, ароматами цветов? Ведь все его мысли совокуплены в ожидании завтрашнего ужаса...

Ну вот, итак, прошу простить меня великодушно в том, что я продолжаю мою печальную и злосчастную эпопею. Знаю я сам, отлично знаю, о покровитель угнетенных, что кому же интересны чужие вопли и стенания, когда нет на свете ни одного человека, довольного своей земной участью. Есть в русской мудрости, у русских мужиков такая умная, хотя и не очень эстетическая поговорка: «Каждому своя сопля солона», извините за грубоватое слово. Но ведь также надо войти и в положение одинокого человека, вся душа которого так переполнена обидами и неудачами и так изнывает от принудительного вечного молчания, что уж дольше терпеть ему стало невмочь, и одно только средство от грядущего безумия – это исповедаться вслух перед умным и добрым человеком... Так не разрешите ли?

– Что ж, – согласился профессор лениво, – говорите, пожалуй. У меня еще четверть часа свободны.

– Покорнейше вас благодарю, о ценитель драгоценных камней! И тем более ценю вашу милость, что нет у меня ни малейшего намерения разжалобить вас для цели гнусного попрошайничества. Нет, не карман мой пуст, а душа моя переполнена до отказа. А на хлеб и на ночлег денег у меня хотя и в обрез, но все-таки достаточно. Ну вот, значит, женился я на этой девушке, на Паве. Имя-то ее настоящее было Полина, или попросту Павлина, а в уменьшительном виде Пава. Да и шло ей очень это коротенькое в четыре буквы имечко, по ее плавной походке и по ее гордой манере, хотя всего-то она была – белошвейка.

В первое-то время, пока молодоженами мы жили, нужда как-то еще не очень тяготила нас. Казалась почти незаметной и легко переносимой. Я служил регистратором в правлении юго-западных железных дорог; она бегала в свою мастерскую, неподалеку от нашей квартиры, состоявшей всего из комнаты и кухни, в полуподвале. Так себе жили, ничего себе... Я, по крайней мере, эти первые месяцы и до сих пор вспоминаю, как самые райские. В общем, выручали мы оба в месяц: я – тридцать два рубля с дробью, она – около двадцати, иногда чуточку больше, иногда – чуточку меньше, а все-таки – жили.

А потом пошла привычка, окончилось сладкое брачное удивление, охладились вулканические темпераменты. К тому же завелись некоторые знакомства; расширились потребности. В театр стали ходить, в цирк, в оперу, на симфонические вечера. К тому же Пава, страсть до чего похорошевшая после замужества, стала уже чересчур далеко, не по средствам нашим, франтить, финтить и кокетничать. То ей надо шляпку модную, то горжетку новую, то корсет шелковый, то ботинки лакированные. Но держала себя строго и целомудренно, а это для меня и было постоянным молчаливым, но ядовитым и непереносимым укором. Взял за себя я красивую бабу – значит, навалил на себя неудобноносимую ношу. Изворачивался я и туда и сюда, как угорь, вытасненный из воды, чтобы увеличить наш бюджет... Куда там. Чем больше человек старается, вертится, упрашивает – тем меньше судьба его слушается. Подходить к удаче надобно весело и небрежно, так: ручки в брючки да еще посвистывать при этом, как будто бы не гнешься под тяжким грузом, а так себе, вышел прогуляться после изысканного завтрака. Я же всегда был робким человеком и кисляем...

Но, подумайте-ка, и мне наконец стала судьба улыбаться; надоел я ей, должно быть, хуже горькой редьки своими жалобами, укорами и канюченьем. Получил я однажды частную работу, весьма срочную, важную и большую. Сделал ее, можно сказать, на двенадцать баллов с плюсом и получил за эту работу весьма крупное вознаграждение: целых сорок пять рублей. Грандиозную получку эту надо было, по уговору, спрыснуть легкой выпивкой, купно с товарищем, который рекомендовал меня работодателю. Так и сделали: на пять рублей выпили водки, закусили таранью и вареными раками и закончили наш кутеж парой хамовнического пива. Тут-то приятель мой и пристал ко мне, как собачий репейник: «Пойдем да пойдем в проходку. Чтобы от нас, когда домой придем, не пахло винищем. Пойдем, говорит, до лошадиных бегах. Там, говорит, из-за забора отлично-хорошо можно глядеть, как лошади между собой соревнуются в красоте и резвости бега». Ну, что же? Надо было дружку удовольствие сделать, хотя я в лошадиных рысистых бегах тогда вовсе ничего не понимал и занятием этим не интересовался. Пошли. Пришли. Оказывается, щелки-то в заборах, через которые бесплатно можно было любоваться, теперь все белыми свежими дранками заложены и наверх невозможно взобраться я потому что гвозди понатыканы. Остриями вверх. Но приятель опять пристал:

– Ах, милый дружище, разорись еще на два целковых, пойдем на неблагородную трибуну. Купи, ради праздничка, парочку билетов.

Ну, что тут поделаешь? Деньги – два рубля, уж не такая огромная сумма, а услужливый приятель Жуков в самом деле сделал важное одолжение... Кстати, и самому любопытно стало на бега посмотреть. Хотя один раз в жизни. Взяли мы в будочке билеты и пошли на место, а по дороге, проходя через буфет, еще у стойки по крупной рюмке зубровки тяпнули. Сидим мы на своих местах, просто на деревянных длинных скамейках, и смотрим на бега. Ничего. Хорошо. Можно даже сказать, весьма красивое зрелище. Лошади красивые, и, если мимо трибуны нашей, так прямо вихрем летят, ажно дух захватывает. Наездники горячатся, гикают на рысаков, публика орет... Но тут подошел антракт. Пошли мы в буфет и снова зубровки долбанули. Жуков и говорит:

– А пойдем-ка, я тебе покажу те кассы, где на лошадей ставят пари.

Ну я, конечно, согласился, потому что у меня уже в голове шумело. Показал он мне. Какая-то длинная загородка, а в ней все четырехугольные дырочки, вроде окошечек, и на каждой сверху надписи: ординарный, двойной, тройной. Жуков мне всю эту механику объяснил. Мне ничего, как будто бы даже понравилось. Занятная играшка. Дернули опять у буфета, на этот раз уже коньяку мартелевского. После этого я и взъерепенился.

– Пойдем, – говорю, – к тотализатору. Я сейчас хочу ставку поставить. Он говорит:

– Дай и мне взаймы два рубля. Я тоже поставлю и тебе за это самую верную лошадь посоветую. Я ему отвечаю:

– Вот тебе два рубля и помни, что от меня больше ни копейки не получишь.

– Да дай же, я хоть тебе лошадь укажу.

– Не надо, сам выберу. Покажи-ка мне на программке, какие лошади в следующем заезде побегут.

– Коли так, ладно, – говорит он и отчеркнул ногтем несколько лошадей. Я взглянул. Метнулось мне в глаза название Удод, и я сказал:

– Вот на этого Удода я и поставлю. И никаких. Тот взопил:

– Да не придет никогда Удод в такой компании. Он и ихних хвостов не увидит.

– Ан нет, – говорю, – придет, да еще на первом месте будет. На него и поставлю в ординаре.

– Эй, Кузьма, перестань ершиться. Не делай глупостей... Ну, хочется тебе деньги на ветер бросить, поставь на Удода рублевку в тройнике, и баста.

Но тут уж я уперся. Обругал Жукова за то, что лезет моими деньгами распоряжаться, пошел к тому окошечку, на котором была надпись «Ординар», сунул в нее остатние тридцать рублей и говорю:

– На Удода!

Артельщик козлобородый на меня глаза выпялил:

– На Удода?

– Именно на него, на Удода.

– А сколько же ставите?

– Да ведь сами видите сколько. Тридцать целковых.

Тот даже головой мотнул.

– Ваше дело. Извольте принять квитанцию.

– Чувствительно вас благодарю.

И пошел прочь от него. Оно, по правде сказать, пьяноват я малость был, однако все-таки успел заметить, что пропасть всякого бегового народишка собралось со всех сторон на меня поглядеть, подивиться, и только я вокруг и слышал: «Вот этот самый, на Удода. Вон-вон, налево, на Удода». Пальцами показывали. А какой-то рыжий мальчишка, так он, сукин сын, прямо мне в лицо продекламировал стишок: «Вот эта уроды ставит на Удода». Хотел я было его за виски оттащить, да на круге зазвонили, что сейчас будут лошадей выводить.

Пошли мы с Жуковым опять на трибуну и сели на прежние места. Жуков уж больше не пиявит меня, оставил в покое. Только изредка вздохнет да головой укоризненно покачает. Наконец выехал и Удод, запряженный в американку. Казалось, что его наезднику было самому стыдно за свою лошадь, – так он неуверенно и робко оглядывался на публику, наполнявшую трибуны. Казалось, что даже десятилетний мальчуган нашел бы этого рысака особой, совершенно случайно попавшей на ипподром.

Когда на старте пускали лошадей, то Удод артачился и кобенился свыше всякой меры. Из-за него пришлось пять раз возвращать всех лошадей назад, обратно к стартовой линии. Но когда удалось наконец пустить рысаков сравнительно ровно, то Удод сразу же оказался позади всех лошадей на десять корпусов, увеличивая это расстояние с каждой саженью. И бежал он не тем ровным, размашистым ходом, который составляет прелесть беговой лошади, а какой-то неуклюжей, нелепой собачьей рысью. По всем вероятностям, он был сильно запущен и года два не тренирован. Когда, обогнув крутой поворот, он проходил вдоль неблагородной трибуны, сотни насмешек и ругательств посыпались на него и на его растерявшегося наездника со стороны бесцеремонной, буйной на язык, серой толпы.

– Кляча! Водовозка! Шкапа! Похоронная процессия! Ты что, Чижов? В чухонские вейки поступил? Вали прямо на живодерку! Татарам на махан этого одра!

Однако же странное и даже невероятное явление происходило в этот день и в этот заезд на беговом кругу. Отличные первоклассные, много раз призовые рысаки, все, как сговорившись, не ладились и не шли. Не могли идти, не хотели. Что ни шаг, то сбой или проскачка. Кто скажет, какая тому была причина? Разнервничались ли чересчур рысаки еще с начала заезда на долго неудавшемся старте? Погода ли была такая, очень тяжелая? Сговорились ли подлецы наездники в конюшнях? Или просто здесь играл роль сумасшедший случай, нелепо выпадающий раз в сто лет? Один рысак хорошего доброго характера испугался летящей программки и понес, и остановить его едва смогли уже на третьем кругу; другая лошадь упала, у третьей размоталась

сбруя, четвертая захромала. Словом, первым пришел к призовому столбу почти шагом этот чертов Удод. Другие или сами сошли с круга, или их дисклассифицировали за сбои и проскачки.

Тут унылый, тонкоголосый человек остановился, громко высморкался и сказал:

– Ну, как вы думаете, милостивый государь мой (простите, ни имени вашего, ни отчества, ни звания не имею чести знать), как вы думаете, какую сумму выдал мне тотализатор за все мои шесть билетов, приняв еще во внимание то обстоятельство, что я был единственным и единственным человеком на всем ипподроме, который играл на Удода? Хотя приблизительно прошу сказать.

Профессор зевнул в темноте и ответил принужденно:

– Я в этом деле мало чего понимаю. Ну, скажем, рублей сто? Двести?

– Ах, нет. Подымай выше. Получил я ровно девять тысяч и девятьсот рублей. Вот вам и сто – двести.

– Да-а. Это сумма! – ленивым баском протянул профессор. – Особенно для человека небогатого. И я надеюсь, что вы, конечно, все эти деньги, упавшие к вам как бы с неба, употребили умно и расчетливо на самые необходимые хозяйственные нужды?

Совсем уже теперь невидимый в темноте человечек завожился на скамейке, засопел и завздыхал.

– Эх, ваше превосходительство, если бы так. А ведь я оказался жалкой росомашой, последним болваном, настоящим преступником, которого надо было бы выдрать публично, на городской площади, при всем честном народе!

Получивши деньги, отправился я немедленно с бегов домой. По случаю выигрыша не хотел идти пешком, сел в трамвай. А кредитные бумажки старательно уложил в задний боковой карман штанов и пуговочку тщательно застегнул. Сажу в трамвае, а сам, нет-нет, возьму и рукой карман пощупаю. Хрустят? Хрустят! И, помню, все мне с почину рыжего хулигана лезли в голову рифмы на слово Удод: Удод, урод, идиот, скот, приход, расход, приплод, компот... На последней станции, перед самой нашей квартирой, сошел я с трамвая. Еле выкарабкался, такая была неимоверная теснота... Стал на тротуар, ощупывая себя сзади. Хрустит ли? ан нет, чувствую одно мягкое сукно, обольстительного хруста уже не слышу. Очевидно, в толкотне проклятые воришки успели подрезать мой карман и вытащить из него кредитные знаки. Как мокрая, побитая собака, явился я к жене и рассказал ей всю мою трагическую историю. Пава слушала молча и потом не сказала ни слова. Только лицо ее потемнело и под сжатыми челюстями заходили бугорки. Я начал было говорить о том, что надо известить полицию, найти номер трамвая, дать объявление в газетах. Но она резко встала, швырнула мне в лицо чулок, который только что штопала, причем очень больно стукнула меня по виску штопальным грибом, и с презрением, с желчью и с гневом вскрикнула:

– Сам ты Удод, никуда не годный! И больше ты, расслабленный дурак, меня никогда не увидишь.

Собрала всю свою женскую хурду-мурду, завязала в платок и молча ушла. Так я и не знал очень долго, что с нею и где она. Всеведущий Жуков уверял меня, что будто бы она сошлась с цирковым борцом, по фамилии Максим Слонов, а весом восьми с половиною пудов. И что уехали они обое в Астрахань. Не знаю, правда это или не правда. Жуков соврать тоже не дорого возьмет. А вот сегодня получил я от Павы письмо из города Баку. Пишет, что живет хорошо, чего и мне от души желает. И при том покорнейше просит, чтобы я согласился на развод по причине якобы моего полнейшего полового бессилия. И вот я теперь хожу и думаю: согласиться или нет? Ведь не сам ли я виноват, что бедняком на бедной женился. Да и эта печальная история с Удодом... Как вы думаете, ваше сиятельство?

Но профессор ничего не думал, кроме того, что незнакомец окончательно ему надоел.

– Не берусь судить, – сказал он, – дело не мое, и я в этих самых разводах ничего не смыслю. Позвольте вам пожелать спокойной ночи.

Он встал и пошел, быстро поглощаемый ночным сумраком.

Бредень

Молодой ученый агроном, Василий Васильевич Воркунов, возвращался не спеша домой, в черникинскую удельную усадьбу. У ноги его устало плелся рыжий, в белых пятнах гончий выжлец Закатай, выпустивший почти на пол-аршина красный мокрый язык. Три затравленные русака

болтались у Воркунова через правое плечо, а левое плечо оттягивало тяжелое ружье, давившее на ключицу.

Было тепло, всего градусов восемь-девять ниже нуля по Реомюру. Далекие снега без границ казались то скучно зеленоватыми, то вяло желтоватыми, а в глазах медленно плавали черные точки. Мысли текли сонно и несвязно.

Думал агроном о петербургском сельскохозяйственном институте, о практических работах, о том министерстве, к которому он был причислен и которое в насмешку называлось «министерством непротивления злу».

«И в самом деле, что за нелепое, что за глупое, что за трагикомически бесцельное учреждение! Каждый день, каждый час, чуть не каждую секунду извергает оно сотни тысяч указаний, приказаний, запрещений, советов, распоряжений, незамедлительных мер, имеющих в виду блестящее возрождение всероссийского хозяйства. Но, увы, весь этот непрестанный бумажный труд легко укладывается в пять-шесть слов, с которыми в «Плодах просвещения» светский балбес Вово обращается к деловым, серьезным крестьянам:

– Вы бы, мужички, сеяли мятунку. Э... Вы бы мятунку сеяли».

«Да, – размышляет Воркунов, – образцовую, показную ферму, конечно, можно оборудовать с блестящими результатами и даже на удивление высококультурным европейцам. Но, во-первых, дайте мне для этого эксперимента ровный, спокойный климат, не грозящий ни дьявольскими засухами, ни внезапными сорокадневными потопами, ни апокалипсическими нашествиями саранчи, во-вторых, найдите для этих агрикультурных выставок такой глубокий слой природного чернозема, который проникает вниз на две сажени. Но таких сказочно плодородных земель теперь уже не отыщешь нигде на огромных пространствах России: ни в южных богатых степях, ни в баснословных хозяйствах Сибири и Присибирья. Все оскудело, обеднело, захирело от лени, неумения, дикой жадности, от дурацкого закона: день – да мой.

Иностранцам хорошо. У них для удобрения годится все, что способно гнить и давать химические результаты для оплодотворения.

Там еще гуано перевозят через океан, сотни тысяч тонн гуано, там в мельчайшую пудру размельчают миллионы пудов всяких фосфатов. Там и сушеная бычья кровь, и рыбные остатки, и устричные раковины ценятся, как отличнейшие удобрения, и человеческий помёт стоит на высоком месте. Что же касается до самого ценного удобрения, лошадиного помёта, то надо только представить себе, сколько его могут дать слоноподобные арденны и першероны, и притом какого несравненного качества. Но, к сожалению, все эти замечательные пособники оплодотворения и мощного произрастания растений, увы, совсем не для русского жалкого хозяйства. Надел крестьянский оскорбительно мал: в пору быть сытыми до следующего ярового посева. Удобрят мужики землю исключительно лошадиным навозом. Но что уж может дать крестьянская лошадинка ростом с телка, худая, изморенная, весом не больше шести пудов, всегда худо кормленная, измученная непосильной работой и скверными, ухабистыми, болотистыми дорогами.

И нечего хвастать, что Россия – житница мира, величайшая хлебоборонная страна... Правду сказал один великий агроном, когда говорил:

– Нет такого голого и бесплодного куска земли, пусть это даже будет холодная скала, – где бы опытный и трудолюбивый хозяин не мог развести прекрасный сад, отличного цветника и хорошего огорода.

Да! Он сам, Василий Васильевич Воркунов, ученый агроном, и до сих пор еще глубоко верит в то, что если бы дружно, усердно, умно и честно взяться за дело, то со временем не так уже невозможно сделать Россию первой страной в мире по хлеборобию. А тогда уж долой и войны. Как какие-нибудь государства начнут рычать о войне, так Россия – хлоп! – и закроет хлебный амбар. «Нам надо делом заниматься, а вы там себе деритесь, сколько вашим душенькам хочется. – Воркунов глубоко вздыхает. – Но только ох как много для этого мирного счастья надо!

Первое – все проселочные дороги вымостить крепко-накрепко и обсадить деревьями. Возможно же это было за границей, а в старые времена и частным владельцам по личной инициативе. Второе – научить крестьян строить избы из кирпича, скажем, сначала фундаменты и бани, а хлева и амбары из камня с известкой. Молодых инженеров путей сообщения и строителей посылать без всяких церемоний в деревни отслуживать свой практический стаж, а рабочей силы в России – сколько хочешь. Да, видел я шлюзовые огромные постройки на Мариинской системе и на Сайменском озере. Кем построено? Солдатами и арестантами. А в-третьих: во что бы то ни

стало выработать средний тип сильной и выносливой крестьянской лошади, не такой, которая бы все мужичково хозяйство пожрать могла, а хоть бы такой, какую Петр вывел в Вятке от чухонских лошадей... ну, скажем, немножко покряжистей.

Что здесь мудреного? Ведь производили же русские поля и русский овес тяжеловесных битюгов, великолепных скакунов, отличнейших рысаков и превосходный материал для кавалерийского ремонта. Но одно дело спорт и забава, и совсем другое – рабочая лошадь хозяина-хлебороба. Последняя-то будет посущественней!

Да и образование мужику необходимо. Только не та хурда-мурда, которой его пичкают в начальных школах и которую он забывает на шестнадцатом году. Нет, дайте ему познания о правах и обязанностях, дайте понятие о свободе, и справедливости, и о высоком человеческом достоинстве. А уже после, после этого духовного воспитания, не бойтесь щедрыми руками вливать в его мозг, в его глаза, уши, руки и в память сколько хотите научных знаний, ремесел и привычек; надо только, чтобы каждое из них имело ясное, живое и прочное практическое применение к жизни и к работе. А уже после этого искуса, без всякой церемонии, нарезать всю землю, способную плодоносить, во владение тех хозяев, которые будут способны обращаться с нею наиболее умно, любовно и продуктивно. Ведь подобным же образом строгий и мудрый отец отдает свою дочь не пустому лодырю, болтуну, лгунишке и гуляке, а человеку здоровому, толковому, работающему и сильному, который и дому верный рачитель, и жене заступник, и детей наплодит крепких, как огурчики».

Дойдя до этой мысли, Василий Васильевич Воркунов вздыхает, громко чмокает языком и крутит головой.

«Вся суть в том, – говорит он самому себе, – что министерство «непротивления злу», вместе со своим облесением оврагов, осушением болот, ручьев и речек, задержанием таяния снегов, с опытами грядкового сеяния ржи по Демчинскому и по китайской системе и со всякими другими фокусами в банке, так же нужно трудолюбивому и трезвому мужику, как собаке пятая нога. Да, пожалуй, и все мы, интеллигентные помощники и руководители, ему не надобны: ни я – агроном, ни господин лесницын, ни дохтур, ни вителинарь. Все равно нас всех одинаково будут топить и резать в первую голову во время первой эпидемии.

А почему? Да просто потому, что как бы добры и благожелательны ни были, а все-таки мы люди в штанах навывпуск и, значит, у мужика никаким кредитом и никаким доверием не пользуемся со времен крепостного права, а еще больше с крестьянского освобождения, которое было настоящим разделом между медведем и мужиком. При помещиках-то мы еще кое-как жили. А пришел конец крепостному праву – тут-то мы и захирели. Свободы-то нам только хвостик показали, а землю совсем обидели, и нет ничего удивительного на свете, как эта неумирающая коллективная память народа. Не только крепостное право помнят до сих пор, еще поют про Ивана Грозного, про Петра Первого, про удалого казака батюшку Степана Тимофеевича и Павла Первого добром вспоминают. А по какой причине? К боярам были жестоки выше всякой меры.

Вот тебе и ходячая русская история. И при чем же в этом космосе мы, приبلудные агрономы? Уж одно здесь страшно, что ведь мы и разговаривать с мужиком не умеем, а не только учить и просвещать его. И ведь что обидно: для своего обихода, для своих несложных надобностей русский крестьянин обладает языком самым точным, самым ловким, самым выразительным и самым красивым, какой только можно себе представить. Счет, меры, вес, наименования цветов, трав и деревьев. Рождения, свадьбы. Похороны, ездая упряжь, все подробности до мелочей домостроительства и домохозяйства, одежда и обувь, еда и питье, все носит у мужика названия, наиболее краткие, удобные и легкие для памяти и произношения. И тут же инстинктивная работа языка над фонетическим благозвучием». Воркунов не может удержаться, чтобы не вспомнить несколько выразительных слов; вот, например, как называют родню: братовья, мужевья, деверья, сватовья. А вот бычки в различных возрастах: бычок молочный, бычок лонешный, бычок зеленятник, бычок нагульный и потом уже бык, которого почему-то часто зовут Афанасием.

Очень хорошо также слушать, как в осенние тихие вечера, после тяжелой летней страды, беседуют дружно между собою на завалинках пожилые почтенные мужики. Что за прекрасное течение речи, полновзвучной, русской правильной речи, не нарушаемой ни мычанием, ни искусственным кашлем, ни эканьем, ни умышленным повторением слов, ни дурацкими вставными словечками, ни заиканием. Все, что нужно сказать, говорится кругло, веско, и слова сами ложат-

ся на полагающееся им место без натяжки. Мудрое слово импровизируется тут же на месте в виде краткого поучения, забавного сравнения, рифмованного афоризма, меткой характеристики: «Ты его считай за апостола, а он хуже кобеля пестрова», – и нельзя уже тут соваться со словом мало взвешенным или почерпнутым из барско-лакейского лексикона. Сейчас же оборвет какой-нибудь из строгих словесников:

– Говорок, говорок облизал чужой творог. Или еще того хуже: обзовут отцом языкантом.

Здесь, на этих тихих беседах, ревниво и тщательно берегут чистое слово. Недаром же у Пушкина и у Даля так красиво, богато, гибко и послушно русское слово. Оба они начатки его впитали в себя в русской деревне еще в младенческие дни своего земного бытия.

И тут уж с легкой горечью говорит сам себе немножко усталый Воркунов: «Язык-то мужицкий мы, божьим попущением интеллигентны, отлично и даже с наслаждением понимаем, но когда покушаемся на нем говорить, то выходит у нас вроде Петрушкина ломания: невнятно, смешно и позорно.

И мужик, в свою очередь снисходя к душевному убожеству человека в штанах навыпуск, старается объясняться с ним черт знает на каком путлястом, нелепо напыщенном, перековерканном наречии, на котором ни мужик, ни барин ровно ни звука не могут понять».

А тут еще министерство «непротивления злу» рекомендовало на днях Воркунову озаботиться немедленно распространением среди крестьян ревеня, как дешевого и полезного варенья, а также культивизацией волчьих ягод на предмет изготовления из них замечательного слабительного средства «каскара саградо».

– Нет, черт возьми! – громко восклицает агроном. – Сегодня же напишу бумагу с просьбой об увольнении из министерства.

В этом саморазговоре молодой человек не успел заметить, как его утоптанная тропинка постепенно подымалась вверх, и только теперь понял, что он взбирается на пологую горушку, которую местные мужики называли Поповкой, а молодые охальники Поповым пупом, потому что на ее верху испокон времен селилось духовенство деревни Тристенки.

Гончий пес, учуяв людей, с лаем помчался вниз. Воркунов пошел следом за ним, перемещая движениями плечей натрудившие кожу ремни. Под ним высились: закутанная снегом водяная мельница, а неподалеку от нее – две синие луковицы церкви.

Посредине протекала обычно речонка Зура, но теперь она замерзла и лежала ровным белым платом, на котором Воркунову мерещилось какое-то неясное темное движение.

«Это я много нынче на снег нагляделся», – подумал агроном.

Высоко на небе выплыл серебряный молодой месяц, дальние облака на востоке окрасились в стальной, с румянцем, свет; заметно похолодало. Гончая собака прибежала снизу, потерлась о ногу и точно доложила хозяину – гав, гав, гав, гав, внизу какой-то народ, пойдем посмотрим!

Воркунов спустился по горушке. Еще издали приметил он все выставшую при его приближении черную толпу. Слышен уже был бестолковый пляшущий галдеж, по которому легко узнать обеспокоенных мужиков.

«Это, вернее всего – тристенские молодчики. Они – первые заводиловцы на всякий шум и разногласие. К тому же они с помещиком уже давно тяжбу ведут по поводу этого рукава Зуры. Что и говорить – лихие парни».

Он не ошибся. Тристенские мужики облепили реку по льду и по берегам. Все глухо орали, стараясь перекричать один другого. Вблизи услышал агроном и отдельные голоса:

– Чаво ты лезешь? Говорят тебе, что непременно тянуть надоть, пока морозом по краям не прилепило!

– Да! Потянешь ты! А может, сеть-то за корягу зацепилась. Тебе легко говорить: тяни, а если опчественный бредень разорвать, так тебе и горюшка мало, трутень ты безмедовый, захребетник ты мирской.

– Чаво ты лаешься, непутевый. По-твоему, оставить бредень до весны в воде, прогниет, а ему цена-то вон какая, братец ты мой, цена агроматная. Уж тут как хочешь, а тянуть нужно.

– Мырнул бы кто-нибудь, кто посмелее, – посоветовал робкий голос.

– А ты вот и мыряй, ежели этакий нашелся. Там ведь глыбь-то какая, сразу тебя в кружало занесет.

Воркунову и скучно и досадно стало слушать мужичью руготню, пересыпаемую бессмысленными матерными словами. Он увидел вдали от мужиков молодого псаломщика тристенской

церкви и подошел к нему.

– Не знаете ли, что у них там вышло?

– Да просто – мужичья неразбериха. Захотелось тристенским живоглотам к рождеству Христову рыбки половить, чтобы рыбкой полакомиться, стало быть. Завели они компанейский бредень под воду. Сначала-то у них все шло как следует. А потом вдруг заело сети. Ни туда, ни сюда. Стоит бредень на одном месте, и шабаш. Вот уж четвертый час возятся с ним мужики – и ничего. Круглый шабаш. Воркунов помолчал немного, а потом спросил с любопытством:

– Неужели зимой ловят рыбу бреднем? Я этого никогда не видел и даже не слышал об этом.

– Да, признаться, и я в этом деле не больно большой знаток. Так только видывал кое-когда. Штука из не особенно легких. Нужна здесь и большая ловкость, и порядочная опытность. А делается эта ловля приблизительно так: пробивают на разных концах две нешироких проруби, одну для входа, другую для выхода, а по бокам реки выдалбливают с одной и другой стороны по три, по четыре сквозных кружков. В первую, значит, прорубь втискивают голову бредня, увешанного плоскими камушками, и дают бредню ход вперед. А чтобы бредень шел беспрепятственно и прямо и чтобы он в воде не скукоживался в веретено, а имел бы широкий раздел, то для этого у проделанных кружков стоят рыбаки, направлялычики. У каждого в руке этакая особая палка с рогулей на конце. Вот этими рогулями они и направляют движение. А как дошла голова до второй проруби, то уж тут и весь бредень легко любым крюком на берег вытянуть. Улова, особенно богатого, тут, разумеется, ждать нельзя, потому что все делается как бы с закрытыми глазами, да, кроме того, рыба, какая любит прятаться в глубоком иле, на дне, так она наверх идет совсем неохотно. А все-таки в такой старательной речушке, как Зура, пудов до двух, а пожалуй, и до трех можно заграбастать за милую душу. Был бы счастливый улов да дошлые толкачи для бредня.

Тут псаломщик остановился говорить и начал пристально и внимательно вглядываться в подходившего высокого и очень тучного человека.

– Это Владимир Порфирьич из Никифорова, – сказал он. – Никак, к вам идут, господин агроном...

Воркунов знал немного этого грузного великана, богатого лавочника из Никифоровской волости, который продавал на весь Устюженский уезд хомуты, дуги, кнуты, веретена, деготь, деревянное масло, керосин, свечи, серные спички, рукавицы и варежки, деревянную посуду, чересседельники холуевские, образа и иконы, рыболовные крючки, разные пестрые материи для баб, валенки, самовары и тазы, стекла и другие разные вещи, необходимые в крестьянском обиходе, и одновременно скупал во всех деревнях муку, крупу, мед, бабью точу и вязь, а понемножку и земельные куски у разорявшихся помещиков. Считался он уже в двадцати тысячах, и мужики оказывали ему полупрезрительное почтение. Он протянул Воркунову лопаточкой негнувшуюся пухлую руку.

– Господину агроному наше глубочайшее. Какая у нас незадача-то вышла с бреднем. Никак его с места не строим. Тут, я слышал, чего-то говорили насчет того, чтобы какой-нибудь удалец решился бы под воду мырнуть и там ослобонить затор. Да ведь кто же на такой риск пойдет. Одно – что зима, а другое – дело-то уже к вечеру идет, чуть не к ночи. Я, как пайщик главный в бредене, сулил тому молодчику, кто отважится мырнуть, целые пять целковых в вознаграждение. Да нет, не находится охотника. Мы и так послов послали к мельнику, к Прову Силычу. Если он не согласится порадеть для мира, то нашему бредню совсем каюк будет.

– Да ведь он совсем старик? Куда ему? – сказал с сомнением Воркунов.

– Какое там старик, всего семьдесят годов, а на каждую Иордань, после водосвятия, трижды окунается в реку с головой. От снохачества своего очищается. Ведь они, мельники-то, слова такие тайные знают. А Проват Силыч такой завидной крепости мужик, что у него и в сто лет все зубы и все волосы в целости останутся. И еще кое-что другое. Эх, только бы соблаговолил, умягчился. Ведь вот тристенские-то охаверники! Всегда сами себе, на беду, натворят всяких пакостей, натворят, а потом винаются, сукины сыны. Летось пристали без короткого к Прову Силычу, что, мол-де, на помол их дюже обижает, и все была одна брехня. Мельник человек суровый, однако в своем деле очень справедливый. Ах, дай, господи, чтобы теперь прошлого зла не помятовал. Мы, уже простите, Василий Васильевич, на вас сослались, послали сказать, что будет-де смотреть ученый агроном из Санкт-Петербурга. Может быть, и в газетах нас пропечатают

с поощрением.

– Да позвольте, как будто бы народ чего-то задвигался, никак, привели его.

И действительно, через несколько минут Воркунов услышал глухой быстрый ропот, в котором выделялись отдельные голоса: идет, идет, идет, идет... Воркунов протискался вперед, к первой проруби, к которой одновременно с ним подходил и мельник. Это был не очень высокий человек, но широкогрудый и широкоспинный и весь какой-то мощно кряжистый. На нем была теплая, гречником, шляпа, волчья шуба на плечах, романовские валенки, обшитые кожей, на ногах. Рыжая проседь чуть золотилась в его волосах, белых и еще молодых. Приближаясь ко льду, он еще на ходу продолжал ироническую торговлю с лукавыми тристенскими мужиками:

– Я вам в сотый раз говорю, что все шуки мои. Сказано – и баста.

– Да помилуй, Пров Силыч, – настаивали тристенские, – по всей по речушке по Зуре, почитай, только одни шуки и водятся. И придется нам после тебя только хвост облизать.

– Брешете, пострелы, – спокойно, густым басом возражал мельник. – А лещ, а подлещик, а окунь, а плотва, а ерш? А пескарь? А шелеспер? А налим? Все ведь ваше остается, да еще с каким избытком. А я сказал – моя шука, быть по сему. Да вы еще, хитрецы этикие, своего бредня сюда не присчитали.

Поторговались, пособачились еще немного и решили послушаться дедушку Прова Силыча. Ведь не пропадать же дорогому бредню.

Но мельник не сразу утих. Он громко позвал во свидетели договора купца Владимира Порфирыча и Василь Васильича, агронома.

– А то у этих шильников слово-то не больно крепкое. Так в случае я их и к мировому при-
тяну.

И самым спокойным образом стал отдавать распоряжения:

– Вы, отцы и дяденьки, сделайте-ко прорубь на чуточку поширше, обрубите мало-мало топорами, чтобы мне под воду лезть было способнее. А вы, молодые кобельки, натаскайте хвосту и сухостоя, чтобы костер на берегу разложить, да и мне над головой свету давать. А к вам, господин агроном, у меня будет серьезнейшая просьба: когда буду под воду спускаться, то будет у меня в руке тоненький канатик, а другой его конец я уж вас попрошу непременно в своей руке держать и по нужде потравливать. А как я вам тревожно задергаю сигнал канатиком, то, значит, задыхаюсь или устал. И тут вы меня, ваше благородие, начинайте подымать кверху, а если не осилите, то заставьте этих молодых лоботрясов помогать.

Этот, точно стальной, старец не суетился, не торопился и не терялся. Его приказания исполнялись с необычайным толком. Еще на берегу он проверил сравнительную натянутость вытященных наружу сетей бредня. Потом снял с себя шубу и романовские валенки, оставшись только в портках и в холщовой рубаше.

– Господи, благослови! – сказал он, взявши в одну руку кирпич, а другой рукой подав конец веревки агроному. – Нырять.

Густо бухнуло его тело в прорубь, и быстро побежала веревка в руках Воркунова... Кто не знает о том, как невероятно быстро мчится час, когда каждая его секунда драгоценна, и как мучительно длинна секунда, когда ее отягощает ужас, боль или жадное ожидание. Воркунову казалось, что прошло ужасно много времени с того момента, когда мельник шлепнулся в воду и исчез в ней. Веревка не двигалась. Она только слабо двигалась поверху, не давая знать о себе.

«Господи! – думал Воркунов. – Уж лучше бы я сам вызвался распутать этот затор, чем допустить глубокого старика лезть под воду. Какая же я самолюбивая свинья».

И опять шли часы, и так же была в руке агронома недвижима веревка, колеблемая лишь дыханием воды.

Уж не задохнулся ли, не умер ли этот бело-рыжий могучий дедушка? И вдруг – краткий толчок. Точно упала ягода, точно клюнула мелкая рыбешка. И еще и еще, с каждым разом сознательнее и сильнее вздрагивает веревка и сразу переходит в настойчивый отчаянный призыв: **наверх! наверх! наверх!**

Воркунов, точно очнувшись, принялся торопливо сматывать веревку. Странно легким, едва-едва весомым показалось ему, в первые захваты, большое мясистое тело мельника. Уж не умер ли? Но оно тяжелее с каждым подъемом, и когда стало уже непосильным для одного человека, то на берег выскочил огромный, точно ломовая лошадь, мокрый Пров Силыч, фырка, громко дыша, шлепая ногами и разбрасывая вокруг себя бурные клубы воды.

– Шубу! Валенки! – крикнул он, задыхаясь. – А коряга-то – она вот она, которая задерживала. Теперь с богом! Ведите свой бредень. Только рты-то не разевайте. Он произносил эти слова через тяжелые промежутки, шумно вдыхая и выдыхая воздух: фуаф! фуаф! фуаф! – раздавалось из его груди, как из локомотива.

– Господин купец, – обратился он к Владимиру Порфирьичу, – сделай милость, пошарь в моей шубе малый карафинчик с водкой, а то у меня руки совсем облубнели.

Какой-то молодой мужик спросил любопытным и восхищенным голосом:

– Дяденька Пров Силыч, а оно дюже студено под водой-то?

– Эх ты, дуракон, дуракон, – с усмешкой ответил мельник. – Сколько лет на божьем свете прожил, а до сей поры не знаешь, что под водой никогда холодно не бывает. Лед он хушь и холодный, а скрозь себя никогда стужи и не пропускает.

А другой из тристенских озорников задорно попросил:

– Позвольте, дедушка Сила, вас поздравить покупавшись. На водочку бы с вашей милости. А то мы уморились, вам помогавши.

Но мельник даже не поглядел на ерника, его больше занимала ловля.

– Эй, вы! У бредня! – закричал он, свернув руку трубой. – Как дела?

– Идет, идет, дедушка, о-о! Пошел, пошо-о-ол!..

– Ну и слава тебе господи. А что, Владимир Порфирьич, не одолжишь ли ты мне своего меринка? Я только домой на минуточку съезжу переодеться и кое-чем по хозяйству распорядиться и мигом назад обернусь, к самому улову поспею, к дележке. Без своих-то глаз тристенским мужикам я не больно доверяю. Жуки они. А потом милости прошу тебя с агрономом ко мне пожаловать, чайком побаловаться и малость закусить чем бог послал.

И вдруг заорал на рыболовов:

– Эй, ты! На левой руке! Чего косишь? Чего косишь-то, а? Держи правая-я-я-я!

Вальдшнепы

Нас только двое: я и бурдастый белый пойнтер Джон, кобель чистой английской породы. Он обладает чудеснейшим верхним чутьем, на охоте строг и неумолим; ни воды, ни болота не боится. Но есть у него один порок, который тонкими охотниками считается совершенно портящим все прекрасные достоинства подружейной собаки. Он, увы, равнодушен к зайцам. В прошлом году лесной объездчик Веревкин, натаскивая Джона, прозевал по небрежности, что полем, прямо на Джона, мчится, как оголтелый, осенний русачище. Ему бы тут надлежало сейчас же остановиться, притянуть к себе пса за ошейник и легонько его образумить плетью: «Ты, мол, сукин сын, – собака благороднейших кровей, и не тебе, как какому-нибудь выжлецу, гоняться за зайцами». А когда Веревкин успел опаматоваться, пойнтер уже нагнал косоглазого и весь в крови заячьей стал его освежевывать. Правда, потом Веревкин отнял у него косого, но что тут толку? Хлебнувши горячей заячьей крови, стал английский кобелек совсем никуда не годным. Пробовали его и учить, и стыдить, и уговаривать, и наказывать, и плеткой его лупили несосветимо. Нет, ничем невозможно было у него эту страсть чертовскую из души выбить. Бывает, учует, бог знает из какой дали, красную дичь: бекаса, дупеля, перепелку, утку, тетерева, глухаря; учует и тянет по нему. Весь как струна. Не дышит, ни кустиком, ни веточкой не зашуршит. Только на охотника оком взирает: ««Видишь? Идешь?» И вот в этот-то напряженный момент, когда охотник весь дрожит от волнения, принесет нечистая сила сумасбродного русака, и прощай все. Ведь за полверсты их, проклятиков, Джон учуивал. Бросит живой, пахучий след и айда сломя голову. Только его и видели. Вернется домой к вечеру. Морда вся в крови. Бить его станут – молчит: «Знаю, мол, что виноват, и сам не рад этой противной шали. А вот ничего с ней поделатя не могу. Бейте! Заслужил!»

Да и сам объездчик Веревкин, после того как знаменитого пса испортил, стал шибко винцом баловаться и охотничий азарт потерял. А какой был охотник! Какой знаток! По охоте-то он во всей Новгородской губернии вторым после великого охотника, Константина Иваныча Трусова, помещика, считался. И вот погиб человек за собаку.

Но теперь, в этот весенний вечер, и я и Джон оба идем спокойные и уверенные в себе. Ничто на свете нас не волнует, кроме того, что сейчас вот-вот из неведомой дали послышатся первые едва внятные звуки вальдшнепиной тяги. И никакие зайцы нам не помешают. Осень и зима –

вот это заячьи времена года, когда зайцы бегают по чернотропу и испещряют следами белые снега. А ранней весной зайцы куда-то исчезают, прячутся, а куда именно – никому не известно из людей и охотников. Начинающее потухать синее небо все в белых барашках; закат тихий, розовый – приметы хорошей погоды на завтрашний день.

Мы уже давно и далеко отошли от человеческих домов; идем узкими тропами, наезженными колеями, переходя через болота, ручьи и речушки по древесным гатям, которые местные крестьяне называют лавами. Нам надо найти такое гладкое и сухое местечко, которое, с одной стороны, было бы удобно для прицела и выстрела, а с другой – заманчиво для вальдшнепов, пролетающих в блаженном безумии всемогущего тока.

Пахнет завязями ольхи: ее длинные сережки терпко благоухают, подобно клейкому тополию. Березовые распускающиеся листочки посылают свой смолистый аромат. Джон начинает волноваться. Его слух, конечно, слабее, чем у кошки, но он во много-много раз острее, чем у человека, которого природа скудно одарила всеми чувствами, дав ему взамен огромное обладание умом, делающим его то великим, то несчастным.

Для меня уже несомненно, что Джон в расстоянии, недоступном для моего слуха, успел поймать и опознать звуки вальдшнепа, стремительно летящего на ток. Я пристально гляжу на собаку, как красив в эту минуту гладкий, белый, сильный, весь дрожащий пойнтер. Его нетерпеливая морда обращена на северо-восток. Каждый мускул его напряжен изо всей силы. Я знаю, что ему хочется визгом известить меня, тугоухого: уже близко передовой вальдшнеп.

Но на охоте есть суровый закон, строго запрещающий в охоте на дичь и людям и собакам всякие звуки и слова, не идущие к делу; и Джон молчит, содрогаясь всеми мускулами тела. И в его глазах, с мольбою обращенных ко мне, я ясно читаю: «Да неужели ты не слышишь, жалкий, беспомощный человек, что он летит на нас, что он уже близок. Бери же наконец в руки свое железное длинное орудие, которое извергает гром, и огонь, и смерть. Зачем ты тянешь время? О, глупое, неловкое животное, лишенное благородных инстинктов!».

Мне становится стыдно перед собакой, и я загораюсь охотничьим пламенем, уши мои как будто бы разверзаются, и теперь с ясностью и со страстью я узнаю снова давно знакомые мне два колена вальдшнепиной тяги. Сначала два харкающих звука, хру-хру, и тотчас же за ними два нежных свистка, фью-фью.

– Хру-хру, хру-хру, фью-фью. Хру-хру, фью-фью, хру-хру, фью-фью.

У кого из ружейных охотников не дрожали руки и не холодели щеки при первом выстреле в весеннего вальдшнепа на току? Так и я с бледными губами и с дрожащим сердцем навел прицел. Вальдшнеп летел прямо как пуля. Я нажал на собачку. Ахнул со звоном оглушительный выстрел. Загудело в ушах, приклад больно отдал в левое плечо²⁶, и сурово запахло порохом.

Джон, неистово трясясь от восторга, спрашивал глазами: «Что же не велишь принести птицу? Ты только приказывай, о огненный человек. Ты только бей их, а я тебе их всех до одного перетаскаю, хоть всех, которые есть на свете».

– Шерш²⁷, – сказал я, и Джон красиво, точно в воду, нырнул в глубокую чащобу. Он выкатился из кустов не позже двух минут, но за это время я успел увидеть сквозь темнеющий закат, что против меня на пригорочке в камышах стояла Устинья, старшая дочка лесника, здоровая, веселая и красивая девка. Я пригрозил ей несердито пальцем – не шуми, мол, и деревьев не шатай. И она, понявши, успокоительно кивнула два раза головой: «Это я понимаю, недаром лесника дочка».

Я убил за эту тягу двенадцать вальдшнепов. Все плечо отбило тяжелое ружье, да и устал я. Джон разобиделся на меня – зачем прекращаешь охоту. У них теперь самый лет пошел. Всех бы их перебили, сколько есть на свете. Но я уперся. Был у меня такой охотничий завет: убей столько, сколько съесть можешь, а больше стрелять – уж это совсем напрасно. Я и так четыре штуки по глупой жадности ухлопал. Пришлось отдать в подарок Устинье. Уж очень смешно с ней торговаться было. Языкатая она девчонка была. Я говорю:

– Вот тебе, Устюша, четыре вальдшнепа, а ты меня один разок поцелуй.

²⁶ Я всегда, по разноглазью, стрелял с левого плеча. (Примеч. А. И. Куприна).

²⁷ Ищи (от фр. *chercher*).

– Эка, ты бесстыжий какой. Да ведь мы с тобой на крестинах у Бобылевых покумились, кумом да кумой сделались. А кумовьям – ты спроси хоть любого попа, он тебе скажет, что куму и куме любовью заниматься – это грех самый тяжелый и непростимый.

– Да то любовь, а то поцелуй с кумой, и на пасхе, и при водочке целоваться нисколько не зазорно.

– Так ты и приходи на пасху, тогда я тебя и три раза с удовольствием расцелую.

– Да постой, Устюша, ты это дело не с той стороны разбираешь. В брак мы с тобой, кума с кумом, никак не можем вступать, и поп нас венчать никогда не станет. А целоваться-то нам ничуть не заказано, и целоваться мы можем, где захотим и сколько захотим, и нам это будет отнюдь не поцелуй, а как бы ликование безгрешное, апостольское.

А она вдруг как расхохочется.

– Знаю я это, знаю... Ты его считай за апостола, а он хуже кобеля пестрого. Вон на Джонкин манер...

Славная она была девка, эта Егорова Устюша. А перед войной я жениха нашел подходящего, помощника механика на паровозе, Ильюшку Лаптева. Сам и посаженным отцом был у них на свадьбе. Эх, парочка какая была ладная. Посмотреть было любо на них...

И где они все: и лесник Егор, и Ильюша с Устюшей, и объездчик Веревкин, и все грамотные лесничие, и охота русская, и хозяйство русское, и прежние наши охотничьи собаки. Все как помелом смело. Ничего не осталось. А почему? Кто это объяснит?

Темнеет. Трудно видеть предметы. Я укладываю в ягдташ длинноносых вальдшнепов и перекидываю через плечо ружье. Добрый, ласковый голос Устюши спрашивает:

– Ужинать домой пойдете или у нас, у батюшки, поужинаете?

– Если можно, то, пожалуй, к вам пойду.

– Да сделайте милость. Вы парочку птиц мне дайте, я вперед побегу и для вас кулеш состряпаю.

– Прекрасно, – говорю я. И я отлично знаю, что Устюшу вовсе не кулеш с вальдшнепом интересует, а мои незатейливые рассказы о морях, горах, народах, обычаях.

Ум у нее светлый, любопытный и никогда не насытимый.

Блондель

На берегу Невы мы сидим в легком, качающемся поплавке-ресторанчике и едим раков в ожидании скромного ужина. Десять с половиной часов вечера, но еще совсем светло. Стоят длительные, томные, бессонные белые ночи – слава и мука Петербурга.

Нас – пятеро: клоун из цирка Чинизелли, Танти Джеретти с женой Эрнестиной Эрнестовной; клоун Джакомо Чирени (попросту Жакомино) из цирка «Модерн»; ваш покорный слуга и гастролировавший за прошедший сезон в обоих цирках укротитель диких зверей Леон Гурвич, чистокровный и чистопородный еврей, единственный в своем племени, кто после пророка Даниила занимается этой редкой, тяжелой и опасной профессией.

Свидание наше лишено обычного непринужденного веселья. Оно прощальное перед скорой разлукой. Постоянные большие цирки с началом лета прекращают обыкновенную работу, перестающую в эту пору давать необходимый доход. Половина публики разъехалась на дачи и за границу, другая половина развлекается на свежем воздухе в различных кабаре и мюзик-холлах. Артисты до начала осени остаются в положении свободных птичек небесных. Те из них, кому случай, талант или удача успели сковать прочные, громадные имена, заранее уже запаслись на летний сезон ангажементами в богатые губернские города, издавна славящиеся любовью и привязанностью к цирковому искусству. Мелкая рыбешка и униформа пристают к бродячим маленьким циркам – шапито, пользующимся старой доброй репутацией, и проводят трудовое лето под парусиновым навесом, обходя городишки и местечки.

Правда, работая под шапито, трудно приобрести известность, но хорошо уже и то, что в течение трех месяцев тело, мускулы, нервы и чувство темпа не отстают от манежной тренировки. Недаром же цирковая мудрость гласит: «Упражнение – отец и мать успеха».

Говорит Гурвич, укротитель зверей. Речь его, как всегда, тиха, однообразна и монотонна. Между словами и между предложениями – очень веские паузы. Его редкие жесты – наливает ли он себе в стакан из бутылки пиво, закуривает ли он папиросу, передает ли соседу блюдо, указы-

вает ли пальцем на многоводную Неву – спокойны, ритмичны, медленны и обдуманно-осторожны, как, впрочем, и у всех первоклассных укротителей, которых сама профессия приучает навсегда быть поддельно-равнодушным и как бы притворно-сонным. Странно: его неторопливый голос как-то гармонично сливается с ропотом и плеском прибрежных холодных волн.

Лицу его абсолютно чуждо хотя бы самое малое подобие мимики. Оно, как камень, не имеет выражения: работа съела его. Со всегдашним мертвым, восковым, мраморным лицом и с тем же холодным спокойствием он входит в клетку со зверями, защелкивая за собою одну за другой внутренние железные задвижки.

Он очень редко употребляет в работе шамбарьеры, пистолетные выстрелы, бенгальские огни, и устрашающие крики, и всю другую шумливую бутафорию, столь любимую плебейским градемом, расточителем аплодисментов. Гагенбек-старший называл его лучшим из современных укротителей, а старший в униформе парижского цирка, престарелый мосье Лионель, говорил о нем, как об артисте, весьма похожем на покойного великого Блонделя.

– На ваш вопрос, мадам Эрнестин, – сказал Гурвич, – мне очень трудно ответить. Боимся ли мы зверей? Тут все дело в индивидуальности, в характерах, в привычке и навыке, в опытности, в любви к делу и, конечно, уже в психологии зверя, с которым работаешь... Главное же все-таки наличие дара и его размеры, – это уж от бога. Возьмите, например, великого, незабвенного и никем не превосходимого Блонделя. Это был истинный бог циркового искусства, владевший в совершенстве всеми его видами, родами и отраслями, за исключением клоунады. Это он впервые дерзнул перейти через водопад Ниагару по туго натянутому канату, без балансира. Впоследствии он делал этот переход с балансиром, но неся на плечах, в виде груза, любого из зрителей, на хладнокровие которого можно было полагаться. После Блонделя осталась книга его мемуаров, написанная превосходным языком и ставшая теперь большою редкостью. Так, в этой книге Блондель с необыкновенной силой рассказывает о том, как на его вызов вышел из толпы большой, толстый немец, куривший огромную вонючую сигару, как сигару эту Блондель приказал ему немедленно выбросить изо рта и как трудно было Блонделю найти равновесие, держа на спине непривычную тяжесть, и как он с этим справился. Но на самой половине воздушного пути стало еще труднее. Немец «потерял сердце», подвергся ужасу пространства, лежащего внизу, и ревущей воды. Он смертельно испугался и начал ерзать на Блонделе, лишая его эквилибра²⁸.

– Держитесь неподвижно, – крикнул ему артист, – или я мгновенно брошу вас к чертовой матери!

И тут настала ужасная минута, когда Блондель почувствовал, что он начинает терять равновесие и готов упасть.

Сколько понадобилось времени, чтобы снова выправить и выпрямить свое точное движение по канату, – неизвестно. Это был вопрос небольшого количества секунд, но в книге его этим героическим усилиям отведена целая небольшая страница, которую нельзя читать без глубокого волнения, заставляющего холодеть сердце. А дальше Блондель рассказывает, что, окончив свой страшный переход, он был доставлен кружным путем к месту его начала. Надо сказать, что среди многочисленных зрителей находился тогда наследный принц Великобритании, в будущем король Эдуард Седьмой, король между джентльменами и джентльмен между королями. Он был в восторге от подвига Блонделя, пожал ему руку и подарил ему на память свои прекрасные золотые часы. Блондель был человек воспитанный и очень любезный. Он низко, но свободно поклонился принцу, благодаря его за подарок, и, когда выпрямился, сказал с учтивостью:

– Я буду счастлив, ваше королевское высочество, если вы сооблаговолите сделать мне великую честь, согласившись вместе со мною прогуляться таким образом через Ниагару.

И умный принц не хотел отказом огорчить отважного канатоходца. Он сказал с очаровательной улыбкой:

– Видите ли, господин Блондель. Я на ваш изумительный переход с великим вниманием смотрел, не пропуская ни одного движения, и – пусть это будет между нами – я убедился в том, что для выполнения такого головоломного номера мало того, что артист отважен, спокоен, хладнокровен и безусловно опытен в своем деле. Надо, чтобы и человек, являющийся его живым

²⁸ равновесия (от фр. *equilibre*)

грузом, обладал хотя бы пассивным бесстрашием. Не так ли? Я же, хотя и не считаю себя трусом и не боюсь пространства, но одна мысль о том, что случайно могу испортить или затруднить переход, приводит меня заранее в отчаяние. Но вы подождите, господин Блондель. Когда-нибудь в свободные часы я начну усердно работать над моим равновесием, и когда, наконец, найду его достойным, то мы с вами непременно отправимся на Ниагару, выждав благоприятное время.

Да, этот государь имел, без всяких стараний и поз, инстинктивный дар очаровывать людей. Гордый Блондель остался до конца своих дней его преданным и восторженным поклонником.

А теперь еще два слова о Блонделе. Известно, что в числе его многих цирковых талантов был и талант укротителя, в котором он, как и повсюду, оставил рекорды, до сих пор еще недостижимые. Так, однажды он держал пари со знаменитым менеджером²⁹ Барнумом в том, что он один войдет в любую клетку со зверями какой угодно породы, возраста и степени дрессинга и проведет в ней ровно десять минут.

Нет, то не был спор, в котором на одних весах висело человеческое мясо, а на других ничтожная кучка долларов. Блондель настоял на том, чтобы нотариус из Чикаго (где все это происходило) засвидетельствовал в своей конторе все условия пари. Блондель поставил со своей стороны такую круглую сумму, которая заставила богатого Барнума поморщиться. Идти вспять ему не позволил его громадный престиж. Также настоял Блондель, чтобы в нотариальный акт были внесены следующие условия: а) звери должны быть накормлены, по крайней мере, полсутки назад; б) контроль кормления принадлежит помощнику Блонделя; с) ввиду крайней опасности номера женщины и дети во время его исполнения в манеж не допускаются и d) Блонделю предоставляется выбор костюма.

Старые свидетели этого безумного пари рассказывали о нем потом до конца жизни, как о дерзком и великолепном чуде. Вы, господа, конечно, не можете себе представить, какой комплект веселеньких зверей распорядился подобрать Барнум, истинный, чистокровный американец, человек, начавший свою карьеру чистильщиком сапог и завершивший ее миллиардами долларов, субъект железный, холодный и беспощадный.

Под звуки марша Блондель вошел на арену, и вся публика охнула, как один человек, от удивления.

Блондель оказался... голым. На нем ничего не было, кроме замшевых туфель и зеленого Адамова листка ниже пояса, в руке же он держал зеленую оливковую ветку в половину метра длиною. Звери встретили его молчанием, когда он входил в клетку, запирая ее за собою. По-видимому, они были поражены больше, чем публика, костюмом нового укротителя и его сверхъестественным спокойствием. Он неторопливо обходил большую клетку, переходя от зверя к зверю. Очевидно, он узнавал в них воспитание и дрессинг Гагенбека из Гамбурга, потому что порою на тревожные взгляды и движения их ласково говорил по-немецки. Молодой крупный азиатский лев рыкнул на Блонделя не злобно, но чересчур громко, так что в конюшнях тревожно забились и затопали лошади. Блондель отеческим жестом обвил вокруг звериной морды свою волшебную зеленую ветвь и сказал воркующим, приветливым голосом: «О мейн кинд. Браво, шон, браво, шён»³⁰. И лев, умолкнув, тяжело пошел следом за ногами Блонделя, как приказчик за строгим хозяином.

В общем, Блондель пробыл в клетке четверть часа, на пять минут дольше условленного. Выходил он из нее не спиной, как это делают из осторожности большинство укротителей, а прямо лицом к дверям. Таким образом, он не мог заметить того, что заметила публика: одна нервная и злая тигрица, увидев уход укротителя, вдруг стала эластичными беззвучными шагами подкрадываться к нему. Но тот же азиатский лев стал ей поперек дороги и угрожающе забил хвостом.

Когда по окончании сеанса Блонделю сказали об этом в уборной, он ответил беспечно:

— Иначе и не могло быть. Ведь обходя клетку, я успел взглянуть и на глупую трусливую тигрицу, и на великодушного, благородного льва. Ведь для хорошего укротителя зверей надобны два главных качества: абсолютное, почти уродливое отсутствие трусости и умение приказывать

²⁹ директором (от англ. manager)

³⁰ О дитя мое. Браво, прекрасно, браво, прекрасно (от нем. O mein Kind. Bravo, schön)

глазами. Правда, все животные любят, чтобы человек говорил с ними, но это — дело второстепенное...

— Да, великим человеком был этот удивительный француз Блондель, — сказал Гурвич. — Такие люди рождаются только раз в тысячу лет, по особому заказу природы...

1933

Жанета

I

О юго-западном углу Парижа, в зеленом нарядном Passy, в двух шагах от Булонского леса (стоит только перейти по воздушному мостику над полотном окружной железной дороги), на самом верху шестизэтажного дома живет старый русский профессор. Чердачная мансарда его длинна и узка; к дверям — немного пошире; потолком ей служит покатая крыша дома; в общем, она, по мнению ее обитателя, похожа видом и размером на гроб Святогора, старшего богатыря. Единственное ее окно сидит глубоко в железном козырьке.

Профессор Симонов живет с простотою инок. Вся его мебель: раскладная парусиновая кровать военного образца, деревянный некрашеный стол, две такие же табуретки, умывальник с кувшином и ведром и старозаветный чемодан, весь испещренный разноцветными путевыми ярлыками. Стены оклеены отвратительнейшими обоями в синие и желтые полосы; когда на них глядишь, то скашиваются глаза и кружится голова.

Профессор сам готовит для себя на спиртовке спартанские кушанья и кипятит чай, сам прибирает комнату, сам чистит платье и сапоги.

Но человек не может жить без роскоши (кроме изуверов и идиотов), и в этом, по мнению профессора, одно из важных отличий его от всех животных, за исключением некоторых диких птиц, чудесно украшающих свои гнезда. На подоконнике, в больших деревянных ящиках, всегда растут редкие яркие цветы. Он за ними внимательно ухаживает. Иногда можно застать его в те минуты, когда он тонкой кисточкой, бережно, как художник-миниатюрист, переносит желтую цветочную пыльцу из чашечки одного цветка в чашечку другого. Вид у него при этом сосредоточенный, губы вытянуты в трубочку, глаза сощурены в щелочки под косматыми рыжими бровями.

Он давно примелькался и хорошо известен в своем небольшом районе, ограниченном лавками: мясной, молочной, бакалейной, табачной, булочной и тем угловым бистро³¹ мадам Бюсак, куда он изредка заходит выпить у блестящего жестяного прилавка стаканчик вермута пополам с водой. Все еще издали узнают его длинную худую фигуру, его развевающуюся на ходу серую клетчатую размахайку, носившую когда-то, в древние времена, название не то макфарлана, не то пальмерстона, его рыбачью широкую шляпу, насунутую так низко на брови, что из ее спущенных вокруг полей торчат спереди лишь конец крупного мясистого носа и огненная с сединой борода утюгом.

Прежде французские лавочники раздражались на профессора за его рассеянность, разводили руками, хлопали себя по бедрам, кричали свое нетерпеливое «alors!»³² и вообще пылили, но теперь по привычке и благодушно поправляют его, когда он забудет взять сдачу, заберет чужой сверток вместо своего или собирается уходить, не заплативши, — с ним такие мелкие ошибки случаются десять раз на дню. Он приятен тем, что в его обращении с людьми много независимости, легкости и доброго внимания. Совсем в нем отсутствуют те внешние черты унылости, удрученности, роковой подавленности, безысходности, непонятости миром — словом, всего того, что французы считают выражением «ам сляв»³³ и к чему их энергичный инстинкт относится

³¹ Ресторанчиком (от франц. bistro).

³² «Ну, что же!» (франц.).

³³ «Славянской души» (франц.)

брезгливо.

Профессор входит в лавку. Левую руку протягивает через стойку хозяйину для пожатия, правой издали посылает приветствие хозяйке и бодро здоровается со всеми присутствующими:

– М'сье, да-ам!..

– М'сье! – произносит несколько голосов из-за газет.

Порядок непременно требует справиться у патрона: идет ли? Оказывается – идет. Теперь профессору нужно сделать самое неожиданное открытие:

– Но какой прекрасный день! Или:

– Ах, какой дождь!

– О да! – убедительно подтверждает патрон и, в свою очередь, с неизменной улыбкой осведомляется у Симонова: – Тужур промнэ?³⁴

Вот этого-то профессорского «тужур промнэ» французы никак не могут осмыслить, несмотря на всю их любезность к Симонову. Как это он позволяет себе прогуливаться и, по-видимому, совсем праздно – в часы, вовсе не приспособленные для прогулки. Каждый порядочный француз – а они все порядочны – отлично знает, что гулять можно только по воскресеньям. Поэтому в будни они если не сидят в своих лавках и бюро, то либо бегут в них, либо возвращаются бегом домой. В семь часов утра весь работающий Париж плескает себе в нос воду из умывального таза, в десять часов вечера каждый честный буржуа уже в постели.

Профессор же спует по улицам без всяких почтенных причин и утром, и днем, и поздно ночью. Это удивительно. Все-таки – ам сляв.

Профессор и сам понимал, что это удивительно. И чувствовал какую-то неловкость перед французами, чувствовал себя трутнем среди трудолюбивых пчел. Но как же мог он объяснить и оправдать свое уличное слоняние?

Сказать, что у него три урока в трех разных домах. Но французы совсем не имеют понятия о частных уроках. Какая блажь! Чтобы учиться – на это существуют прекрасные бесплатные коммунальные школы и великоленные лицеи. Какой же дурак будет выбрасывать деньги на частных учителей.

Объяснить им, что он пишет научные статьи и привык их обдумывать на ходу, да еще на очень резвом ходу. Между тем как на чердаке не очень-то разбегаешься?

Но они опять поднимут плечи до ушей и возразят:

– Alors!.. Наши инженеры сидят в своих ателье и думают определенное число часов в день. То же делают в своих бюро ученые, поэты, купцы, адвокаты. И все они думают обязательно сидя. Никто из них не позволит себе ради размышлений бегать по улицам, а если некоторые и допускают себя до подобного легкомыслия, то они сами виноваты, если их давят автомобили. Улица не для философов и ротозеев, а для пешеходов. Вуалья ту³⁵.

«А ведь они правы», – думает с кротостью профессор. Он сам иногда переходит через улицу, позабыв обо всем на свете, кроме течения своих мыслей, и, когда над его ухом рывкнет оглушительно автомобиль, он так и затрепыхается от испуга и обольется холодным потом. Шофер, объезжая, поливает его черной руганью, а сердце потом колотится долго-долго.

II

Уроки и статьи в обрез обеспечивают его аскетическое существование, но для кафедры Симонов уже пропал. Он не потерял своего славного имени, но как бы растратил, расточил, размотал его. Пять-шесть старых коллег еще помнят его блестящие лекции в Москве на естественном факультете и в Петровско-Разумовской академии по физике, органической химии и дендрологии. У него были все возможности для того, чтобы стать звездой в ученом мире, но он не успел ни создать своей школы, ни написать хоть одной строго научной книги. Карьера его сникла и оборвалась по четырем причинам, или, вернее, по четырем отрицательным свойствам ума и характера. Он не обладал настойчивостью в обработке мелочей. Он был лишен профессиональ-

³⁴ Все прогуливаетесь? (франц.)

³⁵ Вот и все (франц.)

ного честолюбия. Он был неуживчив вследствие своей прямолинейности и гордости. Он не мог утолить своей яростной неутомимой жажды знания одним предметом или дисциплиной, он хотел знать все, что доступно человеческим умам, и даже больше. Быстро загораясь и так же быстро охладевая – о чем только он не писал замечательных докладов и прекрасных популярных статей. Где только он не читал образцовых по красоте и образности лекций. Каких только служб и профессий он не переменял, исколесив всю Россию от Владивостока до Мурмана и от Архангельска до Баку. Кто-то назвал его Дон Жуаном науки. Но он был и ее Дон Кихотом.

У него можно было навести справки обо всяком предмете и явлении, имени, событии. Но ум его не был лишь механическим хранилищем, кладовой знаний. Симонов обладал большим даром синтетического прозрения. Часто он говорил или писал в случайных статьях о будущих завоеваниях науки. И когда, спустя десятки лет, его летучие догадки находили твердо обоснованное научное подтверждение, он говорил добродушно:

– Я бродяга. Я бросал своих детей голыми на больших дорогах и шел дальше. Мне приятно видеть их теперь большими мужчинами, с густыми бородами, в золотых очках. Но родительской нежности к ним я не чувствую: любовь была слишком пылка и слишком скоропреходяща.

В 1885 году, исходя от греческих философов, он носился с теорией относительности. В 1889 году он доказывал, что человеческий мозг – электрическая батарея, непрерывно посылающая в пространство вибрирующие волны, которые, утверждал он, в недалеком грядущем будут улавливаться особо чуткими приборами. В 1893 году, будучи лесным ревизором Рязанской губернии, он вычерчивал и вычислял построение биплана со взрывным нитроглицериновым мотором. В 1901 году он разрабатывал проект аппарата, переносящего на расстояние зрительные изображения. В 1907 году он напечатал в одном английском ревю парадоксальную статью: о кажущемся беспорядке в строении видимого звездного мира, а также толкованиях Апокалипсиса и тому подобное. Профессор живет почти один. Когда-то была жена, были две дочери, был хоть и походный, как скиния, но любимый дом... И все это пошло, поехало кувырком... Не стоит о прошлом... Рана давно отболела. Остался в душе толстый, грубый рубец, который, подобно старческим ревматизмам в непогоду или пулевым ранам, дает о себе знать изредка, в бессонную ночь, когда всякие глупости лезут в голову. Но все-таки он не так уж безнадежно одинок. Два года назад, зимою, дождливыми полусумерками, к нему в открытое окно пробрался с крыши полудикий кот – черный, длинный, худой, наглый, – настоящий парижский апаш кошачьей породы. Никогда еще в своей жизни не видал Симонов ни человека, ни животного, которые носили бы на себе такое несчетное количество следов бывших отчаянных драк. Кот требовательно мяукал, распыливая свой рот в узкий ромб, яростно блестя пронзительными зелеными глазами, судорожно царапая когтищами край подоконника. Профессор поставил ему на стол блюдечко скисшего молока с хлебом и остатком жареной грудинки. Кот поел, муркнул что-то вроде небрежного «спасибо» и в один прыжок очутился снова на крыше.

На другой день он пришел днем. И не только погостил около часа; даже, с нескрываемой брезгливостью, позволил слегка себя погладить. Потом зачастил. По целым дням спал, как собака, на голом полу, а вечером исчезал по своим темным и опасным делам.

Порою он не показывался по неделям и тогда приходил сильно потрепанным, часто хромым, с новыми шрамами, с разорванным надвое ухом. Симонов звал его Пятницей, и часто по ночам, когда наверху грохотала железная крыша и неслись к небу раздираательные кошачьи вопли, он думал: «Это мой Вандреди там воет»³⁶. Пожалуй, их отношения можно было бы назвать дружбой. В дружбе один всегда смотрит хоть чуть-чуть сверху вниз, а другой снизу вверх. Один покровительствует, другой предан. Один великодушно принимает, Другой радостно дает. Первым был, конечно, кот. Это он нашел профессора, а не профессор его. В области перемещения в трех измерениях кот был несравненно щедрее одарен природою, чем профессор. Профессор уже устал от жизни, хотя продолжал любить и благословлять ее – кот жил всей кипучестью одичавших страстей: любовью, драками, воровством, убийством. Кот знал и умел делать тысячу вещей, которые были совсем недоступны профессору. Разве мог бы профессор поймать зубами хоть самого маленького мышонка. А кот однажды утром притащил в мансарду пойманную и задавленную им на улице огромную рыжую крысу, из тех злобных чудовищ, что

³⁶ Пятница (от франц. vendredi).

живут в водосточных каналах и никого не боятся. Когда профессор отворил ему окно, он со стола бросил прямо на пол, к ногам слабого человека, труп побежденного врага. И столько было силы в черной окровавленной морде, столько гордости в глазах, то расширявшихся, то сжимававшихся от волнения, что Симонов совершенно серьезно шаркнул ножкой и сказал:

– Очень вам благодарен.

По происхождению своему кот был гораздо древнее профессора, чему есть неопровержимое доказательство в первой главе Библии. Кроме того, род кота был еще и знатнее: в те седые времена, когда предки его почитались, как священные животные, великим и мудрым народом, – прапращур профессора дрожал, голый, в пещере, слышал гром с неба и впервые, в потугах козливой фантазии, придумывал себе бога.

Иногда человек и зверь подолгу глядели в глаза друг другу: человек первый уступал перед суровым, пристальным, как будто бы видящим сквозь материю и время взором. Тогда и кот лениво сощуривал зеленые глаза и сокращал круглые черные зрачки в узенькие щелочки. Разве он унизился бы до борьбы с профессором взглядами. Он просто показал зазнавшемуся человеку его место во вселенной и сделал это со спокойным достоинством.

Но бывали изредка и минуты равенства, даже некоторого преобладания человека над зверем. Это случалось в душные вечера пред ночной грозой, когда неподвижные, набухающие облака свинцовеют и чернеют и воздух сухо пахнет, как при ударе кремня о камень.

В такие дни кот приходил рано, возбужденный, тревожный, пересыщенный накопившимся в нем электричеством. Он то ложился, то вставал и бродил по темным углам, выпускал и прятал когти, кончик его облезлого хвоста коротко и нервно вздрагивал. А если профессор слегка проводил рукою по его спине, то вздыбленный мех трещал и сыпал голубые искры, пахнувшие морским ветром. Тогда жалостно тыкался кот носом в профессорские колени и беззвучно мяукал, широко и умильно раскрывая рот. Здесь человек пересиливал зверя. Иногда, во время прогулок по Булонскому лесу, Симонов замечал Пятницу где-нибудь в траве, за деревом, между кустами: вероятно, здесь были места его охоты за лесными мышками, птенцами и, ночью, за спящими птицами. Конечно, кот успевал увидеть профессора еще раньше, но, должно быть, под открытым небом он стыдился признаваться в своем знакомстве с ним.

Был у Симонова еще один приятель – пожилой художник, бывший когда-то его слушателем в Петровской академии. С ним вместе они, случалось, ходили по воскресеньям в обжорку на Ваграме, а иногда, утром или вечером, бродили по «Буа-де-Булонскому лесу», как называл его художник. Бродили и разговаривали. Профессор описывал вслух красоту природы, – художник помалкивал и посвистывал. Но когда живописец яро пускался в философию и политику – профессор молча отмахивался рукой.

III

Вчера, возвращаясь домой, профессор Симонов видел, как далеко за черными деревьями и кустами Булонского леса пламенели и тлели красные угли вечерней зари, а над лесом, по правую руку от Симонова, стоял серебряный обрезающий молодой месяц. «Месяц ясный, небо чистое, заря рдяная – значит, завтра будет ветер», – подумал профессор и, вынув из жилетного кармана франк, показал его заново отчищенному, блестящему серпику... Новая луна приходилась справа: к прибыли. У него вовсе не было предрассудков, но он любил всякие старинные обычаи и привычки – пусть даже и вздорные, – как крепкое утверждение простого и полного быта. Он говорил иногда, что приметы идут впереди точного знания, а наука о душе – позади суеверия.

И правда, сегодня дует сильный северо-западный ветер. Отворив рано утром окно, чтобы выпустить черного кота, случайного ночлежника, на волю, Симонов увидел, как широко раскатываются на той стороне улицы вершины диких платанов, и ясно почуял отдаленный, еле уловимый, кислотоватый, волшебный запах океана. Жаль, что нельзя выходить из дома так рано, как хочешь. Это запрещено по неписаному договору с консьержкой, которая, кстати сказать, всегда услужлива и любезна с русским чердачным жильцом. Но однажды в разговоре с ней она как-то вскользь сказала:

– О м'сье, мы не жалуемся на то, что нам, консьержкам, приходится отворять на звонки до глубокой ночи. Alors! Это маленькое неудобство нашей профессии. Но в утренние часы, так от трех до семи, – мой самый сладкий сон, и я очень огорчаюсь, если меня в это время беспокоят по

пустякам.

Часов у профессора не было, то есть была старинная золотая луковица, но она временно гостила в другом месте и, несомненно, в дурном обществе. Профессор хорошо обходился и без часов, своими собственными отметами времени. Он знал, что в три часа хрипы, мокрыми со сна голосами перекликнутся петухи, которых очень много водится во дворах просторного, провинциального Passy. Позднее, перед рассветом, начнут около домов чокать и посвистывать черные дрозды; с восходом солнца они улетят в лес и в скверы. В шесть – опять закричат, навстречу солнцу, уже совсем проснувшиеся, свежие, бодрые петухи. В шесть с четвертью пронесется потрясая почву, первый поезд окружной дороги. В половине седьмого приедут мусорщики на длинном грузовике с железной полуцилиндрической крышкой. Забирая из выставленных на улицу ящиков и ведер всякую грязную дрянь, накопившуюся за сутки, они будут сипло и непонятно ругаться по-овернски и по-итальянски. В семь без четверти донесется издали низкий, протяжный, трубный звук, и его тотчас же подхватит многое множество разноголосых гудков и свистков. Это фабрики и заводы кричат рабочим: «Скорее! Скорее! Через контрольную будку! А то пропадет полдня и половина заработка». Они повоюют с полминуты и умолкнут. Наступит последний промежуток легкой и короткой тишины.

Профессор поднялся, всунул руки в крылья своей серой разлетайки, надел шляпу со свисающими, как у рыболовов, полями и стал ждать того странного момента, который на него всегда производил впечатление жестокого и могучего чуда и который можно наблюдать ежедневно только из немногих окраин Парижа.

Сейчас ему казалось, что Париж набирает в грудь воздух, собирает мускулы, как гонец перед дальним бегом...

И вот вдруг огромный город, точно двинутый электрическим толчком, вышел мгновенно из утреннего оцепенения, раздохнулся и сразу весь вылился из домов на улицы, наполнив их тем сплошным, ни на секунду не прекращающимся гулом, который, привычно-неслышимый для ушей, целый день висит над Парижем, так же как целую ночь стоит над ним в небе красно-желтое зарево от электрических огней; смешанным гулом, слитым из рева вздохов, стонов и трескотни автомобилей, грохота телег и грузовиков, стука лошадиных подков, шарканья ног, звонков и завываний трамваев, множества человеческих голосов...

– Заворчал апокалипсический зверь, – сказал вслух профессор и стал спускаться по винтовой лестнице «для прислуги».

IV

Но бульварам и улицам уже бежали девушки из молочных в белых передниках с раздутыми пышными рукавами, прихваченными в запястье кожаными браслетами. На каждой руке, на каждом пальце у них были нанизаны металлические дужки молочных бутылок; жидкое мелодичное позвякивание наполняло весь квартал. Ветер трепал и путал волосы над свежими, только что вымытыми розовыми личиками молочниц, и, глядя на них, профессор с удовольствием думал: «Как милы, как четки, как хороши люди в ясное утро, на воздухе... Это, вероятно, потому, что они еще не начали лгать, обманывать, притворяться и злобствовать. Они еще покамест немного сродни детям, зверям и растениям. Да, это славная истина: не потеряет тот, кто рано и в должный час выйдет из дома. И какой сладкой прохладой тянет из Булонского леса».

Симонов делал свои ежедневные скромные покупки. Купил хлеба в булочной на площади Ля Мюетт (бонжур м'сье д-а-ам), пшена, муки и соли в бакалейной (Ca va?³⁷), четверть кило свиной грудины («Какой прекрасный день!» – «Но ветер». – «Вы, французы, всегда недовольны погодой. Ветер очищает воздух!»), зашел в мясную купить для Пятницы на пятьдесят сантимов бараньей печенки (Тужур промнэ, м'сье?) и тотчас же, глядя на патрона, толстого, крепкого, полнокровного брюнета с малиновыми щеками, подумал: «А ведь это замечательно, что во всем мире самый цветущий вид у мясников, у колбасниц и у служащих на бойнях. Должно быть, это от постоянного вдыхания испарений здорового мяса, сала и крови. Будь я доктором, я вместо всяких вонючих пилюль и модных курортов посылал бы малокровных пациентов, этак на год, на

³⁷ Идет? — Идет! (франц.).

службу в колбасную лавку».

Теперь фуражировка окончена; кот и человек обеспечены едою на сутки; расход не превысил четырех франков; следует идти домой, заваривать чай. Но, не доходя четырех домов до конца улицы Renelagh, профессор вдруг останавливается, уткнувшись носом и рыжим клином бороды в железную решетку, ограждающую от улицы чей-то палисадник, прилипает к одному месту и так стоит неподвижно целых десять минут, с длинным хлебом под мышкой. Он немного затрудняет деловое, торопливое движение пешеходов на узком тротуаре, но к его странностям давно уже привыкли в этом квартале: кое-кто, проходя, пожмет плечами, растопыривши локти, другой, весело прищутив один глаз, кивнет головою, женщина пройдет и раза два неодобрительно обернется назад. Между черным кружком решетки и столбом газового фонаря, всего на пространстве трех-четырех квадратных вершков, паук сплел свою воздушную западню, и от нее-то не может оторваться профессор, забывший в эти минуты о времени, о месте, о чае, который надо кипятить, и о коте, которого надо кормить.

Это плетение из тончайших в мире нитей представляет собою прелестную спираль, перетянутую расходящимися от центра радиусами, прочно укрепленными в местах соединений. Радужным бисерным сиянием отсвечивают на солнце почти невидимые нити. Наклонишь голову налево – радуги побегут вправо; наклонишь направо – они закружатся влево, блестя и ломаясь углами на перехватах.

По улице носится порывистый шальной ветер. Под его капризными ударами вся нежная паутиная постройка, сверкая радугой, вздрагивает, трепещет и вдруг упруго надувается, как переполненный ветром парус.

Весь захваченный почтительным восхищением перед этой великолепной живой постройкой, профессор комкает в кулаке рыжий утюг своей бороды.

Самого архитектора не видно. Он, должно быть, очень мал или искусно спрятался. Какую громадную массу строительного материала вымотал он из своего почти невесомого тела.

Сколько бессознательной мудрости, расчета, находчивости и вкуса вложено сюда. И все это ради одного дня, может быть, одной минуты, ради ничтожной случайной цели.

«Как богата природа, – размышлял почтенный профессор, – с какой щедростью, с каким колоссальным запасом она одаряет все ею созданное средствами к жизни и размножению. На старом сибирском кедре до тысячи шишек, в каждой до сотни орешков, а конечная цель – всего лишь одно зернышко, случайно попавшее в земную колыбель, лишь один росток слабой жизни, которой грозят тысячи гибелей. Но зато и кедров не один, а миллионы, и живут они, ежегодно оплодотворяясь, многие сотни лет, и все кедры – порука за род.

В хорошем осетре – пуд икры, миллионы икринок, но конечная цель природы будет блестяще достигнута, если из этого количества зародышей вырастет хотя бы десяток рыб. Пара мух, если бы яички самки оставались неприкосновенными, расплодили бы за одно лето такое потомство, которое покрыло бы всю землю сплошь, как теперь ее покрывает человечество, разросшееся не в меру. Да, – думает профессор, – жизнь есть благо. Благо, и размножение, и еда. Но и смерть так же благо, как все необходимое. Мечта о человеке, который победит наукою смерть, – трусливая глупость. Микробам так же надо есть и размножаться и умирать, как и всему живущему.

И как разнообразно вооружила природа все существа для борьбы за жизнь. Панцири, клыки, жала, пилы, иглы, насосы, яды, запахи, самосвечение, ум, зрение, мускулы. Кто видел блоху под микроскопом, тот знает, какое это страшное, могущественное, неимоверно сильное и кровожадное создание... Будь она ростом с человека, она перепрыгнула бы через Монблан и уничтожила бы в несколько секунд слона.

Или вот этот паучишко... Какой сильный ураган выдерживает теперь его прекрасная воздушная сеть. Ну разве можно хоть в малейшей степени сравнить это божественное сооружение с таким жалким и грубым делом рук человеческих, как Эйфелева башня, столь похожая в туманный день на бутылку от нежинской рябиновой? Во сколько раз Эйфелева башня тяжелее, прочнее и долговечнее легкой паутины? Это немисливо высчитать, – полуплится число со столькими знаками, что их не упишешь в одну строку самым мелким почерком. Возьмем, однако, для простоты, скромный, ничтожный миллиард.

Положим, я обозначу то давление ветра, которое испытывает теперь паутина, четырьмя баллами, по метеорологическому исчислению. Тогда для того, чтобы Эйфелева башня испыты-

вала то же самое давление ветра, как паутина, надо это давление увеличить пропорционально силе сопротивляемости башни, то есть до четырех миллиардов баллов. Это великолепно! Ветра силою в сорок баллов не может себе представить воображение человека. Ураган в четыреста только баллов в одно мгновение свалил бы Эйфелеву башню, как картонный домик, как здание из соломинок, и сбросил бы этот мусор в Сену. Нет! Он сдунул бы весь Париж и помчал бы его камни, его развалины на юго-восток. Он выплеснул бы всю воду из рек и разбрызгал бы моря по материкам. Да, уж конечно, не паук строит лучше инженера, но природа строит крепче и мудрее всех инженеров мира, взятых вместе, – природа – одна из эманации Великого, единого начала, которому слава, поклонение и благодарность, кто бы оно ни было.

V

На этом месте своих отвлеченных размышлений профессор вдруг перестал комкать рыжую бороду. Уже давно, в то время как его сознательное «я» занималось построением пропорций, – его «я» подсознательно ощущало какое-то смутное беспокойство в правой руке. Профессор склоняет голову направо и вниз. Действительно, в его сжатой ладони спокойно лежала маленькая шершавая ручонка, а рядом с ним стояла девочка лет пяти-шести, ростом немного повыше его бедра. Как он мог не почувствовать этой детской лапки, прокравшейся в его руку? Впрочем, с ним бывали случаи еще более странные. В Гельсингфорсе он зашел однажды в парикмахерскую, где, обыкновенно через день, очень ловкая женщина-парикмахер обравнивала его бороду и подстригала волосы на щеках машинкой 00. Он ни разу в жизни не брился.

В этот день, садясь в кресло, он молча показал рукой на обе щеки и даже не заметил, что вместо знакомой парикмахерши над ним хлопочет какой-то новый мастер. Он и до сих пор помнит, какой предмет захватил тогда его внимание. Еще по дороге в парикмахерскую ему пришло в голову, что почти все человеческие лица, – особенно мужские, – можно при всем их кажущемся бесконечном разнообразии разделить по внешнему сходству на несколько сотен, а может быть даже и десятков определенных типичных групп. И вот, сидя в кресле, повязанный по горло белым полотенцем, глядя прямо на свое отражение в зеркале и не видя его, он так увлекся вызыванием в зрительной памяти всех знакомых ему мужских физиономий, что совсем не замечал, как парикмахер опенивал мылом обе его щеки. Он опомнился только тогда, когда перед его глазами блеснуло губительное лезвие бритвы.

В тот самый миг, когда профессор увидел девочку, она тоже очнулась, отвела свой взгляд от паутины и устремила его вверх, в глаза странного, большого старого человека. Указательный палец правой руки еще оставался у нее во рту, прикушенный острыми беличьими зубками – известный знак напряженного внимания и удивления.

У нее был смуглый кирпично-бронзовый цвет лица; по его крепкому румянцу и золотому загару пестрели грязные следы размазанных слез и липкие, блестящие пятна от конфет. На ней был затрепанный балахончик ярко-канареечного цвета, что-то вроде мешка с пятью отверстиями для головы, голых рук и ног, очень тонких и светло-шоколадного цвета, в соломенном пуху. Прямые, жесткие, черные – в синеву – волосы падали ей на лоб и на виски, как у японской куклы. Впрочем, было нечто если и не японское, то все-таки восточное в ее черных сладких глазах, нешироких и прорезанных чуточку вверх от переносья. У нее был длинный, но красивый рот, всегда сложенный как бы в полукруглую улыбку, немного козьего рисунка, с очень сложным выражением доброты и лукавства, застенчивости и упорства, ласки и недоверия.

Тут только девочка и сама заметила, что ее рука нечаянно попала в плен. Ни дети, ни молодые домашние животные не переносят, когда их члены лишены свободы. Маленькие обезьяньи пальчики вдруг все пришли в движение. Они стали точно крабом или большим жуком со множеством лапок, и эти лапки начали упираться, отталкиваться, изворачиваться, пока, наконец, не вывинтились на свободу из кулака.

– Как ваше имя, прекрасное дитя? – спросил Симонов.

– Жанет, – ответила девочка и, показав головой на паутину, сказала: – Это очень красиво! Не правда ли?

– Очень красиво.

– Кто это сделал?

– Паук. Такое насекомое.

– Зачем сделал?

– Чтобы ловить мух. Летит маленькая мушка и не замечает этих ниточек. Запуталась в них, не может никак выбраться. Паук видит. Пришел и съел мушку.

– А зачем?

– Потому что он голодный. Хочет есть.

– А он большой? Где он?

– Подожди, я попробую его позвать.

Профессор роется в карманах разлетайки, наполненных тем мусором, которым всегда полны карманы рассеянных мужчин, лишенных зоркого женского досмотра, достает измятый обрывок бумажки и, выждав короткую передышку ветра, начинает нежно щелкать ее уголком нити паутины. Из-за черного железного прута медленно высовываются две тонкие ножки, коленчатые ножки паутиного цвета, за ними виднеется что-то бурое, мохнатенькое, величиною чуть побольше булавочной головки. Профессор и Жанета переглянулись. Лица у них сосредоточенны, как у двух соучастников важного дела требующего особой осторожности. Но паук, тоже не торопясь, складывает свои ножные суставы и втягивает их назад.

– Ушел, – шепчет профессор.

– Да-а. Он – хитрый. Он увидел, что это мы, а не муха.

– Где же ты живешь, Жанета?

– Здесь и там.

Она указывает пальцем сначала на соседний дом, потом вдоль улицы на газетный киоск и поясняет:

– Здесь мы спим, а там продаем газеты.

– Почему же я тебя раньше не видел?

– Я была в деревне. Только вчера приехала. Но вас я давно знаю, еще до деревни.

Вы очень смешной.

– Много благодарен. Пойдем, дитя мое, со мной, я куплю газету.

Он берет ее за руку. Теперь ручка девочки доверчива, но живые пальцы не могут не шевелиться и не подрагивать: так много в них электрического чувства свободы. Газетный киоск втиснулся между забором железной дороги и перекинутым через нее воздушным мостиком. Это – деревянная будочка с квадратным оконцем и наружным прилавком, на котором газеты лежат стопками, прихваченные сверху, чтобы не развеял ветер, свинцовыми полосами. Коричневых стен киоска почти незаметно из-за множества покрывающих их иллюстрированных журналов, сцепленных между собой деревянными прачечными зажимками. По обе стороны прилавка – два ящика с покатыми стеклянными крышками. В них различный мелкий товар для подсобной грошовой торговли: иголки, булавки, катушки, мотки шерсти, наперстки, шпильки, кружки ленточек и тесьмы, карандаши, вязальные крючки, блокноты, пуговицы, роговые, деревянные, костяные, наконец, конфеты в фольге, в бумажках и простой леденец. Внутри домика есть переносная железная печь с плитой. Над крышей высится коленом черная жестяная труба. Когда из этой трубы валит дым, Симонову кажется, что вот-вот киоск-вагончик засвистит и вдруг поедет.

К киоску прислонена, загромождающая тротуар, детская клеенчатая, сильно подержанная коляска с откинутым верхом, в каких возят годовалых детей. Вся она полна разной игрушечной, отслужившей свой век инвалидной рухлядью. Тут и плюшевые мишки и коричневые суконные обезьянки с глазками из черных бисеринок, и рыжие курчавые пудели, и головастые разноглазые бульдожки, и дырявые слоны из папье-маше, и множество полуодетых и вовсе голых кукол, иные без волос и без носов, иные с вылезшими наружу паклевыми и стружковыми внутренностями.

– Очень хорошо, не правда ли? – шепнула ему Жанета.

– Великолепно!

– Это все мое.

– О!

Надо было что-нибудь купить. Заманчиво кинулся в глаза иллюстрированный сельскохозяйственный журнал большого формата, довольно толстый, с двумя серыми гривастыми мохноногими арденами на голубоватой обложке. Но устрасала цена в два франка пятьдесят сантимов. Газет он не читал, ни русских, ни иностранных. Газеты, говорил он, это не духовная пища, а так грязная накипь на жизни-бульоне, которую снимают и выбрасывают. По ней, правда, можно су-

дить о качестве супа, но я не повар и не гастроном. А если произойдет нечто исключительно важное, то все равно кого-нибудь встретишь – и расскажет. Газеты тем и сильны, что дают людям праздным, скучным и без воображения на целый день материал для пересказа «своими словами». Пришлось взять листок с первой попавшейся стопки – оказался «Journal des débats». Когда он расплывался, маленькая жесткая ручка убежала и больше не вернулась.

Профессор начал было рассказывать о пауке, но у него не вышло... Газетчицу интересовали не пауки, а сантимы, и она не слушала. Это была небольшая, полная, еще цветущая женщина, с значительной долей еврейской или цыганской крови в жилах, далеко не такая смуглая и черноволосая, как Жанета, и совсем на нее не похожая. Общее у них было только в рисунке рта, но не в выражении. Глядя на беззастенчивый рот матери, казалось, что она недавно крепко поцеловалась с мужчиной, и опухшие губы по забывчивости еще сохранили форму поцелуя. Кроме того, что она, как и все французы, была очень нетерпелива, – она бывала еще груба со своими клиентами и нередко покрикивала на них. Особенно доставалось от нее ее ami³⁸, – должно быть, слесарю, механику или водопроводчику, судя по лицу, всегда перепачканному глянцевитой гарью. Она держала его в строгости. Но в воскресенье, расфранченные, они прогуливались по лесу и, присаживаясь на скамейках, несмотря на публику, обнимались с той свободной откровенностью, какая повелась в Париже со времен войны.

– До свиданья, мадам, – сказал профессор, – Ваша Жанета очаровательный ребенок. Газетчица почти рассердилась.

– О, вовсе нет, мсье, вовсе нет. Она – дьявол.

– Мадам, разве можно так про ребенка?

– Я вам говорю, что она дьявол. Она злая, она очень злая... Она дьявол. И вдруг без всяких переходов:

– Поди ко мне, поди скорее, моя крошка.

Когда Жанета протиснулась к ней через узенькую боковую дверцу, она посадила ее на свои колена, притиснула к своей пышной груди и стала осыпать бешеными поцелуями ее замурзанную мордочку, а в промежутках ворковала стонущим, нежным голубиным голосом:

– О мой цыпленок, о мой кролик, о моя маленькая драгоценная курочка, о моя нежно любимая!

«А через три минуты она опять ее за что-нибудь нашлепает, – подумал, уходя, профессор. – Такие страстные, нетерпеливые матери – только француженки и еврейки».

Черный кот встретил Симонова странно-холодным и точно недружелюбным взглядом. «Это оттого, – подумал профессор, – что я опоздал». Кот съел свою порцию грудинки с необыкновенной жадностью и быстротой. Но, окончив еду, он не лег, против давнишней привычки, на полу, в золотом теплом солнечном луче. Он тяжело прыгнул на стол, выгнув спину вверх, по-верблюдьи, и пронизательно, с яростной враждой уставился большими зелеными глазами в глаза профессора.

– Ты что, брат Пятница? – Профессор нагнулся, чтобы его погладить, и протянул руку. Но кот не позволил. Он злобно фыркнул, мгновенно повернулся к человеку задрав хвостом и в два упругих прыжка очутился на карнизе и на крыше.

– Сердится, – сказал смущенный профессор и мотнул головой. – Но за что? Проходят день и ночь. Наступает мутное и сухое утро. В полдень Симонов смотрел на флюгер чужой виллы. Стрелка его ни на мгновение не оставалась в покое. Она капризно, с разными скоростями вертелась то по солнцу, то против солнца, по всем тридцати двум румбам. В четыре пополудни стало жарко.

– Ну и здоровенная же будет нынче гроза, – сказал самому себе вслух профессор, выходя из дома. – Ого, уже начинается.

И правда: людям и животным не хватает воздуха. У них сохнут губы, языки и горла и кровью набухают затылки. Порывистый, изменчивый южный ветер сирокко не приносит облегчения, а только обдаёт на мгновение огненным дыханием, летящим из Сахары.

Сорванные с пешеходов соломенные шляпы, котелки и фетры катятся ребром по пыльной мостовой, а за ними козлом скачут люди с развевающимися полами пиджаков. Безобидно сме-

³⁸ друга (франц.).

ются зрители. Смеются и сами пострадавшие, крепче натягивая шляпы на затылки. Зонтики с треском выворачиваются спицами вперед. Женские юбки тюльпанами вздымаются вверх или вдруг тесными морщинами облипают груди, животы, бедра и ноги. Женщины идут против ветра, нагнувшись, низко склонив головы, прихватывая левой рукой шляпку, а правой непослушные легкие одежды.

В Булонском лесу этот взбалмошный ветер раскачивает, треплет, рвет и ерошит старые, могучие, шумящие деревья и крутит их шипящие от злобы вершины, как половые метлы. Он то заголит всю листву на светлую изнанку, то внезапно перевернет ее на темное лицо, и от этой размашистой игры весь лес то мгновенно светлеет, то сразу темнеет. И весело переплетаются в листве, на зелени газонов, на желтом песке дорожек узорчатые подвижные пятна золотого солнца, голубого неба и дрожащих теней.

Под широким шатром могучего разлатого каштана, лицом к ветру, сидит человек в сером балахоне, так низко опустивший грудь и голову, что проходящим, из-под его рыбацкой шляпы, виден только кончик его огненно-рыжей, седоватой бороды. Этот кончик он иногда задумчиво пощипывает двумя пальцами, иногда рассеянно сует в рот и пожевывает. Прохожие с легкой улыбкой замечают также, что порою этот большой, живописный старик вдруг то ударяет себя кулаком по колену, то пренебрежительно пожимает плечами и резко вскидывает голову, то гневно стукнет палкой по земле: дурные привычки людей, умеющих думать не поверхностными, случайными обрывками мыслей, а глубоко и последовательно. Но проходим только так кажется, что здесь, на зеленой скамейке, сидит всего один человек. Им ни за что не догадаться, что близ них ведут бестолковый и неприятный семейный разговор два совершенно разные существа, неразрывно спаянные в одном человеческом образе. Первый – профессор химии, физики, ботаники, физиологии растений, ученый лесовод и лесничий, дважды доктор *honoris causa*³⁹ европейских университетов, вечный старый студент, фантазер, непоседа, святая широкая душа с неуживчивым характером, бессеребренник и ротозей. Другой – просто Николай Евдокимович Симонов и больше ничего, человек, каких сотни тысяч, даже миллионы на свете. Николай Евдокимович знает очень и очень многое. Ему, например, известно, что в ожидании дождя порядочные люди берут с собой зонтики, выходя на улицу, что, возвращаясь поздно ночью домой, надо непременно без грохота затворять за собой входную дверь, что лестницы для того обнесены перилами, чтобы за них держаться, что каша, сало, чай, квартира и прачка требуют оплаты, что автомобиль на крутом повороте способен свалить с ног замечтавшегося зеваку. И еще бесконечное количество подобных умных и полезных законов. Наконец, как важнейший параграф домашнего катехизиса, он исповедует строгую истину о деньгах. Деньги чеканятся круглыми для удобного ношения в кошельках, а вовсе не для того, чтобы легче было пускать их ребром катиться по свету, и наоборот: им придана плоская форма, дабы красивее было их складывать в стопочки перед тем, как, пересчитав, отнести в солидный банк.

Профессор неохотно прислушивается к премудростям Николая Евдокимовича и свысока презирает их, как временные и скучные. Николай Евдокимович осуждает щедрость, безалаберность и глупую доброту профессора, ворчит, кричит, журит его и даже позволяет себе иногда осторожно поехидничать. Профессор говорит ему «ты», как раньше говорил престарелому сторожу, служившему тридцать лет при лаборатории. Здесь старая привычка, ласковая фамильярность, покровительственная интимность... Николай Евдокимович говорит «вы» и «господин профессор» с оттенком бережной заботы и почтения, но иногда и с поучительностью старой привязанной няньки.

Сидят теперь они оба в Булонском лесу, на железной зеленой скамейке, и ведут беззвучный разговор, и временами профессору кажется, что беспокойные деревья с трепетом прислушиваются к этой беседе и принимают в ней тревожное участие.

VI

Профессор вытягивает перед собой небольшую, но мясистую ладонь правой руки, всю исчерченную, изрезанную, изморщенную множеством переплетающихся линий, бугров и трещин.

³⁹ «Ради почета» (лат. выражение, означающее получение ученой степени без защиты диссертации).

Такая рука, вылитая в бронзе, есть только у Бальзака, в музее его имени в Париже, на улице Raupouard, рука великого человека, все знавшая, все испытывавшая, все ощупавшая, все испробовавшая, все измерившая и взвесившая и тем не менее прекрасная и живая даже в металле. Профессор Симонов любит Бальзака больше всех иностранных авторов и нередко посещает его скромный музей. Но ему и в голову никогда не приходило сличить его руку со своей. Всего больше в этом простом и маленьком хранилище занимает профессора висят на стене рамка, в которую вставлен четырехугольный лист ватманской белой бумаги с красивой надписью, сделанной самим Бальзаком:

ici un Rembrandt!!⁴⁰

Эта наивная любовная надпись всегда умиляла профессора почти до слез, а потому он никогда не брал с собою в музей скептического и слишком земного Николая Евдокимовича.

Профессор долго и внимательно смотрит на свою бальзаковскую ладонь, слегка улыбается нежной старческой улыбкой и беззвучно говорит:

– Вот здесь, вот именно здесь, заблудилась ее крошечная, так мило жесткая и грязная ручонка. И как она потом нетерпеливо карабкалась, чтобы выбраться на свободу. Ну совсем точно маленький, вольный, подвижной зверенышек. О, чего же стоят все утешения, радости и наслаждения мира в сравнении с этим самым простым, самым чистым, божественным ощущением детского доверия.

Чтобы яснее вызвать образ маленькой чумазой Жанеты, профессор на минуту плотно зажмуривает глаза и вдруг слышит язвительное ворчание Николая Евдокимовича, этого вечного брюзги, нестерпимого указчика и надоевшего близнеца:

– Ах, господин профессор, господин профессор. Сколько мы с вами за нашу долгую жизнь рассыпали фантастических глупостей по всем долготам и широтам земного шара. И вот, извольте: на почтенном закате дней своих вдруг взять и ошалеть от восторга при виде какой-то грязной, замурзанной шестилетней уличной девчонки, похожей на желторотого птенца. Вот уж третий день идет, как Мы крутимся около газетного киоска и без толку покупаем утренние, дневные и вечерние журналы в надежде вновь увидеть, хоть мельком, измазанную детскую мордашку и поймать ее лукавую улыбку. И на свою правую ладонь мы не устаем смотреть с блаженным умилением буддийского святого, взвешивающего на свой пупок.

Ну да – все это мило, хорошо и трогательно; тем более что вы человек с душою абсолютно, химически, чистой. Но согласитесь, господин профессор, с тем, что наше буколическое увлечение, пожалуй, может показаться нелепым и смешным, если на него посмотреть со стороны зорким и скептическим взглядом.

– Ну и пусть кажется. Какая мне забота до дураков и бездельников и до их свинского воображения? Мои годы, мои седины, моя безукоризненная жизнь – вот моя порука! Свиньей, вроде тебя, мрачной и гнусной свиньей, будет тот, кто усмотрит грязь в том, что меня чуть не до слез умилила эта забавная, чудесная, славная девчурочка. И все тут. Баста!

«Все тут и баста, все тут и баста», – шипят качающиеся, переплетающиеся ветви. Николай Евдокимович сдаётся:

– Да ведь я что же, господин профессор? Я оскорбительного для вашей чести ничего не говорю. Я только хочу сказать, что у каждого народа есть свои нравы, обычаи, навыки, суеверия и приметы, которые куда как мощнее писаных и печатных законов. И вот тут-то иностранцу, да еще бездомному эмигранту, укрывшемуся от позора и смерти под дружеским, верным и сильным крылом, должно с этими неписаными адатами обращаться как можно осторожнее и деликатнее.

– Перестань, старая шарманка, – раздраженно восклицает профессор, и трепещущие листья повторяют за ним: «Старая, старая шарманка!» Но давнишний лабораторный служитель не сдаётся.

– Да вы же сами помните, господин профессор, как вы выразили перед хозяйкой киоска свой милый восторг перед ее очаровательной дочкой Жанетой. И как она в ответ на это зачертыхалась? В ее чертыхании вовсе не было зла против вас или Жанеты. Нет, здесь заговорила

⁴⁰ Здесь Рембрандт (франц.).

бессознательная, инстинктивная, многовековая память о борьбе со злыми ларвами в языческие времена и с мерзкими кознями дьявола в эпоху первого, грубого христианства. Эта почтенная женщина, видите ли, услышав вашу горячую похвалу ее дочке, бессознательно испугалась, – а вдруг у вас дурной глаз. А вдруг вы Жанету сглазите. А вдруг дьявол услышит вашу искреннюю похвалу милой девчурке и от злой ревности возьмет и испортит ее: сделает ее кривобокой, или наведет на ее лицо какую-нибудь гадкую сыпь, или скосит ей глаза. А что касается дурного глаза, то разве не вы сами, господин профессор, девять лет назад поместили в одном теософском английском журнале полунаучную, полумистическую статью под псевдонимом «Немо», в которой интересно и весьма обстоятельно доказывалось, что из множества эманации, выделяемых человеческим организмом, едва ли не самыми мощными флюидами являются флюиды, излучающиеся из человеческого зрачка, столь близко расположенного к мозгу. Через глаза передаются гипнотические волны, и не зрение ли, соединившись с воображением, тклет глубокой ночью цветистые, многообразные сны? И, наконец, вовсе не выдумка безответственных романистов (как вы сами говорили) способность человеческих глаз к удивительным световым эффектам. Да, действительно, глаза человека, в зависимости от душевных эмоций, могут сиять, блестеть, вспыхивать молнией, жечь, пронизывать, наводить ужас и повергать ниц. И эту чудесную силу их открыли еще бог знает в какой глубокой древности всё видевшие, всё замечавшие и запоминавшие народы, самые наименования которых стерлись из истории, но которые оставили после себя несокрушимые устные предания. Романисты только ограбили неведомых предков без пользы для себя, между тем как у спокойного простонародья старая мудрость и великий опыт сохранились в темных приметах и суевериях. Вот и спрашивается теперь, господин профессор: правы ли вы были, рассердившись на экспансивную мамашу вашей ненаглядной Жанеты?

Профессор ударяет железным наконечником палки по дорожке, и гравий визгливо хрустит.

– Замолчи, несчастный попугай, собиратель старой рухляди, умеющий только превращать в ходячую пошлость все, до чего коснется рука твоя.

Ветер становится все более тяжелым и упругим. Дышать трудно даже в обильном зеленом лесу. Огромные, старые, вековые деревья, когда-то видевшие под своею сенью Виктора Гюго, Альфреда Мюссе, Бальзака и обоих Дюма, недоверчиво и устало поскрипывают и недовольно кряхтят. Небо потемнело, и по нему быстрыми взмахами летят группы странно больших, черных, зловещих птиц. Во всей природе какое-то мрачное ожидание. Профессора томит приближающаяся буря. А тут еще этот неугомонный филистер, скучный хранитель буржуазной морали, этот вечный суфлер и наставник, двойник, с которым никогда не расстанешься и который всегда будет тащить свободную душу профессора по истоптанным путям спасительной боязни, благо-разумного умалчивания, политичного воздержания, всегдашнего согласия с большинством, повторения ветхих, заплесневелых метин, казенных улыбок и лицемерных похвал высокостоящим болванам. И профессор взрывается, подобно брошенной на землю петарде:

– Никого я не хочу ни знать, ни слушать! Что дурного или предосудительного в том, что всем моим сердцем и всеми моими мыслями завладела маленькая милая девочка, живой и нежный французский ребенок. Господи! ведь я никогда не испытал и не переживал и даже не надеялся когда-нибудь почувствовать тихой бескорыстной радости, которою так мудро и так щедро одаряет судьба дедушек и бабушек, когда все земные, пряные радости отлетают от них. Ах! я не был дедушкой, не успел... Да, впрочем, что греха таить. Могу ли я, по чистой совести, похвастаться, что был когда-нибудь счастливым мужем или почтенным, уважаемым отцом, авторитетным главою дома, его основанием, его управителем и защитником?

Нет, вся его семейная жизнь сложилась как-то неладно, кособоко, нелепо, разрозненно и неуютно. Женился он приват-доцентом на бледной и капризной дочери видного профессора, университетского декана и академика, который сделал себе огромное имя, и независимое положение, и комфортабельную жизнь путями не особенно, по тому времени, прямыми: всегдашней готовностью идти навстречу воле и желаниям правительства, отрицательным отношением к студенческим массовкам, протестам и забастовкам, а также и суровой требовательностью на экзаменах. Он знал, конечно, что за глаза, в молодых радикальных профессорских кругах, его ядовито называли «кондитером» и «мыловаром». Но что ему было за дело до брехни неудачников и бездарностей и необразованных лентяев.

Он с привычным, нескрываемым удовольствием опускал в портмоне золотые, приятно тяжелые дарки, выдаваемые после каждого из торжественных заседаний Академии; со спокой-

ным достоинством принимал казенные, весьма широко оплачиваемые научные поездки за границу и роскошные издания своих книг и без всякой тени заискивания расширял и поддерживал свои знакомства с питерской аристократией и с высочайшими особами. Студенты его ненавидели, но его лекции всегда наполняли аудиторию до самого верха, ибо он в совершенстве владел своим глубоким и гибким умом, был красноречив и обаятельно остроумен. «Гениальная скотина», – назвал его однажды бесцеремонный и злой на язык великий циник граф Витте.

Брак Симонова с его младшей дочерью Лидией был чрезвычайно странным как по своей неожиданной быстроте, так и по полному отсутствию того томного ухаживания, которое составляет главную прелесть жениховского периода. Поездка на Аптекарский остров профессорской компанией. Дурманящая белая ночь, легкое и веселое опьянение дешевым русским шампанским «Абрау-Дюрсо», могучее дыхание полноводной Невы, смолистый ласковый запах березовых распускающихся почек, непринужденная игривость дружеского пикника. Играли в горелки. Лидия, со своим гибким и тонким станом, с матовым лицом и ярко-красными губами, летала, точно не касаясь ногами земли, похожая в загадочной полутьме на влюбленную колдунью. Никто не сумел бы понять, как это случилось. Догоняя Лидию, Симонов так разогнался, что чуть ее не опрокинул и для поддержания равновесия принужден был крепко обнять ее за талию и прижать к своей груди, так что почувствовал упругое прикосновение ее девических сосцов. И в этот же момент она поцеловала его в губы под защитой старого дерева. Сначала молодой ученый был смущен и до румянца сконфужен ненасытной жадностью и чувственным бесстыдством этого пламенного и влажного поцелуя, но потом, со свойственным ему великодушием и уважением к женщинам, быстро решил в уме, что это просто первоначальная неумелость, неопытность, непривычность наивной и невинной девочки, вдруг вздумавшей подражать взрослым или разыгрывать сценку из только что прочтенного романа. Но во всяком случае этот поцелуй, огнем пробежавший по всем нервам Симонова, требовал, по его джентльменскому мнению, серьезной ответственности. Поэтому, возвращаясь с пикника на Разъезжую, Симонов, набравшись храбрости, с бьющимся сердцем, сделал Лидии форменное предложение вступить с ним в брак. Немного покорило его спокойствие, с которым она дала свое согласие. Симонов ожидал услышать старинную, традиционную, многовековую фразу: «поговорите об этом с папой и с мамой». Нет, она сказала просто, с вежливой приветливой улыбкой: «Я согласна. Вы мне давно нравитесь. Я не могу от вас скрыть, что приданое за мною не так уж велико, как это можно было бы предполагать, судя по нашей жизни, которая со стороны кажется очень широкой. Конечно, мои родители охотно возьмут на себя все расходы по бракосочетанию и по поездке за границу. Они же с удовольствием озаботятся тем, чтобы приискать нам на первое время уютную хорошенькую квартиру, с удобной мебелью и со всем хозяйственным обзаведением. Но я думаю, что больше пятидесяти тысяч папочка за мною не может дать. А это – немного по теперешнему времени, когда о шалаше и рае не вспоминают даже в шутку. Я свободно владею тремя иностранными языками: французским, немецким и английским, – и могла бы отлично переводить с них. Но вы сами знаете, как дешево оплачиваются переводы...»

Эта хладнокровная деловитость заставила Симонова на минуту съежиться, и он сказал с невольной неловкостью:

– У меня есть небольшое имение в Новгородской губернии. Если не ошибаюсь, сотни четыре десятин с небольшим. В Устюженском уезде. Но еще больше я надеюсь на свой труд, потому что работать я люблю и умело, и никогда работы не боялся, и никогда от нее не отлынивал. Верьте мне, Лида: с вашей любовью и дружбой я вскоре займу положение, которым вы по справедливости будете гордиться. Вот вам моя рука в залог; пожмите ее крепко, как можете. Бледное лицо девушки порозовело, когда она исполнила просьбу жениха. А потом она сказала:

– Если бы я не поверила вам, то неизбежно должна была бы поверить папочкиному мнению о вас. Вы ведь знаете, как он скуп на комплименты и на лестные отзывы, особенно в научной сфере. О вас же он заочно говорит, как о будущем светиле науки, как об отце будущей, новой, великой школы. Это его собственные слова. А теперь, если вы не раздумали, пойдем к нему наверх и скажем о нашем решении соединиться законным браком. Только я вас об одном попрошу. Наука так и останется наукой, но в делах коммерческих и денежных обращайтесь всегда за советом к папе. Имя его известно во всем цивилизованном мире. Но мало кто знает, что папочка со своим ясным, светлым и острым умом является первоклассным дельцом и безошибочным размещителем крупных денег в такие места, откуда они вскоре возвращались обратно в

удесятеренном виде. Папочке бы быть русским министром финансов! – сказала Лидия с гордой похвалой...

Таким образом женился Симонов на Лидии Кошельниковой. Брак этот вышел не по расчету, не по страстной любви, даже не по мгновенному случайному увлечению, от которого внезапно кружится голова, заволакиваются туманом глаза, а мысли и слова теряют смысл и значение.

Впоследствии Симонов много раз возвращался памятью к этому странному времени жениховства и первоначального замужества и никогда не находил в них ни логики, ни оправдания, ни надобности: было холодное наваждение, была неуклюжая актерская игра в напыщенную влюбленность. Он слишком поздно разобрался в душе своей жены и нашел для нее типичное место, в котором, однако, не было ничего сложного, загадочного или необыкновенного. Просто: она была дочерью своей эпохи, когда молодые девушки либо мечтали о политике и курсах, либо напичкивались сверх силы Оскаром Уайльдом, Фридрихом Ницше, Вейнингером и половым бесстыдством. Лидия была из последних. Еще в институте для привилегированных девиц она ела толченый мел и пила уксус для того, чтобы тело не переставало держаться в воздушных, почти невесомых формах, а лицо под гримом постоянно носило томный отпечаток бессонных, безумно проведенных ночей, оставивших черные красноречивые круги под глазами. В институте же, под наивной и невинной игрою в «обожание» старших подруг, она узнала первоначальные соблазны уродливой однополой любви, которой в то время предавались по распущенности и из-за снобизма юноши и девушки всех благородных учебных заведений. В супружеских интимных отношениях она не проявляла здоровой чувственности, была лишь холодно-любопытна, и вскоре эти отношения между молодыми супругами стали постепенно все реже и неодоухотвореннее. Однажды Лидия сказала мужу:

– Ты знаешь. В конце концов немцы были и умны и практичны, когда признавали за «цвей киндер систем» право гражданства. Это и необходимо и достаточно.

Симонов, как всегда, ответил спокойным согласием и несколько не удивился тому, что, родив вторую и последнюю девочку, Лидия совсем отказалась от супружеских обязанностей, предоставив вместо них мужу полную свободу, в которой он, впрочем, совсем не нуждался.

Однако обязанность доставать деньги осталась за ним и с каждым годом настоятельно увеличивалась. За детьми Лидия никогда не ходила. Не любила и не умела этого. Около девочек были всегда кормилицы, няньки и бонны. Сама же мать только наряжала их, как кукол, и играла с ними, как с куклами, в течение десяти минут в сутки. Переводы с иностранных языков оказались милым вздором заневестившейся барышни. Знала она, правда, – и то с грехом пополам, – слов по сто на каждом из трех главных европейских языков, но для профессии переводчицы этот багаж был и скуден и легковесен. А главное, к занятию этому у Лидии не было ни призвания, ни терпения. Занимала ее больше всего легкая, суетливая, подвижная общественная благотворительность, устройство литературных и студенческих вечеров, лотереи и базары и прочие веселые пустяки, с приглашением знаменитостей, с продажей шампанского и цветов и с постоянными предложениями заказывать новые модные костюмы. Больше всего имела Лидия успех в только что народившихся, бесшабашных кружках новой литературы, поэзии и живописи, – у всей этой молодежи, носившей диковинные девизы кубистов, футуристов, акмеистов и даже ничевоков. Они в ней находили порочную прелесть верленовских изломов и манящую жуть сладострастия Пикассо. Впрочем, все эти божественно дерзкие переустройства мирового искусства никогда не задумывались над смыслом и значением тех умопомрачительных слов, которые они походя роняли, веско, гулко, бездонно-глубоко и абсолютно непонятно для непосвященных буржуев. Ничего! Им все благоговейно сходило с рук. Такое уж сверхчеловеческое поветрие носилось тогда, незадолго до ужасной войны, по обеим столицам России, что гении, пророки, ясновидцы, тайновидцы, предсказатели, медиумы, мировые мудрецы. Наполеоны и Заратустры рождались среди интеллигенции с быстротою грибов после теплого летнего дождя. Уважающему себя культурному и передовому человеку приходилось разрываться на части, чтобы не пропустить случая сбежать на поклон к новому блистательному светилу, только что вчера открытому. Москва, древняя, кондовая, купеческая, усестая Москва, которая прежде созывала гостей на обед с юродивым Корейшей, с протодьяконом Щаховцовым, который голосом своим тушил все люстры в зале, с полицмейстером Огаревым, с Шаляпиным или с борцом Поддубным, – эта наивная, сердечная Москва вдруг, очнувшись, поняла, что ей совсем уж невозможно жить без своего дека-

дента. Поэтому она спешно заказала для своих домов декадентскую архитектуру, завела чертовски декадентскую и безумно дорогую литературу, а московские дебелые девицы бредили по сне: тятенька с маменькой, купите мне в женихи настоящего декадентского кентавра. И покупали.

Чинный Петербург всегда был спокойнее, умереннее и хладнокровнее пылкой Москвы, к которой он еще со времен Петра I привык относиться свысока. Однако яростный напор новых течений во всех отраслях искусства мощно захватил и солидный Петербург, ставший к тому времени внезапно Петроградом. Первыми провозвестниками и глашатаями этой трескучей новизны стали торопливые карьеристы, малограмотные приват-доценты, читавшие «взгляд и нечто» на многочисленных женских курсах и пописывавшие критические статьи в сотнях журналов, которые ежедневно возрождались под самыми драконистыми заглавиями, чтобы через два-три дня тихо и бесследно опочить. Лидия, со всегдашней своей страстью к шумливым, безвкусным и дешевым безделушкам, одной из первых записалась в горячие поклонницы всех этих «истов», в их верного друга, в их деятельную помощницу и пропагандистку. Они же называли ее своей мамой, своей музой, своим икс-лучом и аккуратно, целыми стаями посещали по пятницам ее несколько скучноватый, но услужливый и гостеприимный салон, где подавались очень вкусные сэндвичи и отличное кавказское красное вино «Мукузань».

Симонов вначале не без интереса и любопытства посещал декадентские вечера своей жены. Как-никак, а, по словам Лидии, на них созревало и выковывалось то новое, могучее и гордое искусство, которому надлежало, растоптав в прах все жалкие, скучные и нудные потуги предшественников, засиять над миром неугасимой огненной звездой.

Однако вскоре он стал потихоньку думать: «Тут, по совести, одно из двух: либо я отстал от искусства и ничего не понимаю, либо все эти футуристы и кубисты – просто-напросто охальники, симулянты, мистификаторы, шарлатаны и развязные наглецы и похабники...» Правда, в некоторых поэзах этих вчерашних новаторов звучала порою странная и дикая сила; правда и то, что дерзкие консонансы, заменившие у декадентов лакированную точность строгих рифм, были ясны и понятны для Симонова, хорошо изучившего остроту крестьянских поговорок и частушек. Но отсутствие прямого смысла неприятно раздражало его, как раздражала и их манера читать свои произведения в нос, нараспев, на мотив «Чижика», похоронного ирмоса или бульварной песни, не останавливаясь перед похабными словами. Еще экстравагантнее были футуристические музыканты и кубистические художники. Этим не понимали даже близкие сотоварищи. Впрочем, в этих сверхчеловеческих, орущих шайках – быть непонятым считалось первой ступенью к гениальности. Эта здоровенная молодежь ела и пила с аппетитом волжских грузчиков, не переставая брала взаймы деньги и часто оставалась ночевать на диванах, на сдвинутых стульях и даже просто на полу. На это молодое разгильдяйство Симонов смотрел снисходительно и даже с молчаливым сочувствием. Профессорская жизнь еще не выжгла из его памяти студенческих годов в Московском университете, когда бесцеремонная молодежь охотно делилась и ночлегом, и обедом в столовке, и последней кружкой пива, и научными знаниями. Но один дурацкий случай вывел его из себя. Какой-то здоровенный, долговязый, весь в угрях декадент, в балахоне, наполовину желтом, наполовину голубом, с пучком укропа и с морковкой в петлице, только что окончил завывать свою новую поэму, носившую претенциозное заглавие «Паванна», и стоял, окаменев от наплыва вдохновения, а вокруг него благоговейно безмолвствовали второстепенные поэты. Встретившись глазами с Симоновым, желто-голубой верзила спросил в нос:

– Ну, что же. Амфитрион? Кого вы теперь назовете прекраснейшим из всех русских поэтов?

Смущенный Амфитрион невольно повел глазами по той стене, где у него ровной линией висели застекленные портреты всех знаменитых русских писателей и поэтов, и застенчиво пробормотал:

– Я думаю, что все-таки Пушкин...

– О ослица Валаамова! – возопил прыщавый декадент. – Весь ваш слащавый европеец Пушкин не стоит одного ногтя с моей ноги. – И вдруг, схвативши массивную чернильницу, декадент с быстрым размахом швырнул ее в лицо Пушкина, раздробив стекло и залив портрет чернилами. Симонов, весь побелев от негодования, схватил с необыкновенной силой поэта за шиворот и потащил к выходным дверям, беззвучно говоря дрожащими губами:

– Ах ты сукин сын! Чтобы тут больше твоего духу не было! А то насмерть убью стервеца! Вон сию же секунду!

Претендент на высокое звание прекраснейшего из русских поэтов всех времен поспешно выскочил в переднюю, сбитый с толку и точно скомканный. За ним, с глухим ворчанием, посыпались второстепенные поэты. Но «грубая, безобразная, дикарская выходка» Симонова не обошлась ему даром. Во-первых, Лидия после громадного истерического припадков, с рыданиями и обмороками, заставила-таки мужа на другой день поехать к желто-голубому поэту и просить у него прощения. Во-вторых, ему на веки вечные запрещено было присутствовать на декадентских радениях, хотя бы даже издали через щелку. А в-третьих, с того злополучного вечера совсем прекратились всякие человеческие отношения между мужем и женой. Здесь не было ни злости, ни мести, ни взаимного отвращения. Просто оба давно уже стали понимать и чувствовать, что нет и никогда не было между ними ничего общего, сближающего, душевного и что скоропостижный брак их можно было бы объяснить только холодным, бессонным наваждением северной белой ночи и мгновенным капризом анемичной, избалованной петербургской барышни. В начале этого расхождения Симонов даже был рад этой домашней свободе. Легче работалось, легче думалось. А главное, в эти одинокие тихие дни Симонов, наконец, нашел подход и дорогу к умам и характерам своих двух дочек, которые до сих пор пребывали в глупом баловстве и в капризном невежестве. Он с нежной и веселой радостью уже стал замечать, как входили в детские умы и сердца те избранные книги, которые он им читал: русские, умело подобранные сказки, сказки Андерсена, рассказы Марка Твена и чудесного Киплинга и Додэ, «Хижина дяди Тома», приключения Жюль Верна, «Серебряные коньки», «Капитанская дочка» Пушкина и тому подобные вещи, легко и удобно входящие в ум и в воображение детей. Он при первой возможности водил девочек в Зоологический сад, в зверинцы, музеи и галереи. Каждый листик, каждый зверь и зверюшка, каждый жуки и мушки являлись для него и для детей предметами жадного внимания и удивительных рассказов. Эти два года мирного общения с маленькими дочерьми остались навсегда для Симонова самыми лучшими, теплыми и благородными воспоминаниями. Прежде бывало так, что, рассерженный безалаберностью жены и ее вечным мотанием по знакомым, и по лавкам, и по заседаниям, он молчаливо повторял про себя жестокое изречение из притчей Соломоновых:

«Горе жена блудливая и необузданная. Ноги ее не живут в доме ее». Теперь же он все чаще ловил себя на унылой мысли брошенного человека, уже свыкшегося со своим одиночеством:

– А все-таки, куда как лучше и приятнее дома, когда в нем нету его почтенной и обворожительной хозяйки Лидии.

Но давно уже известно, что женщина, разлюбившая и злая, никогда не удовлетворится спокойным молчанием. Так и Лидия вскоре стала неумоимо пилить и заедать мужа, выбрав для этого самое уязвимое, самое чувствительное, самое болезненное место – деньги.

Настало время, когда в маленькой, когда-то мило уютной комнате на Песках с утра до вечера только и стало слышаться одно это желтое, ужасное, проклятое, ядовитое и такое всемогущее слово – деньги. Вы, как кажется, позабыли о деньгах? Где же деньги? Вы, по-видимому, все мечтаете о рае в шалаше, а не о деньгах. Вы, кажется, совсем забыли, что у нас завтра – гости и, чтобы принять их, надобны деньги? Оленьке нужны деньги на башмачки, Юленьке нужны деньги на шубку. Кухарке нужны деньги на базар, мне нужны деньги на замшевые перчатки и на билет на Вагнера.

– Деньги, денег, о деньгах, деньгам, деньгами, деньгам, деньгами...

Вкус ржавого железа появлялся во рту Симонова, когда звучали эти металлические слова, требующие денег.

Вскоре и дочери, сначала, как невинные попугайчики, а потом все сознательнее и настойчивее, научились этой минорной песне о вечных деньгах.

– Папочка! Почему ты нам купил аграфы сердоликовые, когда теперь все носят жемчужные? – Папочка! Почему ты купил места в партере, а не в бельэтаже? – Папочка! Почему у нас елка была с парафиновыми свечами, а у Х электрическая? Почему у Z свой собственный выезд, а мы должны трястись на извозчике-ваньке?

– Папочка! Почему мамочка всегда плачет, что ты жадный и скупой и никогда не хочешь давать ей деньги и что ты, кроме того, страшный лентяй и не хочешь работать?

«Какая пакость со стороны тех матерей, которые ложью восстанавливают детей против отцов, – думал часто Симонов и тотчас же поправлял самого себя, – а еще хуже длительная текущая годами семейная злобная вражда, в которой обе стороны считают себя великомучениками

и только тем занимаются, что отыскивают против врага укус поядовитее».

Симонов, со свойственным ему мягким великодушием, рыцарски самоотверженно причислял себя к одной из враждующих сторон. Носить в себе вечную неугасимую злобу казалось ему тяжким и горчайшим бременем, и он как бы навьючивал на себя молчаливо половину общего проклятого груза. Нет, никогда он не был лентяем или скупцом. Как однажды, в далекую белую ночь, дал он Лидии торжественное обещание работать не покладая рук для счастья своего гнезда, так и держал это слово с непоколебимой энергией, с радостным сознанием исполняемого священного долга. Он успевал читать лекции в петербургских сельскохозяйственном и лесном институтах и на женских курсах, преподавал физику, химию, космографию и естественную историю в кадетских корпусах, военных училищах, женских институтах. Одно время он руководил геодезическими триангуляционными съемками в Академии генерального штаба. Он написал много статей как строго научных, так и популярных. Журналы принимали их охотно, редакторы рассыпались в похвалах и комплиментах... Однако гонорары повсюду были мизерны. И все-таки жить было можно и даже жить с небольшим комфортом, несмотря на то, что тесть слукавил на приданом. Беда была в том, что Лидия никогда не знала цены деньгам, и они сыпались у нее сквозь пальцы, а Симонов во всю свою жизнь так и не научился ладить с нужными людьми, обходя их услужничеством, лестью и подобострастием: бывал, когда не надо горд, независим, противоречив, самостоятелен и неуступчив. А эти свойства люди сильные не всегда любят.

Когда пришла Симонову пора защищать свою докторскую диссертацию, то профессор Кошельников однажды любезно спросил его, как бы мимоходом:

— Что ты скажешь, милый зятек, если узнаешь, что университетский совет назначит меня быть твоим оппонентом на диссертации?

По профессорской этике такой любезный вопрос всегда имеет и огромный вес и серьезнейшее значение. В нем как будто бы уже заранее признаются и талант и заслуги молодого диссертанта, и не чем иным, как благодарной улыбкой, на него нельзя было бы ответить. Но Симонов как-то сухо, по-медвежьи коряво возразил:

— Я бы, конечно, был весьма обрадован и польщен, господин профессор, но... но согласитесь с тем, что мы с вами все-таки в свойстве... и бог знает, то могут наговорить недоброжелательные языки... Кумовство, nepoтизм, протекция... и так далее... Обоим нам будет неловко.

Тесть поднялся с кресел и желчно сказал:

— Дело ваше. Как знаете, как знаете... — и, надевая шляпу в передней, еще раз прибавил: — Как знаете.

Кончилось тем, что диссертацию свою Симонов сдал в Москве и сдал самым блестящим образом. Когда он приехал назад в Петербург, тесть не дал себе труда поздравить его.

Кошельников был не злопамятен; к тому же он очень любил свою анемичную дочку. Поэтому спустя некоторое время он сделал зятю у себя на дому великолепное предложение в духе той финансовой мудрости, которой когда-то так восхищалась Лидия. Дело заключалось в том, что несколько влиятельных и высокостоящих чинов генерального штаба предпринимали в военных целях гигантскую работу по осушению Полесья. В настоящее время начинают разыскивать и подбирают опытных инженеров, гидротехников, землемеров, лесников, геодезистов. Проектируется работа на многие десятки миллионов. Дело большое и верное, и на нем можно честным путем сделать хорошее, солидное состояние, опору будущему счастью. У Николая Евдокимовича остались добрые знакомства с генеральным штабом, тесть поможет своими влияниями. Надо только ковать железо, пока оно горячо.

Симонов попросил две недели отсрочки для размышлений. Аккуратно в назначенный срок он пришел к тестю и попросил у него сепаратного разговора. С первых же слов он решительно отказался от работы на Полесье, а когда профессор Кошельников спросил о причинах такого крутого отказа, зять нарисовал картину мрачную, зловещую и устрашающую.

— Во-первых, — сказал он, — осушение Полесья стоит не миллионы, а миллиарды. Во-вторых, осушение Полесья, кроме дороговизны, повлечет за собою непременно обмеление всех водных источников, речонок и рек, как малых, так и средних и больших. Это же со своей стороны грозит оскудением сельских хозяйств на громадных пространствах, остановкой водяных мельниц, прекращением путей сообщения и в особенности пароходному движению; по рекам, питаемым водами Полесья. Подумайте: Днепр и теперь уже нуждается в землечерпалках, что же будет дальше, когда он высохнет. В-третьих, кто инициатор и глава этого осушительного

предприятия? Полковник генерального штаба Ж. Он поляк, действительно – Ж. С идеей осушения он возится давно уже, связывая эту идею с возможностью оборонительной войны. Умный теоретик военного искусства Михаил Драгомиров сказал однажды по этому поводу: «Умный, храбрый вождь пройдет шутя через топь. Трусливый дурак разобьет голову на ровном месте». Однако полковник Ж. теперь снова вылез наверх... И наконец – четвертое: мне удалось узнать фамилии будущих предполагаемых подрядчиков. Все это – народ жох, тертые калачи, а главное, жестокие специалисты по лесному делу.

– И что же?

– Да то, что вся суть осушения сводится к неслыханной по размерам вырубке Полесья и распродаже леса в дьявольских размерах. Военные интересы – одна только вывеска.

– Однако, – возразил тесть, – ведь там в числе пайщиков есть и высочайшие персоны.

– Тем более, – угрюмо буркнул Симонов, – мне в эту компанию не ход.

– Глупая щепетильность, – пожал плечами Кошельников, и собеседники, не говоря больше ни слова, сухо и надолго простились.

На другой день Лидия пришла к нему в кабинет и без обычной ссоры, вялым, деловым голосом предложила ему развестись с ней. Он ничего у нее не расспрашивал, сразу же согласился. По ее же просьбе он согласился и взять вину развода на себя, как на мужа, осквернившего супружеское ложе. Много этому невинному, доброму и покладистому человеку пришлось выслушать консисторских пакостей, пока развод не был зарегистрирован в порядке. Одно условие развода огорчало и удручало Симонова: обе его дочери, по утверждению святейшего синода, должны были остаться при матери, на которую возлагалось их духовное и моральное воспитание в началах и указаниях святой православной католической церкви. «Хорошими началами она их напичкает», – сурово ворчал про себя Симонов; и, предвидя неизбежные в разводе сцены ревности из-за детей, возрастающую на этой почве неутолимую ненависть и тяжелое влияние на девочек родительской вражды, он с глухим горем оставил навсегда Петербург, чтобы занять профессию в родной, знакомой и давно любимой Москве.

Так-то порвались навеки для него все сношения с бывшей семьей и даже самая память о ней. Но любовь ко всем детям, умиление над их беспомощностью, радость слышать их голоса и видеть их улыбки, созерцать их игры и их первые попытки к общежитию постоянно наполняли его душу целительным бальзамом. Он не ради щегольской фразы, но от глубины чистого и любящего сердца произнес свой афоризм на большом московском собрании матерей:

– Тот, кто написал хорошую книгу для детей или изобрел детские штанишки, не связывающие движений и приятные в носке, – тот гораздо более достоин благодарного бессмертия, чем все изобретатели машин и завоеватели стран.

А удушливый, горячий ветер сирокко не только не хочет уняться, но все больше и больше набирает силу, злобу и упругость. Профессор давно уже устал вести бесполезную ссору со своим тупым и мещански настроенным двойником Николаем Евдокимовичем. Приближающаяся и все не решающаяся разразиться гроза точно приплюскивает его к земле и лишает воздуха. «Что же я так сижу и изнываю?» – думает он. Ведь даже гимназистам первого класса известно, что ничего нет опаснее, чем стоять в грозу под деревом.

– Пойду-ка к себе домой. У меня над моей голубятней проведен громоотвод. Молодцы французы в этом отношении. Впрочем, и во всем они молодцы, что касается стихийных бунтов и восстаний.

Он подымается, с трудом выпрямляя члены, затекшие от долгого сидения. Бесчисленные мурашки бегут под его кожей.

«Точно электрический ток, – думает профессор. – А почему бы и в самом деле этому ощущению не быть электрическим явлением?» – и в этот момент Симонов тяжело падает на землю, оглушенный и ослепленный яростными, одновременными молнией и громом. Страшный ураган срывается, как взбесившаяся лошадь. Небо, воздух и земля заволакиваются густым зловещим мраком. Ревут деревья, трещат ломающиеся ветви, с чертовским грохотом и жалобным стоном падает столетний могучий каштан, выворачивая из земли свое огромное корневище, зарытое в землю. Деревья раскачиваются, нагибаясь до земли. Молния и гром не перестают ни на минуту. Водяные хляби разверзлись точно при потопе. Ничего не видно, кроме тяжелой, сплошной воды, закрывшей весь горизонт.

Симонов, весь промокший и потерявший дорогу, с великим трудом пробирается между де-

ревьями, инстинктом находя дорожки и вновь теряя их. Маленькая, нежная ручонка вдруг касается его пальцев, и дрожащий, испуганный голосок говорит снизу:

– О господин. Я боюсь. Помогите мне. Я очень боюсь. Я не знаю, куда мне надо идти.

– Ах! Боже мой! Ведь это Жанета, – с радостью и с ужасом узнает профессор. – Как ты попала сюда, под мой непромокаемый плащ? Вот так, вот так, моя дорогая девочка, вот так. И теперь перестань тревожиться. Будь спокойна, я тебя сейчас донесу до вашего киоска, – И, ловко окутав Жанету своим пальмерстоном, он храбро шлепает по лужам.

Время от времени тоненький, жалобный голосишко попискивает из узла:

– О, как я боюсь, как боюсь, мой добрый господин! – И умиленный Симонов ласково и успокоительно похлопывает ладонью по разбухшей разлеталке. Так они выходят из Булонского леса, проходят по бульвару Босежур, и там, под перекидным мостом, профессор сдает свой мокрый груз в газетный киоск, наполняя его водой и крикливым изумлением хозяйки, которая уже успела до смерти измучиться, разыскивая свою быстроногую Жанету в эти страшные часы бури, молнии и зловещего мрака. Она, с той быстротой и приятной ловкостью, какие свойственны всем любящим матерям на свете, освобождая девочку от бесконечной профессорской обмотки, вытирала быстрыми движениями ее промокшее тельце, сморкала ей нос и в то же время не забывала шлепать ее по задущке и скороговоркою то браниться, то в сотый раз пересказывать Жанете, профессору и всем ближайшим соседям о тех ужасах, которые она сегодня претерпела.

– О дорогой господин, – обращалась она к Симонову. – Надеюсь, что вы извините меня за то, что я сначала подумала, будто это вы завели Жанету в Булонский лес, и вот я прибежала к вашей госпоже консьержке и осведомилась у нее о вас. И я была очень рада, когда услышала самые почтенные и добрые рекомендации о вас с ее стороны. Но вы, конечно, поймете душевную тревогу бедной матери. Надеюсь, что у вас самого были сестры, дочери или внучки?

Но тут сама Жанета, решительно высвободив голову из кучи тряпья, великодушно идет профессору на помощь и защиту.

– О моя дорогая мама, – говорит она с восторгом и ужасом. – Если бы ты видела, какой это был ужас. Я пошла в Булонский лес с Жермен, с дочерью мясника, господина Колэн, и мы разошлись там, когда настала гроза. О мой бог, как это было страшно и как я испугалась. Ветер был такой, что сломились все деревья и разрушились многие большие дома. Молнии летали по всем направлениям, толстые, как моя рука, и большие, как Эйфелева башня. А гром был такой громкий, как фейерверки на четырнадцатое июля или как пальба из пушек, и дождь был ужасно большой, ну вот совсем, как потоп, о котором нам читал господин аббат и который потопил весь мир. Я так испугалась, так испугалась, что думала, что сейчас же вот-вот умру. И подумай, мама, какое это было счастье, что добрый и храбрый господин пришел мне на помощь в бурю, грозу и молнию и точно святой ангел покрыл меня своим мантио, чтобы вынести меня из настоящего ада. О мама, этот отважный жантильом⁴¹ был моим спасителем, которого мы должны благодарить во всю нашу жизнь.

Эта импровизированная болтовня умилила и рассмешила профессора до слез, а мать встала уже спокойным голосом:

– Этим декламациям Жанету научила ее лучшая подруга Жермен, которая старше ее и, к сожалению, чрезвычайно много читает.

Профессор сказал:

– Конечно, это маленькое приключение – просто пустяки, и все обошлось благополучно. Позвольте, мадам, я в один момент схожу в бистро к мадам Бюссак за липовым цветом, он у нее превосходного качества. Ведь ваша бедная девочка все-таки сильно промочила ноги.

– О нет, мой господин. Я вас, пожалуйста, прошу не беспокоиться. Липовый цвет есть у меня на квартире, а я вам приношу миллионы благодарностей и, в свою очередь, прошу вас заняться своим здоровьем. Эти летние простуды гораздо опаснее зимних.

«Экая твердая баба! – покачал головой Симонов, уходя из киоска, – и все-таки прекрасная любящая мать».

Пройдя шагов пять, он обернулся назад. В киоске, из-за каких-то платков и тряпок, глядел

⁴¹ Дворянин (франц.).

на него веселый, ласковый, улыбающийся глазок Жанеты.

И вот вскоре настал для профессора Симонова моральный скучный ущерб. Прежде хоть изредка удавалось ему на минутку-две увидеть живое, веселое личико Жанеты под разными приличными предлогами: то покупая газету, то просто проходя мимо киоска с нарочно сделанным серьезным, деловым лицом. Теперь он стал стыдиться своих прежних невинных хитростей и бояться, что Жанетина мать подумает, будто русский старый чудака, особенно после грозы в Булонском лесу, захочет втереться в чужую семью. И он стал наблюдать за милой девочкой с осторожной украдкой, на далеком расстоянии, стараясь не попадаться на глаза ни матери, ни дочке, благодаря бога за свою лесную привычную дальнорукость.

Весело, пестро, разнообразно, затейливо проводит Жанета свои дни, радостно насыщенные все новыми и новыми впечатлениями. Ноги ее не успевают бегать, легкие – дышать, глаза – все жадно видеть, уши – все слышать, ум – все воспринимать. Будь Жанета совсем свободной – для нее мало было бы всего шестнадцатого округа, всего Парижа с окрестностями, всей необозримо большой Франции. Но, к ее досаде, строгий надзор матери и острая наблюдательность услужливых соседок замкнули ее свободу в тесное пространство, ограниченное квадратом, образуемым четырьмя улицами: улицей Ранеляг, авеню Мозар, улицей Ассомпсьон и бульваром Босе-жур.

Профессор уже давно это заметил и сам для себя в уме называет Жанету принцессой четырех улиц. Правда, эта быстроногая принцесса в неудержном беге врывается и в другие близлежащие улицы: в бульвар Монморанси и в, улицу доктора Бланш. Но это только резвые наскоки принцессы амазонки, жаждущей невинных приключений. Самый суровый запрет положен на Булонский лес, да и сама храбрая Жанета трепещет перед его ужасами и до сих пор не может понять, какие силы занесли ее в густой парк во время бури сирокко. Там, по уверениям старинных обитательниц Пасси, прячутся в густых деревьях злые мошенники, которые нападают на гуляющих и, бросая их в автомобили, увозят бог знает куда, чтобы взять потом за них большой выкуп; там появляются беспощадные люди-сатиры, не жалеющие ни женщин, ни детей; там бродят часто кровожадные дикие звери, убегающие из соседнего зоологического сада, и, наконец, там ходят по вечерам белые привидения, духи людей, погибших давным-давно на дуэлях в Булонском лесу и лишенных церковного покаяния. Но на всем протяжении своего маленького суверенного владения Жанета является настоящей, всеми признанной принцессой; принцессой доброй, приветливой, заботливой и любимой. Ее подданные души в ней не чают. Когда она весело, легкими быстрыми шажками проходит по улицам своего государства, то с обеих сторон слышатся ласковые приветствия:

– Добрый день, Жанета! Добрый день, маленькая Жанета!

Так встречают ее все: почтальоны, несущиеся с толстыми кожаными сумками, взрослые девушки, развозящие по домам в ручных тележках молоко и булки, девочки, спешащие говорливыми группами в школу, рабочие, только что принявшие в бистро очередную порцию аперитива или дижестива, чиновники и посыльные, старающиеся сохранить на лицах выражение деловой серьезности, между тем как свет нежной улыбки освещает их уста, пожилые женщины, идущие быстрым ритмическим шагом на базар.

– Добрый день, Жанет! Добрый день, Жанет! И Жанета разбрасывает налево и направо свои звонкие приветствия вместе с ландышами и маргаритками своих сияющих улыбок:

– Добрый день, господин Топэн! Добрый день, госпожа Тиру. Добрый день, Ирэн, Симон, Мадлэн!..

И как мило заботлива она к работе и к интересам своего народа. Вот идет по тротуару молодой, весь в лохмотьях, савояр, дудя гнусаво в допотопную деревянную свирель. Рядом с ним, на мостовой, тесно сплотившись, движется густое, лохматое стадо коз. Савояр только и знает, что наигрывает тысячелетнюю печальную мелодию, а за порядком стада ревностно, строго и неутомимо следит умный, черный, большой пес, не устающий бегать вокруг бредущей отары, загоняя каждую отстающую, проказливую или упрямо игривую козу в общее тесное блеющее стадо. Он достигает этого лаем, ударом головою, иногда осторожным укусом, а всего больше огненным взглядом своих человеческих глаз. Прохожие, знающие злобный и решительный характер савойских овчарок, обходят их подальше, но для Жанеты не существует ни страха, ни боязни за свое тело, и руки ее никогда еще не знали трусливой дрожи. Поэтому она с беспечной старательностью помогает черному барраку загонять коз, и мохнатая, с ног до головы обросшая

шерстью собака порою возьмет и лизнет Жанету длинным, красным, горячим языком, стараясь пройти по всему лицу. И меланхоличный савояр, не останавливая стада и оставляя его на попечение пса, останавливает одну лишь из коз, с ловкостью фокусника доит ее грушевидное вымя в небольшой стаканчик и молчаливо протягивает его Жанете. Теплое козье молоко не особенно вкусно; к тому же оно так сильно отдает терпким запахом неистового козла, что пьют его только больные и редкие любители. Но как же обидеть савояра и его прекрасного пса? Молоко мужественно проглочено одним мгновением.

— Благодарю, до свиданья, мой дорогой пес. До приятного свиданья. Проходит, мелодично позванивая большим звонком, древний, но крепкий, как дуб, точильщик ножей, бритв и всякого кухонного металла. Его передвижная мастерская весьма тяжела. Везут ее на колесах вдвоем: хозяин-мастер и его трудолюбивая собака-волк. Часто Жанета с умилением удивлялась той добро-совестности, с какой эта рыжая, гладкошерстая собака несла свою обязанность. Она напрягала все свои силы, налегая на постромки, и как бы распластывалась по земле, стараясь облегчить груз своему божеству, хозяину.

— Добрый день, господин Перье!

— Добрый день, моя малютка!

Он останавливался и опять звонил, ощупывая глазами этажи и дома, из которых могли бы дать работу. Рыжий собака-волк в это время укладывался калачом на земле под точильным прибором. Там же оставался он и в то время, когда господин Перье визжал, верещал и яростно жужжал своими орудиями. Не подымался он и тогда, когда хозяин заходил освежиться от трудов праведных в кабачок «Au pelouse» (лужайка). Может быть, ему не нравилось, что в этом кабачке на улице доктора Бланш обитало множество чуть-чуть синеватых сеттеров, порода которых так и зовется «голубые оверньские», а может быть, он вообще пренебрегал всяким обществом на свете. Он был молчалив, необщителен, всегда скупен. Гладить себя он никому не позволял, а хозяин, кажется, ни разу в жизни его не погладил. Жанета, конечно, могла это делать, но что же приятного гладить собаку, которая на это не обращает никакого внимания. Странен был сумрачный характер этой собаки. (Не лежало ли на ее душе какое-нибудь тяжкое преступление?) Тем более что господин Перье был всегда весел и общителен. Жанета очень любила издали слушать, как он пел в своем любимом кабачке старые-престарые, веселые песни, с трудом понимаемые нынешними французами. Немного странным казалось Жанете, что господин Перье некоторые слова песен заменял мычанием и многозначительным побряхтыванием. Все были добрыми приятелями Жанеты: и необыкновенный крикун, покупавший тряпки-железо, а также торговавший разными костюмами; и садовники из роскошного цветоводства, принадлежавшего какой-то таинственной, никем никогда не виданной миллионерше, и девушки из лаборатории, и страстные игроки в конский тотализатор, которые, покупая спортивные газеты, просили Жанету назвать им на счастье какую-нибудь цифру, и нищие, которым она никогда не скупилась подать монету в два су, если она находилась в кармане передника, и так далее. Но были у нее еще дружки, особенно ценные, интересные, занятные и любимые. Появлялся, например, раза три в месяц в пределах Жанетиного властвования старый, бодрый шарманщик. У него не было левой руки и правой ноги, которые он потерял на войне, но зато была хорошо налаженная, солидная клиентура из истинных знатоков и тонких любителей благородной шарманочной музыки или, как ее вернее называют, — органной. Через каждые десять дней регулярно он приходил под окно очередного меломана, укреплял каким-то непонятным способом при помощи костылей свою шарманку и давал на ней превосходный концерт, начинавшийся всегда с итальянской канцонетты «o sola mia»⁴², военной французской песенкой «Madeion» или Марсельезой. Надо сказать, что избранная (по его мнению) публика любила его. Во время концерта и после окончания его разные монеты, завернутые в бумажки, так и летели изо всех этажей, брякая об уличные тротуары и о мостовые.

Но, кроме изысканной музыки, однорукий и одноногий шарманщик приспособил к крышке своего органа небольшую шкатулочку, из которой уличная публика могла за пять сантимов вытаскивать свернутые в голубые, зеленые и красные трубочки предсказания судьбы, разрешения любовных и коммерческих дел, астрологическое значение планеты каждого человека и прочие премудрости. Однако музыканту, очевидно, было по его инвалидности и больно и неудобно за-

⁴² О моя единственная (итал.)

ниматься одновременно несколькими делами: вертеть ручку шарманки, следить за любителями предсказательной лотереи и подбирать с земли завернутые монеты, шкондыбая, тяжело нагибаясь и еще еле успевая посылать добрым клиентам летучие поклоны во все этажи, от рэ-де-шоссе до мансарды восьмого этажа, в котором гнездились горничные, кухарки, швейки и прочая беднота, всегда щедрая на расплату за маленькое удовольствие. Однако шарманщик терпеть не мог, когда кто-нибудь из собравшейся вокруг него публики проявлял желание помочь ему. В этих случаях он стучал костылем и с недовольной торопливостью говорил:

– Нет, нет, благодарю, благодарю, я сам, я сам. Благодарю!

Но удивительно – когда Жанета впервые нагнулась со своей легкой гибкостью и изящно, двумя пальчиками, поднесла ему скомканную бумажку с двумя толстыми «гро су»⁴³, шарманщик нежно похлопал ее по плечу и, улыбаясь, сказал:

– О, мерси, гранд мерси, моя крошка. Как вы очаровательны!

И правда, в этой смуглой, грязноватой девочке, с черными живыми глазами, было очень много того, что французы называют шармом и что в Жанете ласково пленяло людей, собак, лошадей и кошек.

В следующий свой визит на Пасси, в герцогство принцессы Жанеты, шарманщик уже разыскивал озабоченно глазами, где его недавняя помощница, и, отыскав, с улыбкой поманил ее к себе, а когда она подошла, вся сияя от радости, он вытащил из отворота пальто слегка помятую, но все еще благоуханную розу и галантно поднес ее девочке. С этих пор Жанета, как только услышит издали гнусавые, тягучие звуки шарманки, – стрелой летит к своему импрессарио и добросовестно работает, избегая лишь переступать через запретные зоны. И неизменно она получает от музыканта розу, гвоздику или другой сезонный цветок. Эти подарки – ее гордость. Они заработаны чистым артистическим трудом. Другой увечный человек – самый любимый друг Жанеты, предмет ее жалости и особой заботы, – это слепец. Он – кроткий пожилой мужчина, с бледным лицом и мягким голосом прекрасного печального тембра. Ему каждый день утром надо зачем-то переходить через улицу Ранеляг, которая в этот год загромождена новыми строениями, полными мусора, кирпича и досок, что делает непостоянную дорогу трудной и опасной для незрячего. Жанета помогает ему много дней, недель и месяцев. Каждый день, кроме праздников, в семь часов утра дожидается Жанета на перекрестке авеню Мозар и улицы Ранеляг появления своего тихого и милого друга. Он показывается ровно в семь, минута в минуту, секунда в секунду. В руке у него белая палочка. Он не видит, но движениями головы как бы хочет учуять то место, где находится девочка, и она тотчас же подает звонко свой тоненький голосок:

– Здравствуйте, господин Гастон.

Его проваленные глаза черно мертвы. Но на губах его разливается теплая, всегда грустная улыбка. – Здравствуй, душа моя. Что видела во сне? Но Жанета так еще молода, – что снов не видит, а если и видит, то мгновенно же их забывает.

– Ничего, господин Гастон.

– И слава богу, – утешительно произносит слепой. Они берутся за руки и идут. Слепой уже привык ощупывать почву своей палкой, но иногда Жанет, слегка пожимая его руку, предупреждает:

– Направо кирпич! Налево ямка! Иногда они садятся на уличную скамейку и разговаривают. Слепой вдруг спрашивает:

– У нас сегодня понедельник? – Кажется, господин Гастон.

– А как ты думаешь, Жанета, какого цвета понедельник? – Темно-зеленого, – отвечает девочка.

– И мне кажется так же. А вот, слышишь? – солдаты в трубы трубят. Теперь какой цвет?

– Красный, – не задумавшись, отвечает Жанета.

– А я думаю, что красный с желтым оттенком. Не правда ли!

– Да, правда, господин Гастон, с желтым. Они замолкают. Через несколько минут господин Гастон тихо говорит:

– Ну да. Я ослеп. Ничего не вижу. Но ведь судьба оставила мне великодушно слух, осязание, обоняние, вкус и разум. А я мог бы лишиться всего этого и лежать бы теперь в вечном бес-

⁴³ Монетами в десять сантимов (франц.).

сознательном мраке. Разве я не счастлив, милая Жанета?

– Я вас люблю, господин Гастон, – шепчет девочка и ласковой рукой нежно проводит по его лицу. А потом они рука об руку идут до бульвара Босежур, где расстаются.

Профессор Симонов не раз видел эти тихие, меланхолические свидания. Нет! Его светлая душа не знает ревности, особенно к такому человеку, как господин Гастон, столь жестоко наказанному судьбою. Он только иногда смутно думает о том, что если бы он сам был слепцом, то величайшим утешением в этом несчастье была бы для него дружба с Жанетой. И вот он однажды решается на невинную, смешную мальчишескую уловку. Водиться с русским профессором строго-настрого запрещено, но, встречаясь с ним случайно на улице, Жанета никогда не упустит возможности поздороваться с ним улыбкой или кивком головы. Иногда она даже перебегает через улицу на другую сторону, причем у нее несносная манера лезть под каждый трамвай и камион⁴⁴, что приводит Симонова в холодный ужас. И вот как-то раз утром, вывернувшись чудом из-под огромной, ревущей и пыхтящей машины, Жанета застаёт старого друга совсем расслабленным, хилым, разбитым; измученным.

– О господин профессор, что с вами? Вы, кажется, очень больны? – говорит жалобно Жанета. – Чем я могу вам помочь?

– Ах, дорогая Жанета, – кричит и стонет Симонов. – У меня большое горе. Я ослеп! Не будешь ли ты так добра провести меня до дома? Я живу близко отсюда, бульвар Монморанси.

– О, с удовольствием, господин профессор. Не угодно ли вам будет опереться на мою руку?

Они идут. Проходят шагов с пятьдесят. Походка профессора становится все спотыкливее и неувереннее, и, не доходя до квартиры профессора шагов на тридцать, Жанета вдруг раздражается веселым, громким хохотом, звенящим, как золотой дождь по серебряному блюду.

– Ах, шутник! обманщик! – заливается Жанета. – Разве меня можно одурачить! Ваши руки слишком жестки для слепого, и разве я не вижу, как дрожат ваши ресницы, когда вы через них поглядываете на меня? И шаг ваш гораздо тверже, чем у слепца. Ну, алор, марш домой, господин слепой! И, пожалуйста, не делайте над собой таких фокусов, а то и навсегда останетесь слепым. На небе таких шуток не любят.

Симонов уходит посрамленным и сконфуженным. Но в дорогу Жанета посылает ему ласковое утешение:

– Вы не думайте. Я люблю господина Гастона, но люблю и вас. Гастон хороший, и вы тоже хороший, всякий по-своему. Подождите, я когда-нибудь вас познакомлю, и вы станете друзьями.

Много странностей с течением времени замечает профессор за Жанетой. Так он открывает, что эта милая девочка совсем чужда брезгливости. Однажды, ранним утром, спустившись со своего высоченного чердака вниз, на уличный асфальт, профессор увидел обычное зрелище, которое он привык созерцать каждый день. У выхода из дома, как всегда, стоял высокий, вместительный автомобиль около заранее выставленных консьержками цинковых кубов со всяким накопившимся за сутки домашним мусором. Трое бойких овернцев ловко подхватывали эти кубы и опоражнивали их в автомобиль. И вдруг Симонов услышал громкий веселый голос овернята:

– Эй, Жанета! Держи.

Тут только увидел профессор маленькую фигурку девочки, до сих пор заслоненную боком машины. Жанета искусно поймала на лету небольшой серый предмет, брошенный для нее. Это был уже сильно поношенный плюшевый медвежонок с наивной, удивленной мордочкой.

– Благодарю, господин Антуан, – крикнула радостно Жанета.

А Симонов подумал: «Так вот откуда у нее в детской колясочке такая богатая коллекция старых, потрепанных игрушек. Из ордюров, а по-русски говоря – из помоек. Черт возьми, ведь эти чаны самое удобное гнездилище всевозможных бацилл и бактерий. Здесь захватить опасную инфекционную болезнь – одна секунда. Почему мать Жанеты такая росомаха. О чем думает городская полиция. Чем занят санитарный надзор». Обратиться к Жанетиной матери с предупреждениями и увещаниями профессор не отваживался, давно узнавши ее деспотичную властность и крутую самостоятельность по отношению к дочери. Смешно и нелепо было бы также реко-

⁴⁴ Грузовик (от франц. camion).

мендовать людям, занятым чистотою и здоровьем громадного города, чтобы они следили за гигиеническим поведением и за чистоплотностью каждой бойкой и резвой парижской девочки семи лет. Это – дело матерей и школы. Но изобретательный ум профессора выдумал уловку – безвредную для Жанеты и приятную для него самого.

Один из мусорщиков, господин Антуан, похожий наружностью на грузина, а характером на русского ярославца, был с ним в дружбе. Они посещали одно и то же бистро госпожи Бюссак и уже много раз успели сыграть в беллот и угощали один другого очередными турами красного вина. У Симонова с давних пор был дар ладить с простыми рабочими людьми. Однажды, допивая свой стакан розового вина, профессор сказал:

– А кстати, господин Антуан, у меня к вам маленькая просьба.

– К вашим услугам, мосье.

– Видите ли... Маленькая Жанета – очаровательная девочка... прелестная, но ее почтенная мамаша ужасно строга к ней. Никогда не сделает ей какого-нибудь детского удовольствия и ни за что не позволяет подарить девочке хотя бы самую невинную, самую пустячную безделушку.

– О господин, – возражает серьезным тоном Антуан. – Мы, французы, мы очень любим наших детей, и мы никогда не поймем, с какой стати иностранец, хотя бы жантильом, вдруг станет дарить нашим детям игрушки. Что у него на уме. Откуда такой странный каприз. Разве у иностранцев нет своих собственных детей. Профессор вздыхает.

– Ах, господин Антуан, у меня было двое детей, две девочки. Но теперь их нет, и я никогда уже больше их не увижу. Понимаете ли вы эту тоску по детям. Один великий философ сказал как-то: «Природа не терпит пустоты». Отсюда и моя чистая, святая любовь, моя отцовская привязанность к Жанете. Будь я богатым человеком, я бы обставил жизнь Жанеты и ее матери прекрасными комфортабельными условиями, дал бы девочке превосходное образование, сделал бы каждый день ее существования на свете радостным и полезным для нее и для окружающих ее людей. Но что же я, бедный дьявол, могу теперь для нее сделать, только подарить ей кое-когда дешевую игрушку.

Господин Антуан растроган словами профессора и особенно его теплым, печальным, задушевным тоном.

– Чем же я могу помочь вам, мой бедный друг? Профессор оживает.

– О! господин Антуан, совсем невинным пустяком. Я видел как-то: вы бросили Жанете с вашего камиона плюшевого медвежонка. Он был уже старый, потрепанный, инвалидный, но я видел, каким восторгом заблестели глаза Жанеты. Вот и все. Так позвольте я когда-нибудь принесу вам какую-нибудь неважную детскую безделицу, а вы, ничего не говоря, бросьте ее Жанете, и я тоже обещаю вам никому об этом и никогда не говорить. Пусть тайна останется между нами двумя. В душу каждого француза, даже делового оверньята, вложена небольшая доза сентиментальности, когда дело коснется детей.

– О, – говорит оверньят, хлопая Симонова по плечу. – Конечно, мне это не доставит никакого труда. Я в вашем распоряжении.

Еще задолго до ужасной войны и до последовавшей за нею принудительной эмиграции Симонов знал поверхностно Париж, восхищаясь им в недолгие наезды. Теперь, прожив в столице мира почти десять лет, он не устает все больше изумляться ею: ее жизненной могучей силой, ее радостным, всегда молодым темпом, ее любовью к зрелищам, к острому слову, к изяществу во всех отраслях жизни, чудесной законченностью во всех делах, изобретениях и творческих произведениях. Чего только не подарил Париж всему свету. Самый блистательный, самый роскошный, самый могущественный и самый абсолютный монархизм и самые кровавые, самые непреодолимые революции; мудрость Паскаля и оперетку Оффенбаха, смех Рабле и язвительную иронию Вольтера, тонкие афоризмы мыслителей и прекрасное в своей грубости историческое слово Камбронна, удивительнейшие духи знаменитых парфюмеров и мудрую книгу Су-варена «Физиология вкуса».

В продолжение многих столетий Париж был всеми признанным царем, владыкою женских мод, и останется на этом троне еще на много веков, как останется впереди прочих народов в областях математики, химии, физики, строительства, юриспруденции, медицины, инженерных искусств и всех прочих наук и искусств. Марка Парижа – это пропускной билет в храм славы и бессмертия. Это знают не только ученые, не только знаменитые писатели, художники, скульпторы, композиторы, музыканты, певцы, но и престижитаторы, Вантерлоки, жокеи, клоуны,

сальтимбанки и предсказатели. Париж скуповат на денежные глупые подношения, но его аплодисменты звучат на весь земной шар. И как благородно хранит Париж память о том, кто при жизни удостоился сделаться его любимцем. Вряд ли есть во всем мире другой город, в котором с парижской роскошью были бы увековечены в статуях и в наименованиях улиц великие люди, ушедшие из жизни. Воинстину Париж светоч и столица мира.

Но особенно сильно пленяло и восхищало Симонова народное кустарное, наивное творчество французов. Он никогда не пропускал хозяйственных выставок в память парижского префекта Ленина и заслушивался изумительным красноречием уличных шарлатанов, которые при помощи слова и жеста умели втереть прохожему самую пустячную и никуда не годную вещь. Также доставляло ему большое и чисто мальчишеское удовольствие ходить по Большим бульварам в те погожие часы, когда там безвестные изобретатели и мастера продавали детские игрушки, всегда новые, всегда забавные, всегда заманчивые и остроумные. Ведь только здесь, в невольном и тяжком изгнании, он понял, что почти все милые и любимые игрушки его раннего московского детства круговым путем приходили из Парижа: и бильбоке – игра садовая, и американский чертик, разноцветные воздушные шары, и скрипучие кри-кри, запрещенные потом обер-полицмейстером Огаревым. А парижские кустари выделывают да выделывают все новые да новые игрушки, забавляющие взрослых и детей, стариков и старух, девочек и мальчиков. Какая веселая изобретательность и какое знание сегодняшней моды. Стали парижские дамы увлекаться фокстерьерами – на бульварах тотчас же появляются крошечные фоксы из лайки, плюша, фланели и даже бархата. Вошли в моду мохнатые айриштерьеры – и уже на Больших бульварах продаются сотни этих добродушных, симпатичных собачонок, которые и живыми кажутся, будто они наспех, неумелыми детскими руками, сделаны из ваты, пуха и домашних мелких лоскутков. Потом пришла очередь Микэ, не то мышат, не то морских свинок, не то кроликов. Эти Микэ раньше до слез смешили ребятишек, выходя в антрактах кинематографов на экране, но потом их потешный образ был перелицован в маленькие игрушки, которые и смешили по-прежнему и вскоре оказались отличными порт-бонерами⁴⁵. Большой успех имели растягивающиеся и сжимающиеся игрушки ё-ё, но успех их оказался недолгим – месяцев пять-шесть, а потом он исчез. Но бывают игрушки-счастливицы, на которые не влияют ни моды, ни время, ни капризы покупателей и которые в спросе постоянно: десятками, если не сотнями лет. Тут либо ворожба, либо умно схваченный вкус всех детей одного и того же возраста. Это, во-первых, два картонные борца, которые прекрасно изображают на столе все перипетии римско-французской борьбы, будучи незримо привязаны к тончайшей ниточке, управляемой игрушечником. Затем утка, кричащая при нажиме на весь базар, и, наконец, жуки, мухи, стрекозы, пчелы и прочая тваришка, которая сама движется от пружинного завода. И, двигаясь, дребезжит. Конечно, такая игрушка может прожить несколько человеческих поколений, если солидный папа вынимает ее в праздничный день из стеклянного футляра и осторожно заводит, отнюдь не перекручивая завод, а после того, как кукла исполнила свой номер, осторожно запирает ее в тот же футляр, где она пролежит мирно до следующего большого праздника. Но куда же мы тогда денем невинное детское любопытство и присущее детям научное влечение ко всем механизмам?

На другой же день после своего сентиментального разговора с оверньятom Антуаном Симонов пошел на Большие бульвары. Предварительно он сделал строгий учет своей денежной кассе. Наличными оказалось одиннадцать франков семьдесят пять сантимов. Черному коту Пятнице печенку не покупать ввиду его безвестного отсутствия. Это – плюс. Старые мозеровские часы можно было бы продать или заложить. Ход у них, как у судового хронометра. Но кто же польстится на древние серебряные, да еще пожелтевшие за долгую службу часишки? Взять аванс на одном из уроков? Спросят: зачем понадобилось? А не умею я ни лгать, ни кривить умильно подобострастного лица. Обойдусь иначе. Да вот, на что лучше. Пробные опыты вегетарианства, как лучшего стимула физического и духовного возрождения. Это – идет. Полфунта белого хлеба, немножко черствого, стоит пятьдесят сантимов и хватает на два дня. Теперь вопрос в питательных вещах и в витаминах. Хорош геркулес, недурна овсянка, хвалят квакер и поридж. Надо из них выбрать что посытнее и подешевле. Чай у меня спитой, но был в употреблении только один раз и потому смело послужит еще раз на пять-шесть. Право, все в порядке!

⁴⁵ Брелоками (от франц. porte-bonheur).

На Больших бульварах, как всегда, было много продавцов игрушек, пропасть покупателей и еще больше праздных зевак. Симонову трудно было выбирать. Что казалось хорошим, было дорого, а дешевые вещицы были скучны, не интересны... На Итальянском бульваре профессор вдруг наткнулся на игрушку, которая показалась ему и новой, и занимательной, и красивой. На левой руке продавца, под мышкой у него, сидит крошечный веселый фокстерьерчик, трудно сказать – щенок, или уродец, или лилипут. Он необычайно мал и мил. Глазки его задорно блещут, миниатюрные лапочки, вылезшие наружу, находятся в непрерывном движении. «Ну что за прелестный песик», – думает профессор и тут только замечает, что фокстерьер сделан из какой-то белой материи, глаза – из литого стекла, лапочки его заставляют двигаться каким-то образом хозяин. Но не один профессор поддается этой ловкой иллюзии. То и дело у лотка восклицают не только мужчины, но и более их проницательные женщины:

– Ах, какая прелестная собачка! Можно подумать, что в самом деле игрушечная. Но кто же сумел вырастить такую мелкую породу? Удивительно, до чего теперь доходит всякое искусство! Ах! как он на меня сейчас поглядел. Ну просто не собака, а человек.

Симонов с унылой безнадежностью спрашивает сипло:

– Сколько?

– Десять франков девяносто сантимов. Симонов долго и молча стоит, пришибленный своей проклятой бедностью. У него налицо всего одиннадцать франков семьдесят пять сантимов. Если один франк удержать у себя на всю грядущую массу расходов, то, увы, на покупку фоксика все-таки не хватает трех су.

– Три су, – кричит в молчаливом отчаянии профессор к небу, – только три су! Найти бы их хоть на земле. – Он нагибается до самого тротуара. Здоровенный, чеканки Наполеона III, гро-су лежит на земле. Профессор почти не удивляется. Увы! еще одного пти-су нет, одного су, на который теперь во Франции нельзя купить, кроме пустой аптечной облатки, ничего.

Но хозяин очаровательного фоксика добродушно говорит:

– Оставьте, не затрудняйте себя. Всего одно су – какой пустяк! Вы лучше посмотрите, как надо управлять собачкой. Один палец сюда, другой сюда, а несуществующее туловище вы как бы прикрываете рукою. Благодарю вас, мосье, я чувствую, что у вас легкая рука.

На другой день, ранним утром оверньят Антуан как бы случайно находит в своем емком камиионе эту великолепную игрушку и дарит ее Жанете, показав сначала все чудесные движения веселого, ласкового песика. Игрушка имеет во всем квартале поразительный успех. Все друзья и подружки Жанеты целый день наполняют улицы, переулки и тупики восторженным визгом и неистовыми криками:

– О Жанета, позволь и мне подержать на минуту твою волшебную собачку! Милая Жанета, а она умеет лаять? Как ее зовут, Жанета? А можно ее погладить, Жанета? Ах, какая ты счастливая, Жанета!

Жанета добра и великодушна. К тому же ее радость так чрезмерно велика, что можно в ней захлебнуться, если не поделишься с другими. Она за сто шагов у видела Симонова и помчалась к нему, как ласточка:

– Господин профессор! О, мой дорогой господин профессор! Посмотрите, какая у меня восхитительная вещица. Видали ли вы когда-нибудь что-нибудь подобное? Профессор сделал удивленно-серьезное лицо.

– Нет, милая Жанета, никогда не видел, Это – настоящее чудо. В том, что собачка – фокстерьер, можно не сомневаться по всей ее наружности, но я уверен в том, что такой малюсенькой собачки никто еще на свете не видывал. Это либо англичане, либо японцы могли вырастить такую редкостную породу. Ты ее чем кормишь, Жанета?

Тут девочка разражается звонким хохотом.

– Да ведь она не настоящая, не живая. Она неодушевленная. Она сделана из какой-то материи, у нее даже нет живота, и она не дышит.

– Удивительно! – говорит профессор. – Глаза у нее совсем живые, а мордочка превыразительная. Откуда ты ее взяла, Жанета?

– Мне подарили. Господин Антуан подарил, который по утрам мусор собирает.

– Ну что же, подарок забавный, – хвалит Симонов, – ты его береги. Веский, времен Наполеона III, десятисантимный гро-су, который с такой уверенностью нашел Симонов на тротуаре Итальянского бульвара, завязал в мозгу и в памяти профессора целый клубок мыслей, воспоми-

наний и отважных идей. Сиденье на овсяном супе и на спитом чае только поощряли изобретательность и энергию ума.

Вот здесь, в Пасси, думал он, близко, стоит рукой подать, находится Булонский лес, резервуар свежего воздуха, с громадным скаковым ипподромом, с двумя озерами, по которым плавают ручные птицы и где можно кататься на лодках. Этот Булонский лес вовсе еще не лес, а хорошо возделанный парк. Но если пойти вглубь, по направлению к Лоншану, то можно забрести в настоящую лесную чащобу, где иногда выбегают к людям стайки грациозных, пугливых диких козочек, исчезающих миглом при неловком движении, при резком звуке. А в другую сторону Булонского леса – зоологический сад. Слоны, медведи, гиены, моржи и тюлени, фламинго и марабу, обезьяны и всякая дикая живность. Недалеко от Булонского леса – Трокадеро с интересным аквариумом, с богатым музеем, с огромным театром, где даются старые, классические, прекрасные пьесы. Всего этого никогда еще не видела милая девочка Жанета. Конечно, Симонов и подумать не смеет о систематическом образовании и воспитании чумазой Жанеты. Куда ему! В свое время она пройдет материнскую школу, потом коммунальную, потом – недорогой лицей, в котором научится немного грамматике, немножко литературе, немножко физике и химии, немножко математике, немножко истории и географии, – все для того, чтобы не быть круглой невеждой. А потом, если окажется дар божий, то кто же помешает ей сделаться новой Жорж Занд или новой мадам Кюри? Но профессор умом, чутьем, инстинктом знает и верует в то, что первичные детские впечатления входят в восприимчивые души младенцев и ребятишек с такой необычайной силой и с такой стихийной мощью, которые не имеют себе ничего равного в мировом здании. Каждый свет и цвет, каждый фальшивый и музыкальный звук, каждый оттенок человеческого голоса, каждый запах и каждое движение воздуха, каждый предмет, к которому сознательно или полусознательно прикасается будущий человек, каждое услышанное и сказанное слово, каждая мысль, слабо шевельнувшаяся в несовершенном еще мозгу, каждое подобие сна во сне, каждый атом пищи, проглоченный неумелым и жадным ртом, – все эти явления, образы и предметы идут на созидание того могущественного здания, которому имя человек и перед которым все созданное людьми является жалким ничтожеством. «Да, – говорит сам себе с умилением профессор, – правы те мудрые учителя, которые советовали окружать рост младенца красотой и добром, рост дитяти – красотой и первичными знаниями, рост отрока – красотой и физическим развитием, рост юношей и дев – красотой и учением». Профессор говорит дальше:

– Да, пусть Жанета ходит в свою родную школу и учится чему хочет и может на родном языке, который всегда лучшая пища для ума, но почему же ей, под моим любящим руководством, не научиться постигать бесконечную красоту, доброту, богатство и прекрасную плановость мира? Здесь одна препона: властолюбивая, суеверная, недоверчивая мать, хозяйка газетного киоска. Но ничего. Такую невинную забаву, как зоологический сад, ярмарки или театр, мы уж как-нибудь состряпаем. Недаром я человек хитрый, вроде североамериканского дикаря, на мамашу мы не станем действовать непосредственно и лично. Нет, как застрельщика, мы пусти́м вперед ее ами, господина Огюста, ленивого и падкого к вину пломбье⁴⁶. Его просьбе влюбленная дама, конечно, не откажет. А главное – это, что все расходы на воскресную прогулку я беру на себя. Это ли не макиавеллевский прием? А дружба с пломбье давно уже началась и с каждым днем становится крепче. Она несложна: пять-шесть партий в беллот, во время которых профессор будто бы не замечает, что партнер его не прочь приписать на свой счет десять – пятнадцать туров красного вина или Перно, взятых Симоновым как бы по ошибке на себя, а особенно искренняя, горячая любовь профессора к Франции и французам – вот узы этой прочной дружбы, на которую уповает хитрый старый эмигрант. Но есть и другое трудноодолимое, почти совсем неодолимое препятствие: деньги. Их нет совсем и давно уже нет. Однако профессор не унывает. Он не напрасно считает себя счастливецом. Начиная от тех глубоких времен, когда он начал сознательно помнить себя, все его серьезные желания исполнялись. Исполнялись порою целиком, порою в половину, а чаще в пятую или десятую долю, но все-таки исполнялись. Помнится ему, как еще до поступления в пригостишки жил он с родителями в Москве на Пресне, в деревянном доме, большой двор которого был настоящим ристалищем для благородной игры в бабки. И вот малышу Кольке во что бы то ни стало захотелось выиграть баб-

⁴⁶ Рабочего свинцового завода (франц.).

ку-свинчатку, взяв ее с боя. Конечно, такую свинчатку было легко и возможно купить, самому сделать или заказать литейщику, но такая бабка не имела почета и не внушала уважения. Ценилась только бабка свинчатка-битка, которая имела бы свою батальную историю, подтверждаемую свидетельством знаменитейших в квартале игроков. Добыть такую свинчатку бывало нелегко: требовалось разбить столько-то конов и выбить столько-то свинчаток, играя с партнерами наивысочайших качеств. И Симонов выслужил-таки свою знаменитую свинчатку. Правда, через год, будучи уже в первом классе гимназии и перейдя через великое испытание.

Потом, уже во втором классе гимназии, его страстно повлекло желание попасть в гимназический церковный хор. Это удалось не скоро и пришлось к Симонову лишь тогда, когда его сиплый теноришко переломился в приятный баритон. То же было с умением плавать, с верховой ездой, с первым застреленным зайцем, с первой робкой, наивной любовью, с первой лекцией, с первой вышедшей в свет книгой. Правда, с годами профессор стал замечать, что сила желания и послушность ему судьбы живучи только в юности, немного устают в молодости, слабеют в зрелом возрасте, а затем, хотя и повинуются, но как-то спотыкливо и неуверенно, но все-таки повинуются. В Париже, в дурные дни, он нашел на улице один раз пять франков, а в другой – два. Да вот и недавний случай на Итальянском бульваре. Разве не по его желанию нашелся на земле этот толстый гро-су? Надо только собрать в комок волю и напярчь желание.

Всю ночь лил сплошной дождь. Утро проснулось теплое и туманное, солнце скрывалось в густых ленивых тучах.

Как всегда, профессор рано скатился со своего чердака на улицу. Мусорщики уже начали свою работу. Вспомнилась Жанета, принцесса четырех улиц, и сердце заколотилось и заняло от непонятной жалости. Навстречу Симонову шел его старый друг художник.

– Добрый день, господин профессор!

– Добрый день, Иван Иванович. Что же, пойдем в Буа-де-Булонский лес?

– Пойдем.

Они пошли далеко за ипподром, вдоль наружного озера до паромного перевоза на другую сторону. Художник выбрал политику Германии и предсказывал близость ужасной войны, размеров и жестокости которой не может представить себе человеческое воображение.

Так они дошли до той бухточки, где стояли лодки, отдаваемые напрокат. Впереди их ждало странное зрелище. Лебеди сгрудились на воде в густом тумане. Странно: перспектива совсем пропала, точно исчезла, осталась лишь плоскость. От этого птицы казались нарисованными или, вернее, нанизанными на невидимые ниточки и поставленными параллельно.

– Что за черт! – воскликнул неприятно удивленный профессор. – Кажется, весь мир сплюснулся?

– Это ничего, – пояснил художник, – это только абберрация зрения, то самое, что бывает на кораблях и в пустынях. Сейчас взойдет солнце, и все станет на свои места, указанные господом богом.

И действительно, художник был прав. Туман скоро осел, предметам вернулось их тело. Друзья пошли обратно. Художник вдруг по дороге сказал:

– Я чуть не забыл с этими туманными превращениями, что пришел к вам по делу. Помните вашу старинную картинку по дереву?

Симонов напряг память и вспомнил. Речь шла о художественной маленькой вещице, которая множество лет валялась в родовом новгородском доме Симоновых и которую профессор почему-то вывез с собою в Париж. Она в темных тонах изображала древнюю голландскую или фламандскую харчевню, с молодцом в медном шлеме, с роскошнотелой, полуголой женщиной, с белой собакой и с мальчуганом, делающим в угол то же, что и брюссельский Манекенпис. Когда-то, очень давно, профессор дал эту вещь художнику с просьбой узнать ее автора и приблизительную стоимость. Он сказал:

– Помню. И что же?

– Это не Теньер, как я предполагал, а Тенирс, любимый ученик Теньера. Что любимый – видно из того, что он дал ему как бы частицу своего имени. Вещь хорошая. Если наскоро ее продавать в магазинах обже д'ар⁴⁷, дадут тысяч восемь – десять. С любителя можно свободно

⁴⁷ Предметы искусства (франц.)

взять двадцать, а со знатока и тридцать. И все. И моя миссия окончена.

– Я обещал дать вам куртажные, – мягко сказал Симонов.

– Эх, бросьте глупости городить, – ответил художник. – Вы обещали, а я этого обещания и слышать не хотел. Съедем когда-нибудь ляпэна⁴⁸ или барашка с чесночком в кабачке у мадам Бюссак и запьем их шопином красного ординера, и баста. Квиты.

Они поднимаются по перекидному мосту и по нему же спускаются на другую сторону, вниз, прямо к давно знакомому киоску. Профессор идет первым... Художник вдруг с удивлением слышит его тревожный возглас:

– Господи! Где же киоск? Что же случилось с киоском?

Легкий художник горошком скатывается вниз и застаёт профессора с руками, вздетыми к небу. Журнальная лавка полупуста и полуразрушена, повсюду пыль, грязь, клочья бумаги, обрывки веревок и шпагата, и вокруг теснятся чужие, незнакомые люди, похожие на погромщиков. Профессор ничего не понимает, но сердце у него холодеет и сжимается от дурного предчувствия. Незнакомые громилы внушают ему суеверный страх. Он идет в бистро мадам Бюссак.

– Мадам, что такое случилось с киоском? Неужели какое-нибудь несчастье? Госпожа Бюссак – истинная староста Пасси. Она всегда и все знает раньше других.

– О, ничего особенного, господин профессор. Успокойтесь.

И тут она подробно рассказывает Симонову всю суть киоскного происшествия. Мать Жанеты своего газетного дела никогда не любила; никогда не хотела и не умела его вести. И вот теперь представился ей очень выгодный случай разделаться со своим киоском. Вчера вечером она окончила сдачу своего дела новым владельцам и поехала на вокзал с Жанетой и с господином Огюстом. Ни для кого не были тайной их отношения, но теперь они устраиваются, как настоящие буржуа. Мать Жанеты получила на днях кругленькое наследство у себя в Лангедоке или, кажется, в Бретани, а господин Огюст получает там же солидное место на большом заводе. Конечно, прибыв к себе в скучный Лангедок, они немедленно обвенчаются, сначала в мэрии, а потом в церкви. – Ну, что же, господин профессор, пожелаем им доброго пути и счастливого брака, – сказала госпожа Бюссак.

– Пожелаем. Дай бог, – сказал профессор. – Ах, как мила была ее дочка Жанета.

– О да. Славная девочка.

Густой туман, спустившийся на Париж, стоял до вечера. Симонов вернулся домой поздно. Внезапное исчезновение Жанеты и тяжелая погода совсем его раздавили. Он сидел в темноте, без огня, и безучастно перебирал невеселые, серые мысли. В Первый раз за всю жизнь ощущал он тихую тоску.

Полил крупный редкий дождь и забарабанил по железному козырьку. «Вот и дождь идет, – подумал профессор равнодушно, – а зимой, может быть, и снег пойдет... Все законно...»

В эту минуту крыша выгибается с железным грохотом, кто-то царапается в стекло.

– Кто там? – кричит профессор и, не дождавшись ответа, открывает окно. Мягкий, тяжелый клубок падает на пол. Симонов зажигает огонь и нагибается. – Пятница! – восклицает он с удивлением и радостью. – Это ты, Пятница? – Кот прыгает ему на колени и начинает бесконечную мурчащую, рокоющую песню. Тут только Симонов с ужасом замечает, какие жестокие следы оставили на его верном друге Пятнице два протекших года: он хромотает на правую переднюю и на левую заднюю ноги; на всем теле следы вырванных клочьев шерсти; на морде еще не зажившие глубокие царапины.

– Срамник ты. Пятница, – говорит, вздыхая, профессор. – Впрочем, оба мы хороши.

Кот зевает во всю пасть, показывая весь красный шершавый язык, и громко требует, – мняю, мняю... – я голоден, как собака.

Молча надевает профессор свою непромокаемую разлетайку и бежит по дождю в бистро мадам Бюссак за остатками говядины и молока.

Ночная фиалка

Есть в Средней России такой удивительный цветок, который цветет только по ночам в

⁴⁸ Кролика (от франц. lapin).

сырых болотистых местах и отличается прелестным кадильным ароматом, необычайно сильным при наступлении вечера. Будучи же сорванным и поставленным в воду, он к утру начинает неприятно смердеть. Он вовсе не родня скромной фиалке. Ночной фиалкой его называли безвкусовые дачницы и интеллигентные гости. Крестьяне разных деревень дали ему несколько разнообразных и выразительных названий, которые выпали теперь из моей головы, и я так и буду называть этот цветок ночною фиалкою.

Он не употребляется у крестьян ни как целебное растение, ни как украшение на троичин день или на свадьбу. Просто его как бы не замечают и не любят. Говорят кое-где, что пахучий цветок этот имеет какую-то связь с конокрадами, колдунами и ведьмами, но изучатели народного фольклора до этого не добрались. Станные и, пожалуй, невероятные истории рассказывал мне о ночной фиалке Максим Ильич Трапезников, саратовский и царицынский землемер, мой хороший закадычный дружок, человек умный, трезвый и серьезный.

Мы тогда шли с ним на зевекинском пароходе вверх по Волге, лакомясь камскими стерлядями и сурскими раками, и времени нам девать было некуда, а на разговор о ночной фиалке нас навела веселая девчурка лет семи-восьми, которая на небольшой пристани бойко продавала крошечные букетики этих цветов.

– Вы правы, – сказал он, – кажется, никто не знает его народного названия или очень быстро его забывает. А что касается фиолетового цвета, то этого цвета русский народ совсем не знает и нигде не употребляет.

Лиловый он еще понимает по сирени, да и то говорит не сиреневый, а синелевой. И стало быть, наименование цветка «ночная фиалка» выдумано грамотеями. А вот почему оно так широко распространилось по всему лицу земли русской, этого я – воля ваша – уяснить себе никак не могу.

Но вы послушайте-ка, что я вам сейчас расскажу об этом цветике. Удивительная историйка. Расскажи мне ее другой, сторонний человек – ни за что ему не поверил бы, сказал бы: «Брешет парень, баки мне забивает, уши заговаривает». Но в том-то и дело, что во всем, что я вам расскажу, был я и пристальным свидетелем, и действующим лицом, и, можно сказать, плачевной жертвой. Жигулевского пивка не хватить ли нам по черепушечке? Для освежения гортани? Знатное здесь пиво.

Ну, итак: окончил я курс в Московском землемерном институте и вышел из него землемер-инженером, с дипломом первого разряда и с золотым гербом на фуражке. Поехал немедленно в Царицын, к моим папочке и мамочке, в родной угол. Папаша мой за всю свою рабочую жизнь обзавелся в нашем уезде стами тремя десятинами землишки, домиком деревянным о полутора этажей, сад разбил фруктовый и ягодный огород чудесный, цветничок хорошенький с любимой резедой. Парочку собак подружейных держал для охоты; двух сеттеров, кобелька с сучкою; их было уже двенадцатое поколение. И для рыбной ловли на всякие способы стояли в сенях всевозможные принадлежности. Ну, прямо рай земной, если еще включить домашние варенья и настойки. Ах, боже мой! Какая это радость приехать в милый теплый отчий дом серьезным, солидным человеком в чине титулярного советника с блестящим будущим впереди! Папочка ведь мой был всю свою жизнь землемером и только недавно дослужился до губернского землемера. Но начал он свою карьеру во времена очень далекие, еще в конце шестидесятих годов прошлого столетия, в эпоху освобождения крестьян. Ему в радостную диковину были: и мой мундир, зеленый с золотом, и моя усовершенствованная астролябия, и мой теодолит для компасных съемок, с объективом Цейса. Этот объектив (правда – великолепный) более всего поразил и удивил моего папашу, старого землемера: «Боже мой, до чего дошла современная техника! Это ведь уже не прибор для обмеривания земли, это почти телескоп для наблюдения за небесными светилами. Прости за нескромный вопрос, милый Максимушка, сколько может стоить такое чудо шлифовального искусства?» Я отвечал, что цены теодолиту я не знаю, так как не сам его покупал, а был он мне поднесен на выпускном акте самим директором института за примерное поведение и отличные успехи. Тут и мамочка моя немного всплакнула от родительского умиления.

– Вот, – говорит – как господь бог хорошо и ладно устроил, что и отцу от трудов праведных можно будет отдохнуть в своем собственном домишке, и тебе наследственно отцовское место и отцовскую службу взять на свои рамена. А пока что мы тебе и знатную невесту подыщем. У нас в Заволжье этого добра – непочатый край: и умны, и красивы, и работающи, и с хорошими придаными.

Но тут отец слегка перебил возлюбленную супругу свою:

– Подожди, мать моя. Успеешь с козами на торг. О жене Максиму рано еще загадывать. Всего двадцать лет ему. Пускай у нас на свободе побеждает, вволю поест, попьет, воздухом свежим после столицы надышится, знакомствами обзаведется, поохотится, рыбу половит, а там уж что бог даст. Ружье-то мое знаменитое, возьми, Максим, себе на память, а я уж стар стал на охоту ходить. Пощебелил, да и за щеку. И надо сказать, после казенной замкнутой и тесной жизни пристрастился я к охоте, как пьяница к вину. Целые дни проводил на охоте. Постоянным спутником моим, а пожалуй, и учителем был ветеринар Иванов (ударение он ставил на и – Яванов), жадный, неумолимый, опытный охотник, прекрасно набивавший ружейные патроны и бывший прежде любимым сотоварищем отца по охоте. Часто мы с ним собирались уйти из дома суток на три, четыре, и тогда ключница мамыши Агата, ее правая рука по хозяйству, снабжала наши ягдташи кое-чем съестным, на случай голода, и согревающим, на случай болотной простуды. И мы уходили куда раньше зари. Странно: я уже лет с десять знал эту Агату (настоящее-то ее имя было Агафья, но уж мама для благозвучия стала называть ее Агатой), всегда видел ее, приезжая осенью на вакации, а потом, в Москве, никак не мог вспомнить ее лица, голоса и фигуры. Так, что-то тихое, молчаливое, опрятное, бледное и с какой-то неуловимой странностью в глазах.

Ну, а теперь подступаю ближе к моему рассказу. Как-то охотились мы с Ивановым в отдаленных болотцах на дупелей, бекасов и кроншнепов и зашли от дома довольно далеко, так что даже мой сотрудник стал вертеть головой, спознаваясь в местности. Потом увидели, что где-то на западе маячат чуть заметные деревянные столбы. Иванов говорит:

– Я, кажется, это место знаю. Это домишко, поставленный на столбы на случай весеннего разлива, но теперь он почти рухлядь, а живет в нем старая цыганка. Бабы говорят, что она будто бы колдунья. Мы с вами, как люди образованные, конечно, этим бабьим глупостям не верим, а, однако, попробуем. Пойдем, чай у нас с собой; кипятку нам вскипятят. Вот и попьем китайского зелья с устатку да измочившись на болотах.

Пошли. Приходим. Стоит правда хибарка рухляя, на четырех ножках. В ней старуха, носящая, черная, закоптелая. По виду цыганка. Развела огонь, вскипятила воду в медном тазу. Мы чай заварили, напились и старую ведьму угостили. Тогда она говорит, глядя на меня:

– Дай, барин, ручку, я тебе поворожу. Иванов ворчит:

– Гоните ее, окаянную, к бесу. А она уж завладела моей рукой и бормочет:

– Ах, барин молодой, красивый и будет счастлив и богат. Есть у тебя по левую сторону черный человек, он много тебе зла сделать хочет, а только ты его не страшись. Одна девица, молоденькая, хорошенькая, все на тебя глядит. Проживешь долго, до восьмидесяти лет...

И всю другую цыганскую обычную белиберду. Я дал ей пятнадцать копеек. Она опять пристаёт: позолоти, барин милый, хороший, я тебе настоящее-пренастоящее египетское гадание скажу. Приставала, приставала, – я дал ей еще полтинник. А она опять свою цыганскую мочалку жуёт. Надоело мне. Собираюсь уходить, а она все свое талдычит. Надел я шапку и уже перевесил ружье через плечо, – она в меня руками вцепилась.

– Послушай, барин ненаглядный. Я знаю, есть у тебя в мешке водочка-матушка. Поднеси стаканчик малый – скажу тебе взаправдашнюю за семью печатями ворожбу... Чего тебе бояться и чего опасаться. Это уж по гроб жизни будет верно и неизменно.

Что делать! Налил я старухе стакан водки. Высосала она его с великим наслаждением, ничем не закусивши, и говорит:

– Больше всего опасайся, молодой барин, лошадиного и кошачьего глаза, а еще духовитой ночной травы, а еще больше – полного месяца. И теперь желаю тебе пути доброго. А если когда от этих троих моих злых недугов захвораешь, заходи ко мне в хибарку мою, я тебе отворот верный дам.

Ушли мы и больше в этот день не охотились, а когда возвратились домой, то Иванов все меня пилил за цыганку:

– Не могли ничего лучше выдумать, как фараонову отродью стакан вина стравить. Эх вы, ученые столичные!

На другой день с утра пошел дождь и заладил надолго. Пришлось оставить охоту и заняться днем чтением, а вечером винтом в общественном клубе или преферансом по маленькой с родителями.

Сам не могу припомнить, когда меня вдруг несказанно поразили глаза Агаты. Кажется, это

было за столом. Случайно взглянув на Агату, я увидел, что в ее зрачках горят странные тихие огоньки. Они менялись сообразно поворотам Агатиной головы то зелеными, то красными, то лиловыми, то фиолетовыми. Такую световую игру глаз я видел иногда у лошадей и кошек в темном помещении. И вот, с этого мгновения, как бы впервые увидел Агату, которую знал, но точно не видел в течение нескольких лет. Она вдруг показалась мне и выше ростом, и стройнее, и увереннее в своих спокойных, неторопливых движениях. Сколько ей было лет, я не мог разобрать. Тридцать? Тридцать пять? Сорок? Нижнюю ее губу время от времени быстро дергал небольшой тик. Она никогда не смеялась и не улыбалась, но в добрые и приятные минуты ее лицо как-то теплело внезапно на короткое время и становилось привлекательным.

Я спросил однажды матушку о прошедшей судьбе Агаты, но получил весьма скудные сведения:

– Агата (по-настоящему Агафья) – побочная дочь спившегося и обнищавшего мелкого дворянина и его служанки; круглая сирота, которую мы из милости взяли в свой дом. С детства обучали ее хозяйственному обиходу и посылали сперва в начальную, а потом в среднюю школу. Ничего себе, девчонка росла прилежная, послушная, понятливая, признательная за благодеяние, ей оказанное, а потом, будучи лет так одиннадцати, вдруг куда-то сгинула, так что и следов ее нельзя было отыскать. Вернулась через год. Оказывается, все время с цыганами бродила. Пришла и горькими слезами разливается: «Простите меня, ради бога, и опять к себе возьмите. Никогда больше вас огорчать не стану». Ну, что тут сделаешь? Взяли мы ее к себе обратно. Идет время – мы Агашей налюбоваться не можем, нахвалиться досыта не устаем, чудо в нашем доме растет: уж и рукодельница она, и стряпуха первоклассная, и набожная, и смирна, и умна, и практична, и весела... И что же?... Садимся мы с мужем за стол, я Агату к обеду кличу. Входит она, как водой облитая: голова опущена, глаза в пол смотрят. «Что такое с тобой случилось?» А она еле слышно отвечает «Благодетели вы мои, дайте мне разрешение и благословение в Белогорский монастырь идти на святое пострижение в монашество». Господи, что за чудеса в решете? Стали мы ее всеми силами отговаривать: «Да куда тебе в монастырь, если тебе всего шестнадцать лет. Да какой у тебя может быть страшный грех, чтобы его замаливать, и тому подобное». Нет, уперлась, как бык, утром завязала в платочек все свое жалкое бельецо и испарилась. Жалели мы ее сердечно, но что поделаешь, если на девку накатило?

Сколько лет после этого прошло, мамаша не помнила: не то семь, не то восемь, и что вы думаете, опять вдруг наша Агаша объявилась. Пала перед нами на колена, лбом об пол бьется:

– Простите меня, окаянную, заблудящую, в последний раз, последний раз прибегаю к вашей доброте ангельской, неисчерпаемой. Богом и святым Евангелием клянусь, что это уж мое последнее, распоследнее бегство. От сего дня до самой моей гробовой доски буду рабой верной и нелицемерной как вам, так и дому вашему и всему потомству вашему... – и все прочее и тому подобное...

И вот с тех пор живет она у нас, тихая, покорная, бессловесная, учтивая; ну, прямо как монахиня скитская. И даже пахнет от нее как-то смиренному дренно свечой восковой, ладаном и миром.

Вскоре и я совсем перестал обращать внимание на тихую Агату, точно она была старой мебелью или, точнее, совсем не существовала в доме, и странные огни, зажигающиеся порою под длинными ресницами ее опущенных глаз, перестали меня удивлять и беспокоить. А я в то время подумывал уже серьезно о достойной женитьбе, покоряясь родительским настояниям. Женихом я считался по тамошним местам очень видным: молод, здоров, не урод, интеллигентен, стою на линии инженера, танцую вальс в три темпа, мазурку, краковяк и падеспань и дирижирую кадрилию на приличном французском языке. Ну, также и накопленное папенькино состояние. Кое-каких прекрасных и богатых девиц я уже имел на примете... Но вот тут-то и грянуло на меня чертовское несчастье...

Позабыл теперь, в каком году это случилось, помню только, что в пятницу, в конце июня. День выдался такой невыносимо знойный, какие бывают редкими даже у нас в Заволжье; только к позднему вечеру стало возможным вздохнуть полной грудью. Я выкупался, поужинал и пошел в наш запущенный сыроватый сад и сел на скамейку, расстегнув догола ворот рабочей рубахи. Ох, какое наслаждение после дневного истомного пекла вдыхать свежий, душистый, прохладный воздух! Стало темнеть, выкатился огромный, без единой ущербинки, круглый, серебряный, бледный месяц. Где-то засветились и задрожали крошечные светлячки. Сад стал блед-

но-волшебным. Я услышал чьи-то легкие шаги. Это шла Агата, вся облитая бледно-зеленым светом.

– Позвольте мне присесть около вас, Максим Ильич, – сказала она дрожащим голосом. Я посторонился.

– Пожалуйста, прошу вас. Посмотрите, какая прекрасная ночь.

– Да, прекрасная, – отозвалась она. – Прелестная. Возьмите, вот я вам букетик цветов принесла, чудно пахнут как.

Одновременно я почувствовал упоительный, зовущий, возбуждающий аромат и почувствовал ее горячую руку на моей ноге. Пылкое, никогда не испытанное мною желание пробежало по всему моему телу, от ног до волос на голове. Я чувствовал, что весь дрожу, а она тихо говорила, обдавая мое лицо своим дыханием:

– Если бы вы, Максим Ильич, знали, как я привязана ко всему вашему дому! Как я люблю вас всех! И папу вашего, и мамочку, и вас люблю. Люблю, люблю, люблю! О Максим Ильич, я хотела бы быть всю жизнь рабою вашей, собакой вашей, ковром вашим, подстилкой для ног ваших! О, как страшно я люблю вас! Если бы нужно было для вашего здоровья или для вашего удовольствия отдать всю кровь мою и все тело мое и даже загубить навек бессмертную душу мою, я с радостью отдала бы все! Нет! Об этой ночи словами не расскажешь! Наглый, колдовской месяц, сводник влюбленных, друг мертвецов, покровитель лунатиков, одуряющие запахи ночной фиалки и ее безумно жаждущего тела, нелепые и красные огни в ее зрачках... Она говорила, лежа, содрогающаяся, на моей обнаженной груди:

– Одна мечта моя за много лет была – поцеловать тебя в губы, в губы и умереть тут же на месте.

И мы поцеловались. Силы небесные, что это был за поцелуй. Мне казалось, что земля кружится подо мною и что я схожу с ума. А она шептала восторженно:

– Еще, еще, еще...

Я пришел в свою комнату на рассвете. Ноги мои подгибались, в голове гудел шум, все мускулы ныли, руки тряслись, лицо горело. Мать моя зашла ко мне и спросила:

– Что с тобою, Максим, ты сам на себя не похож? Я сказал:

– Это от жары, день был ужасно жаркий. А она сказала:

– Нет, это не от солнца. Это лунный удар, иди скорее в постель. Сном все пройдет. Я лег. Ночью пришла ко мне Агата, а под утро я к ней прокрался в антресоли. Так у нас и пошло каждый день, каждый час, всегда. Мы стали друг к другу голодны и никогда не насыщались.

Черт знает, откуда эта женщина, рожденная и воспитанная в диком захолустье, могла научиться этим бесстыднейшим и утонченнейшим любовным приемам, затеям и извращениям, о которых мне теперь даже вспоминать срамно. Но тогда я жил в каком-то блаженном и сладостном аду, обвязанный невидимыми тонкими стальными нитями. Оба мы, радостно-безумные, сумасшедшие, ни о чем не думали, кроме нашей любви. Мы узнавали друг друга издали: по голосу, по походке, по запаху, узнавали – и неудержимо стремились друг к другу, чтобы вновь упиться бешенством разъяренной страсти. Все кусты, амбары, конюшни, погреба и пристройки были нашими кровлями любви.

Агата хорошела и здоровела, но я радостно шел к гибели. Я стал похож на скелет своею изможденностью, ноги мои дрожали на ходу, я потерял аппетит, память мне изменила до такой степени, что я забыл не только свою науку и своих учителей и товарищей, но стал забывать порою имена моих отца и матери. Я помнил только любовь, любовь и образ любимой.

Странно, никто в доме не замечал нашей наглой, отчаянной, неистовой влюбленности. Или в самом деле у дерзких любовников есть какие-то свои тайные духи-покровители? Но милая матушка моя, чутким родительским инстинктом, давно догадалась, что меня борет какая-то дьявольская сила. Она упростила отца отправить меня для развлечения и для перемены места в Москву, где тогда только что открылась огромнейшая всероссийская выставка. Я не мог идти наперекор столь любезной и заботливой воле родителей и поехал. Поехал. Но в Нижнем Новгороде такая лютая, звериная тоска по Агате мною овладела, такое жестокое влечение, что сломя голову сел я в первый попавшийся поезд и полетел стремглав домой, примчался, наврал папе и маме какую-то несуразную белиберду и стал жить в своем родовом гнезде каким-то прокаженным отщепенцем. Стыд меня грыз и укоры совести. Сколько раз покушался на себя руки наложить, но трусил, родителей жалел, а больше – Агатины соблазны манили к жизни. Вот тут-то

самоотверженная матушка моя начала энергично разматывать тот заколдованный клубок, в нитях которого я так позорно запутался. Вначале взялась она за ветеринара Иванова, с которым мы прежде постоянно охотились. Тот рад-радехонек был прийти на помощь, чем может. Рассказал точно и обстоятельно о том, как мы зашли к цыганке, как цыганка гадала на мое счастье, как указывала, чего мне следовало бояться и опасаться, и как велела обратиться к ней за отговором в случае беды. Тогда мамаша послушно пошла к цыганке и долго с ней говорила. Уходя, совала гадалке четвертной билет, но та не взяла. «Я, говорит, божьему делу помогаю, а за это денег не берут». К последнему сходила матушка – к соборному протоиерею, отцу Гавриилу, священнику постарелому и святой жизни. Протоиерей ее благословил и наставил.

Наступил день архангела Гавриила. Матушка заказала молебен на дому. Собрала в зальце всех домочадцев, включая и Агату. И меня научила, что мне делать и говорить. Отслужили молебен честь честью. Духовенство отбыло. Тогда мамочка начала говорить тихо и внушительно, глядя серьезно на Агату:

– Милая наша Агата, вот была ты много лет верным другом нашего дома, нашей трудолюбивой помощницей и терпеливой сотрудницей. И вот подумали мы, что довольно тебе быть приставницей у стад наших и что пора тебе обзавестись собственным домиком и собственным хозяйством. Вот в этом бумажнике, который я тебе передаю, есть крепостная на небольшой клочок земли и сумма денег, необходимых для первого обзаведения хозяйством. Это все от мужа, а от меня двадцать выводков кур, гусей, уток и индюков. От сына же нашего Максима получишь ты необходимую мебель, а на память золотые часики работы Мозера. Вручи их, Максик, Агате.

Передал я часики, и простился с ней последним взглядом, и видел, как она смертельно побледнела. Тогда матушка взяла кропило и окропила всех присутствующих освященной крещенской водою, а сама читала трогательное воззвание к божьей матери: «Призри с небеси, воспетая богородица, на их лютое телесе озлобленно и утоли печаль их души...»

Вот и конец всему. А той же ночью исчезла Агата из дома, никому не сказавшись, ничего не взявши с собою из подаренных денег и вещей.

Так и пропал ее след навеки. А мать в свой поминальник включила рабу божью Агафоклю, недугующую и страждующую, и поминает ее за каждой обедней и всенощной...

Царев гость из Наровчата

Прежде всего надо осведомить читателей о том, что такое Наровчат, ибо слово это ни в истории, ни в литературе, ни в железнодорожных путеводителях не встречается. Так вот. Наровчат есть крошечный уездный городишко Пензенской губернии, никому не известный, ровно ничем не замечательный. Соседние городки, по русской охальной привычке, дразнят его: «Наровчат, одни колышки торчат». И правда, все наровчатские дома и пристройки построены исключительно из дерева, без малейшего намека на камень, река Безымянка протекает от города за версту; лето всегда бывает жаркое и сухое, а народ – ротозей. Долго ли тут до божьего попущения? Так и выгорал из года в год славный город, выгорал и опять обстраивался.

Однако бедным городом Наровчат никак уже нельзя было назвать. По всему уезду пролегла превосходная хлебная полоса, природным густым черноземом на две сажени в глубину: никакого удобрения не надобно; урожай сам-сто, – груши, яблоки, сливы, вишни, малина, клубника, смородина – прямо хоть на международную выставку, а рогатый скот, домашняя откормленная птица и молочные поросята далеко превосходили и оставляли за собою не только Тамбов, но и Ярославль. Рабочей крестьянской силой была преимущественно мордва, захожее издревле племя, родня, с одной стороны – финнам, а с другой – венграм; народ туго понимаемый и языческий, но добродушный, уживчивый, не знающий отдыха в работе, трезвый и находчивый. Мордовские цветные вышивки на женских одеждах до сих пор известны всей России, так же как мордовская упряжь и мордовская обувь. В Рязанской губернии до сих пор еще говорят о человеке скрытном и лукавом: «Прост-то он прост, да простота-то его, как мордовский лапоть, о восьми концах». Что же касается до помещиков, то почти все они состояли из татарских князей. Роды свои они вели от Тамерлана (хромого Таймура), Чингисхана, Тахтомышы и других полумифических восточных владык, но уже давно отошли от веры Магометовой, а русскую грамоту разбирали кое-как, а то и вовсе ее не разбирали. Однако карточная игра прочно привилась в Наровчате. В почтенных дворянских домах играли в преферанс по копейке очко. Духо-

венство резалось в стукалку, а в Благородном собрании процветал серьезный штос, за которым проигрывались не только крупные ассигнации, но порою коляски с лошадьми, крепостные мужики, бабы и девки и целые имения.

Тогдашние шулера, даже самые крупные, никогда не обходили своим профессиональным вниманием Наровчатскую триицкую ярмарку и считали ее, по доходности, второй после знаменитой Лебедянской. Не обходили Наровчат и лихие ремонтёры: тамошние лошади были хороших кровей, доброезжие и ладные под кавалерийское седло. Что греха таить, случались в Благородном собрании недоразумения, споры, неизбежные скандалы и бурные объяснения, в результате которых летали канделябры, облаивалась честь дворянских родов шестой книги и раздавались грозные голоса:

– Вызываю! Сейчас же стреляться через платок! Где секунданты? Надо сказать, что этот роковой кровавый и смертельный вызов на мгновенную жестокую дуэль имел когда-то огромное распространение в дворянских захолустьях, но ни один печатный или письменный документ, ни одно словесное показание старожилов не донесли до сведения потомства о ритуале этого страшного поединка, о его правилах и об его бесчисленных убийственных жертвах во всех уездных городишках великой России. Правда, один из последних могижан, почтенный и престарелый князь Чугильдеев, рассказывал мне однажды под веселую руку о дуэли через платок, которой он был живым свидетелем в пору своей золотой юности. Но рассказ его был так бестолков, так запутан, так местами сам себе противоречив, что доискаться до середины, хотя бы приблизительной истины не было никакой возможности. Порою казалось, что старший из секундантов, швыряя свой скомканный носовой платок вперед перед собою, обозначал этим место барьера, порою казалось, что дуэлянты по сигналу палили друг в друга наудачу. Порою же поединок признавался несостоявшимся за неимением у всех джентльменов ни одного носового платка. Но если дуэль и совершалась, то происходила она тут же в зале Благородного собрания и единственной жертвой ее являлся либо клубный лакей, либо маркер при биллиарде, получивший незначительную рану в седалище. Впрочем, Князевым рассказам трудно было давать вес и доверие, особенно тогда, когда он находился под мухой.

Как уже сказано было выше, замечательных и примечательных событий в Наровчате никогда не происходило. Даты времени отсчитывались по мелким домашним происшествиям... Это было за год перед тем, как у Ольги Иннокентьевны родилась двойня, или год спустя после того, как мировой посредник Фалин привез из Пензы секрет яблочной пастилы, и все другое в том же роде.

Но был все-таки в утлой и скудной летописи безвестного городка Наровчата один-единственный случай, который смело можно назвать необыкновенным и которому в свое время с пламенной ревностью завидовали и толстопятая Пенза, и раскормленный Тамбов, и богатая магометанская мыльная Казань. Да и в самом деле, было чему завидовать: вскоре после победы над Наполеоном и двенадцатью языками великий победитель, незабвенной памяти государь и император всея России Александр Павлович, высочайше соизволил осчастливить уездный город Наровчат своим милостивым посещением. Милость, – с какой стороны на нее ни погляди, – столь же громадная, сколь неожиданная и неизъяснимая.

Правда, давно уже всем верноподданным россиянам была известна благородная любовь Александра Павловича к далеким путешествиям по своему царству. Недаром же после его кончины некий смелый вития сказал краткую эпитафию:

Всю жизнь провел в дороге
И умер в Таганроге.

Однако прибытие государя в скромный Наровчат имело свой особенный, чисто наровчатский характер.

Для сокращения пути на Казань государевы передовые вожатые решили проехать через Наровчатский уезд и, следовательно, по мосту через речку Безымянку. Так и расположили маршрут. Но, увы, на безымянском мосту злой рок подстерегал императорский кортеж. Никто из императорской свиты не догадался своевременно удостовериться в состоянии моста – этикие ротозеи! Государев венский дормез был не в меру тяжел, а безымянский мост не ремонтировался лет так с тридцать, тридцать пять. И вот произошла страшная беда: тяжеловесный экипаж был на

самой середине, когда ветхий мост рухнул и развалился на мелкие части. Бог хранил своего избранника. Пострадали, и то не смертельно, фореиторы и ездовые; государь же отделался сильным ушибом левой ноги. Всем известно, что Александр Павлович был истинным ангелом во плоти; он всем простил и ни на кого не гневался. Наоборот, ласково утешал пострадавших и ободрял растерявшихся. И так как врачи настаивали на немедленном отдыхе для излечения ушиба, то государь милостиво соизволил принять гостеприимство в роскошном доме у предводителя дворянства Иннокентия Владимировича Веденяпина, куда он и был перенесен на носилках со всеми предосторожностями.

Воистину прекрасная душа победоносного царя всероссийского была полна доброты и благоволения. Когда ушибленная нога его величества пришла в такой порядок, что, будучи обвязанной крепкими бинтами, не препятствовала Александру Павловичу осторожно передвигаться с места на место, то государь с прелестной улыбкой дал свое согласие наровчатским дворянам присутствовать лично на торжественном балу в честь выздоровления обожаемого императора. Бал этот, дававшийся в просторных залах Благородного собрания, был сказочно, неописуемо великолепен. Выписано было два оркестра: один военный, из пехотного полка, стоявшего в Пензе, другой струнный, из Тамбова. Стены собрания и снаружи и изнутри были сплошь усыпаны живыми роскошными цветами. Пензенский богатый помещик Дурасов не пожалел на это пышное украшение всех своих редкостных знаменитых оранжерей. Угощение подобрали самое лукулловское: разные там оршады, лимонады, крюшоны и жженки; мороженое всех сортов и прочие всякие тонкие деликатесы. Пензенские знатные дамы в сильно декольтированных костюмах амбир, кавалеры в цветных фраках. Достаточно того сказать, что весть об этом колоссальном бале дошла до обеих столиц и была пропечатана в петербургской газете, а память о сказочном торжестве осталась среди наровчатских жителей на пятьдесят, а то и на сто лет.

Забинтованная нога не позволяла государю принять участие хотя бы в традиционном и весьма нетрудном полонезе, но на усердные танцы наровчатского бомонда⁴⁹, обучавшегося хореографическому искусству у заезжей француженки де Пудель, он глядел, сидя в почетных креслах, с большим вниманием и с благосклонной радостной улыбкой. Молодой флигель-адъютант государев, блестящий гвардейский офицер, стоявший за спиной императора и не изменявший своего серьезного должностного лица, тут же вполголоса экспромтом напевал в темп гротеску забавные стишки на танцующих:

Вот за офицером
Бежит мамзель,
Ее вся цель –
Чтоб он в нее влюбился,
Чтоб он на ней женился.
Но офицер ее не замечает
И разобьет, дальше поспешает
Во весь карьер.

А на другой танец, более резвый, он импровизировал другие стишки:

Кума шен, кума рон,
Кума, дальше от комода,
Кума чашки
Трам, трам, тара-ра,
Напирайте, господа.
Там налево осторожно,
ацепить за горку можно.
Траля, траля-ля,
Не спешите, господа.

⁴⁹ Аристократического общества (от фр. beau monde).

И все в таком же веселом роде. Стишки эти до слез и колик смешили государя, соскучившегося в наровчатском невольном сиденье, но еще больше ему понравилась парочка Хохряковых, мужа и жены; оба они были кургузенькие, пузатенькие, но ужасно манерные и жеманные. Вероятно, во всем мире не бывало видано таких вычурных наизатейливых гротесков, которые откалывала с важностью чета Хохряковых. Глядя на них, деликатный Александр Павлович делал все усилия, чтобы не расхохотаться громко. Но когда Хохряковы окончили свой черед, он послал к ним адъютанта с просьбой узнать, не будут ли они так любезны, чтобы повторить свой танец. С неописанным наслаждением исполнили они желание императора. Но этой чести было еще мало. Покидая зал и поблагодарив наровчатское дворянство, государь отдельно позвал к себе Хохрякова и ласково сказал ему:

– Я с удовольствием любовался вашими танцами и очень жалею, что моя жена не могла их увидеть. Но если вам придется когда-нибудь приехать в Петербург, то милости прошу ко мне во дворец. Я охотно представлю вас ее величеству. На другой же день государь покинул Наровчат.

Прошло достаточно много времени. Наровчат после великих дней пребывания в нем царя постепенно ввалился в обычную, привычную колею. Пришли наконец будничные, сумрачные дни, когда городишко совсем перестал говорить и думать об августейшем посетителе, так же как забыл он интересоваться таинственной судьбой дворянина Хохрякова, который через неделю после отъезда государя со свитой вдруг исчез неведомо куда и неведомо зачем и вот уже месяцами не давал о себе ни слуха, ни знака. Соседи спрашивали мадам Хохрякову:

– А не поехал ли, часом, ваш благоверный в Санкт-Петербург по государеву приглашению? Но госпожа Хохрякова отвечала кратко:

– Куда ему, сопливному. Он дальше Тамбова и проехать не сумеет. Одна беда – все наличные деньги с собою увез. Боюсь, не дунул ли в Царицын к цыганкам. От него, поганца, станет.

Вот и все. Вскоре Хохрякова как бы и на свете никогда не бывало...

...И вдруг перед самым рождеством Христовым разносится по всем домам животрепещущая новость:

– Приехал! Приехал! Хохряков только что приехал! В Петербурге был! Во дворец был приглашен, с августейшими особами чай пить и беседовать удостоился! Жена ему теперь за вранье волосы дерет. Идите скорее глядеть!

Но когда все эти домашние суспиции и козьи потягушки затихли, а взбудораженный муравейник успокоился, то отцы города строжайше потребовали от Хохрякова точного и правдивого отчета во всех его похождениях, приключениях, встречах, знакомствах, удачах и провалах и так далее. В большом зале Благородного собрания рассказывал дворянин Хохряков, в присутствии всех знатных наровчатцев, свою изумительную одиссею.

– Должен сначала сказать, что я, долго и многосторонне обдумывая милостивые и, скажу, даже ласковые слова его величества, обращенные ко мне на торжественном балу, понял, что это, бесспорно, есть знак высочайшего одобрения моему искусству танцевать, а всемилостивейшее приглашение обожаемого монарха побывать при возможном случае в его резиденции нельзя понимать иначе, как желание императора увидеть еще раз эти танцы и дать возможность поглядеть их августейшей супруге. Исполнить малейшее желание великого государя всея России есть первейший и священнейший долг каждого верного подданного. Вот мотив, по которому я поехал в Петербург. Меня, может быть, спросят, почему я не взял с собою в вояж возлюбленную супругу нашу и уважаемую сожительницу, несравненную Алевтину Исидоровну. Ответ прост – государь, произнося свое великодушное приглашение, изволил говорить лишь со мною, исключительно со мною, и его царственные взоры были обращены только на меня. Согласитесь, имел бы я право ввести в царские чертоги особу, хотя и блистающую всякими достоинствами, но официально не имеющую приглашения?

Но тут все наровчатские нотабли⁵⁰ дружно закричали:

– Верно, правильно! Браво! Переходите ко главному!

И успокоенный Хохряков начал свой рассказ:

– Ехал я на почтовых девять дней с небольшим, пока не приехал в Санкт-Петербург. Ужасно большой город, раз в десять больше нашей Пензы. Остановился в Балабинской гости-

⁵⁰ Почетные, именитые лица (от фр. notable).

нице. Шик прямо сверхъестественный. Переночевал благополучно. Утром велел коридорному начистить сапоги до военного блеска. Спрашиваю: «Где теперь изволит проживать государь император?» Представьте себе, в гостинице никто не знает. Слава богу, околоточный надзиратель на улице помог: «В Зимнем дворце». Я – туда, на извозчике. Господи, ну и дворец! Я там себе как самая ничтожная мошка показался. Отовсюду входы и выходы. Сто крылец, сто подъездов, и всюду миллионы деловых людей бегают. Я спрашиваю, как пройти к государю, по его личному словесному разрешению и даже приглашению. Не тут-то было. Спрашивают: «А где у вас бумаги? Где разрешение? Кто за вас ручается? Кому вы известны?» И трата-ти и трата-та... Я уже потерял присутствие духа, как вдруг подходит ко мне тот самый флигель-адъютант, который на балу в Наровчате такие насмешливые вирши складывал.

– Здравствуйте, – кричит, – пензяк толстопятый! Как живы, здоровы? Что в Питере делаете?

Я рассказал этому прекрасному гвардейцу все мое положение и все мои адские затруднения, а он говорит:

– Я понимаю, как вам тяжело в незнакомом городе, да еще без протекции. Подождите меня вот у этой арки, а я вам сейчас разрешение принесу.

Сказал и скрылся, а через четверть часа прибегает обратно.

– Государь очень рад будет увидеть вас в восемь часов за своим интимным чаем, а пока пойдем немного прогуляемся по Невскому проспекту и у Доминика в бильярд поиграем.

Ровно в восемь поднялись мы по роскошным мраморным лестницам в верхние, уютные, лишённые всякой официальности, домашние палаты молодых государя и государыни. Когда я сделал низкий придворный поклон, Александр Павлович любезно протянул мне руку. Я хотел ее облобызывать, но царь не позволил этого и сказал:

– Ручку ты поцелуешь у моей жены. Вот, Лизанька, мой друг из Наровчата. Прошу любить да жаловать. Ах, если бы ты знала, с каким отменным пафосом он танцует старинный гротеск.

Я приложился к прекрасной маленькой ручке государыниной, и ее величество ласково сказать соизволила:

– Очень рада сделать знакомство с вами. Позвольте предложить вам чаю. А государь говорит:

– Чего хочешь, брат Хохряков? Чаю или кофею?

– С позволения вашего императорского величества, попросил бы чаю.

– А с чем предпочитаешь чай, брат Хохряков? Со сладким печеньем или с марципаном?

– Как угодно вашему величеству.

– А что, брат Хохряков, а не разбавить ли нам чай китайский настоящим ямайским ромом?

– Думаю, что не повредит, ваше величество. И тут государь обращается к своей порфириносной супруге:

– Не знаешь ли, Лизанька, остался ли у нас еще в погребе этот отличный ямайский ром?

– Кажется, остался.

– И чудесно, – говорит государь. – Ну-ка, полковник, – обращается он к юному флигель-адъютанту – идите-ка в погреб. Поищите там рому покрепче и подушнее.

Тот мигом сорвался с места и исчез. Не прошло и четверти часа, как он вернулся с кувшином бемского граненого хрусталя, наполненным амброзией и нектаром. Понимаете ли? Ром из царских погребов! Высочайшая во всем мире марка! У нас в Пензе лучшие знатоки вина определяли достоинство хорошего рома по мере того, насколько сильно он пахнул клопом. Но императорский ром – дело совсем другого рода: он благоухал и портвейном, и хересом, и малагой, и доппель-кюммелем, и мадерой, и опопанаксом, и резедой, и имел он крепость необычайную. Я с трудом, через силу, выпил рюмки четыре, а больше не мог, натура не позволила. Вежливо, но отказался. В голове зашумело. Помню, как адъютант подал мне глазами знак уходить. Я низко раскланялся, а государь, смеясь, спросил меня:

– А скажи, брат Хохряков, починили ли в Наровчате тот мост, на котором я чуть-чуть не сломал себе ногу?

Мне стыдно и страшно было ответить, и я решился на маленькую ложь.

– Государь, – сказал я, – уезжая из Наровчата, я успел заметить лихорадочную работу над возведением отличного каменного моста через эту несчастную речку. Но вскорости он будет закончен.

Государь и государыня милостиво простились со мною. Флигель-адъютант проводил меня пешком до моей гостиницы и по дороге все спрашивал меня, весело смеясь:

– Что, брат Хохряков? Вкусным я тебя ромом попотчевал?

Так мое путешествие в Петербург и прошло благополучно. Но только, господа дворяне, вы уж меня перед моим обожаемым царем не подведите. Постройте хороший мост через Безымянку.

И все Благородное собрание ответило громом рукоплесканий и самыми горячими обещаниями.

С того времени прошло сто лет с небольшим. До сего дня в Наровчате есть старинная поговорка: «Чего, брат Хохряков, хочешь? Чаю или сахару? С пирожными или с марципанами?»

Но мост через Безымянку так и остался в прежнем ветхом состоянии, и по весне на нем неизменно калечатся люди и лошади.

Ральф

Из будущей книги «Друзья человека»

Быть может, что среди харьковцев, в эмиграции сущих, найдутся пожилые люди, у которых в далекой памяти еще остался, хотя бы по рассказам старожилов, знаменитый и замечательный пес с кличкою Ральф. Был он рыжий кобель, породы ирландских сеттеров и, очевидно, хороших кровей. Как он попал к почтовому чиновнику, коллежскому регистратору Балахнину – вопрос навеки остался неразгаданным и таинственным. Известно было лишь то, что Балахнин приехал в Харьков и поступил на службу уже вместе со своей собакой.

Харьков – город чрезвычайно значительный. Он – как бы пуп и центр русской металлургии и каменноугольного дела, но по своим размерам, по великолепию и огромности домов, по аристократическому шику жизни и по блеску парижских костюмов, по обилию безумных развлечений он стоял куда ниже не только столиц, но и таких губернских городов, как Киев и Одесса-мама.

Жить в нем тесновато и скучновато, несмотря на университет и театр. Нет ничего мудреного, что слухи о необыкновенной дрессировке почтамтской собаки Ральфа обошли весь Харьков, и оба друга, двуногий и четвероногий, обрели прочную славу, которая, кстати, благоприятно влияла на скромную карьеру Балахнина.

Сказать о Ральфе, что он был дрессированной собакой, – это, пожалуй, значило бы то же самое, что назвать гениального композитора – тапером. Хороших маэстро было много, но один из них был – Бетховен, таков же был и Ральф в собачьем мире. Он просто и ясно понимал каждое слово, каждый жест и каждое движение хозяина.

В памяти и в понимании Ральфа была, по крайней мере, целая тысяча слов, и повиноваться их значению было для него серьезным долгом и великой радостью.

Обращаясь к собаке, Балахнин никогда не прибегал к обычным, дрессировочным восклицаниям: «Вьен иси, апорт, тубо, шерш»⁵¹ и так далее... Нет, он просто говорил с ней ровным, чистым человеческим голосом, как бы обращаясь к другому человеку. Он никогда не кричал на Ральфа и говорил ему неизменно на «вы». «Ральф, принесите мне папиросы и спички», – и собака ловко и быстро приносила поочередно портсигар и спичечную коробку. «Ральф, где моя зеленая тетрадка, где мой красный карандаш?» – и Ральф тотчас же являлся с этими вещами.

Давно уже всем известно, что собаки, отличающиеся несравненным обонянием и прекрасным слухом, всегда немного слабы зрением и часто страдают дальтонизмом, но Ральф отлично разбирался в основных цветах: белом, черном, синем, зеленом, желтом и красном. К тому же, находясь при хозяине, он никогда не терял из глаз его лица, поминутно описывая круги. Случалось, что на большом общественном гулянье Балахнин говорил: «Ральф, пойдите и поздоровайтесь с вон той дамой в платье такого-то цвета и со страусовым пером на голове». И тут же Балахнин высоким поднятием руки изображает роскошный плюмаж. Собака немедленно повинуетя.

⁵¹ иди сюда, принеси, нельзя, ищи (от фр. viens ici, apporte, toubeau, cherche)

Она зигзагообразно пробирается сквозь толпу на свободные места, ловя взорами указанную даму. Порой она оборачивается на хозяина, стараясь узнать по движению его головы и ресниц: «Верно ли иду? Не ошибаюсь ли?» Оказывается, все обошлось хорошо. И довольный собою, счастливый пес тычет розовым мокрым носом в нежную ручку дамы, невзирая на ее негодование.

Балахнин жил где-то на краю города, нанимая одну комнату и будучи нахлебником у толстой просвирни. Там, в домашнем хозяйстве, Ральф уже давно нес обязанности по доставке провианта. Все мелкие лавки: мясная, рыбная, бакалейная, пивная, монопольная и прочие – были знакомы Ральфу, как свое жилище. Стоило Балахнину или Секлетиныне Афиногеновне поставить на пол кожаную сумку, в которую защелкивались: краткая записка лавочнику, заборная книжка и деньги в бумажке, как уже Ральф начинал радостно волноваться, предвкушая самую важную и любимую прогулку. Тогда ему называли предмет купли и открывали дверь. Тотчас же, завив хвост девятым номером, Ральф выбегал на улицу. Он никогда не ошибался лавками, потому что все они были запечатлены в его памяти обонятельными, вкусовыми чувствами. Так же спокойно и серьезно возвращался он домой, окончив поручение; никто не обижал его. Лавочники ценили в нем деловитую солидную особу, неистовые уличные мальчишки видели в нем славу и гордость квартала. Собаки никогда не вызывали его на драку. У этого милого и умного народа, у собак, есть свои непреложные законы, в числе коих, между прочим, говорится: «Когда человек работает вместе с тобой, считай это за честь и помогай ему, насколько хватит твоих сил, а работающей собаке никогда не мешай».

Рекорд ума и находчивости, поставленный Ральфом, был тем более неожидан и блестящ, что в то время Шерлок Холмс еще не появлялся в свет, а немцы не тренировали злых доберман-пинчеров на ловлю преступников.

Тогда позднею весной, на пасху, был устроен харьковской губернаторшей в ее парке большой благотворительный вечер в пользу недостаточных студентов, на открытом воздухе с цыганами и артистами, с лотереями и шампанским. Главной особой, для которой давалось торжество, была кузина губернаторши, важная придворная статс-дама. И вот, когда воздух потемнел и стала падать ночь, статс-дама закричала жалобным голосом: «Ах, мое кольцо! Ах, мое бриллиантовое кольцо! Куда, куда оно делось?»

Произошла сумятица. Затормошилась полиция. Длинноусый обер-полицеймейстер сделал страшное лицо. Взмолвленная публика требовала, чтобы все посетители были подвергнуты обыску. Входы и выходы были заперты. Никакие полицейские меры, однако, не помогали. Тогда вызвался почтамтский чиновник Балахнин.

– Позвольте, ваше сиятельство, – сказал он огорченной даме, – позвольте, я пушу по следу вора мою собаку, ирландского сеттера Ральфа.

– Ах, пожалуйста, сделайте милость! Ведь кольцо это – фамильное сокровище нашего рода, подаренное царицей Екатериной Великой моему прапрадеду.

Полиция подтвердила, что собака действительно очень умна и всему городу известна своим примерным поведением. Дала статс-дама обнюхать Ральфу свое манто, свое платье, руки и перчатки. Начальство отрядило на помощь Ральфу двух сыщиков, и они пошли вчетвером.

Ральф сразу понял, что от него ждут... Сначала нырнул в узкий забытый лаз на краю сада, а потом повел и повел, ни разу не сбившись со следа, пока не привел в гостиницу Коняхина, где собиралось всяческое ракло. А войдя в трактир, Ральф прямо остановился перед столом, где бражничал известный всему Харькову Митька Логунов, опустившийся дворянский сын, скандалист, мошенник и пройдоха. Сыщики его – цап! – где кольцо? Не стал и отлынивать. Сразу вытащил из-за пазухи. «Эту вещицу, говорит, я на улице нашел и только что собирался объявить о ней... в участке».

Статс-дама со слезами на глазах горячо благодарила Балахнина. Предлагала за труды хорошее вознаграждение, но Балахнин вежливо отказался:

– Это не я сделал, а мой друг Ральф. Дайте ему из вашей милой ручки кусок сахара. Он очень доволен останется.

Тут и конец об этой необыкновенной собаке. Надо прибавить лишь одно. Знатная дама все-таки прислала Балахнину из Петербурга золотой жетон с надписью: «Я Ральф – друг людей».

Многие люди, знавшие или только видевшие знаменитого харьковского пса, говорили: «Жаль только, что он лишен дара речи». Но кто знает, был ли бы счастлив говорящий Ральф?

1934